Индекс 70327

Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.)

ISSN 0321—1878. Звезда. 1991. № 4. 1—208.



ISSN 0321—1878



Звезда

4

1991

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1991 ГОДА «ЗВЕЗДА» НАПЕЧАТАЕТ:

Роман «ЖИВИ» — последнее произведение известного автора «Зияющих высот» Александра Зиновьева, едкое, саркастическое повествование о современной жизни.

Повесть «МАСКИРОВКА» Юза Алешковского, одного из оригинальнейших авторов русского зарубежья, до сих пор не печатавшего свою прозу в Советском Союзе. Предисловие к ней — «БЕЛЕЕТ ЛЕНИН ОДИНОКИЙ» — написал Андрей Битов.

Роман Альберто Моравиа «СКУКА» — анатомия любовной страсти, один из прославивших итальянского классика романов, от которого долгое время оберегала нашего читателя стыдливая цензура.

Кроме этих произведений «Звезда» опубликует:

Документальную книгу А. Антонова-Овсеенко о Берии «КАРЬЕРА ПАЛАЧА» (окончание).

Интервью Андрея Дмитриевича Сахарова.

Документальную книгу Виктора Френкеля о выдающемся советском физике Я. И. ФРЕНКЕЛЕ.

Исторический очерк Якова Гордина «ДЕЛО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ».

Повести и рассказы З. Журавлевой, Н. Катерли, М. Веллера, Р. Погодина, С. Вольфа, В. Ляленкова и других.

«Этюды о любви» Ортега-и-Гасета.

Сонеты и терцины Льва Карсавина.

Дневники Дмитрия Философова.

Письма Марины Цветаевой к Ариадне де Берг.

Письма Сергея Эфрона к Максимилиану Волошину.

А также статьи:

Виктора Гофмана «О ЛИРИКЕ МАНДЕЛЬШТАМА».

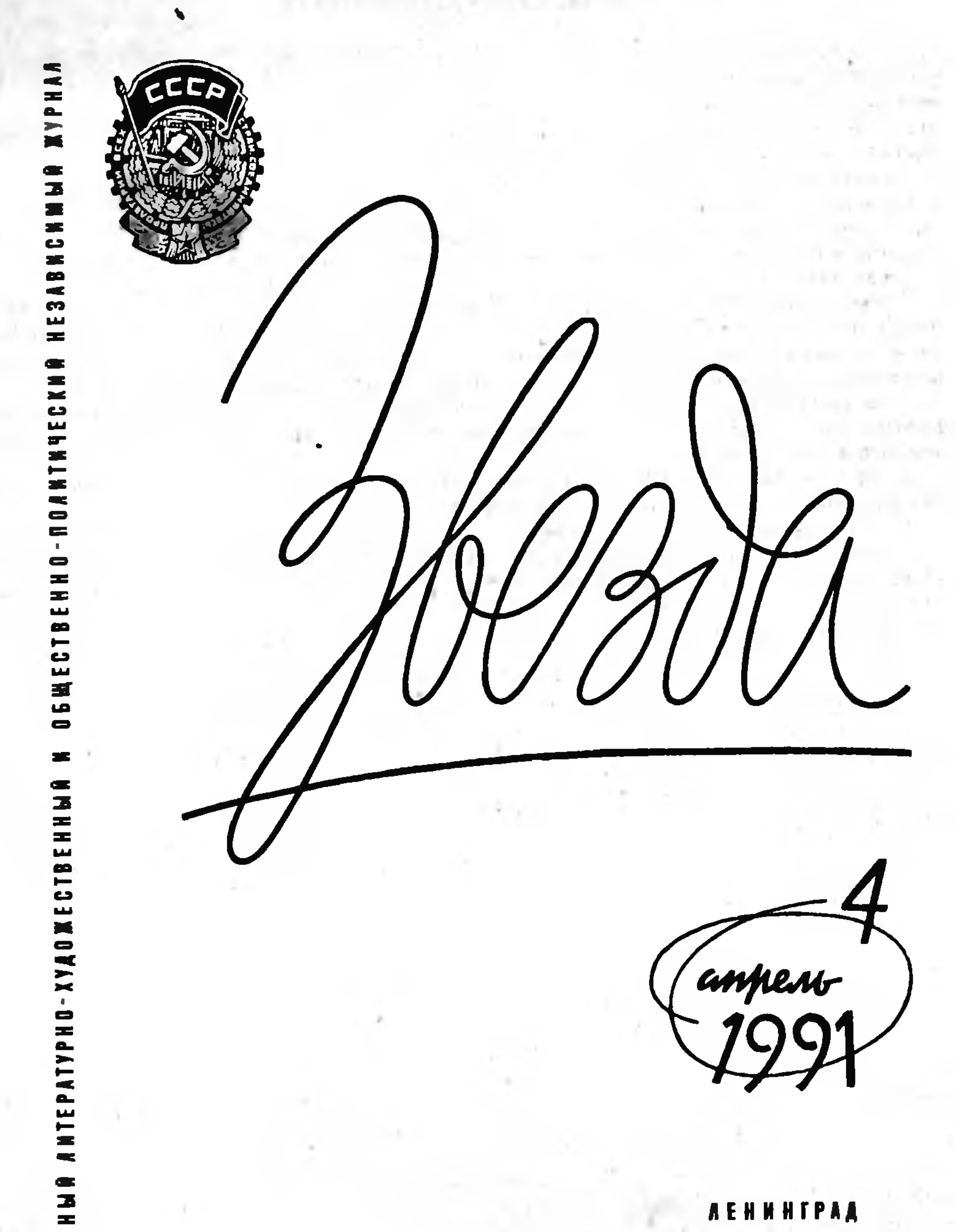
Аркадия Белинкова «ПОЧЕМУ И КАК БЫЛ ОПУБЛИКОВАН “ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА“».

Бориса Парамонова «НОЙ И ХАМЫ».

Игоря Ефимова «ЖЕМЧУЖИНА СТРАДАНЬЯ».

Петра Вайля и Александра Гениса о русской литературе XIX века.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ



ЛЕНИНГРАД

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

Учредитель: Союз писателей СССР **Издатель: редакция журнала «Звезда»**

Главный редактор Г. Ф. НИКОЛАЕВ

Ответственный секретарь А. С. ЩЕГЛОВ

Корректоры: О. А. Назарова, Л. А. Привалова **Технический редактор В. Т. Молоткова**

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора — 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Сдано в набор 25.12.90. Подписано к печати 19.02.91. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 26,11 уч.-изд. л. Тираж 140 210 экз. Заказ № 764. Цена 1 р. 80 к. (по подписке — 1 р. 60 к.).

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.



НА ОТЪЕЗД Л. П.

Не гляди на меня, как в открытый гроб,
мне под губы не суй свой холодный лоб,
на дорогу поспи, а я в переполненный ящик
упакую сам эту стопку лет,
а откроешь там — ничего в нем нет,
потому посылаю вдогон тебе их образчик.

Посылаю вслед запоздалый стон,
дескать, с глаз долой и из сердца вон,
только есть надрыв в истончившейся стенке сердца...
Петербург на обоях, под ними слой
«Ленинградской правды», год сорок шестой,
отдеру за сентябрь — и вот наконец та дверца.

А за нею хлам, хоть в утиль нести,
и кромешный срам быстрой юности,
и чернеет кровавый след от казенной пули,
и повестка в суд, и из зоны письмо,
и шампанского герб, и оно само,
электрические декабри и без сна июли.

Не гляди на меня, как в открытый гроб,
я всего-то чуть-чуть серебра соскреб,
кто не знал негатива, ущерба сейчас не увидит.
Поезжай туда, поклонись звезде,
помолись на крест, поживи везде,
поживи других двадцать пять или сколько там выйдет.

А в квартире пустой только водку пить,
тихо слезы лить да по-новой жить,
да о том о сем беседовать с участковым.
Моль на солнце сверкнет, пыль внезапно вспорхнет,
чей-то вздох пролетит, чья-то тень мелькнет,
чей-то голос помянет хозяина ласковым словом.
1973

Анатолий Генрихович Найман (р. в 1936 г.) — поэт и переводчик, автор книги «Рассказы о Анне Ахматовой» (1989). Книга «Стихотворения Анатолия Наймана» вышла в США (издательство «Эрмитаж», 1989). Предлагаемая вниманию читателя поэтическая подборка — первая публикация его стихов в нашей стране. Живет в Москве.

СТАРАЯ ПЛАСТИНКА

Отчего умирать нам обидно,
это все столь ничтожного ранга,
что о том и признаться-то стыдно,
скажем, танго, испанское танго,

но не сам, разумеется, танец,
не скрещенные взоры и руки
и не па, от которых испанец
становился убийцей,— а звуки,

да и звуки-то, как исполнили
их в каком-нибудь клубе в Подольске:
гром и ритм, и немного печали,
и чтоб пели как будто по-польски,

чтоб потом донеслось с того света:
ах, как жаль, что вы больше не юны,
столько песен еще не пропето,
и в гитаре дрожат еще струны.

1976

В НЕНАСТНЫЙ ДЕНЬ

В ненастный день и письма от друзей
несчастные, и мысли все — о смерти,
но все без остроты, как будто клей
края страниц оставил на конверте.

В ненастный день, когда со дна души
всплывает муть и ком стоит в гортани,
становятся слова нехороши —
и дремлешь, не укрытый, на диване.

Итак как те — за морем, так как день
ненастен, так как весь он спячке отдан,—
кого ни вспомнишь — тень, и жив — а тень,
пейзаж Аида — современный Лондон.

1976

* * *

Какие печальные лица.
Иванов

Китайским фонариком номер,
скворешником. Где ж управдом?
Где снег прошлогодний; да помер
не позже как в тридцать восьмом.

Гнездовье покинули птицы,
жильцы, квартиранты, отцы,
жестоких романсов певицы,
художественные чтецы.

Последний колбасник и заяц
попал под трамвайный вагон,
повесился прачка-китаец,
который басмач и шпион.

Былое — забавная пьеса,
дешевый, но милый обман!
Клейнмихель, прораб с Днепрогэса,
полол и пахал Казахстан,

а Ротшильд, прораб с Беломора,
пас чернощетинных свиней.
А моды-то, клеши, умора.
И что ни кино — Колизей.

...Какое веселое ретро,
особенно съемка рапид:
эпоха бежит против ветра,
кокетничает и хрипит.

1983

* * *

Холодный комар, камикадзе Природы,
беззвездную яму сверлит и бодает.
Вписавшись в ираж над ареной
свободы,
ночной носорог, протрубив, нападает.

Он бич африканца и скорбь евразийца,
оглох от проклятий, сдурел от контузий,
ничтожество, рыцарь, палач, кровопийца,
чтоб жить только миг, например,
без иллюзий.

Прислушайся: пенье то жалко, то грозно,
как будто весь воздух им тонко проложен,
он символ пространства, и если серьезно,
он явь, но и сон без него невозможен.

...Страданья, мой друг,
перед близкой кончиной
ты принял без стонов «за что?»
и «доколе?».
Как нет тишины без струны комариной,
нет радости больше без примеси боли.

1986

РОМАНС ОСЕННИЙ

Я значил только то, что был тобой любим,
и никого вокруг я не нашел, кому бы
мог рассказать о том, как именем моим
разъединялись вдруг твои сухие губы.
Сродни звучанью слов был в небе сосен звук,
летевший день и ночь к немолчному прибою,
и никого тогда я не нашел вокруг,
кому бы мог сказать, что я любим тобою.

Увядшую траву в окошке ветер мнет,
серебряной водой в твое стекло бросает,
и пахнет астр букет все ночи напролет,
как будто снов таких и вовсе не бывает.
Друг другу мы в глаза глядим, смеясь, теперь
иль целый день молчим, но нас печаль не гложет,—
никто-никто, кому б ты ни открыла дверь,
то, как я был любим, напомнить нам не может.

1963

ЗИМА

I

Вернувшись в Питер из Москвы кабацкой,
под бастионы, на советский пляж
я вышел, чтоб увидеть с Петроградской
великолепный город, милый наш:
ларцом Дворец был, церковкой Исакий,
заматывались в шелк дома,
и знал, в анабиоз впадая, всякий:
идет зима.

II

Брюхаты сизым снегом были тучи.
Нева, им в масть, прикинулась больной.
Норд-ост лобзал скулу и щеку жгуче,
играл с густевшей на глазах волной
и не давал от листьев тлевших дыму
взлететь в родительский эфир.
На Лахту, грузом дров тараня зиму,
бежал буксир.

III

Так шла она, хотя еще тепло
сулили европейские прогнозы,
но в переплав уж брали на стекло
не только влагу, а и пыль морозы
средь скал, где водопад кипящий спит,
о здесь прозябшем грезя скальде.
И тишина была — не звон копыт
в Largo Вивальди.

IV

Так шла она. Все знали зимний скрип
учебного фрегата, кто тут вырос,
пусть лип не холод к слизистой, но грипп,
чей ускользнул от сыворотки вирус;
и, сохлой крови в запахе примес
почуяв, ждал за морем ветра
астматик, глядя к нам сквозь семь завес
дождя в Сан-Пьетро.

V

Но хватит эту петь, когда другая
идет раинять пространства и срока,
напрасно не шутя и не пугая,
без знамений, без туч, исподтишка.
Ни города, ни часа, ни погоды
нам не дано предугадать,
когда отхватит бритвой наши годы
внезапный тать.

VI

Итак, она зовется не Зима,
та даль, та мгла, что и заметил с пляжа,
в мехах, с румянцем, в санках,— но Сама
мелькнула, как кривой оскал пейзажа,
и тотчас землю скрыл и небо снег:
где милый Ленинград? где Троя? —
метался я, последний человек,
мыча и воя.

1981

Александр Солженицын



(23 февраля — 18 марта)

ДЕСЯТОЕ МАРТА
ПЯТНИЦА

532

Сегодня приснилось, что Епифановна подаёт ему телеграмму. И он сразу почему-то понял, что телеграмма та — не простая, но — *астральная*. Павел Иванович взял её, она была не от руки написана телеграфисткой и не печатающим аппаратом,— а типографски. И сразу же он увидел: к ней есть и примечание, мельче, внизу. И по своей книжной привычке, большому вниманию к сноскам, он стал сразу читать не главный текст, а примечание. Однако буквы петита оказались чересчур мелки — или искажались, едва на них падал взгляд? — начинали плыть. Тогда он скорей поднял глаза на главный текст — но и тот был упущен, уже размывался. Ни слова не прочёл. И холодея, понял, что это путает нечистая сила: не хочет, чтобы люди узнали важное глубинное известие.

Проснулся.

Сон показался таким значительным — сейчас же его записать, несколько слов на листок, при ночнике, потому что потом заспится — никогда не вспомнишь.

Что-то в этом было истое: какой-то посланный нам, но не доходящий до нас смысл.

Ещё только чуть брезжило, и Павел Иванович опять засиул. Но в это утро не суждено было ему покоя. Он оказался где-то в темноте, и кто-то невидимый, стоя сбоку, взял его кисть в свою руку и стал выразительно сжимать. И он — понял это предупреждающее сочувственное сжатие: сейчас он что-то увидит, что-то блеснёт и объяснится. Сжатье сильней — и нарастало в нём чувство: сейчас увижу! — сейчас увижу! — сейчас увижу! Отчасти страх, отчасти жажда увидеть,— и проснулся судорожно.

Отдышался.

Между обоими снами была несомненная связь.

Какие-то знаки посылались, но — не разгадаемые.

Уже взошло солнце. Были те короткие минуты, когда утренний луч пробирался справа мимо стенки трубы и переходил по свешенной вязовой ветке. Иногда вестник радостного утра, иногда безжалостен он был этой резкостью освещения, беспощадно вызывавшей к жизни.

От которой Варсонофьев всё больше отставал по скорости? отодвигался по высоте?

Но время ли так впадать в старость и в отдых? В эту тревожную неделю врывалось наружное и в его уединённость. Нет, начиналась такая пора, что и старые кости ещё нужны будут в дело. Его голос ещё послушает кое-кто.

«Март Семнадцатого» — третья часть (третий «узел») «повествования в отмеренных сроках» А. И. Солженицына под общим названием «Красное колесо».

Предлагаем вниманию читателя заключительный, четвертый, том «Марта Семнадцатого».

Печатается по изданию «Красное колесо». Узел III. Март Семнадцатого. YMCA-PRESS. Вермонт — Париж, 1988.

В публикации сохранены некоторые особенности пунктуации и орфографии автора.

Хотя, вот, Льву Тихомирову, с его отстоенной годами одинокой позицией, гордей бы посидеть дома. Зачем он нуждался унижаться, идти являться к новым властям,— увеличивать их значение?

За эти дни Павел Иванович сделал несколько выходов — в университет, в городскую думу, в так называемый «комиссариат», и посидел в Английском клубе в публике на расширенном заседании Комитета общественных организаций, а сегодня был зван в кинематограф «Арс» на заседание кадетской партии.

Не успели ещё миновать дни событий, как городская дума уже была занята их увековечением. Сильно хромой, но непоседливый энергичный Челноков, со своим хорошим протяжным московским акающим говорком, просил и собирал ото всех «воспоминания об этих днях», как будто всё уже установилось и не было дела важней. А может из-за того, что ему приходилось уступать пост городского головы, он спешил теперь навёрстывать в истории. Да и все члены думы,— правомочны ли, демократичны ли, всё это теперь заколыхалось,— спешили укрепить себя постановлением о воздвижке грандиозного Дворца-памятника в честь бессмертного переворота, и уже посланы были чиновники узнавать цены строений на Воскресенской площади и во всём Охотном ряду: всё это предстояло снести и срыть для увековечения. (А — жалко было Павлу Ивановичу Охотного ряда.)

Пост городского головы уже предлагался Астрову, но лукавый самоуверенный Астров не хотел принимать, ожидая себе более важное назначение в Петрограде, очевидно в правительстве?

Варсонофьев с удивлением наблюдал эту их напряжённую заинтересованность в новых постах — как будто они совсем не понимали ничтожную шаткость их в ураганном размахе событий.

За восторгами от быстроты и бескровности они теряли ответственность за судьбу страны: ещё во что, ещё во что это перельётся дальше? Неужели такой сильный ток Истории, едва начавшись, может так мирно улечься?

Вообще москвичи считали себя обойденными: они столько вложили в раскачку Освободительного движения, так часто ступали впереди Петербурга — а вот их всех обошли, кроме князя Львова никого не взяли в правительство, ещё Кокошкина там допустили поблизости,— и тем жарче москвичи теперь хором требовали, чтоб Учредительное Собрание собиралось в Москве. Теперь громко заявляли, что революцию подготовил более всех Земгор — а он возник в Москве. А в Петрограде вечные туманы и сырость влияют на психику тамошних людей, и те забывают о насущных нуждах страны. Москва же — центр народного движения против царя, средоточие общественной мысли, колыбель России,— и пора навсегда покончить с петроградским периодом нашей истории.

Оно-то бы и правда, Учредительному — конечно место в Москве.

А комиссариат — то бишь, теперь вместо градоначальства,— занял генерал-губернаторский дом на Тверской. Там распоряжался, расхаживая под неснятыми портретами всей династии, придавая жестами себе энергии,— хлопотливый, суетливый, недалёкий врач Кишкин, до сих пор управлявший санитарной деятельностью, по которой и выдвинулся из Союза городов. Главная же задача комиссариата была теперь: борьба с возможной контрреволюцией. А выдвинулся Кишкин на том, что 3 марта, в день сумасшедшего революционного трезвона,— ни с кем не сговорясь и никем не уполномоченный, решился показать, что и сам он демократ и вся городская дума,— и хотя ещё никто не знал тогда об отречении царя — выступил, что царь «для нас» не нужен.

И сейчас на вопрос Варсонофьева, как он думает овладеть положением, Кишкин нервно отвечал:

— Да не бойтесь вы демократии! Не пугайтесь Совета рабочих депутатов! Вот я работаю с ними уже несколько дней — и не могу себе представить организации более сильной, лучшей и правильно смотрящей. Вот сходите туда сами!

Тут к Кишкину добился режиссёр Большого театра и просил назначить третейский суд ему с хором: хор теперь обвиняет его, что он в царское время был слишком требователен.

Павел Иванович побрёл в университет. Там в богословской аудитории он застал заседание профессоров на тему: моральное очищение университета; и — можем ли мы мириться в наших рядах с теми, кто нас прежде дискредитировал; и — как нам участвовать во всеобщем становлении революционных взглядов. Решили создавать из профессоров лекторат — для распространения в населении здоровых понятий о государственном устройстве. Так взятая, идея была очень хороша: здоровые понятия о государственном устройстве ой как были нужны,— и не только тёмному нашему народу, но и светлой нашей интеллигенции. Однако дальше всё сразу разделилось: а какие же понятия — здоровые?

Тут Варсонофьев не выдержал и подзудил их: вот например, всеобщее избирательное право — это здоровое понятие или нет? А если это только механическая схема, у всех на виду, идея примитивных умов? Единственно ли возможная основа народного представительства? Руководить — всё равно должно государственно-опытное меньшинство,— но к более тонкому построению власти долго и трудно идти.

Очень зашумели. Заострилось: так с какой же платформы лекторы будут объяснять? Одни предлагали: со строго академической позиции. Другие настаивали: нельзя никого лишить права выражать свои партийные взгляды, но можно обязать всех к такой общей платформе: война до победы и всеобщее содействие Временному правительству.

От университета поднимался Варсонофьев медленно по Никитской, как и все прохожие уставая от размеса перемолотого, зернистого, не убранного с тротуаров снега,— и ощущение у него было, что во все эти его выходы с ним во всех местах играли какую-то недостойную игру. Пока он сидел невылазно в своём дряхлом домике, глубоко размышлял, видел тайные сны, слушал через форточку обезумелый колокольный звон — он и сам был богаче и предполагал богаче мир вне себя. Но если всё это великое свершение только-то и сводилось к сносу Охотного ряда, послаблению оперному хору, политической очистке профессорских рядов и ежедневному заседанию нескольких собраний в разных залах, из которых правильней всего смотрит Совет рабочих депутатов,— то стоило ли Варсонофьеву выходить? Что ему в этом мире делать?

Верней: пришла ли пора делать?

Ход революции оказался и пошлей — но и таинственней, чем он думал.

Проходя мимо «Униона» у Никитских ворот — должен был сойти с тротуара, обойти у входа группу арестованных, окружённых конвоем. Это были с белыми узелками или с пустыми руками, в штатском или в остатках полицейской одежды люди, жавшиеся, жалкие, напуганные,— медленно, по перекличке, запускаемые внутрь.

Варсонофьев спросил, ему объяснили, что это — полицейские и жандармы, свозимые из уезда. Тут, в кинематографе, им место предварительного заключения.

И Варсонофьев — вдруг вспомнил. Вспомнил, как в самом начале войны он с двумя студентами сидел тут в пивной, под «Унионом»,— и сказал им что-то вроде: кто знает, ни вы ни и не знаем, что ещё в этом «Унионе» будет.

Не мог он в который раз ещё и ещё не удивиться — всеобщей тайной связи вещей.

533

Веру Фигнер девушки видели теперь уже не раз, и совсем вплотную: она была высшей руководительницей всего их комитета по помощи освобождённым политическим и иногда приезжала в их центральное бюро, на Баскову 2. А как раз сегодня вечером их бестужевское отделение (в которое и Фанечка входила) устраивало в театре музыкальной драмы митинг с участием Фигнер. И уж Фанечке на сегодняшний день никак бы нельзя отрываться — но именно в 11 часов утра должна была вернуться поездом из Сибири «бабушка русской революции», как все поголовно звали её,— знаменитая Брешко-Брешковская.

И как же было удержаться, не встречать?..

Сорок четыре года назад Екатерина Константиновна, уроженка аристократической семьи, отправилась для пропаганды в гущу простого народа. Через несколько лет она была осуждена по знаменитому процессу 193-х к пяти годам каторжных работ, после каторги бежала с поселения, но неудачно, снова арестована и отправлена на Карийскую каторгу. А дождавшись амнистии по восшествию Николая Второго — скрылась от полицейского надзора и 10 лет была на нелегальном положении. К эсерам она примкнула при самом их основании. 10 лет назад снова была арестована, жила в Сибири на поселении, уже 73-летняя бежала в мужском платьи с Лены, поймана,— и вот теперь возвращалась из Южной Сибири триумфально в Петроград — как символ полувековой борьбы за свободу! Небывалый момент!

Брешко-Брешковская была не на одно, а на два революционных поколения старше тёти Адалии и тёти Агнессы. Тётя Адалия, природнённая ко всей народнической традиции, решила непременно сегодня идти встречать «бабушку». Напротив, тётя Агнесса, строго преданная своей партии, не хотела встречать никого другого первого, кроме Кропоткина, когда он приедет. Хотя отдавала дань и Бабушке: она стояла у колыбели максималистов, это она вселила в них нетерпение, что революция делается слишком медленно. Теперь отвалились многие спорности между партиями, как: признанье-непризнанье подполья, террора, участие в парламенте. Но и — всем было жаль покидать свои старые испытанные знамёна.

И вот тётя Адалия пошагала вместе с Вероњкой и Фанечкой. Пошагали — потому что именно с тётей Адалией сесть на трамвай было совершенно невозможно, так давились и висели с подножек. Да и цветы в руках чтобы не помять.

А идти было — до Николаевского вокзала. Первоначальный маршрут Брешко-Брешковской был назначен через Москву, чтобы и там могли торжественно встретить. Но уже в пути кто-то где-то перерешил, и теперь она приезжала с Вологодской линии.

На Бестужевских курсах занятий всё не было, хотя была резолюция слушательниц: приступить к ним с удвоенной энергией, но и к общественной работе. (По поводу занятий ещё одну сходку собирались делать. Было много идей: требовать увольнения слишком строгих профессоров; и чтобы больше не было оценки «весьма удовлетворительно», а только «удовлетворительно», пусть все будут равны; и вообще — соединиться с Университетом.) Профессора в эти дни мало появились на курсах, обслуга не убирала, в аудиториях мусор и даже окурки. Да ходили-то на курсы только на сходки, да один раз на митинг о текущем моменте, устроенный партией эсеров. Не от особой склонности к эсерам, а чтобы своими глазами посмотреть знаменитых революционеров: выступали там и были захлёстнуты прибоем оваций — Герман Лопатин и Кулябко-Корецкий. Многих лиц на курсах Вероня уже не видела незапамятно, от самой революции, например Ликони. А с другими, как с Фанечкой, не разлучалась. Из общественной работы настолько не вылезала, что вот и с тётей поговорить было всё некогда.

Главную работу девушки вели по помощи освобождённым политическим. С утра, едва вскакивали, они неслись либо в своё центральное бюро, при клубе адвокатов, где с утра же неизменно сидела Ольга Львовна Керенская, либо — по городу со вчерашним заданием: собирать по домам пожертвования, добывать и устраивать квартиры, кровати, бельё, или закупать питание, или помогать устраивать медицинскую и юридическую помощь, или расспрашивать приезжающих о сидевших с ними, и составлять списки тех, и разыскивать навстречу — ведь не все же явятся и попросят. Работа была бы иногда изнурительна, если б не так благодарна своей пользой и человечностью: ведь помогали самым избранным людям, столько страдавшим за счастье народа! (Правда, на Баскову являлись за помощью и многие самоосвободившиеся уголовные. Неприятна была роль отказывать им и объяснять почему, но кому-то доставалось по очереди, дежурной.)

Ещё в затее у них было — создать музей ссылки, с предметами обихода ссыльных и заключённых,— и уже теперь имея в виду эту цель, они приглядывались и иногда выпрашивали у освобождённых какие-либо вещи.

Потомки будут целовать эти потускневшие кружки и изношенные одежды.

До вокзала они дошли в половине одиннадцатого, и уже оказалось поздно. О, что тут творилось во дворах вокзала и на перронах,— сбитая толпа, возбуждение, сколько учащейся молодёжи, и гимназисты, и партийные деятели, и, конечно, просто обыватели,— не протолпиться! Худенькую слабую тётю Адалию так сжали, чуть не раздавили, Вероня и Фаня устроили ей защитную коробочку своими спинами.

Но какая у всех упоённая радость! какое ликование, лёгкость! С какой нежностью выговариваются свято-революционные имена — до Александра Фёдоровича Керенского (наш!) и Николая Семёновича Чхеидзе (наш!). Какое счастливое время! спали оковы с тел и душ. Вчера по Петрограду был слух, что царь сбежал из-под ареста,— ничего подобного, никуда он не сбежал.

И у скольких цветы — гиацинты, тюльпаны, астры! Какая весна! Как засыпят сейчас Бабушку! Что за символическая встреча! Для съёмки приготовился кинооператор, а саму Бабушку ждали убранные вокзальные царские комнаты.

На боковых путях, на стоящие там вагоны и паровозы, всюду уже взобралась публика — смотреть.

Затем вскоре раздалась марсельеза мощного оркестра! Думали: это уже подходит поезд, и потому играют. Ах, как великолепно!

Но что-то звуки шли не с той стороны: нарастали, потом стали ослабевать. Объяснилось, что это — по Знаменской площади проходила колонна солдат с оркестром, только и всего.

Как? А своего оркестра — нет? Ну, это даже обидно, даже оскорбительно, не могли предусмотреть!

Так — и поезд не подошёл? Нет, и поезд не подходил, передавали. Передавали спереди, потому что пробиться было никак нельзя.

Однако позиция девушек и тёти оказалась внезапно выгодной — с их ступенек, подъёмно ведущих из дворика на перрон, они хорошо увидели, как позади них толпа расступалась, расступалась — и бурно аплодировала и кричала.

И Вероня и Фаня увидели — и тоже закричали приветственно. Повезло им увидеть! — это шёл в направлении бывших царских покоев от автомобиля сам Керенский! За все эти революционные дни они видели его впервые! — и теперь просто выхватывали глазами! (Зашептали: он признаёт себя учеником Бабушки!)

Стройный, тонкий, он шёл с такой лёгкостью — изящной лёгкостью, но и лёгкостью героя. И в минуемой толпе не глядя ни на кого отдельно, он лёгкой скользящей скромной улыбкой как бы отвечал им всем.

И какая сосредоточенная умность лица!

О наконец-то, о наконец же России в руках умных людей!

И — Фигнер была уже на вокзале. И были депутации от Архангельска, от Дерпта, от Великих Лук и от Вышнего Волочка.

А поезд всё не шёл и не шёл. С вологодского направления — не шёл. А из Москвы пришёл — и пассажиры и носильщики с чертыханием пробивались.

Настроение стало охладевать, цветы — повядать, ноги мёрзнуть. Но тётя Адалия воодушевлённо держалась твёрже девушек: для неё Брешко-Брешковская была живая героиня её юности.

По толпе передавали, что к двенадцати часам подойдёт иркутский поезд — и Бабушка будет в нём.

Но не шёл иркутский.

Толпа стала киснуть и редеть. Стало возможным проходить вперёд. Наши пошли туда дальше, на перрон. Да тут был весь интеллигентски-демократический Петроград, знакомые раскланивались.

Потом передали: запрошена станция Званка, иркутский придёт только завтра в 5 утра, но Бабушка с ним почему-то не едет.

Кто-то высказывал, что она — недомогла, сошла с поезда, и теперь приедет только 15 марта.

Но что ж, об этом не могли раньше узнать?

Такая досада!..

А уже когда вернулись к себе на Васильевский, позвонил им знающий знакомый: что запросили телеграфно и Омск,— Бабушка не прибыла ещё и в Омск.

534'

(по свободным газетам, 10 марта)

ГРОЗНЫЙ ЧАС

ПРИЗЫВ НОВОЙ ВЛАСТИ К АРМИИ И НАРОДУ

К НАСЕЛЕНИЮ, АРМИИ И ФЛОТУ

Граждане! Воины! Перед лицом надвигающейся и уже близкой опасности... Недремлющий враг стягивает все, что можно, к нашему фронту. И если мы не сплотимся... Народу предстоит великий подвиг... Судьбы родины в ваших руках.

Подписали: *Львов... Милюков... Гучков... Шингарев... Керенский...*

ВОЗЗВАНИЕ. 9 марта 1917.

Воины и граждане свободной России! Германцы накапливают силы для удара на столицу... Захват Петрограда положит конец новому строю... Солдаты, проникнитесь... Только повинуясь офицерам... Временное Правительство признает глубоко прискорбными и всякие самоуправные и оскорбительные действия в отношении офицеров... И пусть тяжкая ответственность падет на тех, кто...

Военный и морской министр *Гучков*

Начальник штаба Верховного Главнокомандующего *Алексеев*

...Германия готовит страшный удар на Востоке. Русская революция мешает кровавому кайзеру. Вильгельм хочет восстановить в России старую династию... Россия благословляет свою чудную рать на одоление врага...

СУДЬБА ЦАРЯ. ...Князь Львов ответил нашему корреспонденту: да, вчера мы обсуждали... Большинство склоняется отправить царя с семьёю в Англию. Вопрос об удалении династии из пределов России во всяком случае не вызывает сомнений. Сейчас царь под арестом, меры пресечения приняты. В течение ближайших дней порядок следования его из России будет выяснен.

Министр юстиции А. Ф. Керенский сказал: необходимо, чтобы общественные массы игнорировали всякие слухи, которые нервируют общество. Сейчас излюбленная тема — судьба низложенного царя и всякие нелепые версии. Министр юстиции располагает несомненными доказательствами, что значительное число бывших охранных агентов, ещё находящихся на свободе, занимается распространением нелепых слухов.

...Заядлые изменники Романовы, постоянно говорившие о необходимости предать русскую армию только для того, чтобы сохранить престол безумцу-царю и полупомешанной царице из нищих гессенских принцесс... Оказывается, не Воейков предложил царю открыть фронт, а сам Николай Романов высказался ему...

(«Русская воля»)

...Какое-то гнилое болото у них в душах... Император всероссийский, этот помазанник Божий, ненавидел Россию, и чтобы спасти свой сгнивший престол...

НА СЛУЧАЙ ПОБЕГА. По всем пограничным пунктам России и Финляндии разосланы телеграммы: принять необходимые меры на случай могущего произойти побега Николая Романова из Царского Села.

...Уверенно говорят, что Временное Правительство имеет точные документы, что Романовы желали повторить попытку Людовика XVI... И всегда склонные к сепаратному миру, а на этот раз ради реставрации монархии... Документы настолько серьёзны... Оградить Россию от укуса змей...

...Царь был арестован после того, как в Ставке он простился с армией. Молча выслушали солдаты-граждане и офицеры-граждане своего бывшего «вождя». Громовая Марсельеза завершила эту комедию прощания и показала бывшему царю, что он — конченный человек. Закроем же чёрную книгу деяний и жизни Николая Романова.

(«Русская воля»)

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕСПУБЛИКА!!!

Петроградское дворянство, приветствуя Временное Правительство, изъявляет полную готовность предоставить все свои силы... Разослали телеграммы дворянствам других губерний...

К Временному Правительству. Мудрые избранники народа! Вы отважно решились стать у власти. Бездну знаний, мужества, таланта приходится вам проявлять. Исполинские задачи возложены на ваши плечи. Мы радостно выразили присягой свою полную покорность вам.

13-й Уланский Владимирский полк

...Появился призрак двоевластия, он угрожал гибельным расхождением... Но, к счастью, мы можем об этом говорить в прошедшем времени, и не повторятся такие печальные недоразумения, как приказы Совета рабочих депутатов...

...Самодержавие рухнуло перед единодушным напором всей нации — и только сохраняя это счастливое единство мы можем победить. Безрассудно сейчас возбуждать классовое недоверие и так толкать имущие классы к союзу с павшим режимом. Не вбивайте клиньев!

...Отсутствие хлеба помогло родиться свободе, но дальнейший рост её немыслим без хлеба. Спешите снять с отечества страшную тень голода!

...Старый земец Шингарёв конечно может исправить следы безумного хозяйничанья Риттиха. О чём Риттих говорил в Думе — было ложью, он надеялся усыпить тревогу общества. По последним сведениям, крестьянство уже начинает усиливать привоз хлеба на рынок. Теперь затруднения могут быть только временные.

...Генерал Рузский не скрывает, в каких острых отношениях он всегда стоял с царём. Все знают, что он открыто поступал вопреки желаниям царской кучки дармоедов.

...Генерал Рузский признал бестактиость смещённого начальника псковского гарнизона Ушакова. Вместо него назначен генерал Бонч-Бруевич, брат известного социалиста-революционера.

...Сейчас мы накануне великих реформ по демократизации армии.

...9 сего марта великобританский военный агент генерал Нокс, пробывший 2 года на русском фронте, посетил запасной батальон лейб-гвардии Волынского полка, где был радушно встречен офицерами и солдатами. Генерал Нокс спросил солдат, желают ли они продолжать войну. Ораторы от солдат единодушно заявили, что готовы пролить последнюю каплю крови. Все понимают, что залог этой победы — дисциплина. Настроение батальона произвело на английского агента самое лучшее впечатление.

...Из всех гарнизонов Петроградского округа получаются вполне успокоительные сообщения. В большинстве гарнизонов воинские части энергично пресекают попытки грабежей и другие эксцессы.

...Исчезают становые, урядники, исправники, стражники — а в жизни не произошло ни малейшего замешательства.

...местами краткие временные проявления пугачёвщины, ещё не проникшейся радостным величием времени...

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЯЕТСЯ в России единым росчерком пера первого народного министра юстиции... Отмена смертной казни — благороднейший дар воссиявшей свободы! Величайшая в мире революция — бескровно и завершится.

...Смертная казнь позором тяготеет на истории человечества. Вопрос о недопустимости её разработан исчерпывающе... особенно в России. Это — великая идея человечества. Во веки этот акт будет торжественным свидетельством величия народной души.

УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ желают знать, будут ли даны льготы для них. Акт амнистии не смягчил их участи.

Не верю в правду я народа,
Когда кричит он мне в ответ:
Лишь политическим свобода,
А уголовным нет.

АМНИСТИЯ ДЕЗЕРТИРАМ ...Уклонение от отбывания воинской службы при старом режиме явилось последствием чрезвычайно тяжёлых условий в рядах войск. Особенно остро это ощущалось людьми интеллигентных профессий. Между дезертирами масса людей интеллигентных, которые оставляли фронт не из трусости, а от режима старого правительства. Теперь они с радостью готовы отдать жизнь, но боятся ответственности. Военный министр Гучков на вопрос нашего корреспондента... Никакого преследованья к прежде уклонившимся, если они теперь явятся.

...Жандармы и полиция сидят под замком, а студенты их охраняют. Тут улыбнётся и мёртвый...

НОВЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ. Вчера, 9 марта, в московской судебной палате приведено к присяге 110 евреев — помощников присяжных поверенных. Общественный раввин Мазе обратился к ним с речью: «Отныне все сильные и благородные душой могут и должны развить всю энергию и мощь духа... Канули в вечность те времена, когда требовалось стирание национальной личности, отречение от своей веры... Всего более я радуюсь за великую Русь...»

...9 марта на общем собрании петроградской судебной палаты было приведено к присяге 124 еврея, помощника присяжных поверенных, и приняты в присяжные поверенные.

...В ближайшее время будет созван всероссийский еврейский съезд.

...Открылись тюрьмы, раскрылись души — не омрачим новую жизнь старыми средствами политической борьбы!

...Русский народ — демократ, это уже не раз отмечали наши публицисты... Изумительна культурность народного восстания...

Шьём мы саван погребальный
Палачам родной страны...

ТРАГИЗМ ЦЕРКВИ. Черносотенная деятельность церкви, от митрополитов до сельского духовенства, неизбежно наводит на подозрение, что церковь по самой своей природе была связана с рабством. Трудно отказаться от этих подозрений. Но история русского освобождения помянет немало семинаристов добрым словом — сильную бунтующую мысль детей духовенства. 1905 год показал, что духовенство не всё сплошь занято черносотенным идеалом.

ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА К ЧАДАМ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Свершилась воля Божья... Доверьтесь Временному правительству все вместе и каждый в отдельности... Чтобы подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело... Да благословит Господь труды и начинания Временного российского правительства.

...Отцы церкви впервые свободно вздохнули при Временном правительстве.

Илиодор из Нью-Йорка сообщает, что едет в Россию. Пишет, что «утопит монархию в грязи». Книга его о Распутине «Святой чёрт» будет бесплатно раздаваться народу.

НАСТУПЛЕНИЕ СОЮЗНИКОВ НА СОММЕ. Немцы отказываются принять сражение и отступают.

Потопление французского броненосца «Дантон»...

АМЕРИКА И ГЕРМАНИЯ. На днях президент Вильсон сделает заявление конгрессу, что Америка фактически уже находится в состоянии войны с Германией. Русская революция уничтожила последнюю оппозицию в Америке против вступления в войну. Война уже признаётся начавшейся.

Заявление английского правительства в палате общин. На вопрос о безопасности бывшего царя... Нет причин беспокоиться за судьбу его и членов семьи.

ГРОБ РАСПУТИНА ВСКРЫТ. Цинковую крышку разломали на куски, каждый хотел взять себе. Это, говорили, на счастье, как верёвка от повешенного.

ЧЕРНЫЕ АВТОМОБИЛИ. Несмотря на наступившее успокоение — черные автомобили продолжают терроризировать публику. Вчера вечером появилось два новых чёрных автомобиля: один мчался с бешеной быстротой мимо Зимнего дворца, другой расстреливал публику в Лесном. Для поимки чёрных автомобилей по городу выслано три бронированных. Нет сомнения, что в ближайшие дни они будут пойманы.

...Дабы получить билет на право входа в Таврический дворец, надлежит обратиться с письменным заявлением к дежурному адъютанту. На следующий день заявившим объявляется резолюция коменданта и кому пропуск разрешён — выдаются билеты.

Подписал: комендант полковник *Перетц*

...В чайной на Большой Посадской солдат показывал посетителям ружьё, нечаянно нажал курок, пуля попала в живот служанке.

...Совершенно уничтожить повсюду названия «Александровский» и «Николаевский»...

...Раскрадены вещи Протопопова...

ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. ...Проект Венгерова был принят с поправками Иорданского, Ляцкого, Амфитеатрова... Ликует и трепетно волнуется Россия на всём своём великом протяжении... И могут ли не быть переполнены энтузиазмом сердца писателей русских при созерцании чудеснейшего из всех известных всемирной истории переворотов?.. Не литература присоединяется ныне к революции, в революционная Россия осуществила то, что проповедуется русской литературой уже больше 100 лет... Радищев развернул знами свободы. Первую оду вольности сложил Пушкин... Злая сатира Грибоедова, горький смех Гоголя... Достоевский — певец бедных людей... Тургенев — апостол освобождения крестьян... Некрасов — Тиртей русской революции... Гениальная сатира Салтыкова... Ослепительный успех революционной мысли Белинского, Чернышевского, Писарева, Михайловского... Великие изгнанники Герцен и Лавров...

Веруем и исповедуем, что свободный народ... что небывалый расцвет...

...Вставайте, товарищи художники! Слейтесь в единый весенний поток и с кликом «да здравствует свободное русское искусство!» смойте из дворцов искусства всю императорскую плесень и мишурную мерзость!.. Под красным знаменем революции организовать ячейку революционного правления.

...Митинг в Московском Художественном театре... Чувства святого восторга...

ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ г. МОСКВЫ. ...В дни переворота, когда рушились старые органы управления, в широкие слои населения могли проникнуть сведения, не подлежащие оглашению. Призываю осведомлённых лиц во имя пользы дорогой Родины не разглашать сведений военного характера.

Подполковник *Грузинов*

Чествование Грузинова. ...Командующий сказал: «Я не стремился к тому посту, который сейчас занимаю. Но судьба поставила меня на это высокое место...»

...Кавказские газеты с тёплым чувством отмечают, что великий князь Николай Николаевич с первых же известий придал государственному перевороту решающее значение.

Ташкент. Великие события приняты русским и туземным населением восторженно.

Киев. В городскую думу включены представители от еврейских организаций. Ночью проведены обыски в поисках Маркова и Замысловского, но тщетно.

Ставрополь. Ликующий народ, манифестируя по улицам, перед памятником Александру II провозгласил вечную память царю-Освободителю.

Актарск. В уезд посланы отряды казаков с целью пропаганды нового строя.

Одесса. Собрание чинов полиции, городовых и представителей рабочих... Как обеспечить возможность искреннего служения полиции новому строю. Комплект городовых сокращается наполовину. Над зданиями участков — красные флаги.

Ялта. Местные чины Союза русского народа заявляют в печати о преданности новому правительству.

Царицын. Второй день пожар в тюрьме.

Саратов. Общество потребителей решило построить дворец Свободы.

Орел. Появилась мука и керосин.

...В то время как города уже примкнули к новому правительству, деревня продолжает оставаться в неведении. Это может создать брожение.

...по деревням держатся остатки старой власти...

...Письмо крестьянина в редакцию «Тамбовского Земского Вестника»: «Господа депутаты революционного движения! В добрый час вперёд! В уезде многие земские начальники, волостные старшины и урядники не дают нам рассчитывать устроить на русской земле рай. Пропагандируют, что будет нам борьба, а не мир... Не напечатаете моего письма — пожалуюсь московским депутатам рабочим.»

Ярославская губерния. Кооперативная организованность крестьянства обеспечит новому строю счастливое разрешение продовольственного вопроса. Господствует бодрое настроение и уверенность, что война скоро кончится.

В Макарьевском уезде крестьяне грозят разгромить земство, которое не позаботилось подвозом хлеба.

...Общество хлопчатобумажных фабрикантов ассигновало на нужды революции...

...С новым режимом домовладельцы могут попробовать перестать топить свои дома...

Открыта подписка на роскошное художественное издание **Русская Революция**.

КТО ВЕРНЕТ в Управление **ТРАМВАЙНЫЕ РУЧКИ**, будет дано вознаграждение: за большую ручку — 5 руб., за малую — 3, за ручку с рычагом...

Деревенская девушка желает поступить прислугой, только не к евреям.

НУЖНА барышня-еврейка в интеллигентную семью к мальчику.

ИМЕНИЕ купить желаю.

КУРОРТ ГУРЗУФ открыт круглый год. Первоклассная французская кухня. Апартаменты по 3–4 комнаты, телефоны. Морские ванны во всех отелях. Итальянский оркестр. Верховые лошади.

Писатель-француз приглашает в качестве секретаря молодую православную даму или девицу симпатичной наружности, любящую литературу и совершенно свободную.

КАБАРЕ ПОДВАЛ открыт, Леонтьевский пер.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ электротеатр — **ТЕМНЫЕ СИЛЫ** (Григорий Распутин).

535

И всю жизнь Шингарёв кроме работы не знал ничего — но ещё так ему не доставалось. Как неуклюже топчутся два борца, всё схватываясь, всё норовя лучше подцепить противника,— так и он топтался, пытаясь охватить эти плечи необъятные, эту тушу непомерную своего неизведанного противника — продовольственной проблемы. Он прерывался лишь на короткий сон и на длинные заседания правительства, правда ещё на дорогу домой тратил время, потому что не захотел вселяться в казённую квартиру при министерстве — стыдно казалось (хотя удобно бы очень — и министерство, и правительство в одном шаге). Всё же остальное время он тонул в этом море, пытаясь измерить его.

Он не из рук докладчиков, но сам должен был познать всю глубину. Он был нов на деле, а нужно было действовать как давнишнему тут, прирождённому. Весь окоём застилала проблема, как накормить сейчас армию, города и потребительские губернии. Но и давние, и долгодействующие течения должны были быстро стать ему известны: как не прервать и даже установить прочней земледельческую статистику, без чего не будет видно вперёд; как не прервать смет по развитию земледелия в Семиречьи (надо признать, плодотворное наследство Столыпина); или как не подорвать обработку хлопка в этом году в Туркестане; или как укрепить школу Народных Искусств по развитию ремёсел. А дни революции навалили — на кого ж, если не министра земледелия? — ещё преогромную задачу: осваивать земли императорского пользования — Удельные и Кабинетские,— и передавать — кому? как? Это требовало не дней, а нужда была почти дневная — хотя б для того, чтоб не начали громить помещиков.

Трудно, трудно — но и как плодоносно это всё являлось! Так больно оторванный от изученных финансов — вот уже, за неделю, Шингарёв, кажется, сжился и с министерством земледелия. Да может быть даже оно было ему куда и родней, чем министерство финансов. Да всё родно, что делается для родной России, только уж определиться бы к какому-нибудь делу одному.

Но ещё и сами организационные формы не помогали, а скорей мешали ему. По сравнению с министром царским у Шингарёва система получалась как бы не запутанней: ведь он был повязан ещё постоянной связью с Советом рабочих депутатов, с его продовольственной комиссией, и её подкомиссиями, и совещательным советом, навязываемым ему. Когда Шингарёв оппонировал Риттиху в последние недели Государственной Думы, он упрекал его, что надо больше слушать общественность, а с развёрсткой не торопиться. А вот набиралось у Шингарёва этой общественности с избытком (сам же, сгоряча, ещё позвал на помощь и Вольно-экономическое общество), но от кипенья её ему не просвечивало облегчения.

И только сейчас ощутил и осознал Шингарёв, какою тяжестью висело на министре земледелия громоздкое Особое Совещание по продовольствию, которое Прогрессивный же блок и придумал: многолюдное совещание при министре малоответственных советчиков из общества. Ещё недавно, пока Шингарёв и его друзья были в оппозиции, такое совещание казалось им единственным способом вселить разум в правительственные действия. Но вот Шингарёв стал министром — и увидел всю обременительность, неоперативность, неуклюжесть этой затеи: она способна только отягощать и задерживать его действия, а в идеях Совещания он не нуждался: они сами были из дела видны. Теперь он изобретал предлоги, как бы этого Совещания вовсе не собирать.

Шингарёву неизбежно было опереться на свою систему продовольственных комитетов,— но как сложно и долго было их составлять! Председателем центрального комитета должен был стать он сам, а члены — набраться сложнейшим образом: по 5, по 4, по 3, по 2 (и это всё колебалось и обсуждалось), от Совета рабочих депутатов, от Земсоюза, от Союза городов, от военно-промышленных комитетов, от биржевиков, от сельскохозяйственных палат и от кооперативов. Только не знали, каким же образом взять советников от питающей деревни, как услышать голос самих крестьян? — но была надежда, что крестьян пока с успехом заменят кооперативы. И все эти намечаемые деятели уже набирались, охотно входили и спешили обсуждать, пока больше на частных встречах и в печати,— руководящие принципы будущего комитета, общий план, общие меры. И «Биржевые ведомости»

поучали министра, как правильно насытить продуктами центры потребления и даже как реорганизовать производство хлеба в стране.

Но общегосударственному комитету не через кого было начать работать, пока не будут созданы продовольственные комитеты губернские, уездные, волостные,— созданы спешно, и с тем же сложным представительством — по 5, по 4, по 3, по 2, да чтоб достаточный перевес демократии над цензовыми земцами, а чтоб работники были деловые — да не включать ли туда и только что уволенных, недавних уполномоченных по хлебу? Как набрать их всех быстро, толково — и быть уверенным в их работоспособности? А особенно в волостях! — из кого набирать в волостях? кто готов к этой работе? Вот когда под горло подступило пожалеть, что Государственная Дума столько лет тормозила столыпинское волостное земство!

Так сразу, одновременно надо было: и перестраивать организацию и усилять снабжение.

Сейчас предстоял самый опасный тяжёлый месяц полного бездорожья в центральных губерниях. Уже начавшаяся на юге распутица теперь будет продвигаться на север, а после снежной зимы она будет долга, и русская деревня со всеми запасами закроется на полтора месяца. До распутицы надо успеть собрать столько хлеба, чтобы всей армией и всеми городами просуществовать апрель и май. В последние дни, к счастью, хорошо подошли продовольственные грузы на Северный и Юго-Западный фронты, так что они снова стали откладывать в неприкосновенный запас. Но по всей Средней России надо было успеть подвезти зерно к станциям в самые короткие дни. Чтобы вся деревня как один человек бросилась доставлять запасы! Воздействовать на население надо было так быстро, как не могли успеть никакие законы, распоряжения и организационные меры,— воздействовать надо было пламенным словом!

Да такой путь воздействия был и более всего открыт, понятен и близок сердцу Шингарёва! Он даже предпочёл бы только так и действовать с министерского поста. Патриотический порыв — наше счастье, исцелитель всех наших недугов! Все планы дрожали и таяли из-за надвига распутицы, и оставалось только — снова и опять воззвать! Воззвать — к порыву людей. Самое простое — прибегнуть к человеческому голосу, подать его — о помощи! — и соотечественники, и мужички не могут не отозваться! Везите хлеб! Соотечественники! Меньше всего думайте о ценах и выгодах, а — везите хлеб! Если война требует жертв жизнью — почему ж не пожертвовать достоянием?

По бездорожью, по инертности — воззвание не дойдёт? Так — проталкивать его в крестьянское сознание! Пусть оно будет по церквям прочтено и разъяснено духовенством! И телеграфировать во все земства! И пусть уездные земские управы мобилизуют самых популярных общественных деятелей — на разъезды и разъяснения! В хлебородные губернии посылать комиссаров, эмиссаров: разъяснять крестьянам всю важность обеспечения городов хлебом. (А к петроградскому населению тоже воззвать: до введения карточек экономить хлеб.)

Так первые дни из деятельности Шингарёва рождались главным образом только воззвания — то от имени Родзянки, то — от продовольственной комиссии, то от целого правительства, то — особо к кооператорам, этой деревенской интеллигентной силе. Нужна спешная закупка и доставка хлеба к станциям и пристаням!

Хлеб производят крестьяне, но лучшая надежда получить его — через интеллигенцию. Если не интеллигентные силы будут агитировать за сдачу хлеба — то кто же? И от кооперативов, и от ссудо-сберегательных товариществ текли телеграммы с выражением глубокой радости о перевороте и с предложением продуктов в дар. Постановил Шингарёв собрать в конце марта кооперативный съезд.

Но прошла уже полная неделя Временного правительства, телеграф разнёс все воззвания по всей России,— а сани с зерном что-то слабо показывались на станциях.

Министр земледелия ещё продолжал делиться с печатью: да, все надежды возлагает только на общественную самодеятельность... На местах уже осознали и приступили к ликвидации доставшегося нам тяжёлого наследия... Продолжал искренне так говорить — но сам уже начинал и разочаровываться: воззвания воззваниями, но только государственные меры могли по-настоящему решить дело.

Неделю назад его покоробила разосланная Продовольственной комиссией телеграмма, дававшая *право* реквизировать хлеб у всех, чья запашка больше 50 десятин. А позавчера Шингарёв созрел — и телеграфировал по всей России циркулярно: всем уполномоченным по закупке хлеба для армии — эту реквизицию *привести в исполнение немедленно*, платя по твёрдым ценам. Он не только не отменил ту телеграмму,— он усилил её!

О, если б на насильственную реквизицию хлеба решилось царское правительство — кадеты первые бы уничтожили его в Думе. Но сейчас, когда власть перешла в руки народа, а Думы как бы совсем не стало,— теперь революционная власть, не боясь нареканий парламента, могла декретировать хоть и эту меру, хоть и большую: создать по всем губерниям и уездам энергичные хлебные комитеты — для добывания, вытягивания хлеба из русской глуби. И посылать им наряды центральной власти.

Теперь, вблизи, присматривался Шингарёв к деятельности своего предшественника Риттиха — и начинал сознавать, что тот делал на своём месте, пожалуй, наилучшее, что только мог. Разбираясь в кипах министерских бумаг, разглядывал теперь Шингарёв, что не в царском наследии было дело. В этом самом кабинете работавший Риттих (к счастью — ушедший от ареста, иначе это невыносимо мучило бы сейчас Шингарёва) — как бы оставил ему тут, в воздухе, и наилучшие советы. И Андрей Иванович начинал увлекаться тою системой, с которой так недавно боролся.

Как недавно, две недели назад, восклицал Шингарёв в Думе: политика мешает Ритти-

ху делать священное дело продовольствия. «Неосторожно, господин министр!» Но сейчас именно политикой — была переплетена и перемешана вся хлебная работа Шингарёва. Как недавно высмеивал в Думе Шингарёв риттиховскую идею *развёрстки*, активного призыва населения к добровольным поставкам,— а идея-то была правильная, и совсем не заменялась кадетской идеей самодеятельности: с августа по декабрь смогли купить только 90 миллионов пудов, а за декабрь-январь Риттих умудрился купить 160 миллионов, за что Милюков разносил его в Думе, а сейчас города и армия только этим и переживали зиму. А сейчас — о если бы, если бы поступление хлеба было февральское риттиховское, которое кадеты в Думе назвали катастрофическим,— о если бы оно, мы пережили бы весну! Но доходили сейчас вагоны хлеба, заготовленные при Риттихе,— а новые никак не заготовлялись, несмотря на весь революционный подъём.

Кадеты и сам Шингарёв обвинили Риттиха в его настойчивой громогласной хлебной развёрстке — как бесчеловечной мере. А сейчас Шингарёв обдумывал те же самые проблемы как уже имеющий власть — и ясно видел, что развёрстка хлеба не только была нужна, и должна быть ещё форсирована (с некоторых губерний потребовано слишком мало),— но для спасения страны развёрстка уже слишком слаба. Если и предстояло исправить меры Риттиха, то, с удивлением видел Андрей Иваныч: не сдерживать их, не отменять, но резко усилить в том же направлении, вмешивать государство не меньше, чем было при Риттихе, но — больше, беря под государственный контроль и заготовку, и перевозку, и разгрузку, и распределение повсюду. (Да Андрей Иваныч и прежде так начинал подумывать — но перед единством партии не смел высказываться.)

То есть... то есть проступала страшная, отчаянная мысль, которая и прежде маячила взору Андрея Ивановича, но про себя, без ответственности: что придётся, придётся... Ох, гляди на Германию (к ней давно уже приглядывался Шингарёв) ...не пришлось бы вводить *государственную монополию* на хлеб? Реквизиции — это только начало, а за ними проглядывало множество насильственных мероприятий, вплоть до того, что: весь хлеб России объявить собственностью государства! (Как это и сделано в Германии.) Внезапно, по телеграфу, в глушь, отрезанную снегами и распутицей, объявить: за вычетом норм посевных, кормовых и продовольственных для самих крестьян — всё остальное зерно объявляется собственностью государства, и хозяева этого хлеба превращаются лишь в хранителей его, ответственных перед государством.

Идея была — страшная своей революционностью, своей необычностью для России: Шингарёв дерзал переступить черту, ещё никогда никем не переступленную за тысячу лет России,— отнять хлеб у сеятеля и кормильца!

Но для спасения самой же России ничего другого придумать нельзя.

Однако: по ценам, что есть сейчас, забирать хлеб насильственно и даже весь подчистую — бессовестно, невознаградно за труд.

Так неужели же? — ох, неужели? — надо поднять твёрдые цены? Самим поднять, против чего так резко спорили? — это будет позор кадетского знамени! Этими зимними месяцами, вторым лидером кадетской фракции, никакого сомнения не имел Шингарёв, что твёрдые цены надо понижать. Но сев на министерское место — сам теперь увидел ясно, что их надо поднимать, как Риттих поднимал. Должны же оправдаться и затраты землевладельцев! Хотя бы то, что в крупные хозяйства сейчас не найти рабочих и сколько приходится только за них переплачивать. Беженцы пристроились в основном в городах. Нескольких разумных посетителей из деревни в эти дни успел принять Шингарёв, и том числе известного тамбовского помещика князя Бориса Вяземского, приехавшего на похороны брата. (При большом опыте в сельском хозяйстве и разнообразных способностях, у него было только лицо невыразительное, очень среднего чиновника, надо привыкнуть. Но Шингарёв его знал по Усманскому уезду, уважал.) И между прочим Вяземский предупреждал, что твёрдые цены не избежать повысить, если Временное правительство не хочет поставить всю деревню против себя.

Однако все эти свои новые догадки — осмелится ли Шингарёв высказать публично? Страшно перешагнуть через кадетскую совесть. Демократические деятели и сегодня бушуют, что нельзя поднимать твёрдых цен, но наказывать, наоборот, понижением цены всякого, кто задерживает хлеб. А что закричит Совет рабочих депутатов? А Громан? (Всё носится со своей идиотской понижательной шкалой: чем больше хлеба сдаёт земледелец — тем дешевле надо ему платить.) Это поднимется такой свист и грохот...

Перед немым лицом бородатого серого мужика — страшно было Шингарёву сделать шаг в хлебную монополию, даже до холодного пота. Перед подвижными, быстрыми лицами демократических коллег — так робостно, стыдно было обмолвиться о повышении твёрдых цен.

* * *

А ТЫ ПРОВЕРЬ, ПРОЙДЁТ ЛИ В ДВЕРЬ?

* * *

За десять лет, предвоенных и военных, сэр Джордж Бьюкенен почувствовал себя в России чем-то большим, нежели посол: тесные тёплые связи с русским обществом выдвигали его как бы в общественные деятели самой России. (Правда, по-русски он так и не научился.) Может быть, лучшим тут символом было, что в прошлом году Москва избрала его своим почётным гражданином, поднесла ему икону XV века и громадную серебряную чашу, изображающую шлем русского богатыря. В здании посольства у Троицкого моста Бьюкенен поселился не как временный посол, но как постоянный житель этой страны, перевёз сюда и всю свою личную обстановку из Англии, все свои вещи, всё, что имел,— ибо наша жизнь и есть наша повседневная, а не какая-то откладываемая будущая. (Когда начала бушевать по улицам революция, где-то кого-то грабили — можно и раскаяться, стоило ли всё сюда везти?)

В этом здании Бьюкенен часто принимал Родзянку, Гучкова, Милюкова, оппозиционных думских лидеров, здесь запросто очень свободные велись политические разговоры, и проклинался самодержавный строй, и императрица, и даже передавались слухи о заговорах, как и по всему Петрограду. Будучи человеком волевым и действенным, Бьюкенен не ограничивался этими благожелательными разговорами — но и сам выступал с влиянием. Министру Сазонову он просто стал близкий личный друг, и они пребывали в полном ладу, отчего так выигрывали англо-русские отношения. Узнав, что готовится смещение Сазонова, Бьюкенен совершил беспрецедентный для посла шаг: уже не имея времени даже для консультации с английским правительством — послал российскому императору личную от себя телеграмму: что посол так тесно работает с Сазоновым, что не может скрыть страха, какой вред его отставка причинит англо-русским отношениям, отчего и вынужден предостеречь царя от такой ошибки. А царь не ответил — и сместил Сазонова. (Министр сэр Эдуард Грей потом одобрил демарш Бьюкенена, и вообще его способ ведения дел в России, но, к сожалению, телеграмма стала известна немцам, и те окрестили посла некоронованным королём России.)

Так глубоко от сердца вошёл Бьюкенен в русские дела — не скрывал своих симпатий к стремлениям русских либералов и вместе с ними вёл следствие о несомненной государственной измене Штюрмера (увы, несомненных улик не удалось собрать — а реакционность его была у всех на виду). Богатый опытом и практическим зрением, Бьюкенен не мог отказаться давать и самому русскому царю пояснения, объяснения и советы. Он пытался остановить его и от неразумного принятия Верховного Главнокомандования. Он указывал ему на аудиенциях, что для блага России — надо даровать ей парламентский строй и пойти на уступки общественности. Иногда предлагал ему кандидатов на то или иное министерство. В прошлом октябре очень рекомендовал царю подарить Японии Северный Сахалин — за то, чтоб она прислала свои войска на русский фронт. Вообще он усвоил разговаривать с Николаем II, как до него ни один посол не разговаривал с державным властителем. А после убийства Распутина запрашивал Лондон, можно ли энергично поговорить с царём от имени английского короля и правительства. Такого полномочия он не получил — и решил говорить от собственного имени. В эту последнюю аудиенцию, накануне Нового года, царь принял посла не в обычной непринуждённой обстановке, но в торжественном зале аудиенций, один, в парадной форме и стоя, сразу отгородясь холодом официальности. Но и это не остановило сэра Джорджа, и он энергично убеждал императора, что единственный способ спасти Россию — это отказаться от нынешней внутренней политики и уничтожить преграды, отделяющие царя от народа. У Государя — странный способ выбора министров, и отдаёт ли он себе отчёт в опасности положения? «Если Дума будет распущена — я потеряю веру в Россию! Вы, Государь, находитесь на распутьи и должны выбрать одну из дорог!» И предостерегал, что некоторые советники императора в руках немецких агентов. И пока Протопопов у власти...

Всё тщетно! Николай держался оскорблённо, ничему не внял. И то была — последняя аудиенция. А революция, к счастью, назрела и прорвала, и вот уже была достигнута одна из целей, которые Англия преследовала: укрепить Россию для ведения этой войны.

И теперь, поворотом исторического колеса, вот, английский посол оказывался едва ли не распорядителем судьбы этого царя.

Два дня назад, выполняя пожелание Милюкова, Бьюкенен телеграфировал в Лондон, что Временное правительство просит предоставить в Англии приют бывшему царю и желает срочного ответа.

Такое приглашение не просквозило в телеграмме короля к царю (которую Временное правительство, видимо, не передало адресату,— да пожалуй и к лучшему; да это — его дело). И такое приглашение казалось невозможным, если знать всю обстановку в Англии и чувствительность либерального правительства Ллойд-Джорджа к левым голосам. Но вопреки всем предвидениям и к полному изумлению сэра Джорджа, сегодня пришла из Лондона телеграмма, что король и правительство Его Величества счастливы присоединиться к предложению Временного правительства о предоставлении государю и его семье

убежища в Англии,— разумеется, если они будут обеспечены необходимым содержанием, и разумеется лишь на время войны.

Это ново! Удивительный документ! Тут больше движения чувств, чем реальной политики. По дипломатической привычке сэр Бьюкенен перечитывал и перечитывал, выявляя невидимую часть... *Присоединиться к предложению* — вот где был ключ в телеграмме, вынужденной и вряд ли долговечной. Перед общественностью Великобритании правительство Ллойд-Джорджа не могло представить этот переезд иначе, как результат настойчивой просьбы Временного правительства.

Но была ли на деле такая настойчивая просьба? Из прошлых разговоров с Милюковым Бьюкенен не вынес впечатления о большой решимости правительства — и даже наоборот. Этим ключом и следовало отпирать.

По революционной обстановке Бьюкенен избегал пользоваться и своим автомобилем, и своим выездным фаэтоном с серыми в яблоках лошадьми с дрожащими ноздрями и роскошным кучером Иваном в синем наваченном толстом армяке, голубой четырёхуголке с посольскою кокардой, в белых замшевых перчатках, с голубыми вожжами. Сейчас сэр Джордж предпочитал, чтоб не нарваться на оскорбления, скромно пройтись пешком по Миллионной до министерства.

В ту же минуту принятый Милюковым, он положил перед ним расшифровку телеграммы.

Милюков был облегчён — несомненно, он не ожидал столь быстрого и столь решительного ответа из Лондона. Облегчён — но и смущён:

— Но сэр Джордж! Я уже говорил вам: мы никак не можем допустить, чтобы раскрылась инициатива Временного правительства в этом вопросе! Она должна остаться в тайне. Мы находимся под страшной угрозой и нареканиями Совета рабочих депутатов!

— Но, господин министр! — возражал посол.— Наше правительство также имеет своих крайних левых, с которыми должно считаться. Мы тоже не можем взять инициативу на себя. Согласие, вы видите, пришло исключительно в ответ на вашу просьбу.

За очками Милюкова появилось совсем редкое для него умолительное выражение:

— Но в нынешней обстановке... Мы никак не можем выявить такой инициативы, сэр Джордж! О нас подумают...

— Но и мы, Павел Николаевич, не можем допустить, чтоб общественные круги не только Англии, но и России заподозрили бы английское правительство в намерении реставрировать русскую монархию.

Тупик.

— Примите во внимание, что переезд царя положит косвенную тень также и на французское правительство — как бы тоже в соучастии в попытках реставрации. Будут протесты и там.

Обсудили аспекты второстепенные. Чтоб император не покидал Англию, пока не будет окончена война? Да, это очень желательно и с русской стороны — чтоб он не стал где-либо игрушкою врагов. Содержание? — да, да. (Хотя: можно ли будет средства государя вывезти из России?..) Снова осведомился посол, насколько сейчас прочно обеспечена безопасность бывшего императора? Один великий князь, не желающий оглашения своего имени, посетил дочь посла и предупреждал, что император будет убит, его надо вывезти поскорей.

Милюков с неожиданно живым движением очень попросил посла: не контактировать ни с какими членами сверженной династии! — это может бросить тень и на вас и на нас.

— Но ведь в России сейчас нет поводов ожидать какой-либо опасности царю? — настаивал посол.

— О, ни малейшей,— заверил Милюков.

Тогда Бьюкенен ещё, гипотетически:

— А отчего бы государю не поехать в Ливадию? Там он будет и хорошо защищён, и его легко там изолировать.

— Увы, возможны неприятные задержки в пути со стороны революционных рабочих. И потом — семья ещё не выздоровела.

Посол ушёл, а Милюков остался со своим недоумением.

Несмотря на дружбу с Бьюкененом, он тоже не мог говорить откровенно.

Собственно, сэр Джордж сам его сбил позавчера, проявив слишком уж повышенное беспокойство о судьбе царя. Он сам подтолкнул Милюкова усилить, ускорить просьбу об отъезде царя в Англию.

Буквально такого поручения от правительства Милюков не имел. Это всё были — скользящие мнения, предположения,— а на самом деле правительство зажато Советом.

Да просто нельзя было ожидать от Англии столь поспешного — хотя по-английски и уклончивого — согласия.

Только ли оно! Русский посол в Мадриде князь Кудашев только что телеграфировал, что и испанское правительство приглашает государя, и безо всяких условий.

Дело не в приглашении — дело в невозможности: что скажет Совет?

Да и сам Кудашев — слишком откровенный монархист, его следует уволить.

Так было тихо всквозную на фронте, что в солнечный день в лесу был слышен шорох: как подтаявший снег осыпается с сосен.

От череды дневных таяний и ночного морозца образовался наст. И на открытом поле он так и держится прочно, едино, поблескивая в солнце, а в местах осенённых вдруг со страшным шуршанием вдаются, опадают большие плиты корки.

В лесу (Саня забрёл в Голубовщину) там и сям по снегу темнеет какой-то сор. Это нашелушилась и облетела бронзовая прозрачная бумага — сосновая тонкая кора с верха стволов.

А где и потолще, это с низу ствола.

И немного игл, не досыпавшихся осенью.

А то — насорённая шелуха от десятка разгрызанных сосновых шишек. И мелкие следы, мельче заячьих. Живут!

У молодых сосен из концов веточек уже растут желтоватые свечи.

А небо — белесовато-голубое, нежное, ранне-весеннее.

От солнца коже — прямое тепло. И где-то в воздухе — перемещение тёплых струек, между холодных.

И ото всего вместе — нежная тяга: когда же, наконец, начнёшь ту главную свою жизнь — чистую, светлую, необходимую? До каких же пор — окольные пути, война какая-то?..

Что-то в Сане отчуждалось от войны. Сам пошёл, два с половиной года долгом вгонял себя в военного человека, и даже втянулся, даже почти безоглядно воевал,— а вот отказало что-то. Не стало совсем стрельбы, военных действий — и Саня сразу ощутил себя выключенным из войны.

Увы, его — не считали выключенным. И сегодня дали расписаться в приказе, что с понедельника он будет при фольварке Узмошье, при штабе бригады, через день обучать офицеров 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского и 3-го гренадерского Перновского полков действиям с противоштурмовыми орудиями.

Странно это было сейчас.

За долгое стоянье здесь обучали кого чему, появились добавочные специальности. Устимович — газовый комендант, Чернега — по орудиям противоаэропланным, а Саня стал как бы специалист по выдвинутым вперёд одиночным орудиям против ожидаемой новинки «танков» — железных передвижных чудовищ, которые у англичан уже в деле, а у немцев вот-вот должны появиться. «Танков» ни разу ещё не было, но в январе Саня стрелял с передней линии по прожекторам, по нему отвечали — а он продолжал стрельбу и заставил прожекторы погаситься,— светили немцы потом ракетами, кострами, а прожекторов больше не зажгли. А потом еле укатили орудие — немцы дали по тому месту смертоносный огонь.

С того вечера подпоручика Лаженицына и признали окончательно — по противоштурмовым орудиям.

Но петроградские события — лишали это всё смысла.

Такое ощущение, будто кончилось Санино дело здесь. Что-то надломилось и в войне и ещё более в нём самом — и Саня разом потерял к ней вкус.

Немцы? — наверняка не будут больше действовать, появилась уверенность. Зачем это им? Они только рады нашей революции, руки развязались.

Даже энергичные честные слова смирновского приказа не собрали Саню к действию. Да и вряд ли кого многих. Они — искренно выражали, да не всё нынешнее состояние. В соседних гренадерских полках то одна, то другая рота отказались идти на работу — и оба раза ездили уговаривать командиры полков. А потом и целый батальон — дошёл до работ и отказался. Так и возвратили его в резерв.

Если у войны была (вообще бывает?) душа — то она отлетела.

Ну и пусть. Ну и лучше.

Именно — к лучшему, может быть, это всё и происходит? Это общее тяготение к миру — разве оно не есть стремление к добру?

Бог посылает — расстаться с войной.

Но если душа отлетела от войны — то и не в революцию она вселилась. В три дня Саня насытился газетным революционным чтением — и стало ему скучно-прескучно. Всё писали о грандиозности событий — но не видел он в том никакой грандиозности, а обезумелую суету. Всё это огромное, непроворотливое, мутное — на сколько ещё времени?

Интересно, что Котя? Саня написал ему письмо, но встречного не было. Теперь он — чуть подальше, легко не съездишь.

Косо прислонясь к бронзовой сосне плечом, и головой к ней, а лицом жмурясь к солнцу, Саня стоял как подпорка ствола.

Такая подпорка зовётся *пасынок*.

А он хотел быть — сыном. Этого леса, этой весны, всего голубовато-солнечного огляда.

Он хотел вернуться в ту жизнь, какую знал раньше, когда совсем нет войны, и никакого ей оправдания.
Хотелось — этого мира! Размышлений. Уединения.
Чуть-чуть, вот, отъединись,— и греет солнышко, попискивают клесты, и с дыхательным шорохом оседает отяжелевший снег.
Ясная тишина — и царствует над ней тайна Божья.
И хочется подняться к ней и влиться в неё как в самое своеродное.
Подняться к ней — как это сказано: от земного изгнания.
Что это? Предчувствие, что скоро убьют?
Нет, чувство такое светлое, не вяжется со смертью.
Голубизна неба — ещё несмелая, несплошная.
Вся глубина и яркость его — впереди.

* * *

Ты воспой, воспой, жаворóночек,
Сидючй весной на проталинке.

538″

(по социалистическим газетам, 8—10 марта)

АРЕСТ НИКОЛАЯ II ...считаясь с явно выраженной волей революционного народа, Исполнительный Комитет признал пагубным для дела русской революции как оставление Николая II на свободе, так и выезд его за границу...

Подробности ареста царя... В пути царского поезда к комиссарам Государственной Думы являлись с денежными пожертвованиями для жертв революции — всего 380 руб. 50 коп.— делегаты поездного состава, от кухонной прислуги и от дворцовой полиции. Делегат последней заявил: «Так же честно, как мы служили старому порядку, мы будем служить и новому правительству.»

РАССТРЕЛЯТЬ? ...телеграмма Н. Н. Романова, который, неизвестно по какому праву, продолжает именовать себя Николаем Николаевичем... Озабочен не осуществлением свободы, но поддержанием дисциплины... не отстаёт и начальник штаба Алексеев... Такие господа не свободу дадут, а военно-полевые суды, виселицы и расстрелы. Чего же смотрят Гучков и кн. Львов? Неужели они думают, что у Романова и Алексеева не найдётся верёвки и для них?

...Газета «Речь», орган Милюкова, призывами к народному единению науськивает против солдат и рабочих, а сама подготовляет реставрацию Романовых...

...Наш враг силён и хитёр. Он отступил, притаился, но точит свой нож, чтобы воткнуть народу в спину. Волки надевают овечьи шкуры, проникают, куда возможно, чтобы завладеть потерянными позициями, и втихомолку организуют контрреволюционные силы. Демократия должна зорко следить за этой искусной подпольной работой. Главная опасность грозит именно с этой стороны.
(«Известия СРСД»)

...Страна нуждается в мире, кто не понимает этого — тот враг народа. Мы желаем думать, что Временное правительство — не враги народа.
(«Рабочая газета»)

ТОВАРИЩИ! ЧИТАЙТЕ «ПРАВДУ» ВСЛУХ НА УЛИЦАХ, НА МИТИНГАХ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ДРУГИМ

...Временное правительство — целиком из представителей буржуазии и землевладельцев. Таким образом, рабочие, разгромив монархию, добровольно сдали власть привилегированным классам. Это небывалая революционная скромность. Революция есть прежде всего захват политической власти. Это так легко было сделать, а рабочие упустили. Но остаются две позиции, с которых можно без новой революции кое-что вырвуть: демократическая республика и прекращение войны...

...вожди английской лейбористской партии «твёрдо рассчитывают на помощь русских рабочих в деле свержения германского деспотизма»... Мы всем сердцем ненавидим деспотизм Вильгельмов, но и Брианов, но и Ллойд Джорджей, деспотизм к полякам, евреям, но и жителям английской Индии. Везде одурманиваются мозги пролетариата, война ведётся в интересах крупнейших капиталистов. Все они, капиталисты коалиции и центральных держав, уже туго набили себе карманы. Все эти прибыли вдут за счёт крестьян и рабочих. Чтобы скорей победила революция в Германии, нужно открыто заявить, что мы не хотим продолжать войну без конца.

Резолюция на митинге солдат и рабочих 8 марта. 1000 человек. Это Временное правительство не является выразителем... Недопустимо давать ему власть над восставшей страной... Совет Рабочих Депутатов должен немедленно устранить это Временное правительство либеральной буржуазии.

...В рядах Временного правительства таятся контрреволюционные вожделения...

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ? Новое правительство выпускает 2 миллиарда бумажных. А дальше что? Буржуазия кричит: «всё для войны!». Вот пусть и отдаст — все доходы за 1916 год всех акционерных обществ, всех домовладельцев, всех землевладельцев, всех частных железных дорог, банков и держателей процентных бумаг. Не разорятся, а только покажут, что «всё для войны!».

О НАШИХ БЛИЖАЙШИХ ЗАДАЧАХ. Возвращение к работам в наши сказочные дни есть явление сложное. Под тяжким гнётом царского самовластья душой пролетариата владела страсть к разрушению — и привела его к победе. Но пробуждено новое сложное чувство — воля к строительству новой жизни... На улицах новая жизнь стоит перед пролетариатом в ярких одеждах свобод. Но на фабрике — разве может рабочий мириться с прежней обстановкой?..

...будем вырабатывать оружие для революционной армии, но оставляем за собой право в любой момент возобновить беспощадную забастовку...

В ЖЕЛЕЗНЫЙ ФОНД ГАЗЕТЫ «ПРАВДА». ...будем всячески поддерживать «Правду» и распространять проповедуемые ею идеи в среде наших малосознательных товарищей...
Сознательные солдаты Измайловского батальона

...Московский СРД постановил: требовать от владельцев предприятий вознаграждения рабочим с 28 февраля по 6 марта...

...Решено к работам не приступать, объявить бойкот... Должны уплатить за прогульные дни революции!

...Ни для кого не тайна, что революционные войска победили без офицеров. Только после победы офицерство стало присоединяться. Поэтому задача момента — создание революционного офицерства из отличившихся рядовых, унтер-офицеров, фельдфебелей... Ротные комитеты должны зорко следить, чтобы командование солдатами не находилось в руках сторонников старого порядка...

Французский офицер в Совете Рабочих и Солдатских депутатов. ...попросил слова и на чистом русском языке обратился к солдатам с поздравлением по случаю свержения ненавистного царизма. Речь вызвала бурю долго не смолкавших аплодисментов.

ПРИЗЫВ К ПОЖЕРТВОВАНИЮ. Совет Рабочих Депутатов... Ко всем, кому дорога победа над старым режимом... жертвовать на нужды революции деньги и припасы...

Агитационная комиссия при ИКСРД... установила те общие положения, которыми агитаторы должны руководствоваться в своих выступлениях на собраниях...

К ЕВРЕЙСКИМ РАБОЧИМ. Товарищи! Старый режим пал. Кровавым ужасом заливал он всю Россию... Революционный пролетариат был отдан на разграбление преступной банде палачей и охранников. Угнетение еврейского населения было доведено до неслыханного цинизма и зверства... 6-миллионный еврейский народ задыхался в удушливой атмосфере... Еврейский пролетариат всегда высоко держал знамя революции. Ещё много усилий, чтобы были выявлены все грани нарождающейся свободы... Ещё живы прислужники старого режима... Издыхающий зверь царизма ещё может оскалить свою окровавленную пасть...
ЦК Еврейской Рабочей Партии Социалистов-Территориалистов

ОРГАНИЗУЙТЕСЬ! Дело революции не закончено! — это надо повторять как можно чаще, всем и каждому. Надо уничтожать нашу распылённость...

От Продовольственной Комиссии. ...все находящиеся в Петрограде воинские части просьба немедленно сообщить, где они питаются.

Норма потребления хлеба уменьшена до одного фунта для лиц интеллигентных профессий и до одного с четвертью для занимающихся физическим трудом.

УНИЧТОЖЬТЕ ХВОСТЫ! — и тем самым вы укрепите революцию!

...Слой мелкой торговой буржуазии (лавочники, сфера обслуги) совершенно не нужен экономически и вреден политически...

Очереди для входа в трамвай решил установить Исполнительный Комитет. Предполагается ввести парижскую систему.

РАБОЧИЕ КЛУБЫ. Предстоит великая избирательная битва в Учредительное собрание. Великая Французская Революция начала политическое воспитание масс с открытия политических клубов. Побольше клубов как можно скорей! Пусть они будут маяками для масс!..

...На первом заседании Одесского СРСД... об организации борьбы с недремлющими тёмными силами...

Шлиссельбургская крепость горит четвёртый день.

Слушатели и слушательницы зубоврачебных школ! ...Единственная форма свободной борьбы пролетариата за лучшее социалистическое будущее...

Общество студентов и курсисток мусульман... Глубокоуважаемый Александр Фёдорович! Вам, почётному члену наших организаций, шлём горячее слово привета...

...Товарищам марксистам-грузинам предлагают собраться для совещания о текущем моменте.

Товарищи часовщики! Мы переживаем величайший момент в нашей истории. Соберёмся в театре «Ренессанс» и обсудим...

Вниманию рабочих булочно-кондитерского, калачно-макаронного и хлебо-бараночного производства! Цепи, сковавшие наши руки, пали. С сознанием своего могущества приступим к созданию...

...высказаться по поводу всероссийского съезда **портных** в ближайшее время.

МИТИНГ ШВЕЙЦАРОВ. Говорили о политическом моменте и о тяжком положении швейцаров, дворовых и ресторанных...

...принять немедленно шаги к созыву социалистического Интернационала...

УКАЗ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ АМНИСТИИ...

...до чего нельзя медлить с разгромом очагов старой самодержавной власти... Слуги реакции не сдаются... в Богородицке... в Рогачёве... Эти попытки должны быть подавлены на всём пространстве России с решительностью, достойной великой революции. Нельзя дать им опомниться от первого шквала революции! Нельзя оставить на свободе эти банды полицейских, жандармов, завсегдатаев черносотенных вертепов и реакционных салонов. Ядовитую змею надо раздавить немедленно!

(«Рабочая газета»)

ГЕНЕРАЛЫ-УСМИРИТЕЛИ. Приказ генерала Радко-Дмитриева... При малейшем проявлении свободного духа... Всякий монархист — враг народа и свободы.

...Что значит сейчас борьба за 8-часовой рабочий день? Это значит бросить занятую политическую позицию и перейти на новую, экономическую. Но разве так делают на войне? Завоевав позицию, на ней хорошо окапываются.

Жертвуйте заработок первого дня после забастовки — в **Железный Фонд «Правды»**.

РЕЗОЛЮЦИЯ БЮРО ЦК РСДРП О ВОЙНЕ. Продолжение войны Временным правительством ставит цель грабительской политики прежнего царского... Основная задача: борьба за превращение империалистической войны в гражданскую войну народов против своих угнетателей... Неотложно необходимо:

— широкое братание в траншеях;

— выборы комитетов на фронте, руководствуясь Приказом № 1. Защита страны может быть только при революционной диктатуре пролетариата.

...Временное правительство торопится закрепить армию приведением её к присяге — не свободе, а Временному правительству. А если Временное правительство захочет оказать вооружённое давление на Учредительное Собрание? пожелает разогнать Совет Рабочих Депутатов? Опубликованный текст присяги — преступное покушение на права народа. **Свобода в опасности!**

Заём «свободы» — или заём порабощения? Новый министр финансов сообщил о новом грандиозном займе на нужды кровавой бойни... Одной России война в день обходится 50 миллионов рублей. Ни одной копейки не даст пролетариат, но сильней подымет голос!..

Товарищи солдаты! Не сдавайте оружия, вооружайте новые кадры революционной милиции. Революция не кончилась! Требования восставшего народа осуществить можем только мы сами...

ЖЕЛЕЗНЫЙ ФОНД «ПРАВДЫ». Недостаточно только записаться в партию и получить членский билет... Надо поставить себя на службу своей партии... Неутомимо вербовать... собирать пожертвования...

СУДОРОГИ СТАРОГО РЕЖИМА. ...Во многих местах представители старой власти пытаются... Можно однако не сомневаться, что в в самых медвежьих углах...

...О положении дел в деревнях имеются только отрывочные сведения. Процесс революции там идёт неравномерно и замедленным темпом.

...Еврейская группа демократического объединения приглашает сочувствующих еврейских беспартийных на организационное собрание.

Конференция организаций Бунда...

...206-я годовщина кнутобойства и злодейств дома Романовых: 5 марта 1711 г. Пётр I пристегнул эпитет «императорский»... Университет, Академии, учёные общества, театры — откажемся от этого позорного титула!

...Женщина-работница, спавшая непробудным сном столько долгих лет, в полном подчинении мужчине, проснулась! Вставай, русская работница! Подбирай ключи от счастья женского, отпирай замки!

...Длинный рабочий день, как доказал Маркс, ведёт к непомерному увеличению прибавочной стоимости...

Резолюция слушательниц курсов Лесгафта. Требуем непрерывного надзора за Временным правительством со стороны Совета Рабочих и... Признаём только те постановления правительства, которые подписаны Советом Рабочих и...

...Московский комитет РСДРП послал приветственную телеграмму вождю РСДРП т. Ленину.

ГОРОДСКАЯ МИЛИЦИЯ. Районные советы милиции должны избираться всеми гражданами и служить органами контроля за милицией. Но ввиду того что такие выборы в скором времени осуществить невозможно, временно эти советы будут избираться самими милиционерами.

Люди чёрного автомобиля — это гласные петербургской городской думы... И они распоряжаются воспитанием ваших детей, заведуют трамваями? Вырвать городское хозяйство из их рук! Новые выборы в думу явочным порядком!

...В интересах перестраивающейся на новую, светлую и лучшую жизнь Родины прошу редакцию поместить, а комиссара Московской части оповестить встревоженных прихожан, что с колокольни св. мучен. Мирона Егерского полка, а равно из квартиры настоятеля никаких выстрелов из пулемётов, как показало следствие самих солдат-егерей, не было.

Протоиерей церкви св. мучен. Мирона

Михаил Добровольский

Расследованием Гос. Думы подтверждено.

Комиссар Московского района

Вл. Динзе

ТОВАРИЩИ СОЛДАТЫ! ...из главной кассы Управления Николаевской железной дороги... Прошу товарищей солдат сообщить, куда доставлены народные деньги, или вернуть их в главную бухгалтерию... Каждая народная копейка должна быть на учёте...

Товарищи писаря... приглашаются в столовую Главного Штаба для совещания об организации своего Центрального Комитета...

...Общее собрание лазаретных, связанное с переживаемым моментом. Отсутствующих из лазарета просят известить по телефону...

Печники решили идти со всем революционным классом и выбрали одного делегата...-

Товарищи счетоводы! В великий и исторический момент...

ПРИВЕТСТВИЕ. Братья-товарищи! Не забудьте и нас, тружениц-прислуг, ибо мы рабыни, находимся под игом...

Группа петроградских прислуг

К товарищам трактирного промысла. Позорное самодержавие Николая Второго рухнуло. Переживаемый момент обязывает нас, «пролетариев зелёной вывески», приступить к организации наших распылённых сил... Соединиться с товарищами поварами... Обращаемся к Совету Рабочих депутатов, чтоб он зорко следил за Временным правительством, почти исключительно состоящим из консервативно-буржуазных слоёв с явно монархическими тенденциями... И установить во всех трактирах, ресторанах, кафе и шантанах — 8-часовой рабочий день.

Потерявшийся мальчик Николай Ионов находится у солдата 4-й роты на Фонтанке... Просят родителей явиться за ним.

539

Изо дня в день перекладывали вопрос о печати: дозволить ли выходить всей печати без ограничения или правые газеты запретить? Но уже нельзя было оттягивать, просители не уходили из приёмной, надо было что-то постановить. Большинство ИК соглашалось, что разрешать все газеты без разбора — вредно. Но и разбор всё время производить — хлопотно. Да и действительно как-то неудобно стеснять свободу печати, упрекали свои же некоторые социалисты. И решили — все допустить, ладно. Но — зорко следить, что они там печатают.

Вопрос беспрепятственной печати сразу связывался с опасностями провинции.

Революция не могла спокойно развиваться, не уверенная в провинции,— а провинция всё еще клубилась тёмной невыясненной тучей: в любом углу можно было ожидать сгущения контрреволюционных сил и взрыва их. Появление правых газет могло бы этому способствовать. Петроградский Совет обязан немедля установить надо всей провинцией властный жёсткий контроль. Но для этого и созданная иногородняя комиссия ИК оказалась неудачно составлена: один Александрович там был несомненного дела и готов был хоть сейчас ехать с револьвером и бомбами расширять революцию. А Рафес — столичный житель, привыкший к журналам, статьям,— никак никуда он ехать не собирался, да даже и мыслями вникнуть не мог в дела этих несчётных губернских и уездных городов. А уж тем более — Гиммер: он не желал опуститься с уровня интернационального до провинциального и быть, и дать себя считать кем-нибудь иным, кроме как теоретиком, направляющим всю революцию. Он уже несколько дней бродил с рассеянно-отсутствующим выражением, держа в руках стёртые в сгибах листы с проектом нового порученного ему Манифеста к Народам. И кто к нему на ходу обращался — он совал рецензировать свой документ. А на заседаниях, утонув в углу турецкого дивана, продолжал его править.

Другая же опасность росла в самом Петрограде — и это не было уступчивое Временное правительство, но — командующий Петроградским Военным округом Корнилов. За первые же три дня с его назначения тут начали на него поступать жалобы: он не выполнял всех требований Исполнительного Комитета, не снимал с должностей подозрительных офицеров, скрывал свои действия от посланного к нему советского представителя, пытался в полках ломать солдатскую самодеятельность и насаждать прежнюю царскую дисциплину. А ещё и появилась в газетах заметка, что в корпусе его на фронте солдаты продолжают петь на поверках «Боже, царя храни».

И — пронизан был Исполком острым подозрением, что буржуазия его обманула: пока притворяясь сговорчивой, сама поставила на Петроград чёрного генерала, чтобы подготовить реакцию и переворот. Угроза была слишком близка и опасна, надо было разглядеть этого генерала получше и поговорить с ним начистоту. (Нахамкис и Александрович требовали: снять генерала безо всяких с ним разговоров.)

Кого же послать на разведку? Правильно было — из Военной комиссии, чтобы сколько-нибудь дело понимал, но и — нельзя было никакого офицера генерального штаба, потому что такая же дворянская кость и каста, такой же заговорщик. И сошлись — на кандидатуре Ободовского.

Странный был этот Ободовский: несомненно левый — но ни к какой партии не мог быть отнесен. Инженер — а толокся среди военных. И вот, послать на политическую разведку — так лучше его и не придумали. И вчера — послали, он имел переговоры с Корниловым. А сегодня, сейчас — пригласили его на Исполнительный Комитет и слушали.

Ободовский говорил поспешно и так убеждённо, что не хотелось сразу ему и уступить. По его высокому нервному лицу гонялись морщины, он хлопал по лбу ладонью, как будто бил на себе мух, и подвижно оборачивался на возраженья, ещё более подвижными глазами успевая вперёд. Тридцать человек сидело в Исполнительном Комитете — он как будто каждого отдельно убеждал.

Вот в чём удостоверился Ободовский: кандидатура Корнилова выбрана исключительно удачно. Он настоящий воин, подлинный представитель фронта — карпатский герой, для солдат нельзя было выбрать более авторитетного, они его восторженно встретили в Совете, и офицерство сплошь за него. Корнилов совсем не противопоставляет себя Исполнительному Комитету — и хочет сохранить с ним контакт. Он даже сам предложил, что будет только тех лиц утверждать к занятию должностей, которых предварительно одобрит Военная комиссия. Он обещал не смещать командиров, избранных солдатами, и напротив — смещать тех, кто подозревается во враждебном отношении к революции. Все передвижения войск готов согласовывать с Исполнительным Комитетом. Ободовский долго с ним говорил и просит членов Исполкома ему поверить: Корнилов вполне трезво усвоил истинное положение дел в Петрограде, реальное соотношение сил,— и может, и должен быть оставлен командующим Округа.

Вывод докладчика оказался неожидан, фигура Корнилова уже почти решена была к снятию, оставалось только передать требование Временному правительству. Но если так?.. А вызвать генерала сейчас сюда! вот прямо сегодня, на заседание к нам?! Посмотрим на него, и сами убедимся. И факт, что он явится, тоже будет ему уроком подчинения.

Ободовский пошёл телефонировать.

Тем временем одни переходили к закусочному столу, не нарушая заседания, другие продолжали обсуждать текущие дела, которых был большой список.

Надо было послать приветствие товарищу Мерингу, в ответ на его приветствие. Одобрили. (Станкевич спросил у соседа шёпотом, кто такой Меринг, и очень уронил себя. Ну и набрали членов,— да вождь немецкой левой социал-демократии и биограф Маркса!)

Надо было утвердить меры по усилению советского влияния на Северном фронте.

Надо было... Да, вот... Стали клеветать на Исполнительный Комитет, что он неизвестно из кого составлен, что в нём заседают какие-то анонимы, неведомо кто такие, откуда взялись. А сами хватились — и правда: в журнале секретаря не было всех точных адресов и даже не все истинные имена членов были известны другим товарищам.

И теперь Чхеидзе предложил, чтобы все немедленно сообщили Капелинскому свои подлинные имена и адреса.

Нахамкис рассердился: что же, мы подчиняемся самодержавной идеологии? Это при самодержавии нельзя было отлипнуть от своей фамилии — но и то, например, за ним установился и признавался его псевдоним Ю. Стеклов,— а теперь он должен отказаться от своего славного революционного прошлого?

Чхеидзе разводил руками: не отказаться, но общественность требует всё шиpo, ничего не поделаешь.

Станкевич, новичок здесь, заметил, как многие смутились. Но ведь не было теперь прямой опасности открывать свои имена. Так оттого, что, оглядясь, тут слишком много инородцев,— несоразмерно их численности и в Петрограде и в стране? Но это и следствие грехов старого режима, который насильственно отметал инородческие элементы в левые партии. А не больше ли виноваты сами русские, что их тут нет, что они не нашли инициативы сюда пробиться?

Тут началось картинное, с актёрским изображением, сообщение Масловского, как он вчера устроил проверку царю. Смеялись. И сам Масловский понравился Исполкому: вот, при таком скромном виде, а какой великолепный революционный взмах оказался в товарище. Однако стать постоянным комиссаром при арестованном царе он отказался.

А Соколов будоражил дальше: итак, Исполнительному Комитету удалось вчера пресечь опаснейший заговор контрреволюции — похищение царя. Но об этом нигде не опубликовано, а — надо! Для авторитета Исполнительного Комитета очень выгодно показать, как мы реально контролируем правительство, в революционных массах возрастёт к нам доверие и уважение. И просил Соколов поручить ему сегодня вечером на пленуме Совета депутатов выступить с полным изложением вчерашней операции. (Уже не помещаясь в думском зале, сегодня первый раз собирали Совет в Михайловском театре.)

Соколов — как зуда: он когда чего-нибудь добивается, то никому уже покою не даст, даже всему Исполкому. Согласились: пусть — объявим; пусть — Соколов.

Но тут — с силой распахнулась дверь и решительно вошли, на ходу размахивая руками,— Гвоздев и Панков. Отчего они так, откуда? — не все сразу вспомнили: были на переговорах с фабрикантами. И вот...

Гвоздев — подошёл к общему столу, не садясь. Выпятил лоб с выражением недоуменно радостным и потряхивал рукой, как в пожатии:

— Так что, товарищи,— договор заключён! Питерские фабриканты отступили по всей линии. Согласны на восьмичасовой!

Что поднялось! Вскакивали с мест, аплодировали, кричали «ура». Едва начали переговоры — и сразу 8-часовой! — и никаких хлопот Исполнительному Комитету! Да этого нельзя было представить! Десятилетиями боролся пролетариат, мечтать не смел — и вдруг, одним ударом!

А-а-а, напуганы буржуи, толстосумы!

Надо и дальше из них выжимать!

Но — наша, наша сила какова?! Кто мы есть, а?!

Так позвольте, товарищи, так если фабриканты уступили — теперь надо договориться с правительством о заводах казённых, и с городом — о городских. Невозможно же одним восьмичасовой, другим прежний.

И пусть издают указ — по всей России! Не один Петроград! Победа должна быть всеобщая!

Вошёл Ободовский — и обнимал Кузьму.

Исполком не узнавал сам себя, многие так и стояли на ногах. Что ж мы за сила, а? Перед нами расступись!

— Корнилов — едет! — доложил Ободовский.

Ага-а! Ну, и судьба Корнилова тем более на волоске, если он сейчас только чуть-чуть...

Нахамкис крупно выступил вперёд и стал укладывать тяжеловесно:

— Товарищи, сейчас — не поддайтесь доверию. Помните, что перед нами — генерал старой закваски, царский пёс. Он конечно хочет революцию не только на этом закончить, но — повести вспять. Ни одного нашего требования — не уступайте! Вывод гарнизона — ни одной части! Все наши распоряжения по петроградскому гарнизону — безоговорочны! А какие реформы обещаны в Действующей армии — пусть делают, да поскорей.

После него резко выступил Эдуард Соколовский. Демократические реформы в армии только тогда станут возможны, когда будут назначены военачальники, подходящие для народа. Ни один сейчас главнокомандующий фронтом, ни один командующий армией — не подходящий для народа, и Корнилов тоже неподходящий.

В защиту Корнилова никто не говорил, но стали всё же высказывать: а займём пока по отношению к нему выжидательную позицию? Подождём и посмотрим. Ведь он на посту — только несколько дней, посмотрим.

Скобелев говорил: нет и нет, слишком много против него подозрений.

Красиков предложил: вот мы его как проверим — требовать для всего петроградского гарнизона выборное начало. Хотя бы низшие офицерские должности чтобы были выборные. И посмотрим, как он отреагирует.

Этой глупости не мог Станкевич слушать.

Эти большевики подступали уже комом к горлу. Ведь среди них ни одного военного, а громче всех рассуждают о войне и об армии. Как вожак их Шляпников с очумелыми крайними лозунгами, как этот Красиков, и эти два жёлчных злых адвоката — толстый Козловский с лицом как жирная задница и длинный, сухой, угрюмый Стучка. Среди всех большевиков тут поражал один Залуцкий, питерский рабочий,— мягкий, печальный и так озабоченный, будто кто-то из близких его долго и безнадёжно болен. Однако же и он голосовал заодно с остальными. Станкевич ещё молчал, привыкал тут, а придётся с ними столкнуться.

Пока Корнилов не ехал — объявили перерыв.

И в этом разброде — он явился, в сопровождении нескольких офицеров.

Нет, вид у него был — никак не царского генерала и не петербургского. Не вознесенный, отблещенный, не вскручеусый, никак не белокостный барин,— а скромный, тихий, даже неразвитый,— как фельдфебель, почему-то бы вдруг произведенный в генеральский чин. Да даже и не немецкий и не великоросский вид, так наполняющий офицерство,— а смуглый, калмыковатый.

И этим видом своим и тихим рокотом голоса Корнилов сразу обезоружил почти всех членов Исполкома.

Стал подряд со всеми здороваться за руку, поглядывая внимательно на каждого. А затем и сел на первый попавшийся стул, боком к столу,— и вокруг него рассаживались члены ИК где кому придётся, уже не в виде заседания.

Свита генерала стояла поодаль, а из других советских комнат и из Военной комиссии тоже стали собираться, любопытствуя. Сразу набилось, нажалось к стенам, целая толпа. А кто и курил, дым висел. Но разговаривали с Корниловым только те несколько, кто сели против него (ни Чхеидзе, ни Скобелев туда и не попали, не попал и Станкевич, единственный офицер в Исполкоме). Разговор получился запросто, беседный.

И совсем просто, ещё специально не допрошенный, Корнилов сам спокойно сказал, что он хотел бы работать в согласии с Исполнительным Комитетом. Что сам — очень нуждается в помощи Исполнительного Комитета, для того чтобы восстановить в войсках дисциплину, сплочённость и единую волю к победе.

Ну, не так сразу и просто.

— Но признаёте ли вы революцию? — допрашивал его Козловский.

Да, конечно.

Тут же Соколовский:

— Но готовы ли вы защищать её от всякого нападения?

Да, конечно.

А каким он нашёл гарнизон?

Не стал восхвалять революционность гарнизона, но и не бранил, а сказал, что он надеется — всё может постепенно направиться, если терпеливо отнестись.

Очень выгодное впечатление он производил, члены Исполкома стали успокаиваться.

Однако Гиммер, тоже из любопытства поспешивший к Корнилову поближе, свои бумаги засунув в нагрудный карман пиджака, поверить не мог, чтобы царский генерал так простодушно относился к революции. Слушал он его простоватый голос — не верил, смотрел на его солдатское лицо — нет, это — лукавое было лицо, а глаза не внимательные, а — насмешливые, с огоньком насмешки! Он насмехался над ними всеми тут!

И как только вообразил, что это всё — сплошь насмешка,— страшная представилась ему картина, потопление революции в крови, снова Галифе! И решил Гиммер сейчас срезать Корнилова и разоблачить.

— А скажите, господин генерал,— прокричал он, нагибаясь вперёд через плечи сидящих.— (Станкевич заметил некоторое изумление генерала, и подосадовал: как нагло перед ним подобрались даже карикатурные лица, и как раз ни одного русского,— вот и будет судить об ИК.) — Уже несколько дней буржуазная пресса ведёт игру на немцах — что добытая свобода может погибнуть от Вильгельма. И даже что наступление начнётся прямо на Петроград, и даже уже собирается кулак. Что вы об этом думаете, господин генерал?

Корнилов прищурился-прищурился, и в этой мине нельзя было разобрать, то ли он сам этой буржуазной лжи стыдится, то ли не выдерживает пронзительных взглядов допросчиков.

— Конечно,— сказал он тихо,— если дисциплина пошатнётся — может ослабнуть и наше сопротивление.

Гиммер не удовлетворился, он хотел прямого отказа:

— Но, генерал! Но где основания для паники? Распутица, бездорожье, от фронта до Петрограда — семьсот вёрст?

Он мог бы и ещё аргументировать, да это было бы неполезно: попробовать стать на точку зрения Гинденбурга: неужели немцам н у ж н о наступать? неужели им не кажется самым удобным то, что сейчас у нас происходит?

ДОКУМЕНТЫ — 21

Берн, 10 марта

ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ РОМБЕРГ — В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, Берлин

Шифровано. Совершенно секретно.

Выдающиеся здешние революционеры имеют желание возвратиться в Россию через Германию, так как боятся ехать через Францию — из-за подводных лодок.

Берлин, 10 марта

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ М. И. Д. ЦИММЕРМАН — В СТАВКУ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ

Так как в наших интересах, чтобы в России взяло верх влияние радикального крыла революционеров, мне кажется уместным разрешить им проезд.

540

Когда над Лавром Корниловым грянуло назначение на Петроградский Военный округ, то в двое суток пути, помимо смущения, уже испытал он в себе разворот кругозора для нового поля. Хоть совсем неожиданно свергли царя — но непоправимого Корнилов в этом ещё не видел. Правда, и Гурко предупреждал, какие ждут его в Петербурге горланы и пустоболты. И в Ставке Алексеев предупреждал, что в Петрограде — зараза, и не слишком надо доверять новым властям. Но и вступая в должность, Корнилов в приказе ещё без сомнения подписал, как ему составили в штабе: теперь только сплочение, дисциплина, твёрдость — и победа решена!

Но дальше с первых же часов он увидел, что если и сохранялся тут оплот, то только военные училища, да ещё пожалуй артиллерия и казаки. Остальной же гарнизон обнаружился в омерзении. В запасных батальонах все учения прекращены, и необученные солдаты в возбуждённой праздности гудят о свободе. И унять их некому. Унтер-офицерский состав здесь слаб и тоже распущен революционными днями. А офицеры, и прежде недостаточные по штату и временные, без устойчивых связей с солдатами, теперь частью разогнаны, частью в растерянности, некоторые на положении выборных, во главе рот — прапорщики, и Корнилов не мог отменить выборных и вернуть назначенных. И вымести агитаторов из казарм невозможно из-за комитетов — как гнилое бревно, всаженное в каждый батальон. А очиститься от комитетов — тут в Петрограде нет сил ни у кого, это Корнилова понял быстро.

Корнилов был поставлен правительством — но само правительство и военный министр боялись каждого шороха и действовать не смели.

Ну что ж, попал к ним как заложник от честного фронта. Ушица вместе, а рыбка пополам.

Затем была какая-то Военная комиссия, существовавшая вне всяких штатов и уставов, ничего полезного она делать не могла и единственно правильное было — её разогнать, но и этого Корнилов не мог, она связана была с Советом рабочих депутатов и опять же с военным министром.

Скрепить офицерство, поднять его дух? Офицеры и сами пытались, но жалкое то было зрелище. В Доме Армии и Флота они собирали свой тоже Совет — офицерских депутатов, уравновесить солдатских депутатов,— и вчера вечером Корнилов посещал их собрание, и выступал там: что возврата к прошлому не будет, вот арестована царская фамилия. (Про себя неприятно.) И оценил, что ничего весомого из Совета напуганных офицеров не выйдет.

Генерал Корнилов не мог действовать в Петрограде так, как хотел, пока не будет иметь здесь собственную военную силу, верные крепкие, не запасные, части. Но такие части можно привести только со стороны,— а это теперь не позволит Совет рабочих депутатов. И какие-то части взамен из Петрограда вывести — тем более мешает Совет депутатов.

Да что там! Совет депутатов на второй же день прислал командующему Округом указание, что он должен сменить своего помощника, генерала! Именно этот помощник ему и не нужен был,— но какова же наглость Совета? Как же в таких условиях командовать?

А вчера для переговоров от Совета пришёл к Корнилову горячий поляк, инженер, правда понятливый. Он так прямо и говорил: вся сила — у Совета. И этого не оспоришь. И был вынужден Корнилов обещать покорность, позорную для командующего: что все утверждения в должностях он будет проводить через Военную комиссию.

А сегодня эта самочинная лавочка прямо вызвала командующего к себе на заседание! И хотел бы Корнилов вгоряче послать их к чёртовой матери, но понимал, что нельзя. Чтобы вытащить из грязи разваленную колымагу гарнизона — надо было ни разу не выйти из себя. И он, не откладывая, сразу же и поехал на это новое испытание и унижение.

Никаких там хмуроватых рабочих не увидел, а всё белоручки, все с выражениями значащими, а то и заносчивыми. И поражало — что почти вовсе не было русских. А когда сели — то прямо перед ним оказались какие-то резко наскочливые наглецы. И почему же именно они — управляют?

Метали — «конъюнктуру», «плутократию», «империализм». А патриотизм назвали — иезуитским понятием.

Эге-е, на вашу тонкость да не нашу простоту! Толковать им тут о всеобщем единении было бы бесполезно. А о чём тогда другом?

И скрывая своё недоверие, а ещё больше свою сердитость, Корнилов поглядывал из глазных щёлок на собеседников, обсевших его, и, притворяясь попроще, мурчал им о восстановлении внутриармейского единства.

Теперь-то он понял, что представитель Совета, два дня как прикомандированный к штабу Округа, не именно сам по себе был прощелыга, и присылаемые от Совета бумажки, кого снять и кого назначить, не случайно были сволочные. Просто весь спёртый дух в этой комнате ничего общего не имел с воюющей армией.

Да всё вчерашнее безобразие в Царском Селе, насилие над начальником гарнизона, разврат караула, проверка царя,— разве не этими типами, вот отсюда, было затеяно? Да не здесь ли и этот мерзавец, который вчера туда ездил проверять царя? Не теснится ли тут за плечами, высматривая теперь лицо генерала? По-настоящему, уважающий службу военный человек должен был бы сейчас потребовать от них наказания этого мерзавца — и только потом допустить себя к разговорам. Но не Корнилов, а Временное правительство так поставило, что опутаны были липким руки-ноги генерала. А оставалось сужать глаза терпеливыми щёлками и простодушно заявлять себя сторонником революции и что это честь для него — командовать революционным гарнизоном.

Распущенной бандой.

Но и правда, по вине же Временного правительства попадал генерал в глупое положение с немецкой угрозой: правительство, Гучков, как пугая детей, распечатали, что немцы готовят кулак на Петроград, а Корнилов не мог же вслух признать, что правительство врёт, плетёт, теперь как-то надо было поддерживать,— и подвергнуться тут наскоку с завизгом, а справедливому. И бормотать в ответ непонятное.

На обратном пути из Таврического, просто по дороге, Корнилов заехал на Кирочной в казарму. Ещё не знал точно, чья это казарма, лучше б не заезжал: жандармского дивизиона.

Безоружные перепуганные измученные жандармы были выстроены перед ним — и жандармский оркестр играл уже разученную марсельезу.

Так и стало в ушах надолго.

А сам Корнилов не так же? — принял в штабе развязного корреспондента «Биржевых ведомостей». И уже привыкая к сетям здешней петроградской беспомощности, он, боевой генерал, должен был опять нести чушь: что произошедший переворот — верный залог нашей победы, в тылу — и есть самая важная победа, теперь осталось победить только на фронте. И что только Свободная Россия может выйти победительницей из такой войны. И приветствовать гучковскую реформу армии, во время войны,— мол, действительно назрела и неблагоразумно излишне отягощать солдат дисциплиной.

Уж там — что он сказал, а корреспондент что ещё приписал? Корнилов всё это выговаривал, как бы морщась внутри черепа. Его ум по непривычке всё не справлялся: зачем этот вздор нужно повторять?

Но так сложилось в Петрограде, что только повторяя вздор, можно было надеяться сделать какое-то и дело.

541

До чего же могут замотать политики простого честного генерала! Избирая военную карьеру и потом служа сорок лет, никогда Алексеев не готовился попасть так нечисто. Как бы холодная грязь и муть обволокла и тело и сердце за последние дни — и уже как о чудесном времени вспоминал он о тех месяцах, когда не нарушало ему службы ничто, кроме болезни. Уж как он бывал и был в службу воткнут — и болезнь не могла его отклонить от исполнения долга, полными часами дней и вечеров сидел и читал, и вникал, и писал, и рассматривал,— а вот пошли такие дни, что и самая простая работа валится из рук, не разделяемая рассеянной душой.

Немало далось ему усилие скрывать от Государя подготовляемый арест и запретить его прощальный приказ. Но невозможно служить двум господам, и уже избрал Алексеев за себя и за всю российскую армию — служить Временному правительству. Однако ещё третий и сильный хозяин — Совет рабочих депутатов, ударил палкой по голове, а Временное правительство не спешило защитить Алексеева. И в этом-то ударенном состоянии — и ощущении, что обманули его самого,— досталось Алексееву вчера проводить в Ставке присягу Временному правительству, присягать самому и пригласить к присяге вместе со всеми ставочными офицерами также и двух-трёх великих князей, состоящих тут. А затем давать телеграмму правительству: сего числа все чины могилёвского гарнизона и штаба принесли присягу на верность... твёрдо верую, что новое правительство с помощью Божьей внесёт успокоение стране...

А из Петрограда навстречу — пьяные телеграммы Совета депутатов: арестовать уже арестованного царя!

И за всем тем как-то отступил ещё один подготовляемый обман: великого князя Николая Николаевича. Ведь он-то тем временем ехал, приближался к Ставке! Шли четвёртые сутки от решения Временного правительства отставить великого князя — и почему же никаким способом по дороге за все эти сутки не могли сами известить его, остановить? Будто бы посылали распоряжение в Ростов-на-Дону, а там упустили великокняжеский поезд, может ли это быть? единственный путь через Ростов. Будто бы посылали потом офицера с письмом от правительства — но и этот офицер разминулся с великим князем.

Ещё знал Алексеев от английского генерала Хенбри Вильямса, представителя при Ставке, что уже и его привлёк посол Бьюкенен, и его тоже втайне подготовили убеждать великого князя подать в отставку,— так опасались министры упорства князя, что прибегли и к послу.

И вот — знали в Ставке теперь они двое с Вильямсом, да Лукомский с Клембовским. Но — молчали...

Как просил Алексеев Гучкова и Львова приехать в Ставку самим объявить решение великому князю! или прислать сюда письмо! Нет, они хотели и эту неблагодарную работу выполнить руками Алексеева, пусть показывает ленту телеграфного разговора.

Но кроме этой ленты десятки и десятки приветственных телеграмм от армий, корпусов, крупных городов лежали и ждали приезда князя,— и что-то же они весили! И, пожалуй, не меньше той ленты. И до сегодняшнего мига Алексееву было видно, что отрешение великого князя — безумный акт, противоречит интересам армии и страны. И как же они в Пятнадцатом году все сплошь хором, эти же самые, негодовали на отставку Николая Николаевича, как буйно доказывали, что только он один и может быть Верховным,— и вот?.. И Армия же, правда, хотела великого князя. И всё переобъявить должен был почему-то Алексеев, вопреки своим убеждениям.

Ответил Львову: категорически нет! Пусть шлют письмо.

Был момент: обещали прислать с отрешением Поливанова. (В Пятнадцатом году с тем же самым присылал его и царь.) Нет, отменили.

А между тем, вот, сегодня, в четыре часа пополудни, Николай Николаевич приезжал в Могилёв!

А письма из Петрограда, ни какого-либо объяснения так и не пришло.

Вот, приезжал Николай Николаевич — и неотвратимо было сегодня встречать его и разговаривать с ним и делать полный вид вступления в Главнокомандование? — опять мучаясь обманом и в тоске ожидая, как бы это решилось помимо наштаверха.

Встречать? Но зная, что великого князя через несколько часов отрешат от должности — нельзя же было встречать его на вокзале полным составом штаба! Но и: пока он оставался у должности, нельзя было и не встретить его почётно.

Эту безвыходность Алексеев разрешил так: набрал для встречи несколько генералов не у дел, оказавшихся в Могилёве даже и случайно: одного — бывшего командира лейб-гвардии гусарского полка, того же, каким и сам великий князь командовал, только раньше него; другого — преображенца, теперь — инспектора всех запасных батальонов России (только пропустила его инспекцию революцию); ещё нескольких. Конечно, и Лукомский с Клембовским. И так получилась вполне почётная встреча, и тёплая, и вместе с тем частная. Мог подумать Николай Николаевич, что Алексеев не хотел отрывать штабных от работы.

Так ли понял великий князь или просто был в сверхвеликолепном настроении, но укор не промелькнул на его красивом долгом лице. Великодушие было в его первом окрестном взгляде на этот вокзал, полтора года назад покинутый при таких униженных обстоятельствах, и в рукопожатиях его длинной быстрой руки.

Он был в кавказской форме, при своём высоченном росте очень грозный в ней.

Да, он был в рост со своею армией и с долготою её линии фронта! Да, он был счастлив вернуться наконец на своё настоящее место, к своим настоящим обязанностям!

Не сам он, но князь Орлов, но адъютанты рассказывали встречавшим, что весь переезд от Тифлиса до Могилёва был сплошной овацией великому князю. На Дону казаки долго скакали вровень с поездом. В Харькове подносили хлеб-соль рабочие, даже совет депутатов.

Великий князь приехал командовать — с полномочиями, с надеждами и любовью всей России.

И как бы хорошо! И пусть бы!

В открытом автомобиле, рядом с Алексеевым, хозяйски поглядывал на Могилёв.

Приехали в здание генерал-квартирмейстерской части — сказал великий князь, что не желает даже отдохнуть с дороги. Не имеет необходимости осматривать и апартаменты свои в соседнем доме, после Государя, всё это устроится без него,— а он желает немедленно приступить к деятельности!

Надеялся Алексеев ещё несколько часов потянуть, а там приспеет отрешительное письмо,— нет, к деятельности!

Что ж, сказать самому? Невозможно, как через сердце собственное переваливаться. Будешь какой-то интриган, подсидчик. А великий князь так горячо, требовательно, проницательно смотрит.

Ну что ж, если к деятельности, то сразу в государеву комнату, где Государю делались ежедневные доклады. (И так удержать великого князя от обхода всех помещений Ставки, что, кажется, с удовольствием он сейчас бы предпринял.)

А пришли в государеву комнату, где Государь бывал и тих, и невелик,— Николай Николаевич сильно задвигался, не помещался в кресле, обхаживая стол, откидывал венские стулья, устремлялся то к одной картовой стойке, то к другой,— выпирал из этого малого пространства.

Так начать с того, что подписать самоприказ о вступлении в должность Верховного? (Приходилось совершать невозвратимый шаг — но ведь и не слали же никого!) Бумага была уже заготовлена.

— Надо принести присягу Временному правительству,— нашёлся возразить Алексеев.

— О конечно! Завтра же утром!

Николай Николаевич сел в кресло, сильно кверху выдаваясь над столом, взял перо, длинноголовый, остроусый, энергичный, готовый к высоким тяготам.

Перепробовал несколько перьев.

Ещё что-нибудь изобрести в помеху? остановить? Ничего не придумаешь.

Сильными росчерками подписал.

Итак — Верховный.

Алексеев стоял рядом с ним — принять бумагу, и чувства его раздвоились. Досадовал он, что Временное правительство так мямлит, вот совершается лишнее действие, но ещё больше склонился: а — хорошо бы работать с великим князем. В себе не находил Алексеев грозной силы повелевать двенадцатью миллионами. А в великом князе она сгущалась. И — какая! При такой всероссийской поддержке — да стукнуть бы ему сейчас кулаком по столу, да и не вздумать уходить!

Пожалуй, и не решилось бы правительство против него бороться.

Вот — эти поздравления, приветствия ото всей страны. Главные из них.

С открытым удовольствием стал Николай Николаевич читать, читать, предшествуя ими дело,— и ещё веселел и крепчал от них.

Мог Алексеев распорядиться ещё и другую пачку приветствий принести, обширней. Может быть, так и затянуть вечер? — тоже упустил, недогадливость сегодня какая-то. Ту пачку отдали уже адъютантам.

А Николай Николаевич встал, журавлиными шагами иссек, иссек комнату,— та-ак! Он — хотел бы немедленно работать! Может ли Михаил Васильич представить ему сейчас общим очерком положение дел в Европе и положение на всех фронтах?

К этому Алексеев был всегда готов: и все бумаги у него проработаны и подобраны, и в памяти полный след.

Да такой разговор и открывал пути искренности, освобождал от напряжённой двусмысленности: делать лишнее и каждую минуту ждать подноса петроградского письма — а что потом? А потом — великий князь не подумает ли, что Алексеев участвовал в обмане? Уж-жасно всё колется.

Итак, положение в Европе. Сперва — положение Центральных держав. Германия уже выкачала из своего народа все возрасты от 17 до 45, теперь Оберкоммандо требует ополчения до 60 лет, не исключая и женщин для работы в тылу. Тем не менее, армии Антанты превосходят армии Центральных держав на 40 %. Рацион немецкого населения доведен до голода. Химики изобретают суррогаты для замены хлеба и жиров, изобрели для лошадей суррогат из соломы и древесины, наши части захватывали. И в Германии, и в Австрии — упадок народного духа, жажда мира. Подводная война, начатая немцами в январе, хотя и подрывает флот союзников, но не видно, чтобы могла его уничтожить. Зато она надвигает вступление в войну Соединённых Штатов,— и может оно произойти буквально на этих днях. Это, по сути, решает войну, положение Центральных становится бесперспективно.

Несколько дней назад, вот уже в первых числах марта, немцы, не вынужденные союзниками, внезапно отступили между Аррасом и Суассоном, на фронте в 100 вёрст и в глубину до 30,— это в местах, где так кроваво давалось им продвижение. Такое сокращение фронта — верное доказательство недостатка сил. Альтернативно можно было бы предположить переброску войск к нам на Восточный фронт — но ни по времени года, ни, особенно, по нашим революционным сотрясениям, не предполагает генерал Алексеев наступления немцев сейчас против нас.

Великий князь слушал не формально, остро смотрел карты, смотрел цифры, видно, очень соскучился по большому размаху. Эта манера отличалась от того доверчивого покоя, с которым всегда выслушивал доклады Государь. Происходила как бы действительно передача дел? Смешанная горечь: привык Алексеев все дела иметь в одних своих руках — но и заслониться великим князем от революции как бы хорошо?

Сейчас Россия удерживает 157 пехотных дивизий противника и 30 кавалерийских, что составляет 49 % его сил. Правда, германских дивизий из этого только половина. Ещё, как ты знаешь (они — на «ты»), одна наша дивизия послана к союзникам в Салоникскую армию, почти корпус — во Францию. Но и без Кавказского фронта у нас сейчас перевес и штыков, и батальонов, и сабель,— назвал крупные цифры. Только вот,— не мог не пожаловаться,— реформа Гурко, проредил старые дивизии, а новые к весне ещё не готовы. Зато артиллерийское снабжение к этой весне — выше всяких похвал. К марту уже изготовлено и на складах — 72 миллиона выстрелов,— вдвое больше, чем мы израсходовали за всю предыдущую войну.

Да, никогда ещё за всю эту войну соотношение сил и перспективы не были столь обнадёживающими и даже уверенно победоносны. Труд невидимых миллионов суммировался в конце концов, и мускулатура огромной России проявляла своё превосходство над германской. Если бы — не революция...

— Сколько всего мобилизовано?

— За всю войну — четырнадцать миллионов триста.

— А сколько сейчас в Действующей, со всеми тылами?

— Шесть миллионов восемьсот.

— А в Петрограде сколько запасных?

— Сто шестьдесят тысяч.

Князь перестучал по столу крепкими длинными пальцами.

Но наш Северный фронт уже развращён близостью Петрограда и анархического Балтийского флота, который вообще потерял всякую боеспособность. Конечно, твой Кавказский хорошо удалёи, но там свои беды, ты знаешь, нехватка железных дорог и даже полное бездорожье, бесфуражье,— и что может дать продвижение там? Только тешить англичан в Месопотамии. На Румынском — вроде того же, и румыны не годны никуда. А вот Западный и Юго-Западный... Не видно путей и приёмов, как удержать от этой волны заразы...

— Я пытался издавать удерживающие приказы. Но не получил поддержки правительства. А газета Совета депутатов...

Даже больно говорить.

В Алексееве двоилось: то ли он, правда, передавал дела? — и тогда имело смысл жаловаться новому Верховному на правительство и на Совет. То ли ничего этого не будет, всё спектакль,— и тогда зачем же?..

А великий князь смотрел так светлоглазо, обещающе.

— Хорошо будем работать, Михаил Васильич. Ты, конечно, останешься на своём месте.

Передача дел — шла, и правила её требовали говорить обо всём. Перешли к Западному. К перспективности наступательного направления на Вильно и уязвимости направления Барановичи-Минск. Да и к Эверту же. Эверт, со всем его грозным воинственным видом, совсем размяк в новой обстановке, сел в галошу. Что исключительно удаётся ловкому Брусилову — льстить и обращаться с общественными комитетами, то Эверт не способен, и сам уже просится в отставку, и Гучков его как бы снял, хотя это не его прерогатива. Рузский ладит с Петроградом, а Эверт...

Непосильно было Николаю Николаевичу слишком долго слушать — и не вмешаться. Слишком нераспрямлено было его остроуглое тело без движения, и уже тянуло его взмахнуть дланью:

— Эверта — снимаю немедленно! — И даже почти не думая: — На Западный фронт назначаю Гурко!

Ого! Далеко же зашла передача. Это верно, из командующих армиями теперь, после опыта в Ставке, Гурко — старший и первый. Но...?

— Заготовь приказ сейчас же, подпишу! — сказал великий князь, вставая из-за стола, на полную голову выше Алексеева.

И — что ж теперь? заготовлять приказ?..

Приходилось.

542

И опять пришли часы томительного ежедневного отсиживания на заседании правительства. Уже некоторые министры приловчились присылать вместо себя заместителей (уехавший Гучков был сегодня заменён двумя — сухопутным и морским), а Шингарёв не решался: и неудобно, и боялся что-то важное своё упустить провести, ведь свойство всякой работы таково: только то и будет наилучше сделано, что сделаешь сам. А свои горячие вопросы, которые ставишь на заседаниях,— они за одно заседание и не решаются обычно.

А сегодня он нёс — свой грандиозный, спорный и безжалостный замысел.

Шингарёв очень хотел бы с этого и заседание начать, потому что ничего важнее сейчас в России не видел. Но ему не дали.

Сперва сам князь Львов благодушно рассказывал о дальнейших мерах своих по сокращению министерства внутренних дел: департамент полиции, политический розыск, охранка, жандармский корпус — упраздняются в России навсегда! Это освобождает для государства значительные кредиты. Учреждается лишь временное управление по обеспечению безопасности граждан.

Затем, блистая как начищенный, именинником выступил Коновалов. Самое крупное событие произошло по ведомству его: сегодня петроградские заводчики согласились на 8-часовой рабочий день, хотя московские продолжают сильно возражать. Теперь честью Временного правительства будет — как можно скорей и самому подравняться по 8-часовому дню: ввести его на всех оборонных заводах Петроградского района.

А здесь и состояло 70 % всей военной промышленности России. Но заместители Гучкова не возражали.

Подумал Шингарёв: не слишком ли смело во время войны? Ведь не станут давать достаточно оружия. Но что-то было видно тем заместителям Гучкова, чего другие не знали: согласны.

И Коновалов, своим пенсне сверкая во все стороны, так же именинно просил теперь уполномочить его министерство подготовить введение 8-часового дня и по всей России, и по всем группам предприятий.

Вправду ли у человека столько душевных сил и уверенности, или он только делает вид?..

Уполномочили.

Ну, а уж раз вклинился, он и тянул всё своё: отпустить кредиты на разработку бурых углей; отпустить кредиты на подвозку нефтяного топлива по Мариинской системе.

Уже многие министры поняли этот главный смысл правительственных заседаний: просить себе кредитов. А Шингарёв всё стеснялся.

И опять же Коновалов горячо произнёс небольшую речь, что и его министерство считает своим долгом помочь всеобщей тяге в нашей стране к снятию национальных и вероисповедных ограничений. Это сегодня невозможно сделать по отношению к германским и австрийским подданным, но несправедливо далее удерживать талантливую, предприимчивую и богатую еврейскую нацию от беспрепятственного образования акционерных обществ и занятия любых административных должностей в финансовых, торговых и промышленных предприятиях.

Насчёт немцев Шингарёв не был согласен: он сам внёс проект, и совет министров клонился к принятию,— об отмене ограничений в германском землепользовании: их имения и участки процветали, зачем подрывать? Но тогда — и почему же не допустить в промышленность столько талантливых техников — немцев по происхождению, но верных русских по подданству? Эта шумливая чистка от немецкого засилия все военные годы была картой правых кругов.

Керенский, всё время сидевший непоседливо, даже боком к столу, нервными движениями показывая, как ему некогда, и ни к чему здесь быть, и не этим ему заниматься,— тут вслушался, встрепенулся, и, всех перебивая, воскликнул воодушевлённо, от глубокой души, от мечты: национальные и религиозные ограничения мы всё отменяем по крохам, в частных областях,— а что бы нам поспешить сформулировать универсальный закон об отмене всех этих ограничений сразу во всех областях жизни? Одним взмахом! Не поручит ли правительство министерству юстиции внести такой обобщающий проект?

И задумался, красиво держа голову, давая задуматься и всем.

Встретили одобрительно. Сразу и поручили.

Шингарёв порадовался. Он и всегда считал, что несправедливо сдерживать евреев какими бы то ни было ограничениями, в чём бы то ни было. Мы сами своею внутренней

политикой толкаем их в непримиримость. Если мы хотим первенствовать, то просто мы сами должны проявиться талантливей, энергичней, настойчивей, последовательней,— а вот этой последовательности у нас всегда и не хватает.

И сразу тут же князь Львов дал слово Шингарёву.

Андрей Иваныч уже забылся, забаюкался, не ожидал, вздрогнул. А ведь он — решался! А ведь он решился! — высказать сейчас коллегам свои отчаянные еретические и жестокие выводы.

Сейчас он произнесёт слова, которые невозможны среди демократов. Он представлял, какое возмущение загорится, как накинутся на него однопартийцы (никого из них он не предупредил!), а тем более Керенский.

Своим влажно-взволнованным голосом он стал говорить — не кратко, сбиваясь, возвращаясь, то глядя в свои заметки с колонкою аргументов, то на коллег, взвешивая всю неслыханность, необычайность выговариваемого. Он искал, как же это подпереть: неизбежно нам предстоит перенять у Германии идею... нешуточная война требует и нешуточных мер... И министр земледелия не видит иного выхода, как...

Он воздвиг перед ними глыбы, под которыми они все тут сразу могли похорониться...

Бесчеловечная хлебная развёрстка!

Насильственная реквизиция хлеба!

Весь хлеб России — собственность государства.

И — позорное поднятие твёрдых цен.

Но он готов был выдержать любой натиск, потому что чувствовал за спиной — Россию.

Однако что это? Никто не выкрикивал возмущённо. Никто даже не пытался перебить или воскликнуть. А когда Шингарёв стал помётывать взглядом на своих кадетов — на твёрдые очки Милюкова, язвительные губы Набокова, угрюмоподозрительного Некрасова, затем и на других,— он ни на одном лице не увидел ни сильного движения, ни удивления, ни пробуждения. Сидели так же ровно, скучно, полуусыплённо, как ничего не заметя.

Ещё не веря успеху, Шингарёв спешил оговориться, сбалансировать. Разумеется, на ту же Германию глядя, можно понять, что продовольственное снабжение не решается изолированно от всех других видов снабжения: железным инвентарём, кожами, тканями, керосином, всеми предметами широкого потребления. И всё это надо — одновременно. Но от этого только трудней. Значит, надо наложить жёсткий государственный контроль и на промышленность?..

Да он сам для себя ещё ничего не решил! Он и предлагал на их суждение. Он готов был и настаивать, и слушать, и исправляться.

Однако Милюков, уже не первое заседание: и присутствуя — как бы радужно отсутствовал, был так переполнен своими шагами во внешней политике, что не считал важным ещё вникать, что тут происходит кроме. Чего он чутко не спустил бы, не простил бы с думской скамьи,— то равнодушно пропускал сейчас.

А Набоков не был министром, и не спрашивали его мнения тут же.

А Мануйлов был по просвещению, и то едва не тонул.

Некрасов волчисто смотрел, но молчал,— то ли для себя выжидая, кто будет за что.

Очень грозно-значительно выглядел чёрный Владимир Львов, но не пошевельнулся.

И только Коновалов успел возразить, что для промышленности такой жестокий принцип принять — значит подорвать производство.

А кто друг с другом переписывался записочками.

И неожиданно для себя Шингарёв без всякого боя получил санкцию на переворот всех хлебных отношений в России. С ласковой улыбкой резюмировал князь Львов, что, оставляя пока в стороне промышленность, министру земледелия поручается разработать главные основания реформы о хлебной монополии.

Керенский — слышал ли о монополии? понял ли? — но рвался со своими срочными вопросами, звонко стал излагать их. Во-первых, необходимо оплачивать командировочные для петроградского окружного суда. Во-вторых, надо огласить в печати обнаруженные в департаменте полиции денежные расписки депутата Маркова-второго в получении денег из секретного правительственного фонда. В-третьих, как отнесётся Временное правительство к тому, что прежним судебным следствием некоторые финляндские граждане привлечены по обвинению в государственной измене. Хотя среди части финского населения и действительно распространены симпатии к немцам, но в этом виноваты мы сами. А было бы очень нетактично таким обвинением сейчас будоражить финляндское население. В-четвёртых, сообщается Временному правительству об уставе Чрезвычайной Следственной Комиссии и правах её производить осмотр и выемку корреспонденции.

Приняли к сведению. Согласились.

Какие-то подобные нужды были и у Некрасова, и он стал их уже выкладывать, когда министр юстиции вспомнил в-пятых: теперь, когда приносят присягу войска, неизбежно принести присягу и членам Временного правительства.

— Вот,— голос Керенского стал насмешлив до резкости,— Юридическое совещание предлагает форму присяги... Но тут много уступок традиционным формулам, не слишком

ли это старомодно?.. Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом?.. В исполнении сей моей клятвы да поможет мне Бог?.. Да стоит ли нам-то..?

Помялись. Так-то так, но надо не оскорбить и слух народа.

— И потом, господа, наш спор ещё со дня отречения Михаила: как определять нам самих себя: правительство, возникшее волею народа — или по почину Государственной Думы?

Тут вступил Набоков и особенно просил, чтобы никто не оговаривался и не употреблял прежнего опозоренного названия «совет министров», но все бы употребляли только «Временное правительство».

Да, ещё же, самый важный вопрос! Исполнительный Комитет желает иметь постоянные контактные встречи с правительством. И значит,— оглядывал министров доброжелательный премьер,— надо нам выделить из своей среды кого-то, трёх-четырёх, постоянных делегатов на эти контакты.

Очень испугался Шингарёв, чтоб его не выбрали: тогда — бесконечная говорильня, торговля, и всей работе гинуть.

Но его и не предлагали. Возглавил комиссию сам князь Львов. А следующий так же естественно предполагался Керенский,— но он стал резко отказываться, мотать головой, что как раз именно ему совершенно неудобно — противостоять товарищам по левым партиям.

Признали, уважили его нежелание.

Милюкова думали, но он ледяно отказался. Ему такая роль виделась унизительной.

А Некрасов и Терещенко, напротив, сами выдвинулись, очень хотели. Их и выбрали.

У Милюкова вот какая забота: Палеолог задумал дать банкет в честь полного состава Временного правительства. Это, конечно, мило и приятно — но какие это вызовет кривотолкования в Совете рабочих депутатов.

Увы, увы. Надо, Павел Николаевич, тактично отговорить французского посла. Просить его отказаться от этого замысла, понять наше положение.

Теперь ещё такой вопрос: что делать с бывшими царскими поездами? Их — пять, и они великолепно оборудованы для поездок. Если кому понадобится из правительства. И неужели теперь их разорить?.. Жалко.

Но и оставить одиозно: что о нас подумают?

Милюков решительно заметил, что эти поезда могут понадобиться для иностранных гостей, например.

Склонились так: оставить три лучших — собственный императорский, заграничный и императрицы Марии Фёдоровны. А свитский и пригородный — упразднить. И будет пополам.

Дальше потекли назначения, назначения... Отставного полковника Грузинова назначить постоянным командующим Московского военного округа. (Грузинов имел большие заслуги: прошлой осенью он выхлопотал разрешение на знаменитый Продовольственный съезд, развернувший грозную критику царского правительства.) ...Казённую продажу питей поручить профессору Политехнического института Фридману. ...Разрешить бывшему государственному секретарю Крыжановскому свободное проживание в Петрограде (опасается ареста).

Что-то сегодня всё заседание промолчал обер-прокурор Синода Львов, но с самым значительным дегенеративным выражением, зловеще прокатывая глаза и черня бородой.

Он — ещё не открывал им своей ярости, не пришёл час. Он был оскорблён, заножён, разъярён вчерашним внезапным неповиновением Синода, даже если не забастовкой архиереев! И он готовил удар: расчистить эту святую братию!

Но ещё не всё про себя решил.

543

В плане своей поездки только одно Гучков упустил: ведь в Ригу надо ехать через Псков. Снова по той же бездарной дороге его сомнительной поездки — и снова через тот вокзал, не принесший ему настоящей победы. И снова видеться с Рузским, участником и свидетелем той ночи? Почему-то очень было неприятно.

А вот что: если проезжать Псков ночью — можно и не видеть ничего и не видеться. И не обязан министр начинать поездку с главнокомандующего фронтом, может сразу проехать и к командующему армией. Так и решил. Но поезд задержался, и вышел из Петрограда вчера вечером довольно поздно, так что во Псков попадал всё-таки на раннее утро.

И прицепленный к нему вагон военного министра тоже оказался не слишком подготовлен: в салоне по-прежнему ввинчены в стену портреты царя и царицы. Но подхватчивый Половцов энергично и охотно взялся сейчас же их и вывинтить. Тут же сам это и сделал, с помощью писаря.

Высокий ростом, лихо-воинственный видом, в папахе Дикой дивизии, постоянно подвижен, остроумен, проницателен, Половцов очень импонировал Гучкову, такого коренного военного и вместе с тем столь находчиво-насмешливого очень не хватало поблизости, да у него оказался и письменный слог так же отличен и отточен. А Половцов сразу упросил взять в поездку и своего приятеля, корреспондента «Таймс» (пусть союзники знают о поездке министра!). Ну пусть.

Ещё ехали в вагоне с министром два адъютанта (теперь не было Вяземского...), фельдъегерь и писарь с машинкой.

И караул из юнкеров-павловцев. (Юнкера остались в Петрограде одной настоящей военной силой.)

Ночью Маша продолжала подлечивать мужа, следила за лекарствами.

Во Пскове рано утром Гучков просил не раздёргивать занавесок, он даже видеть не хотел этого перрона, вокзала и башни водонапорной. Постояли — тронули, Гучков подумал, что всё обошлось, миновали.

Но спустя час в дверь купе раздался тонкий отчётливый стук Половцова. Оказалось: во Пскове ожидал их и вошёл в вагон генерал-квартирмейстер Северного фронта генерал-майор Болдырев: комендант вокзала предупредил штаб фронта о проезде военного министра. Рузский, видимо, обиделся, не явился, а Болдырева Половцов уже час поил чаем и находил, что — умница. Может быть, Александр Иваныч его примет, неудобно?

Да ничего другого и не оставалось, вот и вставать, а думал ещё полный день отлежаться в вагоне.

Болдырев был по типу «младотурок», с подвижным умом и зубоскальством над порядками. Но через его насмешечки видно было, что и он ошеломлён: творился какой-то зловещий цирк, неуправляемые солдатские толпы врывались в канцелярии, штабы, арестовывали генералов или полковников, и даже убивали.

Оттого ли, что в устной передаче, но всё это вдруг проступило Гучкову с живостью,— слушал он, слушал — представил: да ведь и его, военного министра, вот так же может арестовать толпа солдат? Чем он так уж недоступнее этих генералов?

А на станциях, узнав о проезде министра, выстраивались почётные караулы, ждали толпы железнодорожников и жителей, а то и местный гарнизон, и надо было выходить к ним с речами. Гучков призывал к единению против коварного врага — ему кричали «да здравствует первый народный министр!» и несли к вагону на руках.

От голоса утомлялась грудь, и на перегонах он ложился, а Маша опять прикладывала холодные компрессы.

Унижало это бессилие в важнейшие дни жизни.

Впрочем, если б он был сейчас и совсем здоров,— он не представлял, что бы сейчас такое должен был первое спасительное делать. Понятно, что уходят часы и минуты, а что делать — непонятно.

Генерал Болдырев так и остался с ними в вагоне. Естественно было ему теперь доехать до армейского штаба.

В Ригу дотащился поезд — уже было темно. На вокзале ждала огромная толпа, выстроился почётный караул Финляндского драгунского полка, на его штандарте — большой красный бант. Трубачи играли марсельезу.

Сколько ни причислял себя Гучков к военным людям, и в поездках надевал полувоенные мундиры,— но первый раз его встречали как генерала, он ощутил гордость и прилив сил. Принял почётный караул от драгун и моряков, поздоровался с войсками, поздравил с новым государственным строем и просил поддерживать его. А навстречу выступил с рапортом Радко — тяжелоголовый, круглолицый, с раздавшимся подбородком.

После рапорта тепло обнялись и поцеловались. Ещё дошумливала музыка и общий гул, а Радко сказал Гучкову близко: поступили сведения, что террористическая партия намерена в Риге убить прибывшего Гучкова.

Гучков — поразился. Нет, он не испугался, как пугаются трусливые люди, но его обожгло. Обожгло не столько страхом, сколько обидой: неужели безумный террор способен обернуться и против них, против нового правительства, против самой революции? Это уже было чудовищное извращение мозгов.

А толпилась на площади — масса, и покушение ничего не составляло произвести.

О, нелёгок будет путь революции!

Надо было ехать к Радко в штаб. Подавали автомобили. В один приглашали Гучкова с женой, но он решил разъединиться с Машей и позвал сесть с собою Болдырева:

— Ваше превосходительство, едемте со мной: не хочу, чтоб дети лишились одновременно отца и матери. Вот, собираются меня убить. Что делать, доля риска необходима.

— Да,— ответил Болдырев,— это маленькое неудобство вашей профессии.

(А про себя подумал: не спросил Гучков — а у него, у Болдырева, есть ли дети? — зачем ему садиться с министром? Неудобство выявлялось не только для министра.)

Да, Рига всегда бывала полна революционерами — а такой и связи в голове не возникло, когда наметили ехать сюда.

Всюду с домов торчали красные флаги.

Слишком медленно тянулась кавалькада автомобилей, слишком медленно. Ехал первый народный министр — и густые конные наряды охраняли его от народа.

Но всё обошлось благополучно — и Гучков невольно повеселел и поздоровел.

Предварительно, в тесном кругу высших офицеров, посовещались с Радко. Даже начальник штаба у Радко — и тот ведь был смещён Гучковым под угрозами солдатского гнева,— Радко этого не одобрил: такая уступка может повести к капитуляции. Впрочем, он был уверен, что к началу военных действий дух армии восстановится.

Безупречно был охранён их штаб — но в темноте колыхалась Рига, переполненная совсем неизвестными людьми и агитаторами из Петрограда,— и волны их уже бились в тыловые линии Северного фронта. Немец не шевелился от самого дня революции, и даже может быть плохо, что не шевелился: оттого резвей вели себя агитаторы, и разъедающая опасность налегала сзади.

Назначили на завтра благодарственное молебствие в кафедральном соборе, затем парад войскам, совещание в штабе армии, затем посещение миноносца, нескольких местных революционных комитетов, приём депутаций.

Потом — ужинали, вместе с двумя членами Думы, уже объезжавшими фронт,— Ефремовым, видным членом Прогрессивного блока, и комиком Макогоном. На обоих висели георгиевские медали, которые дал им Радко за посещение Пулемётной горки. Было и дело: депутаты рассказывали о солдатских пожеланиях, и Половцов записывал для поливановской комиссии. А потом депутаты смешили всех рассказами о своих похождениях на фронте в эти дни.

И в безунывной бодрости Ефремова и в хохлацком юморе трезвого Макогона вдруг представилась вся эта революционная армейская катавасия — весёлым недоразумением, которое оборет наш рассудительный народ, очувствуется, не вступит в бездну,— и даже весело будут вспоминаться эти дни всеобщей растерянности и головокружения.

И Гучкова — самого потянуло рассказывать смешное, а он тоже умел. Нашло ему рассказывать о Протопопове, о его несомненном полном сумасшествии, как он ходил по лестнице задом, разные анекдотические случаи, очень смеялись. Сейчас уже странно было, что этот ненормальный мог руководить и Государственной Думой, и нашей парламентской делегацией в Европу, и министерством внутренних дел. Всё отошло как сон и вспоминалось смешно.

Нет, одолели мы то, одолели неодолимое — и нынешнее тоже одолеем!

Но остались с Радко вдвоём — и тот мрачно говорил о своих тылах, неподвозе, разболтанности железных дорог в несколько дней, без жандармов, и повсюдном непослушании офицерам.

Он придумал, что раз уж комитеты неизбежны, то выбирать смешанные солдатско-офицерские — до дивизии, до корпуса, до армии, и может быть только так мы ими управим. Вчера уже и начали такие выбирать: они будут поддерживать внутренний порядок, разрешать все недоразумения между офицерами и солдатами — ну, и само собой бороться против контрреволюции. (По Риге развесил Радко приказ: ни в коем случае никогда не петь «Боже, царя храни».)

Идея таких комитетов Гучкову очень понравилась.

544

Императорский Михайловский театр оперы и французской драмы — никогда, никогда не грезил увидеть сегодняшнее зрелище! Сегодняшнюю публику!

Первая тысяча и вторая тысяча — в грубых сапогах, шинелях, бушлатах, папахах, фуражках, не снимая их, ещё не отбросив недокуренной махорочной цыгарки (где-нибудь на пол там),— пёрла и пёрла во входы, без всякого контроля, прихватывая и любопытных с площади, глазела на невиданные залы, на люстры, на лепку, путалась в системе перекрестных лестниц, через один этаж, и, чертыхаясь, перелезали к дружкам через перила, и пробивались, наконец, в главный зал, столбенели от пышного тёмно-жёлтого занавеса с государственным орлом и вылепленных девок по бокам его, а сверху — как на солдатскую бесчасную надобность — выставлены и часы, да как бы не серебряные, а задери голову — весь круглый потолок ещё разрисован-разрисован. А в обвод зала — пузатые налеплены как гнёзда рядами, за жёлтыми занавесками, и там тоже уже свой брат, кто с какой лестницы попал, и светильниками утыканы все эти пуза, свету — залейся.

И ужайшими проходами между ложами и краями партера, где, бывало, в нежнейших нарядах, придерживая трен, проходили дамы по одной впереди своих кавалеров,— теперь протискивались сразу два-три здоровых дядьки, спеша захватить себе место в ряду — жёлтое кресло с тёмно-жёлтым бархатом сиденья, и в редкое кресло садился один, а то всё вплотнянились по два, и по два.

И когда уже все места по всем ярусам были захвачены, и ложи внабитку — всё равно депутаты не помещались. Чудо-занавес поплыл вверх — а там на помосте ещё сколько места! И попёр народ туда, усаживаясь на полу. И только попереду за столом держался президиум, а уж прочие члены Исполнительного Комитета садились на штабель декораций сзади.

Питерские рабочие, кто и видел прежде, как к этому театру подъезжают на фаэтонах,— вот не думали и сами когда попасть в серёдку. И насыщенно, но и злорадно оглядывались теперь на всю эту красоту.

Сегодня здесь заседал и застоял полный пленум Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

А ещё сколько-то же осталось и в вестибюлях, и снаружи,— не влезли.

И вожди Исполнительного Комитета щурились на это невместимое, необъятное чудище Совета, от которого не знаешь, какой неожиданности ждать. Они почти и не встречались с этим чудищем. Неповоротливая, обременительная ноша, насколько удобней было бы Исполнительному Комитету поворачиваться без неё. Однако, не были вожди уверены, что уже могут без неё. Они ещё не могли оценить соотношения сил, и в глубине ещё не забыли, что и сами-то не имеют полномочий. И вот сегодня выносили на повестку дня деликатный вопрос о Контактной Комиссии, как узнавать действия правительства и передавать ему требования революционного народа,— утвердить на Совете созданную комиссию и её состав. (А глубже посмотреть: зачем это обсуждать здесь? Ненужный и опасный прецедент.)

Но раньше того — выдвинули эффектное событие ареста царя, и докладывать о нём взялся неуёмный Соколов: не успел сам арестовать, ни даже проверить в Царском, так хоть поговорить. Выскочил на авансцену живчик с бородкой и пятном белой лысины среди чёрной поросли — и захлёбчиво, многословно сообщал — о судьбе Романовых! И кого ж это могло не втянуть! А чем больше замечал Соколов, как захвачено дикое застывшее толпище,— тем драматичнее он добавлял и размазывал. И — как Гучков с Шульгиным без разрешения Совета поехали сговариваться во Псков. И как из Пскова царь снова кинулся захватить Ставку, чтобы оттуда повести армию на столицу. И как буржуазные круги хотели навязать царём Михаила, но Исполнительный Комитет настоял на отречении, и так уладили этот вредный эпизод. И как затем царь Николай задумал сбежать со всей семьёй в Англию,— (зал молчаливо напрягся!),— а Временное правительство ему потакало, вело переговоры без ведома Исполнительного Комитета, но Комитет узнал, и решил действовать самостоятельно, и послал множество воинских частей и даже бронированных автомобилей, они плотным кольцом окружили царскосельский дворец, и так не дали Николаю Романову сбежать!

Царь и народ! — и народ в креслах императорского придворного театра, судящий о царе,— непредставимая ситуация! Эманация Великой Французской Революции! И на её подымающих волнах Соколов упивался бессмертной ролью.

— Но один арест Николая II ещё не исчерпывает вопроса! Пока что мы лишили его только политических прав — но ещё не успели коснуться имущественных. А сколько у него имущества во всех пределах России! Какие имения! И какие огромные миллионы во всех иностранных банках! И он там за свои деньги купит себе монархистов! Теперь надо выяснить, какое имущество Николая Романова может быть признано личным, а какое — произвольно захваченным из государственного казначейства,— и всё это надо отнять!

Набитый жёлто-серо-чёрный зал заволновался. Раздавались крики одобрения. И Соколов кричал, подхваченный одобрением:

— А раньше — нельзя его выпускать за границу! И думаем, что вы одобрите наше решение.

И уже на прорыве аплодисментов, верхним криком:

— И вы должны верить своему Исполнительному Комитету!

И зал хлынул густым хлопаньем. И — криками. И — воем. И — трёхпалым пронзительным свистом. И топотом сотен ног.

Соколов отошёл, вытирая пот с лысины, торжествующий.

Кричали:

— Все его проделки выяснятся!

— Вы нам докладайте, чего ещё узнаете!

— Та-а-ак!

Вожди Исполкома переглядывались: неплохо. Чудовище задобрено. Теперь:

— Слово имеет товарищ Стеклов.

И вышел на авансцену — такой крупный, уверенный, бородатый, как купец знатный, для народа располагающая фигура. И когда поутихли, стал густым голосом объяснять.

С этим правительством не обойтись иначе, как на него давить. Оно само такого натворит, что много может нам повредить. Мы сами не пошли в министры, но зато должны контролировать их. А без нас они слабы. Со временем они, может быть, соберут около себя консерваторов, но я надеюсь — мы им не дадим. Тут и вопрос о 8-часовом дне. И о демократизации казармы. Надо на них давить организованно. Вы — сила решающая, и они вам вынуждены подчиняться. Сила — на стороне революции, а не буржуазии. Мы им будем заявлять наши желания, а они чтоб не отговаривались незнанием. Они и сами к нам обращаются. Вот почему Исполнительный Комитет избрал комиссию из пяти человек —

контролировать правительство непрерывно. И вы, я надеюсь, это одобрите. Уже теперь ваше мнение может сделать всё. А может, нам придётся опять совершать революцию.

Так забрал зал — даже перемахнул. Разожжённые во вкусе своей тысячеголовой власти, из зала густо кричали:

— Не доверять Временному правительству!

— Обманщики!

— Царские лакеи!

— Устроить самим новое революционное правительство!

— И во главе — товарища Керенского!

(Не было его тут, но все знали.)

И — полезли ораторы, по коленкам соседей, через плечи сидящих на полу проходов, и по ступенькам на сцену,— как их не выпустишь?

— ...Там, в правительстве,— капиталисты, которым нужен Константинополь. Надо бороться с Временным правительством, а не присягать им! Оно ещё не заикнулось, что нужно крестьянину и народу!

— ...Не надо связывать себя никаким контролем их! Правительство — крупно-буржуазное, одна клика заменила другую!

Вылез и за контроль:

— Мы переживаем момент организации.

И такой вылез:

— Тут говорят только вольные, а вот я, серый герой, георгиевский кавалер... Серый русский крестьянин высказывает голос русской воли...

Не дали ему договорить, оттянули.

Опять рабочий:

— Не мы для правительства, а оно для нас. Так что должно беспрекословно исполнять наши требования. Если правительство с чем нашим не согласится — мы опять возьмёмся за оружие! Временное правительство должно быть просто секретарём Совета рабочих и солдатских депутатов, не больше.

Но и предупреждали:

— Товарищи, Петроград не похож на всю Россию! Оттуда многие приветствуют правительство. Ещё есть кроме нас Россия — и она не наша.

Но и успокаивали:

— Да мы всегда можем правительство арестовать! Если оно не уйдёт — так мы их и арестуем.

— Вопрос неясный! Продолжить прения.

И Стеклов — при всех своих физических данных — растерялся от этой разноголосицы и нескончаемого шума, которого не было сил остановить. И тут — волчком вывертелся на авансцену снова Соколов — всё же есть люди, незаменимые в революции. И предупреждающе поднял, держал руку. А зал — уже полюбил его за сообщение о проделках царя. Поверил в него. И смолк. И Соколов — быстро, но спокойно:

— Товарищи! Обсуждаемый вопрос — простой и ясный. Пока это правительство выполняет все требования Исполнительного Комитета, а мы можем его сколько угодно контролировать и внутри каждого министерства наблюдать хоть за всей перепиской,— мы призываем вас оставить его на месте. В настоящих условиях Исполнительный Комитет берёт на себя ответственность за деятельность Временного правительства.

Сразу вдруг и поостыли.

Полегчало.

Тогда, для новой замазки и доверия,— выпустить Гвоздева? — читать вслух пункты соглашения с заводчиками. Сейчас заревут в одобрение, верный успех.

Там — полезут с приветствиями, приветствиями.

Но никуда не уйти, опять этот проклятый режущий вопрос: можно ли перенести похороны жертв на Марсово поле? Зато, мол, там воздвигнется ряд памятников — и всем народным движениям! и великому делу народной свободы!..

И всё же не было уверенности, согласится ли Тысячеголовый? С похоронами что-то сильно упёрся.

545

Такой прекрасной весны, как нынешняя, ещё никогда не бывало!

Никогда сила таянья не была такой пышущей. Никогда так тонко не замерзало к вечерам. Никогда не бывало таких нежных подснежников, покорных губам. Никогда столько не гулялось.

Да свободного времени никогда столько не было... Никакой весной не веселились так сразу все люди.

Ксенья с уверенностью угадала свою лучшую и заречённую весну! Все вёсны, которые она прожила до сих пор,— были только приготовлением. Всё, что она жила и мечтала до сих пор,— было приготовлением. И вот, наконец, счастье неизбежно должно было явиться Ксенье — именно этой весною, да просто вот в этих днях! Пришла пора радости! Всё нутро её это чувствовало!

И нутро же — жадным толчком завидовало каждой беременной, встреченной на улице. Каждой беременной. Уж кажется, в эти революционные дни чего только удивительного не было на улицах, лишь озирайся. Но и в эти дни ничто так не удивляло Ксенью, так не толкало в сердце — как вид беременных женщин.

Всё-таки это — чудо из чудес!

А гулянья было в эту неделю — не испагать: занятия на курсах по-настоящему до сих пор так и не возобновлялись. (И балетная группа в революционные дни что-то не собиралась.) Ещё неясно было всему студенчеству: как же теперь их возобновлять? — в прежней ли форме или чего-то же добившись от революции! Первая победа была уже известна: в этом году институты, курсы и гимназии распустят раньше обычного! Профессора поздравляли студентов с обновлением России. Студенты-медики требовали: удалить нежелательных профессоров, минимум экзаменов и практических занятий для перевода на следующий курс. В Университете собирали то летучий митинг всех учебных заведений — на поддержку Временного правительства и войны, то уже и Совет Студенческих Депутатов. Каким-то общим собранным способом должно было решиться их общее студенческое будущее.

А тут призвал студентов и курсисток почтамт: что за революцию накопилось неразнесенных 60 тысяч писем, идите добровольно письмоносцами! И — хлынули, и Ксенья с подругами тоже. Да у неё все жилы тянуло от десяти минут смирной посидки — ноги требовали если не танцевать, то ходить и бегать. Нагружали их тяжёлыми сумками по утрам, но была большая поэзия: по незнакомым лестницам ходить, как будто ты везде свой, и разносить людям их задержанные жданные вести.

А по вечерам бы — в театры, так из-за четвёртой, Крестопоклонной, недели поста не было ни спектаклей, ни даже киносеансов. (Вчера — сóроки, хозяйки жаворонков пекли.)

Зато сегодня вдруг приехал из Ростова Ярик, который, правда, и ожидался по письмам. Прекрасный подарок, и ко времени! Очень соскучилась: ведь не видела его ещё с до войны!

Вообще не видела его такого военного. Свой Ярик, братишка, однолеток, у носа по-прежнему веснушчато, детская доверчивая чистота безусого лица (над губой стал брить), глаза нескрытые, брови отзывчивые,— а на всё это наштампована война, мужское сжатие губ, но главное — насажен туго мундир, тугие ремни, венчающая голову папаха, даже и странная на детском лице,— а уже и самый настоящий офицер, владетель двух сотен жизней.

Он пришёл — у Ксеньи сидела Берта. Ксенья порхнула к нему, естественно обнялись поцеловаться — но губы сошлись, едва наискосок — и поцелуй вдруг полыхнул — Ксенья в испуге оторвалась. И щёки загорелись.

Поздоровался с Бертой.

Обе они, в два голоса, стали его поздравлять со свободой и с революцией.

И тут выразился на нём изумлённый или печальный сдвиг бровей. И только что весело вошедший, он ответил им с закрытой усмешкой:

— Милые девицы, умойтесь холодной водицей и успокойтесь. Как бы эта свобода ещё не вылезла всем нам боком.

Сказал это настолько старше их, первый раз Ксенья не ощутила права над ним зубоскалить.

— Да отчего же?

Ярик сидел на топком диване, а подбоченясь на колени, как-то по-походному.

— Да что ж,— протянул.— Даже донские казаки — и те атамана прогнали. Сколько я ехал сейчас — ни на одной станции охраны не видел, и мосты — не охраняются. Приходи немец — и взрывай. Иной солдат мимо офицера проходит — только что плечом не толкает.

— В Москве этого нет.

— Ну как же нет, да много так. И в трамвае.

Он уже пробыл несколько часов в Москве, остановился при казармах у приятеля.

— И в Москве на вокзале — охрана распущенная. А приказы вашего нового командующего висят — что это за подполковник во главе Округа? — что запрещает побеги и самовольные отлучки? Чтоб такой приказ издать — знаете, сколько нужно этих побегов?

Не приходило в голову. Они этих приказов не замечали, не читали.

— Пишет: «бежать с фронта — преступление перед родиной». Так это что ж — и с фронта уже бегут?

Опять сдвинулись губы, брови. На девиц посмотрел — и вниз наискось.

Берта вскóре ушла. А хозяек обеих не было — редкий случай, и ещё больше часа могло быть до возврата. И Ксенья — решилась рискнуть. Предложила с порывом, так хорошо ей стало:

— А хочешь, пока хозяек нет — я тебе потанцую? А кормить — уже потом буду. А пока вот — жаворонок съешь.

— Да что ты! — просиял Ярик. Она раньше так его не баловала, чтоб специально для него танцевать.— Конечно!

— Только я уже теперь не босоножка! — предупредила.

Заволновалась. Не только потому, что нагряяут хозяйки и будет очень неудобно. Но: никогда в жизни она не танцевала наедине с мужчиной, для него. (Хотя — какой же Ярик и мужчина?)

Но уже было — кинуто, поймано, не вернуть. И в запретной чинной столовой, где Ксенье позволялось отнюдь не всё,— а стол-то как раз стоял в стороне, удобно, широкая полоса вдоль окон свободна, быстро отодвинула кресла под чехлами к окнам, а стулья задвинув под скатерть поглубже, открыла прямой пропляс по начищенному паркету,— и убежала в свою комнату. Молниеносно сменила платье, туфельки, надела красное плоское ожерелье — и в узком чёрном выскользнула к нему.

И как раз проступили в окна, через тюлевые гардины — предзакатные жёлтые лучи.

Сама себе напевая музыку — проходила, пролетала туда и назад, с поворотами, выступкой, с перебежкой, прокрутами, то руки косо вперёд, как будто летя,— и правда чувствуя себя летящей, способной к полёту! Давно так счастливо не танцевала — но и всё время чувствуя, и почему-то тревожно, присутствие своего зрителя.

А он сидел, утонувши в диване, перебегающе следил — но ни слова, и не хвалил, так поражён.

А ведь — лучший способ разговора! Как можно много выразить в танце — гораздо больше слов. Какая в танце есть несвязанность! (Хотя ещё и не полная откровенность.)

Он — не похвалил, и она убежала молча, ощущая так, что произошло в этом танце нечто.

И опять, очень торопясь, и волнуясь, переодевалась — теперь в украинское вышитое, с широкими рукавами, с монистами.

И — выскочила, проплясала ему яростного гопака!

Вскрикивала громко! — тут и он стал вскрикивать, и даже кричал от восторга, подхлопывал ей ритм — встал — пошёл к ней, поймал за руки — и так доплясались до хохота. И он её обнял. Крепко-крепко.

Крепче, чем.

Полмига казалось — сейчас будет её целовать и совсем по-новому.

Испугалась, оторвалась. И опять убежала.

И хотелось ей ещё чардаш сплясать — но долго шнуроваться. Да благоразумие требовало лучше убрать все следы. Так и правильно. Едва переоделась, уже шум от дверей,— быстренько подвигали мебель на места. Вернулись хозяйки.

И хорошо, что вернулись: после объятия создался между ними ожог — не прикоснуться, и говорить наедине невозможно. А за общим столом потёк разговор о революции — и Ярик малоодобрительно о ней говорил, и так угодил хозяйкам.

Да, что же в Ростове?! (Ксенья и о Ростове не успела его расспросить, уж самое главное.)

После ужина пошли с Яриком погулять.

На их глазах молодой зеркальный месяц зашёл за Храмом Христа. Вечер был крупнозвёздный, но почти как будто без заморозка, тёплый,— или так казалось?

Бродили по набережным — сперва по Софийской, потом перешли к Водоотводному и по Кадашевской. Может, и нигде в городе, но здесь-то особенно в эти тёмные часы никак не выдвигалась в глаза революция, не сказывалась ничем, и красный цвет если ещё где был, то уже не заметен. Такой же вечный тёмный Кремль, устойчивые чугунные решётки — и белеющая ледяная москворецкая цельность, впрочем уже с подмоинами, подбухшая, вот-вот готовая п о й т и.

И Ксенья вот так же была вся готова — пойти.

Он вёл её крепко под руку, подпустя пальцы ей на кисть под перчатку — и иногда водил ими там, гладя.

Нежно.

В полутьме не так было видно его детское лицо, едва угадываемое, легко придумываемое. Чётко — шинель, ремни, шашка, фуражка, сапоги,— она шла с боевым фронтовым офицером, и иногда совсем забывала, что это — сводный брат её.

С фронтовым офицером — гордей всего и было гулять.

Вообразить бы его совсем незнакомым, как будто вот только что познакомились,— и, странно, тогда легче, открытей.

О Ростове — вдруг не захотелось говорить. И он догадался, почти не рассказывал. Да ведь у них был один общий и московский год — она курсисткой, он юнкером,— но и его не вспоминали.

И перестал называть „сестрёнкой“ и не говорил „печенежка“. Просто, часто — „ты“.

А рассказывал фронтовое разное, и всё такое важное, свежее,— даже старая лесопилка на обратном склоне, не растащенная на блиндажи, но приспособленная под штаб полка.

И как Рождество встречают на фронте.

Лишь бы звучали голоса.

Да какой он брат? Лишь товарищ отроческих лет,— чему это мешает? Брат — это скучный лысоватый Роман, считающий деньги, не пошедший на войну. А этот — воин, мужчина!

И всё время — крепко под руку, всем локтем до конца и плечами тесно.

Нежно.

Совсем новое установилось между ними. После сегодняшнего танца.

Хорошо танцевала. Как легко в танце! — а так путанно в жизни.

Зачарованно так пробродили — ничего больше не было, но уже много. Уже — достаточно пока.

Так в темноте и привыкла видеть — лицо совсем новое, мужественное, незнакомое.

Расставались, уговорились: и завтра встретиться днём, гулять, и послезавтра.

Какие это особенные вечера! — уже неотвратимо подступающей весны.

Возвратилась домой возбуждённая, счастливая, наполненная, долго не могла заснуть.

Как это так вдруг переменилось?

Всё хорошо: и что он такой изученный, близкий — и что такой вдруг незнакомый.

ОДИННАДЦАТОЕ МАРТА
СУББОТА

546′′

(Февральская мифология)

НИКОЛАЙ БЫВШИЙ. Да будет проклята лже-романовская династия ныне и присно, и во веки веков! Первое преступление „немкиного мужа“ — это измена и предательство. Коварный лицемер, предатель в душе, вероломный, неискренний и лживый... Если дело Мясоедова расследовать в глубину, то нити потянутся к дворцам.

(„Русская воля“, 8 марта)

...В начале войны надеялись, что царь не захочет бесчестья себе и своему войску. Но, видно, у царя было нерусское сердце. А министры ни о чём, кроме своей выгоды, не думали...

...Великая страна оказалась во власти врагов русского народа...

...Реакционная Россия противопоставляла реакционной Германии лишь лепивое и неискренное сопротивление...

...Мы все знаем, что между русской и германской реакцией всегда существовал теснейший договор взаимного страхования от революции, и этот договор не был разорван и после возникновения войны.

...Сношения августейших пораженцев с Германией не вызывают никаких сомнений. Арестом их — нанесён смертельный удар по шпионажу.

...Несомненное соучастие в шпионаже старой правительственной власти.

...Всё, что кровью завоевала русская армия,— пришлось отдать из-за измены Сухомлинова...

...Теперь мы узнали, что в России была крупная немецкая партия. Она опиралась на государыню, которая не могла забыть, что в Германии её братья и родственники. Немецкая партия хотела поражения России. Она находилась в сношении с германским штабом и выдавала военные тайны. Предателей будут судить, и на суде выяснятся все подробности.

...Мы узнали кошмарную правду о том, какой удар готовили высокопоставленные иуды стране и героической армии, измышляли вернейшие способы предательства... Мы начинаем это узнавать из английской печати...

...Гнусная дворцовая камарилья последние упования свои возлагала на императора Вильгельма. В интимном кружке клевретов замышлялась измена против России и армии.

...Все мы знаем, что царь и его приспешники были и остались друзьями Германии.

ген. Маниковский

...Царь за пышным обедом подписывал предательские договоры с Вильгельмом.

...Россией фактически управлял не Николай II, а Вильгельм...

В КОЛЬЦЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА. Как мы могли воевать? Неужели мы до сих пор еще не разбиты? Наши поражения были естественны и логичны, наши победы — вопреки здравому смыслу. Сегодня открытие за открытием: измены не только были, но они превосходили всякое воображение. На смену возникла мода: кто чище предаст свою родину? Николай давал тон. Шли беспроволочные телеграммы Вильгельму.

...Россия, распинаемая безмерным предательством, уже казалась умирающей... Никогда со времён Иуды Искариота над народом не совершалось такого предательства.

Ф. Сологуб

...Русский народ защищал Россию вопреки своему недостойному правительству. Но в народе всё больше вкоренялось убеждение, что правительство боится победы.

Д. В. Философов

...Шайка царских бандитов, самая бессовестная, лживая и хищническая в мире. ...От городового до министров и царя была одна шайка, которая высасывала соки из народа.

...Преступная шайка чиновников расхитила всё до того, что мы еле остаёмся живы...

...Бестолковая несуразная русская жизнь, в которой всего было в изобилии, кроме счастья...

...С платком во рту, со слезами на глазах мы всё видели, всё понимали и... молчали.

...Жалеть ли прошлого? — расслабленного, психически-гнилого, заражавшего свежую народную жизнь только смрадом и ядом...

...Все члены государственного тела России были поражены болезнью, которая не могла пройти сама, ни быть излеченной обычными средствами.

Александр Блок

...Мы жили в крепостническом режиме до последних дней.

...Как накануне 1 марта 1881, так и накануне 1 марта 1917 царизм пускал в ход только нагайку, пулю и виселицу.

...Павший режим мог выдвигать на ответственные посты либо хищников-предателей, либо ненормальных людей, соединявших политическую беспринципность с безграничной развязностью.

(„Новое время")

...Злостное пренебрежение старого режима священными интересами родины...

...Гнусный режим грубого произвола, в котором задыхалась вся Россия, кроме хищной шайки диких помещиков...

...Режим продажности годами торговал народной кровью.

Чхеидзе

...Самодержавие держало солдат хуже, чем заключённых: не отпускали со двора за покупками. В учебных ротах многие товарищи кончали самоубийством...

...Народ, который оскорбляли годами, до сих пор считался удобрением и подстилкой. Людям надоело быть вьючными животными, надоело терпеть вечное унижение, опротивело постоянно кого-то подкупать, перед кем-то вымаливать.

(„Новое время")

...Старый режим как могильный камень давил всякую свободную мысль. Гасители-приспешники только и понимали, как давить всё культурное...

...От старого режима больше всего страдала свободная печать.

...Старое правительство, враждебное всякой инициативе, кроме черносотенной...

...Все еврейские погромы были делом рук правительственной власти. Да и правительство не особенно тщательно скрывало это.

(Кузьмин-Караваев, „Биржевые ведомости")

...У нас был погромный монархизм.

...Погромы удавались только тогда, когда в них принимала участие переодетая или даже не переодетая полиция.

...Царство Каинов, вешателей, душителей народных прав. Безмерно терзали тело и душу России, довели Родину до невообразимого позора и разрухи.

...Россия была превращена в огромную тюрьму. Кладбищенский покой царил в России, и только псы мракобесия и слова ненависти были безусловно свободны...

ДИНАСТИЯ ГРЕХА И КРОВИ. ...Триста с лишком лет как кошмар тяготел над Россией. ...История русских царей — это история временщиков, шептунов и предателей.

...Александр II любил только парады и хорошую муштровку.

...Александр II вполне заслужил свою казнь от рук смелых революционеров. Казнь 1 марта 1881 года показала, что борьба с царизмом возможна только путём крайних мер, не знающих пощады.

...Но всех Романовых превзошёл по жестокости Николай II. Человечество не знает более кровавого царствования, чем царствование последнего Романова. Войны и казни, расстрел безоружных, предательство и измена Родине — вот что глубоко запало в народные души.

...Царь крови и виселицы...

...Николай II был одним из самых преступных насильников, какие только были известны миру.

...Реки крови, которые пролил романовский последыш, затмевают Ивана Четвёртого.

...И главной чертой Николая была личная лживость. Он был признанный глава убийц и грабителей.

(„Биржевые ведомости")

...Царь вышел глупый-преглупый. Рождённый быть безголовым, инстинктивно был недоволен: зачем ему голова... Полная нечувствительность к эмоциям нравственного восприятия. Маленькие страстишки, поверхностная сентиментальность. Опасный неврастеник, может быть даже параноик... Дегенеративные начала несомненно переданы Александрой Фёдоровной всем своим детям... Россия может считаться счастливой, что отделалась от Александры Фёдоровны так дёшево.

Александр Амфитеатров

...Царь открыто состоял членом банды погромщиков, называвшей себя «союзом русского народа».

...О благе народа царь совершенно не думал, через пять минут всё забывал.

...Свита спаивала царя, и он не интересовался делами...

...Вокруг царя было гомерическое пьянство...

...Царю и министрам не было дела до родины — они хотели только не упустить власть из своих рук.

...Николай был очень хитёр. Он умел выбирать себе советчиков и прятаться за их спины.

...У него были деспотические замашки и бесконечная рыхлость характера...

...Ханжа и делано религиозная Александра Фёдоровна была полна всех пороков. В ней не было настоящего сознания поститься, но по каким-то тайным соображениям она строго преследовала скоромное. Она имела немало фаворитов. Один из них был офицер Сводного полка О., отравленный единомышленниками Вырубовой. От смерти фаворита она заболела нервным расстройством. Исцелил её появившийся Григорий Распутин.

...По духовному завещанию Николая II в случае его смерти регентшей объявлялась Александра. Будущая «Екатерина III» спешила приблизиться к заветной цели. Главное, ей нужно было укоротить жизнь Николая. Зная наследственную слабость его к алкоголю, А. Ф. пустила стрелы в этом направлении. Но Николай пил и не сдавался. Тогда организовали покушение на его жизнь. Подробности заговора вскроются во всей своей неприглядной наготе, когда над супругами будет назначен гласный суд.

...Диктатура безумия поставила страну на край пропасти...

...Великое преступление старого режима, что он совершенно разрушил народное хозяйство...

...Наследие, оставленное нам старым режимом, настолько тяжело, настолько испорчено, что исправление его представляется поистине гигантским трудом.

...Государственная Дума объясняла, как помочь беде с питанием, но царь никого не хотел слушать...

...Холопы русского самодержавия, состоявшие на службе у германского правительства, прилагали все усилия, чтоб запутать дело продовольствия, довести народ до голодания.

...Анархия, которую сознательно сеяло правительство изменников и врагов народа, вынудила страну вступить на путь самозащиты.

...Одна сила, перед которой народ преклонялся и безгранично верил,— Государственная Дума. К ней обратились теперь взоры восставших, под её охрану отдали молодую русскую свободу.

...Никакие частичные мероприятия не помогли бы. Надо было разрушить до основания всё старое здание.

...Царское правительство с сознательным расчётом вело явную политику довести народ до края отчаяния, до исступления, вызвать на восстание — и залить его дымящейся народной кровью. И момент был чрезвычайно подходящий для правительства: жестокая война удерживала всех нас от выступления.

А. Серафимович

...Логическим завершением была попытка вернуть уходящую власть путём разрыва Минского фронта для пропуска войск Вильгельма. Какой кошмар!

...Низверженный царь готовил народу ужасное кровопролитие...

...Революции произошла тогда, когда страна сказала себе, что со старой властью она победить не может.

...вдруг армия повернулась к этому режиму не рукояткой, а лезвием...

...Революционный пролетариат и революционная армия спасли страну от окончательной гибели и краха, который приготовило царское правительство... Революционер-рабочий и солдат мощной рукой удержали народное хозяйство от падения и пропасть...

...Вопрос ясен. Народ бесповоротно решил, что царя — н е н а д о, он — не на благо, а на зло государства.

Н. Гредескул

...проклятая поганка на теле России...

...Уничтожен внутренний гнойник, заражавший всё национальное тело. Мы не только освободились — мы вымылись от грязи, прилипшей к России. Управляемая ненавистной властью, Россия походила на распавшееся бесовское царство. Когда стало очевидно, что именно терпение ведёт нас к неизбежной гибели, ему должен был наступить конец, иначе Россия не была бы Россией. Везде задавались мучительным вопросом: достойна ли Россия существовать на свете?

(Евг. Трубецкой, «Речь»)

...Весь народ признал: то, что случилось,— хорошо. Велик Бог земли русской, что уберёг её от дворцового переворота в февральские дни, но дал выпереть народному гневу. Рок России, такой несчастный, на этот раз оказался счастливым.

...Русская революция уже названа чудом — и это верно. Режим, под гнётом которого жила Россия, был режимом лжи. Ложь была возведена в культ. И вдруг страна с ничтожным напряжением её с себя стряхнула.

...Это историческое чудо очистило и просветило нас самих.

П. Струве

...Свершился суд Божий...

Еп. Андрей (Ухтомский)

...В нашем представлении до сих пор понятие революции связывалось с морем крови. Но русская революция разыгралась с изумительной стройностью. Великий гнев народный вылился в формы поразительной мягкости.

...Не нужно было быть пророком, чтоб предсказать: трагедия русского народа кончится великим сотрясением. Царскому самодержавию нужен был этот лес воздвигаемых виселиц, палачи не знали пощады. «Столыпинским галстуком» нас хотели задушить навсегда. Все ждали революционного вихря, но все и боялись его: улицы, обагрённые кровью, казни без конца. Но наша революция — особенная, мы сияем миру ровным светом. Закалившись в страданиях, подвергаясь невероятным пыткам, ужасам средневековья, мы сохранили незлобивость и великодушие.

...Великая русская революция не оказалась ни мстительной, ни жестокой...

...Бывали революции буржуазные, бывали пролетарские, но революции *национальной* доселе не было на свете. Эта революция — народно-русская, всенародная в высшем значении слова.

...У нас не было народа в высшем смысле, а — бесправная забитая масса. Мы верим, что русская армия не показала и части тех сил, которые в ней таятся. Великие февральские дни родили одухотворённую массу, из которой только и можно ковать «народную армию».

...Всё было против нас — и мы воевали. Можно ли сомневаться, что мы теперь победим?..

...Германия ещё не получала более решительного удара, чем наша революция...

...Наши благородные союзники в дни русской революции не дали Германии проявить активность на русском фронте...

...В новом строе измена по отношению к союзникам не зреет, как зрела она в старом строе.

...Теперь в России не может быть пораженчества, психологически объяснимого прежде. Оно может существовать только в чёрном подполье черносотенства.

...У реакции только один путь вернуться к нам: на острие немецких штыков. Итак, в союзе со свободолюбивой Англией и народоправной Францией...

...В минуту, когда Германия запоёт марсельезу,— наши руки соединятся. И скоро не будет никаких армий — и зачем заботиться теперь о глубокой армейской реформе? По всему фронту, обращённому к немцам, разверните красные победные знамёна!

Леонид Андреев

...Переворот в России — не только русское, но и мировое счастливое событие. Россия своей колоссальной массой задерживала общий прогресс человечества. Именно её грозная сила помешала совершить в Европе политическую реформацию, начатую Соединёнными Штатами в 1776 и Францией в 1789. Россия казалась мёртвым грузом на ногах новой цивилизации.

(Меньшиков, «Новое время»)

...Русское государство вновь, как встарь, стало единым владыкой своих судеб. Истекшие дни показали, как неслыханно созрел русский народ. Опираясь на таких граждан, Временное правительство будет в состоянии довести наш народ до окончания блестящей победы и до Учредительного Собрания.

...Лозунг Учредительного Собрания стал историческим императивом, могучим средством дисциплинировать стихию революции... создать организационные кристаллы, вокруг которых произойдёт уплотнение законности и права...

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ. Россия свободна! Идёт таинственный процесс коллективного творчества.

...Новое правительство приняло на себя тяжёлое наследие. Что систематически разрушалось в течение десятилетий, нельзя исправить в несколько месяцев...

...гнилые и ядовитые ростки самодержавия... Мы вырвали их и вспахиваем землю новой России, чтобы на ней насадить прекрасный сад свободы и демократии...

...Какое великое счастье жить в эти дни!

Во дни святого счастия
Возникнет над землёй
Блаженного безвластия
Желанный строй.

В пыли не зашевелится
Вопрос жестокий: чьё?
И в сердце не прицелится
Безумное ружьё.

(Ф. Сологуб, «Биржевые ведомости»)

* * *

СУПРОТИВ ПЕЧАТНОГО НЕ СОВРЁШЬ

* * *

547

Радостную, упоённую ночь провёл Николай Николаевич! Среди ночи просыпался и ощущал — как он счастлив! и как, наконец, он поведёт славную русскую армию! Кажется, до утра не дождаться, скорее к действию.

После полутора лет несправедливого изгнания от злобной императрицы — возвратился он на своё законное место. И покоящееся тело его и удовлетворённый разум наполняло это радостное сознание: до чего же он, наконец, на месте. И как вся Армия теперь

воспрянет: обожаемый Верховный Главнокомандующий! И как вся Россия теперь вздохнёт свободнее, зная, что войска поведёт её любимец.

А ночевал Николай Николаевич в своём вагоне: в губернаторском доме ещё складывалось Никино имущество, ещё пока там всё перечистится, переставится, прежде чем въезжать, а потом и Стану позвать из Киева. В большой бодрости великий князь поднялся, умылся, помолился, выпил утренний кофе и уже намеревался ехать в штаб, принимать одно энергичное решение за другим, чтобы перетряхнуть армию к победе,— как доложили, что просит приёма полковник из Петрограда с поручением от князя Львова. Вот как? — наконец-то, давно пора им отозваться. Но вестей от князя он очень ждал на Кавказе, тогда — удивляло молчание правительства, в такие решающие дни. А теперь, для Верховного, сообщения с правительством становились рутиной. Принял полковника в салоне уже на ходу, стоя: что там?

Полковник виновато докладывал, что он уже четвёртый день с этим письмом едет за князем, но везде разминулся в дороге.

Однако Верховный Главнокомандующий, не осердясь на задержку, оставил объяснения без внимания, рассеянно поспешно вскрыл письмо тут же, при полковнике, развернул — и...

— проколотый! —

...ещё по-военному развернулся и сумел уйти в своё купе.

И диагонально припав к столику, ещё читал, не веря, не умея понять:

«...обсудив вопрос о назначении Вашем на пост Верховного Главнокомандующего, пришли к заключению, что создавшееся в настоящее время положение делает неизбежным оставление Вами этого поста. Народное мнение резко и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых какой-либо государственной должности. Временное Правительство не считает себя вправе остаться безучастным к голосу народа, пренебрежение которым может привести к самым серьёзным последствиям... Временное Правительство убеждено, что и Вы во имя блага Родины сложите с себя ещё до приезда Вашего в Ставку звание Верховного Главнокомандующего...»

Нет! Нет!! Нет, он этого не ожидал! Нет!! В революционные дни он готовил себя к неожиданности — но не такой!! Э т о г о — нельзя было предвидеть!

Это будет... Это будет... Это будет — Третье Отречение?!

Отречение Ники? — имело смысл: засыпка пропасти между властью и обществом.

Отречение Миши? — имело смысл: Мише был не по силе трон.

Но какой будет смысл э т о г о отречения — оторвать от Армии её Вождя?!!

И — что же решать? И — что можно решить? И — с кем же посоветоваться?

И — к т о его отрешает? Назначенный в один час вместе с ним какой-то Львов?..

Ах, как роково получилось, что Стана не поехала с ним сюда! Ах, как же нужна сейчас умница Стана с её твёрдым взглядом на события! Как роково получилось, что в такой день, при таком решении! — и они разлучены...

Сегодня и Стана и Милица и Петя должны быть в Киеве.

С Алексеевым? Но Алексеев — не великокняжеской крови, не ровня. И что-то вчера он не понравился: прятал глаза, был хмур. Великий князь даже подумал вчера, не разочарован ли Алексеев, не хочет ли он стать Верховным сам?

Да и — о чём же с кем советоваться, если написано так ясно и в правительстве уже всё решено?..

А пружинилось в великом князе великое нетерпение, которое и было двигателем его полководческих действий, нетерпение, которое никогда не давало ему выжидать, прятаться,— но вытягивало проявиться раньше всех и решительней всех.

Унижаться? Цепляться за пост? Просить? Ни за что!!!

Но — быстрей! но — больше! — швырнуть им!!

Конечно, можно не спешить сдавать — ведь он уже принял командование! Можно ехать в штаб, работать, обдумывать, обсудить и с Алексеевым.

Но — нет! Но — быстрей! Швырнуть им!!

От груди и в спину проколола насквозь обида — уже не на какое-то там правительство, а на саму Россию! Если Россия не оценила великого князя, если Россия не хочет его — неужели он будет навязываться?! Нет! — и горло его задрожало. Он даст и России почувствовать своё достоинство! Он — именно хочет теперь в благородстве определить и саму Россию! Он даже и не может ждать ни одной минуты!

И — метнулся саженными шагами, через салон, мимо забытого полковника — к адъютанту! бланк телеграммы!

Плюхнулся в стул, подогнув на полу остроуглые ноги,— и размашистыми крупными буквами писал:

«Рад вновь доказать мою любовь к родине, в чём Россия до сих пор не сомневалась.»

И хотя горло всё так же дрожало, но уже и удовлетворённо.

Пусть Россия прочтёт — и пожалеет.

И уже равнодушно — отдал адъютанту на отсылку.

Огненный порыв вырвался из тела как душа — и даже голова ослабла на шее, требовала ручного подпора.

И посидел так тихо. И пришла мысль: но если он не Верховный — то кто же теперь?..

Ах, зачем его вытребовали с Кавказа! Уж как хорош он был на месте там.

Но — Наместником он и остаётся? Ведь он предупредил правительство, что оставляет за собой этот пост!

А никакого другого поста, ниже, он теперь в армии занять не может. Не согласен.

Но и вернуться на Кавказ как бы разжалованным и после таких проводов — разве возможно?

А тогда что ж — отставка?

Уехать просто — в поместье, в Беззаботное?.. (А там сейчас волнения...)

Кончена жизнь? Как внезапно.

Генерал Алексеев прислал предупредить, что сейчас на вокзал приедет протопресвитер и в вагоне примет присягу Временному правительству от великого князя и сопровождающих офицеров.

Ах да! Присягу!..

Осветилось: а почему — в вагоне? А почему — не в штабе? Так Алексеев — з н а е т?? и знал вчера?? Предатель!!

А может — это его интрига и есть??

Присяга Временному правительству?..

Неудобно отказаться.

Отказаться — невозможно.

ДОКУМЕНТЫ — 22

(Опубликовано 11 марта)

ОТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Решительно отбросив приемы управления прежней власти, угнетавшей народ... Проникаясь всецело духом правового государства... заявляет, что приняло к непременному исполнению все возложенные на государственную казну при прежнем правительстве денежные обязательства... погашения по государственным займам, платежи по договорам, содержание служащим, пенсии...

Вместе с тем и все платежи, следующие в казну, налоги, пошлины должны вноситься по-прежнему... При громадности текущих военных расходов и увеличении государственного долга — повышение некоторых налогов окажется неизбежным...

Временное Правительство твердо уверено... что все граждане отныне свободной России с готовностью будут нести возложенные на них законом обязанности перед Родиною.

(подписи 12 министров)

ДОКУМЕНТЫ — 23

(Опубликовано 11 марта)

ВОЗЗВАНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА

Граждане и воины!

Враг угрожает столице. Петроград и его окрестности наводнены германскими шпионами. Нет звания, каким шпион не назвался бы. Он переодевается во всякую форму.

Нужна контрразведка. Генеральный штаб это дело наладит. Граждане и воины, не спутайте этих верных людей с агентами сыска былого режима. Новой власти сыска не нужно, она управляет в согласии с волей народа.

Следите за собой. Не выдавайте плана обороны.

Военный и морской министр А. Гучков

548

Котя Гулай не усматривал такой каузальной связи, чтоб от царского отречения Россия погибла. (Интересно, что Санька думает?) Котя так понимал, день ото дня всё увереннее, да и газет начитавшись: что это встряхивание может сказочно оживить Россию. Пусть,

пусть революция идёт! А генералов с немецкими фамилиями лучше и сместить, чтобы подозрений не навлекали. Именно и надо, чтоб началась солдатская самоуправа.

Котя не без злорадства надел на присягу изрядный красный бант.

А капитан Клементьев, старший офицер батареи, не надел.

День был погожий, снова солнечный, хотя и прохладный. Снег липкий, мокроватый, но не таял. Долго стояли — ногам через сапоги стало холодно, а лицо уже приятно теплило солнце.

Их командир дивизиона, только что вернувшийся из отпуска из Петрограда, вчера собрал всех офицеров и под впечатлением виденного обратился не с приказом, но с горячим советом: на предстоящую церемонию присяги Временному правительству всем офицерам надеть красные банты. Что если Временное правительство признало красный цвет своим — теперь нам нечего пугаться его как жупела! Он убеждал, что впредь вся боеспособность их части зависит от того, удастся ли офицерам завоевать доверие солдат, чтоб их не считали противниками переворота. Он ужасался поступку бригадного священника, который после оглашения Манифестов отказался беседовать с нижними чинами об отречении, пока не получит подтверждения от Священного Синода. Вот так,— говорил командир дивизиона,— мы разрушим, погубим армию и не доведём войны до конца. (А не менее ужасно, говорил, попали некоторые части, которые успели присягнуть Михаилу,— и теперь, через неделю, им переприсягать.) Никто из офицеров не знал — что ж это за банты, как их делать, какой формы и размера? — и командир дивизиона показывал им. Он уже распорядился раздавать красную материю солдатам.

Сегодня командир дивизиона приехал на батарею сам, сам же звучно, уверенно читал перед строем присягу — сперва всю вместе, потом по словам, и батарея повторила: «Клянусь перед Богом и своею совестью... повиноваться Временному Правительству... всем поставленным начальникам полное послушание... Не щадя жизни ради Отечества...»

А офицеры, как это принято, держали правую руку поднятой, с пальцами, сложенными для крестного знаменья.

А потом все, все по одному подходили к первому орудию, папаху под мышку, руку без рукавицы клали на ствол, а другой рукой крестились, кто православный. Потом целовали крест, лежащий на столике.

Обошлось гладко. (А в соседнем пехотном полку принесли к присяге знамя — но разглядели там инициалы царя — и не решились присягать, пришлось унести.)

Потом читали перед строем обращение военного министра.

Расходились после построения, и Клементьев, тоже присягнувший, и глубоко печальный,— пригласил Гулая зайти к нему в землянку, есть маленькое дело.

Он и вчера всё объяснение просидел с печальным безучастием, смотрел на командира дивизиона глазами больными или как на больного. Он-то сам (начальство не знало, а Гулай знал) на солдатские вопросы, как понять отречение, всем отвечал, что стряслось страшное несчастье, что без царя Россия пропадёт,— то есть ещё похуже того священника. Совсем не умел Клементьев притворяться. Но из солдат никто ему в ответ не осклабился, слушали, как соглашались.

Клементьев был старше Гулая всего-то на два года, а перегородка между ними была непереходимая. Даже странно, где это поместилось: всего на два года, а уже капитан, кадровый, и три года успел послужить до войны и всю войну. А просто: не только университета, но и гимназии не кончал, а сразу военное училище. Перегородка в том, что Клементьев был вовсе слит с военным делом, исключительно хорошо стрелял (Гулай у него много набрался). А с другой стороны — никаких философских интересов, ни начитанности, так что нельзя было бы ему сейчас предложить такой, например, аспект: что нынешняя русская революция есть ещё один шаг в саморазвитии Мирового Духа. А ещё — был Клементьев как-то слишком серьёзен, да даже и всегда печален. Ровесники, называли они друг друга на «вы», по чинам или по имени-отчеству.

Сейчас спустились к нему в землянку. Присели, в шинелях. Через оконко падало немного солнца, было светлей обычного землянночного. И снова Котя видел эту печальную серьёзность, делавшую Клементьева старше лет, и удивлялся его сокрушению, не пропорциональному событию. Всего-то росли у Клементьева юнкерские лёгкие усики, а лицо — уж так изведавшее горя.

За войну и у Коти было изведавшее, но за месяцы тихого оборонного стояния горечь сгонялась, а ликовала на лице молодость и сила.

Что-то яркое подсвечивало Косте под лицо. А, падал солнечный луч на его нагрудный красный бант.

Клементьев снял фуражку (у него иконка висела в углу), принагнул голову с чернявыми, молодо-густыми, но короткими волосами и сказал замыслительно:

— Да... Вот вам и блеск царского трона. Имени. И могущество власти. Было — и как не было.

Всё так, но мысль банальная, Гулаю нечем было отозваться.

— Царь был — Помазанник Божий,— очень серьёзно говорил Клементьев.— И прадед его царствовал, и пращуры, 300 лет. И царь — один. А во временном правительстве

может быть двадцать человек? — как же мы им присягаем? А если они разругаются и станут в разные стороны тянуть,— как же им соблюдать присягу?

Это верно.

— Ну, не им лично, России,— сказал Котя легко.

— И как же это новое правительство допустило арестовать царя? Неужели там не нашлось людей, кто бы помешал?

Гулай смолчал.

— Как вот мне вернуться к старику-отцу, старому служивому,— и без Государя императора?..

Вот ещё вопрос.

— Читаю вот,— кивнул Клементьев, на кровати лежала у него кипа газет.— Что только не пишут о царской семье, жутко читать. И за такие подробности берутся. Развязались перья. А и подумаешь: что-то за этим есть? Неужели столько неправды было вокруг трона?

Хотел ли он просто пожаловаться, поскулить, для того и позвал. Удивительна была такая его деревянность при его молодости. Он медленно выпускал фразы, а между ними продолжал думать. После контузии у него чуть заметно подрагивали руки и были зрачки неодинаковые.

— Несомненно,— сказал Гулай басом.— Были силы, которые царём играли.

Если вам так легче.

— А всё-таки,— уставленно в стенку, не в Костю: — Как же так? Петроград, тыловые могли произвести революцию, не спрося армию? Штатские люди — и с нами не посчитались?

— Да-а,— в тон, но без сожаления отозвался Гулай,— штафирки, конечно. Но им подручней было.

Клементьев как обдумывал, почти не двигался.

— Но Государь был патриот. И самоотвержен.

Немножко бы меньше серьёзности, нельзя уж так серьёзно с глазу на глаз.

— Однако, немецкая партия его сбивала. Он давал собою играть. Во главе великой страны так нельзя.

Клементьев прямо не возразил. Но желая ли оправдаться, поделиться по-равному:

— Успокаиваю себя тем, что с высоты престола освободили нас от присяги. Если Государь император сам соизволил отречься — тогда что ж? тогда и мы должны присягнуть? А то — не знаю... А то — я бы не мог... «Не щадя жизни ради отечества»,— что ж, это верно... Государь отрёкся, но остались Вера и Отечество, да...

Чего совсем не было у Клементьева — юмора. «С высоты престола» — так можно в манифестах писать, но не говорить же в простой речи. И вообще — можно услышать такое от закоснелого старого офицера, какого-нибудь князя,— но от 27-летнего офицерика из простого народа?

Скучновато уже получалось. За этим он и звал? Или за чем?

— Василь Фёдорыч, вы хотели что-то мне...?

Клементьев посмотрел на него удивлённо. И уже полная растерянность вступила в его печальные глаза.

— Да. Да. Позвольте...— вспоминал.— Позвольте, вот странность, насколько же память отшибло? Что со мной? А были у меня нервы — жена говорила: «дубиной не перешибёшь».

Смотрел с досадным мучением забытой мысли. Смотрел — как от Гулая ждал напоминания.

— Вот, говорю, надо нам теперь, после беды, батарею сколачивать, крепче держать. Нет, не то. Не вспоминал.

— Ну, в другой раз, Василь Фёдорыч, когда вспомните.— Встал.

И Клементьев встал. Уныло.

— Вот странность... А как вам нравится,— ещё задержал,— в приказе министра: «солдаты и офицеры, верьте друг другу»? То есть, солдаты, не избивайте офицеров? Ведь это же нетактично. У нас и тени неповиновения нет, это у них в Петрограде,— а зачем же нам читать такой приказ? Нетактично.

— Правда,— согласился Гулай.— Это глупость.

И уж на самом уходе его — вспомнил Клементьев.

— Да, вот что! Ерунда совсем. Командир дивизиона в Москве нанёс визит институту, который нам всё подарки шлёт. И директриса, между прочим, пожаловалась, что один наш солдат пишет слишком развязные письма её институтке. Командир, даже неловко, просил повлиять. Это — ваш Евграфов. Вот, возьмите.

Нашёл, дал. Армейский полуконвертик, в трубочку склеиваемое письмо.

Гулай взял. У себя в землянке прочёл, залихватское приказчичье ухаживание, галантерейным языком.

При подарках были всегда имена и адреса жертвователей, почти всегда девиц. Такие подарки получал и сам Гулай, офицерские мало чем отличались от солдатских, и внутри

мешочков такие же трогательные письма упаковщиц, нередко гимназисток, восторженно предлагавших заочную дружбу и переписку. Некоторые вкладывали и фотографии, подруги разоблачали, что она чужую положила, а сама урода. Все воедино эти письма представляли неразведанный, таинственный и манящий букет — то самое, что и есть жизнь. И Гулай сам иногда отвечал довольно ухажорскими письмами, но не с такой откровенностью, как размахнулся Евграфов.

Вызвал его.

Вошёл — не только всегдашним зубоскалом, но ещё и имепинником от огромного красного банта на груди. Такой именинник и такой свободный — какой же ему теперь выговор? Он и раньше бы не послушал.

Но чего уж решительно не мог Гулай — это говорить ему «вы», пропади и всё Временное правительство!

— Садись, сукин сын! — показал ему на табуретку.— Ты что же невинных девочек соблазняешь?

Улыбнулся Евграфов польщённо, выказал ровные белые быстрые зубы. Даже не спросил, о ком речь, видно не один такой случай был, а победно:

— А виноватых — чего ж и соблазнять, ваше благородие? Наше дело холостое!

— Это верно,— согласился Гулай, смеясь.— А карточка-то хоть есть у тебя, или ты как с рогожным кулём?..

Евграфов и всегда был в разговорах смел, а тут, видя такое расположение, опять омыл зубы:

— А что, господин поручик, дозвольте спросить, правду ли говорят, что царская дочь Татьяна отравилась? Говорят, от Распутина забеременела, а сама — невеста румынского наследника. Так не могла позора пережить?

549

После завтрака пришёл Ярик — и отправились они снова гулять, занятий ведь нет.

Но — но...— вчерашнее очарование сразу не возобновилось. Как будто вчера — это вчера, и отделено чертой,— а сегодня и днём невозможно было отвлечься, будто это какой-то незнакомый воин, а всё время виделось, что это — Ярик, восстанавливались все мальчишеские черты, столько раз виденные в домашней обстановке, и та же припухловатая верхняя губа, и те же веснушки у носа. Конечно, уже не восторженные задорные глаза — но если б сейчас отпустили его с фронта, то могли б они помальчишечеть.

(Ещё она всматривалась — нет ли, не дай Бог, в нём выражения предсмертной обречённости, как, говорят, бывает. Но ничего такого не виделось, нет.)

И очень Ксенья смутилась: да где же *тот*? Ведь *тот* — был вчера, был.

Кажется, и он был смущён. Шли с неловкостью. Неясностью.

А во все глаза лезла внешняя жизнь, и революция. Там и сям — остывшие, с жестяными трубами кипятильники, из которых на днях поили на улицах горяченьким бродячий народ и бродячие войска. И — трамваи с красными флагами и надписями по красному: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Да здравствует республика!»

Кто-то, говорят, захватывал типографию «Русского слова», кто-то — кафе «Пикадилли». Зачем?

И — в одном, другом, и третьем месте, на Театральной площади, на Страстной и на Тверской — необычные кучки домашней прислуги, горничных и кухарок,— в платках, суконных чёрных пальто, по пятьдесят и по сто вместе, горячо гудящих: требовать себе хороших комнат, а не закоулков, требовать свободных дней, и чтоб не будили, когда из театров приходят. (У них какой-то большой митинг сегодня был, вот и доспаривали.)

А Ярика больше поражали подростки с обнажённым иногда оружием и тяжёлыми револьверами на боках,— может быть заряженными? Белыми повязками на их рукавах удостоверялось, что это — милиционеры: не хватало студентов, и вооружили подростков. Ярик ужасался, что они пустят оружие там, где не надо, а против пьяного громилы и всё равно не справятся. Да у таких оружие — худший из беспорядков, отнять легко. (Ещё и студенты как справятся — тоже неизвестно.)

И тем более не пропускал его глаз развешанных повсюду военных приказов. А на стенах, на заборах, на театральных тумбах всё висели, висели приказы подполковника Грузинова — и те, которые уже читаны, и новые, не по два ли раза в день он их выпускал? Такой новый: не разглашать сведений военного характера. И такой новый: приказываю всем отлучившимся солдатам добровольно вернуться в части! Не ставьте меня в необходимость прибегать к принудительным мерам воздействия! И ещё такой: дезертиры освобождаются от ответственности, если вернутся в части до 20 марта.

— Фью-ю-ю! Да ты понимаешь, печенежка, что это всё значит? Во время войны! И — до 20 марта, а сегодня 11-е. Не очень-то надеется.

От приказа к приказу, от квартала к кварталу он темнел.

И правда, теперь и Ксенья поняла необычность толпы: слишком много свободно гуляющих по улице солдат, слишком много, такого не бывало.

Но честь поручику — отдавали, и он всем отвечал, отвечал без конца, для того вёл Ксенью левой рукой.

И уже совсем не так слитно, не так нежно, как вчера. Всё отвлекало их от них самих.

А вот ему приятель рассказал, тут на днях было шествие по Тверской — солдаты под руку с офицерами и под марсельезу?

— Знаешь, я всегда был за то, чтоб устав мягче,— ведь умираем вместе. Но идти в обнимку?.. В первые дни в Ростове мне эти солдатские восторги нравились, но что-то, знаешь, слишком раскачало.

Сообразил:

— А ты-то — что домой пишешь? Ты домой не написала случайно: поздравляю вас со свободой?

Нет, смеялась Ксенья, домой — понимаю, что так нельзя. А Женечке с Аглаидой Федосеевной — так именно так.

Разминулось письмо, он его в Ростове не видел.

— Они-то — да, они так и понимают. Но это всё, печенежка, гораздо сложней. Вот как бы мы войну не стали проигрывать.

Опять уже запросто обсуждался харитоновский дом как их общий, свой, запросто звучала «печенежка».

А напряженье меж ними от вчера — ослабло... исчезало...

Да ведь они и никогда не скрывали своей нежной расположенности: они всегда были как брат и сестра.

Снова заблистала между ними весёлая и непроходимая стеклянная грань.

От яркого света уйти бы в дневной сеанс в кинематограф? — так все зрелища закрыты.

И правда, что это ей надумалось? Почему ей вчера так определённо показалось? Ведь если э т о войдёт в их жизнь — что ж тогда будет со всеми их отношениями в харитоновской семье? Это — никому и в голову не вберётся.

Что-то скучнела и внутренне пустела их прогулка.

Около кинотеатра «Арс», запруживая Тверскую, собиралась новая толпа: ожидался там кадетский митинг.

По тумбам, по афишным доскам ещё много было развешано анонсов — что будет на пятой неделе поста, лишь бы только выбраться из четвёртой: снова все театры, кинематографы, а крупнее всех развесила фирма Либкин: сенсационную фильму «Тёмные силы» — о Распутине, завлекательность, ведь это хлынут смотреть. Да когда так быстро изготовили?

Но сегодня — никуда они пойти не могли. И когда перед закатом Ярик провожал её домой, через Большой Каменный мост, Ксенья звала:

— Пойдём, у нас посидим.

Но он стал при перилах, вытянулся в своих натянутых ремнях, смотрел на ледяную реку в тёмных пятнах — помрачённо. И вот сейчас, в закатной жёлтости, почудился ей на его юном простодушном лице — свет жертвы.

Губы сжались твёрдым пожатием:

— Нет, сестрёнка, прости, не пойду.— Ещё хмурился туда, мимо.— Почему-то тяжело. И я не уверен, что останусь дольше. Я, может быть, знаешь... уеду завтра.

— Раньше отпуска? — изумилась Ксенья.

— У-гм.

Так почувствовала:

— А я тебя — ничем не обидела?

Он помягчел, повернулся, руку на руку положил:

— Да нет, сестрёнка, что ты.

Обнялись — как всегда раньше.

Она перекрестила его.

И пошла со склонённой головой, как будто виноватой себя чувствуя.

Если что и могло быть — то упущено вчера вечером.

Вчера казалось: этого уже много до переполнения. А на самом деле, значит, вчера случилось мало.

Да Боже,— где же т о т? К о г д а это вступит, наконец?

550

Утром позвонил взволнованный Ардов и просил принять его — послушать громовую статью. Если Сусанна Иосифовна одобрит — то завтра же она раскатится на всю Россию.

Сусанна привыкла, ей часто приходилось быть в положении вдохновительницы. Адвокаты, журналисты, даже и писатели нуждались в её слове поддержки, улыбке,— часто звали её послушать свои лучшие речи, приносили черновики статей — оценить

3*

и покритиковать, у неё был чуткий редакторский слух. Их дом был не только дом Давида Корзнера, но и Сусанны Корзнер, она-то своим сиянием и собирала постоянную публику. И эту роль свою она любила (не без того чтобы гордиться, но скрывала). Это выслушивание мужских вдохновений никак не была измена мужу, но — напряжённый спектр жизни. Ей приносили своё лучшее — и она по силам старалась ещё улучшить это лучшее.

Отказать было невозможно, так он рвался,— а между тем дня уже не хватало, позже предстоял Сусанне торжественный и необычайный вечер: всемосковский еврейский митинг. Сегодня — суббота, и он назначен был позже вечером, после святой неподвижности, а перед тем у неё соберутся знакомые, сговорились ехать гурьбой. (В этой связи и сама Сусанна вспомнила субботу и успела попрекнуть в шутку Ардова: не лучше ли завтра? «Ах, какие пустяки! — донеслось в ответ.— Этот замысел распирает меня уже всю ночь, я не могу его носить дальше.»)

Перед приходом Ардова переменила блузку.

Он ворвался с весело-блуждающими глазами. Сели в столовой под верхней лампой, там всегда не хватало дневного света, взяли кофе, Ардов разложил свои беспорядочные листы с беспорядочным почерком. И радостно-нервно:

— Сусанна Иосифовна, я не буду предварять, текст говорит сам за себя... Нет, всё же немного предварю... Вы — читаете, вы — слышите, вы — отдаёте себе отчёт: ведь готовится предательство святой свободы!! Всё чаще — и откуда? совсем не от черносотенцев. Эти голоса, зовущие к предательству, раздаются в революционных газетах, печатаются открытые призывы — сбросить войну, как будто это... старое надоевшее пальто, нам стало жарко, тесно, и мы сбрасываем. Но войну — не сбросишь! О нет! Вот, вы читали: немцы готовят сокрушительный удар на Петроград. А мы — беспечны! И я решил: я не могу молчать дальше, я и наша газета не имеем права молчать! На это надо — ответить, но ответить не серо, ответить громово! надо хлестнуть по нервам! Надо — всех пробудить! Мы дадим огромные заголовки. Вы — согласны? вы — понимаете?

Сусанна — да, понимала, читала, знала.

— Я — с вами согласна, я — патриотка, это кроме всяких шуток.

Только она не уверена, что дело столь угрожаемо, и даже столь загублено? Но, однако, сильно написать — это всегда полезно, и если... Почитаем.

— Да! Изо всей силы! Да, так написать, чтобы рыдали простые солдаты! Вот так,— начинал уже читать.— Сбылись лучшие надежды многих поколений, оправданы страдания бесчисленного множества замученных! В три дня из царства самого свирепого деспотизма мы перенеслись в безбрежный океан безграничной свободы! Да! На нас свалился дар радостный — но и трагический! Мы оказались в вихре героической эпохи — но это и обязывает нас стать героями! О граждане, поймём единодушно: лучше умереть в такую эпоху, чем жить в эпоху прозябания! Долг каждого гражданина — чтоб освобождённая Россия была Россией победоносной! Ныне создалась опасность не только отечеству, но — свободе! Немцы надеются, что наш переворот приведёт к ослаблению русского воинского духа — о, как жестоко они ошибутся! Мы, победившие внутреннего немца, неужели поддадимся внешнему?! Мы верим, что армия нас не выдаст! Конечно, Вильгельм хочет отомстить нам за сверженного царя, он всегда его поддерживал.

Он сам себя перебивал в большом волнении, то ли усиляя воздействие на Сусанну своими объяснениями, то ли одновременно готовя вариантные фразы:

— Да, конечно, тут место сказать и о старой камарилье: они все получили по тому счёту, который был кровью написан на полях сражений. По сути, союз трёх императоров продолжал тайно существовать, их объединяла круговая порука. Существовал же и какой-то тайный договор Николая с Вильгельмом об измене Франции. Мы и границу как следует не укрепляли, чтобы дать прусским войскам возможность давить «революционную свободу».

Он вписывал между строк или сносками, на полях и на обороте, а кофе стыл, забытый.

Сусанна мялась.

— Я... не уверена, что эти доводы найдут уж такой отзыв в солдатской простой душе. И что он будет рыдать.

Но это, кажется, и не была ещё сама статья или даже главная часть её, а только — примерка.

Ардов метнул взглядом:

— Да не солдата! — солдат и так стоит на посту. Нам надо пронять — гражданина! обывателя! даже интеллигентного обывателя, кому революция досталась так слишком просто! Я — буду насмехаться, вот будет мой тон! Свергли Николая II — и радуетесь? А он — величина малая. Вас называют гениальными за ваш переворот, а вы — как рабы: связали надсмотрщика и пляшете. А подходят — усмирители с плётками. Где же, где же — рёв прорвавшегося революционного потока? Сколько дней революции уже прошло — а что мы сделали? Усилилось ли производство снарядов? Обеспечены ли города продовольствием? Где же наше вдохновение? Где же наш порыв? Где гнев? Где оскорблённые сердца? Где поруганная честь?

Да, в этом тоне что-то острое было найдено, Ардов сразу уловил бодрящее одобрение Сусанны — и ещё горячее взялся:

— Нас хватило только на то, чтобы свергнуть нашего мелкого самодержца. Позвольте! А безопасность ваших близких? А слёзы вдов и сирот? А руки, заменённые деревяшками? А униженная Россия?.. Да, русский народ отходчив. Он навяжет красный галстук на памятник Александра III, и удовлетворится этим,— и опять примется за своё богоискательство.

Да, какое-то дикое веселье было в этих строках, они не могли не затронуть, хотя бы оскорбив.

— Но Гинденбург идёт казнить нашу свободу — а мы спокойно слушаем, как какие-то нетерпеливые мечтатели рядом с нами кричат «долой войну!». Поистине, наш народ слишком долго был рабом! Или вы не чувствуете железной поступи этих мгновений?.. Потомки или назовут наши имена святыми, или проклянут как разрушителей России. Раньше у нас было оправдание: во всём виноват режим. Но теперь — ответственность на нас! Теперь — нет отговорок, которые оправдали бы нас перед историей. И у нас — нет отступления. Освободительную войну только и может вести свободное государство. *Мы сами подписали свою судьбу: мы обречены на войну!*

— Несколько дней назад вы писали: мы обречены победить! — помнила Сусанна.

Польщённый Ардов с раскраснелыми ушами кивнул:

— Ещё несколько дней назад и можно было так сказать. Но сегодня приходится сказать вот как... Вы ненавидите деспотизм? Но в Европе остался только один деспот. Пусть же ведёт вас против него ваша любимая марсельеза!

Глотнул кадыком. Глотнул кофе.

— А то все только распевают её. Понравилось... И дальше. И теперь не время для празднеств! Что это открылся за новый вопрос: работать или не работать на заводах? Это — старый режим цеплялся за колёса ваших станков, и оттого у нас было меньше пушек, меньше снарядов. А теперь не то что работать — надо навёрстывать всё упущенное за прежнее время. Теперь — пусть ваши станки вертятся с удесятерённой скоростью! Вложите всю вашу любовь к свободе — в этот бег колёс! Введите систему Тэйлора! У нас мало отравляющих газов — создайте нам газы! Пусть работают и женщины! Пусть вся Россия напряжётся как огромная космическая пружина!

И уши пылали его, и щёки, он — весь сгорал, он и сам уже без Сусанны видел, что статья удалась отлично.

— Всё — для свободы! Такой минуты ещё не было в нашей истории! Только свободный народ и может вести освободительну... а, это уже было... Неужели мы упустим то счастье, которое далось в наши руки, трепещущие от волнения?.. Неотразимо написать! Написать так, чтобы стало стыдно всей стране!.. Может быть, и всем нам придётся идти под знамёна без отсрочек и белых билетов! У всех у нас — один билет: на котором написан наш гражданский долг!

Его голос переломился.

Успокоясь, он снова проверяюще смотрел на Сусанну.

Сусанна ли не умела слушать и смотреть! ушами и глазами выслеживать, ещё иногда поддерживая и изгибом кисти. Она — ничего не пропустила. И теперь сказала вдумчиво:

— Да, это сильно. Неожиданно, остро, дерзко. Можно поправить несколько выражений.— Ардов не скрывал, как доволен.— Но если говорить по сути, меня беспокоит вот какой оттенок. Повторяю, я патриотка. Войну — надо вести. И она именно должна стать войной за свободу. Мы должны защищать Россию от Вильгельма, как защищали бы её от Романова. Война — это горькое наследие, за то, что мы её рабски приняли, и в том мы все виноваты, и теперь надо нести её до конца. «Немедленное прекращение» — это какое-то безумное ребячество или извращённое толстовство. Но всё же,— она пристально смотрела на Ардова, а искала в самой себе: — всё-таки, что-то должно измениться в нашем отношении к войне, нельзя говорить прежним голосом. Ну, скажем, с таким добавлением: долой побединство! Победы — нам тоже не надо, а только отстоять свободу. А?

551

Наконец-то Александр Фёдорович стал высыпаться — и уже больше не падал в обморок. Да и сбросилось это безумное революционное напряжение, или, верней, так хорошо он втянулся в него, что уже вращался как в обычной жизни. Чтобы полнее сгорать на министерском посту — совершенно правдоподобно не возвращался он на свою семейную квартиру. Но чтобы не переезжать и семьёю сюда, да и по доброте,— не изгонял из казённой министерской семью арестованного бывшего министра Добровольского (и разрешил мадам ежедневные свидания с мужем, и держал речь к домовой прислуге: служить по-прежнему), а себе взял только рабочий кабинет, который стал ему также и столовой, и рядом комнату для сна. Но быт устроился отлично: метался ли Керенский по Петрограду или вёл приём в министерстве, а тем временем графский повар распоряжался на кухне

большими запасами графской провизии. И пока в деловой части здания бурлила напряжённая работа министра — здесь приспевали любимые блюда Александра Фёдоровича или, за недостатком его знания и опыта, блюда по рекомендации Орлова-Двыдова, или по усмотрению самого повара. А к вечеру в прихожей непременно стал появляться ещё и великий князь Николай Михайлович. И как только последние дела кружевитого дня спадали — министр с графом и с великим князем принимались приватно ужинать, со вниманием, разнообразием и пояснениями о блюдах.

Николай Михайлович, лысый, с короткой шеей и художественно обстриженными усами-бородой, появился в приёмной министра юстиции едва ли не в первый же день и сразу пришёлся Керенскому: с одной стороны это был несомненный, неподдельный великий князь, его императорское высочество,— и вот тянулся в свиту Керенского; с другой стороны — вполне оппозиционный великий князь, в опале у отрекшегося царя, ведший агитацию в великокняжеских кругах, готовый поддерживать и заговоры, считавший убийство Распутина недостаточной мерой, а теперь, после двухмесячной ссылки в деревню, уже и горячайший сторонник Великой революции. А с третьей стороны — он ведь был историк! и может быть в самое ближайшее время будет способен отразить государственные шаги самого Керенского! А наконец и просто обворожительный человек.

А ещё, кроме общей приватности, приятности и дружелюбия, Николай Михайлович охотно дал себя приспособить и для обработки всех великих князей: чтоб они присылали министру юстиции письменные заявления о своей лояльности Временному правительству, об отказе от права престолонаследия и — об отказе от удельных земель, приносивших большой доход. Этот последний пункт был тонок: законодательно — этого отчуждения можно было добиться только Учредительным Собранием, а вот если бы добровольно, то и быстро. Хотел Керенский поднести такой готовый подарок своему нерасторопному правительству.

И Николаю Михайловичу неплохо удалось. После ареста Николая II великие князья быстро тронулись и стали такие заявления присылать и даже телеграфировать, а Николай Михайлович ещё и комментировал министру, кто сдался легко, а кто туго. Легко согласились все Константиновичи: что не может быть и речи о престолонаследии, а Уделы есть собственность народа. Георгий Михайлович более осмотрительно отказывался лишь от престолонаследия, а по Уделам лишь обещал подчиниться решению, когда оно состоится. Александр Михайлович и Сергей Михайлович ограничились поддержкой Временного правительства, как будто бы остальных вопросов не поняли. А Владимировичи — упирались. Андрей был — далеко в Кисловодске. Кирилл — от престола отказался, а об удельных землях умолчал: хотя с красным бантом и приветствовал революцию, но расставаться с богатством жаль. А Борис, казачий походный атаман, и вовсе молчал, и вообще в его окружении в Ставке настроение было тёмное: поступил донос от проводника штабного поезда, что в штабе Бориса группа офицеров-заговорщиков решила открыть немцам проход на Петроград, а сами заговорщики тем временем бомбами и револьверами уничтожат всех министров. (Послал Керенский генерала-юриста в Ставку арестовать заговорщиков.)

А тут подоспела и присяга Николая Николаевича Временному правительству. Керенский выложил и своих верноподданных великих князей — и велел всё это скорей обнародовать во всеобщее сведение.

От первой минуты своего министерства, даже ещё от предминистерских тайносговорных часов, обжигающе чувствовал Александр Фёдорович и горячо говорил своему верному партийному оруженосцу Зензинову, и коллегам по правительству, и чинам своего министерства, и всем, кто припадал послушать,— на какой недосягаемый пьедестал он поставит в России юстицию. (Пьедестал-пьедесталом, но кой-кого надо бы ещё быстро и похватать.) Величайшие вековые юридически-революционные деяния выпали счастливчику. Освобождение всех революционеров из Сибири! (И чтоб унизить старых прокуроров, предписывал им лично освобождать своих вчерашних обвинённых и поздравлять их.) Амнистия! — мечта интеллигентских поколений! И широтой своей захватывающая дух: не только всех политических, бунт против верховной власти, преступные деяния против императорской семьи, посягательство на изменение образа правления, публичные речи к ниспровержению строя, призыв войск к неповиновению, распространение заведомо ложных слухов об учреждениях,— но и всех уголовных, кто совершил убийства, ограбления по политическим и религиозным мотивам, и промотание оружия, и всех штрафных военнослужащих перевести в разряд беспорочно служивших. А уголовные, кому не будет прощён полный срок,— те могут идти в Действующую армию, укрепляя её ряды, а при свидетельстве о добром поведении будут затем прощены.

Правда, жестоко было бы: освобождая политических, ничего не сделать для уголовных. Керенского мучило, что он пока мало сделал для них: неужели по-человечески они заслужили такую кару, как тюрьма, крепость, каторжные работы? Ведь виноваты не они, а среда. Сколькие из них получили только сокращения наполовину... По-революционному, кто воистину не подлежит никакой амнистии — это повышающие цены на квартиры и продукты, вот они удушают революцию!

Да вообще! Да вообще: пора, наконец, тюремную практику превратить в гуманность!

пора вообще отказываться от наказаний, ибо они не исправляют! Самое правильное было бы: для оздоровления духа преступников отправлять их на побывку в семью. Начальником Тюремного управления Керенский назначил теперь — профессора Жижиленко, очень передового. Отменить кандалы для каторжан! И предавать суду жестоких чинов тюремной администрации.

Досталось теперь тюремному управлению и брать в своё ведение многочисленные арестные помещения, нововозникшие по всему городу и подгородью. За первые революционные дни хватали все, кому не лень, набралось арестованных тысяч более пяти, несравненно с тем, что сидело при царе, и не хватало тюремного фонда, брали под арестантов манежи, кинематографы, гимназии, ресторан Палкина, караульное помещение для кавалергардов, царскосельский лицей. Где успели нары устроить, а то на полу, без матрасов, без белья, лишь кому из дому принесут, и уборных не хватало. И не следовало держать лишних, и нельзя выпустить опасных сторонников старого режима, и ещё та опасность, что они могли проникнуть и в стражей. Уже заселили военную тюрьму. Спешно восстанавливали повреждённые в революцию «Кресты». И Керенский поручил присяжному поверенному Гольдштейну возглавить особую комиссию, нет — даже 20 следственных комиссий под его руководством: чтоб они обходили все места заключения, выясняли, за кем не числится никаких дел, и освобождали бы их. Все содержались без всякой санкции прокурора, даже без регистрации, без классификации, арестованные и упрятанные кем попало,— и к этим пленникам революции жест великодушия предстояло сделать опять-таки революционному министру.

И ещё надо было разработать единый подход к добровольно сдавшимся полицейским чинам: с ними-то как? продолжать держать? освобождать?

А чтобы вся череда амнистий и других славных дел становилась бы тотчас широко публично известна — учредил Керенский при своём министерстве бюро печати. Должна существовать форма прямого обращения министра юстиции к народу. Сообщать не только о действиях, но и о замыслах министра.

Да что! Да в самых недрах министерства нужны были срочные реформы! Чтобы лучше шла работа, Керенский отменил все чины, титулы, ордена и призвал младших служащих самих сорганизоваться для защиты своих политических интересов. Впредь — никто не будет назначен на какую-либо должность в министерстве без общего согласия младших служащих! К сожалению, сейчас ещё нельзя повысить всем содержание, но можно ограничить норму работы. (Кричали «ура» и благодарили.)

Да что! Да едва выходил Керенский из министерства на Екатерининскую улицу, чтобы сесть в автомобиль,— собирались вокруг дворники, прислуга из соседних домов,— и как было не встать в автомобиле, не произнести им речь: что теперь все будут равны! и князья — и дворники!

Великие дни, когда Александр Фёдорыч формовал русскую историю! Яркость, плотность, напряжённость, все фибры души трепещут! То — ещё раз слетать в Сенат. Предупреждённые сенаторы уже все не в мундирах и лентах, а в пиджаках, и конечно все взволнованы его приездом. Однако в гражданском департаменте Александр Фёдорович был очень ласков: просил их спокойно возобновить занятия, никаких перемен не ожидается, министр сам себя отдаёт в распоряжение Сената. Гражданский департамент всегда стоял на страже закона, и министр это ценит. Они хотят выработать приветствие Временному правительству? Что ж, пожалуйста. Вот в уголовно-кассационном департаменте у меня разговоры будут совсем другие. И перешёл в уголовно-кассационный, тот самый, который утвердил столько политических приговоров. Там он разговаривал с сенаторами всего лишь минут десять, но так строго и грозно, что оставил их возбуждённо-красными, близ сердечных припадков.

Всех их надо менять! И Керенский спешил предложить сенаторские посты адвокатам — Винаверу, Грузенбергу, Карабчевскому.

Да проще: надо вообще отменить верховный уголовный суд, не должно быть такого центрального судилища, достаточно, что судят на местах. Это всё — от имперского величия.

А ещё слетал — в Петропавловскую крепость. Это тем более важно и нужно, грозное явление министра юстиции должны там запомнить все. Во дворе, замкнутом бессмертными стенами и корпусами, был выстроен гарнизон — и министр произнёс к ним пламенную речь, призывая к строжайшей дисциплине и революционной ответственности. И пусть верят своим офицерам, что они — такие же революционеры, и над всеми над ними славная тень декабристов, повешенных вот тут же где-то, на стене.

Здесь у Керенского теперь сидело 35 министров и сановников. Обошёл бастион, где содержались преступные вельможи. Кроме общей стражи, у нескольких важных камер стояла дополнительная революционная. Смотрел в глазки, лишь к Макарову и Штюрмеру велел распахнуть и на мгновение появлялся в их дверях изваянием Дантона. (Он поражался сходству своему с Дантоном: от размаха революции — так же первый министр юстиции, и так же в его руках король, и так же он шагает к премьерству,— но — о, не будет же обезглавлен!) Распорядился: свидания давать им раз в неделю при прокуроре,

а Протопопову вовсе не давать. (Все эти дни к нему цеплялась жена Штюрмера — то выпрашивала свидание, то вернуть ей чемодан с отобранными драгоценностями, отказал.) Утвердил им 40 копеек кормёжных в сутки.

Весь Петроград хотел видеть своего министра юстиции! — и как было отказать городу? То и дело приходилось мчаться куда-то, чтобы перед какой-то, ещё и не разгляженной, публикой выбрасывать отрывистые фразы, опьяняя себя и слушателей.

А сегодня замчались почему-то и управление Межевой частью, все служащие радостно приветствовали министра обновлённой России — и Керенский благодарил их, призывал к деятельной и спокойной работе по предстоящему всеобщему перемежеванию земель. А потом в автомобиле со своим заместителем очнулись: почему они, собственно, туда поехали? ведь это же — министерство не то земледелия, не то внутренних дел?

А тем временем натекали со всех сторон телеграммы, и кто-то же должен был воспринимать их и откликаться. Из одних мест — приветствия, приветствия! Из других — просили ускорить амнистию уголовным. Из Одессы — подтвердить амнистию дезертирам. И поляки, прося автономии, слали телеграммы Керенскому же. И французские министры-социалисты слали горячие поздравления (и призыв продолжать войну) — кому же, как не единственному тут социалистическому министру? И надо было отвечать Жюлю Геду.

А тут — хватало забот по своему министерству, и надо было расторопно распоряжаться. Из Московского окружного суда затребовать на пересмотр дело Йоллоса, убитого черносотенцами 12 лет назад,— в надежде расширить теперь круг виновных. Из Таврического дворца — отпустить арестованную престарелую графиню Нарышкину: оказалась она оговорена Милюковым, спутана с другой Нарышкиной, не виновата ни в какой государственной измене. То — возбуждённые переговоры с Москвой, где Керенский в свой визит великодушно дозволил деятельность адвокатесс, и теперь там в юридическом мире происходил бум. То возникло расследование о загадочной шифрованной телеграмме, в дни переворота присланной некой Ивановой, Невский, 71, от некоего Иванова: «Выезжаю Вырицу, оставляю корзину, булки, хлеб». Это — несомненно было от генерала Иванова и связано с его карательным движением на Петроград,— а сам он скрылся в Киев, и надо было достать его оттуда и потребовать объяснений. То — поступили угрожающие сведения о подготовляемом покушении на документы Департамента Полиции, вывезенные в Академию Наук для изучения,— и оставалось приказать отвезти их в неразобранном виде в Петропавловскую крепость для сохранения. Напротив, бумаги, конфискованные в Союзе русского народа и в Союзе Михаила Архангела, свозили в министерство юстиции для скорейшего следствия. То — утверждал министр к публикованию найденный список сотрудников петроградского охранного отделения. То — подкладывали ему заявление одного из них, студента Зенона Лущика, с просьбой расстрелять его как не заслуживающего снисхождения,— а Керенский ставил милостивую визу. То — промелькнул где-то в Таврическом какой-то кавалерийский офицер, якобы покуситель на жизнь министра юстиции,— а потом являлась депутация офицеров с чувством глубокого возмущения и бесконечно ценя дорогую всему русскому офицерству жизнь гражданина-министра. (А потом вскоре оказывалось, что никакого покушения не готовилось, а — самоубийство.) Но на всякий случай перед каждой ночью проверяли, не проник ли в здание министерства кто чужой, особенно офицер. На ночь поперёк министровой двери укладывались на пол курьеры. И ландыше-валерьяновые капли, поданные министру, Александр Фёдорович велел выпить сперва самому лакею. То — являлась к социалистическому министру депутация рабочих со своим рабочим кандидатом в министры финансов: имел уже опыт заведывания больничной кассой на Выборгской стороне,— и Керенский должен был экзаменом при них доказать рабочим, что кандидат всё же не годен в министры. То подходило время мчаться на вокзал — встречать из Сибири почётную старую эсерку Брешко-Брешковскую (Керенский должен был всей России теперь доказать свою принадлежность не к трудовикам, а к эсерам, в которых он, увы, никогда не участвовал действенно). И ехал на вокзал, а она не приезжала.

Но все эти разрывающие обязанности не только не смущали Александра Фёдоровича — а воспламеняли его к ещё более круговертной деятельности. Он чувствовал себя — в своей стихии, он чувствовал себя гением революционного действия!

Более того: он чувствовал себя — карающей дланью революции, калиткою Немезиды. Грозно-траурным маршем прошагивала Она через грудь Александра Фёдоровича — и в Россию.

Вот — уже отменил он прежнее правило, что судебные приговоры относительно лиц высокопоставленных и с высокими орденами должны утверждаться верховною властью. Вот, наконец, хлопотами целой недели, он собрал Чрезвычайную Следственную Комиссию по делам высокопоставленных лиц, и отвёл ей 5 комнат в Сенате, и в члены ввёл своего Зензинова и добровольца прапорщика Знаменского,— а во главе, для леденения крови подследственных, так и возвысил присяжного поверенного Муравьёва. За собой же Керенский оставил следить за следственными шагами и доносить правительству о добытых результатах. Он ждал их вскоре. Сегодня, 11 марта, Комиссия уже начинала допрашивать (окружение Протопопова),— и скоро отчётливый ход Немезиды услышит вся Россия

и омертвеют винонные вельможи. (А дальше развернутся — и злодеяния самого царя. И — нельзя ему уезжать в Англию, нет.)

Распахнуть через себя путь желанной Справедливости в Россию, полную несправедливостей,— как от этого не задрожит грудная клетка?

Недавно у Таврического дворца произошла демонстрация с лозунгом: «Смерть арестованным!». Кипливый к благородству Керенский отзывчиво (через бюро печати) довёл до сведения всех граждан, что ни одна из революционных социалистических партий не призывает к насилиям и бессудным расправам, и есть основания утверждать, что подобные призывы есть деятельность бывших охранных и провокаторских организаций. Министр юстиции убеждён, что граждане Свободной России не омрачат насилием светлое торжество великого народа.

Да уже напечатали все газеты, что по распоряжению министра юстиции разрабатывается проект отмены смертной казни — навсегда. И каждый следующий день, разворачивая газеты, читатели ждали этого исторического закона.

Не так долго было и разработать его, там всего несколько пунктов. Но...

Одна-две смертных казни ещё очень могли бы понадобиться, чтобы грандиозно довершить картину русской революции.

Александр Фёдорович искренно ненавидел пролитие крови. Но — для того, чтоб она никогда больше не проливалась в России... ?

Совсем не по кровожадности, не по мести грезил Керенский о такой казни — но из эстетико-революционного ощущения совершенства всей картины! Чтобы не отстать от Великой Французской.

И он — медлил с опубликованием запрета.

552

Мучительные колебания Государственной Думы, а тем более её Председателя — разъезжаться ли всем по местам своего избрания для деятельной работы или, напротив, удерживаться в Петрограде и заседать,— как бы толчком решились от случая с депутатом крестьянином Саратовской губернии. В революционные дни он улизнул, не сказавшись и Председателю, и поехал в свою Саратовскую. Но в своей же родной деревне на сходе получил от стариков выговор: как же он мог в такое время оставить Государственную Думу? И вот — воротился.

Урок! Урок народной мудрости, к которой Родзянко всегда бывал прислушлив. И урок, вдохновляющий к новой деятельности! Ну конечно же, ну в самом деле! — разве это нормально для парламента: разъезжаться, когда драгоценные силы каждого из них нужны именно в соединении?

И сегодня в библиотеке Таврического Родзянко снова собрал частное совещание членов Государственной Думы, чтобы обсудить этот эпизод и сплотиться.

Уже и библиотека становилась слишком просторна для собравшихся, уже и тут сидели они редковато. Сердце Михаила Владимировича сжималось — но он крупнодушно расширял его и тем заполнял пустоту мест.

Итак, он обсудил поучительный случай с саратовским депутатом и очень просил более не разъезжаться и передавать другим депутатам, чтобы собирались.

Далее он обрадовал их сообщением, что с фронта получаются самые успокоительные известия, порядок в Действующей армии не нарушается.

Тут очень кстати выступил возвратившийся с Северного фронта депутат Дзюбинский. Этот народоволец, в юности сосланный в Сибирь, а оттуда потом делегированный в Думу, известный острый и беспощадный критик всего правительственного, от кого привыкли слушать только недовольство, теперь поднялся со своей уверенной широкой головой, столпообразно продолженной в шею, и тоже радостно стал рассказывать депутатам, как прекрасно настроены войска и как они рады переменам: теперь они знают, за что будут сражаться и жертвовать жизнью. Также нашёл Дзюбинский, что и генерал Рузский во всём хорошо разбирается, прекрасно осведомлён и смотрит на будущее с верою.

От имени Государственной Думы и её Временного Комитета Родзянко благодарил Дзюбинского за полезную поездку.

И на местах, докладывали депутаты, тоже всё спокойно.

На этом сегодняшнее заседание закрылось.

Ну да у Председателя оставался ж ещё Временный Комитет. Если кто возглавил и направил всю революцию в самые рискованные дни, то именно его Временный Комитет. И он же стоял твёрдым оплотом против опасности восстановления старого строя. И он же послал своих депутатов везти арестованного царя из Ставки. И с дороги именно во Временный Комитет слали депутаты телеграммы о том, как следует Николай. И являясь законным держателем Верховной власти, имея право сместить любого министра и даже всё правительство — не делал этого.

А Временное правительство, напротив, не оценило всей этой незаменимой службы Комитета и даже стало в несколько дней как бы вовсе его игнорировать, не держало в курсе предпринимаемого. Князь Львов ни разу не позвоиил Родзянке за советом.

А вот сейчас Николай Николаевич получил заслуженную отставку с Верховного — значит, надо было обсуждать новую кандидатуру, и с кем бы лучше всего это решить, как не с Временным Комитетом? Однако правительство и движения такого не делало.

Правительство давало иногда поручения Комитету, но если разобраться, то — унизительные: из-под августейшего покровительства Марии Фёдоровны перенять в своё ведение Красный Крест. Или руководить новоучреждённым Фондом Освобождения России, как он издаёт и распространяет литературу, устраивает лекции, чтения, беседы в поддержку Временного правительства.

Напротив, правительство чутко, болезненно прислушивалось к прениям и мнениям какого-то Совета рабочих депутатов, и с *ними* оно создало Контактиую комиссию, совещаться периодически. А Родзянко, а Комитет, а Дума знали о действиях правительства не больше чем любой обыватель.

Так и, с другой стороны, злополучный якобы член Временного Комитета Думы Чхеидзе — знать не хотел Комитета и забыл своё думское происхождение,— но из другого крыла Таврического пересылал по коридору грозные протесты против выпуска Временным Комитетом каких-либо публичных актов.

И, конечно, вся солдатня подчинялась *тому* крылу. Конечно, Временный Комитет не озаботился иметь штыковую силу, ни захватить население в струю пропаганды, не мог раздавать недобросовестные посулы,— и в результате только платонически мог быть недоволен Советом и Временным правительством, а действовать против иих не мог.

Но как же, как же все они не понимали — трагичности, символичности и бесповоротности того, что они делали?! Ведь Временное правительство, созданное Государственной Думой и обязанное отвечать перед Думой, не только не отвечало на простые вопросы её, но перехватило себе даже и коренную думскую законодательную работу, чего не бывало и при царе! Раньше Дума негодовала, что в её перерывах издавались законы по 87-й статье,— а теперь потекла сплошная 87-я, правительство само издавало закон за законом, мол при нынешнем положении страны оно не может дожидаться санкций Думы. Да посмотрите же в зеркало, господа!

Парламент победил — и что ж, он стал ненужен? Народ победил — и что же, народное представительство стало ненужным?

А для кого же все эти годы добивалась Дума власти — если не для Думы?

Страшная поздняя догадка теперь впустила когти в сердце Михаила Владимировича: да не с самого ли начала, все 10 думских лет, революционное крыло да и все кадеты использовали Думу лишь как прикрытие своих целей?

Ведь вот и Николай завещал Михаилу: править *в единении* с Государственной Думой (а не с Временным же правительством).

Да, в глазах народа Дума была вознесена необычайно высоко, сегодня во всех дальних углах России всё совершалось именем Думы, все знали и верили только в Думу,— и ни в провинции, ни в армии поверить бы не могли, что и Дума и её Председатель совсем не облечены никакою властью.

И публично объявить это — Родзянко не решился бы, больно.

Могло бы правительство князя Львова понять, какой драгоценный символ для них хотя бы идейное существование Думы? Ведь наступит час и правительство само будет искать поддержки Думы против левых эксцессов.

Но они этого не понимали.

Сгублялась горечь в горле Председатели. И рассасывал он её только неустанной работой.

Всё ещё приходили сотни приветственных телеграмм, надо было во множестве их читать и на какие-то отвечать. Телеграммою чтил Председателя и генерал Рузский: о том, что штаб его Северного фронта принял новую присягу, и с полной преданностью и горячими пожеланиями успеха... И Родзянке же слал телеграмму Союз русского народа: что он предлагает свои услуги Временному правительству. И инспекция фабричного труда отдавала себя в распоряжение Временного Комитета. И начальник боевой дивизии выравительно телеграфировал Председателю: в вашем лице приветствуем обновлённую Россию. Достойнейшему представителю, столь мощно и твёрдо ставшему в решительную минуту против тёмных сил...

Да с фронта катили не только телеграммы, но делегации,— и кто же мог выходить к ним в Таврическом дворце, если не Родзянко? Приехали делегаты Острожского полка, привезли резолюцию: великое солдатское спасибо за обновление нашей родины! Если мы чего и боимся, то — что происками тёмных сил нам не дадут закончить победой... И делегаты Малоярославецкого полка: с восторгом встретили переход власти в честные руки и будут защищать Государственную Думу до последней капли крови! ...И манифестация украинцев в малороссийских костюмах: как можно энергичнее продолжать войну с Германией!

А в промежутке между делегациями Председатель писал какое-нибудь воззвание. То он призывал деревню вывозить хлеб, а теперь не упустить призвать её сеять новый.

Всем, кто трудится над землёй. Без хлеба — ничего не будет. Государственная Дума просит вас, чтобы не остались поля незасеянными. Исполните свой святой долг — сейте каждый на своём поле. Весь излишний хлеб будет куплен правительством по необидной цене...

Сколько ж, сколько было в России дела! Уже и снявши с себя управление, Родзянко едва прогребался через дела.

А сегодня к Председателю явилась и вовсе необычная делегация: митрополит Владимир с полным составом Святейшего Синода! Родзянко с почётом принял их и рассадил, и угощал, готовый служить святым отцам.

А они пришли — с жалобой на конфликт с правительством. Сперва, неделю назад, обер-прокурор Львов объявил им, что Церкви будет полная свобода в самоуправлении, а правительство остановит, только если что несогласно с законом. Синод поверил и издал успокоительное послание к православному народу. Но всего через три дня Львов энергично заявил Синоду, что Временное правительство считает себя в прерогативах прежней власти, отказал в созыве церковного Собора и отдал распоряжение о подготовке церковной реформы по воле правительства. Тогда Синод пожелал обсудить новый закон об управлении Церковью. Львов ответил, что выработает без Синода, и даже ревизию церковного хозяйства будет вести сам, и назначать епархиальных иерархов он тоже будет сам, чего не делал и Самодержец, глава Церкви! После этого 6 иерархов подписали заявление, что не считают возможным оставаться присутствующими в Синоде. Позавчера присоединился и весь Синод: считать поведение обер-прокурора неканоническим и довести до сведения Временного правительства.

Итак, это был шаг Синода, не виданный во всей русской истории! Синод заявляет, что и он хочет воспользоваться свободами, объявленными всем гражданам, а если нет, то полным составом подаёт в отставку!!

Эти дни, руководя государством, Родзянко совсем упустил думать ещё и о Церкви,— а тут вот что! Он был ошеломлён явлением этих клобуков в свой кабинет, как будто преображённый и лучистый от блеска крестов с алмазами. Этих высоких духовных лиц он привык почитать издали, во время торжественных служб,— а тут вот все запросто они пришли к нему — и чего же хотели?

И сердце его было на стороне Синода и трепыхало от возмущения этим чёрным разбойником Львовым. И пришли они сюда — как ко Главе государства. И проблема была огромна и почётна, чтобы Председателю её и поднять, а кому же?! Поднить — и тряхнуть — и громыхнуть — и проучить этих зазнавшихся министров! И сердце его — бурлило от гнева!

Но... Но... Конфликт с правительством сегодня — был бы грозен. Невозможен.

И — некем его проводить.

И нельзя раскалывать силы порядка перед анархистами из Совета.

И... И... Со всей своей вальяжностью и многоданной властностью Председатель стал уговаривать членов Синода — как-нибудь с отставкою погодить. А там как-нибудь уладится.

А церковным иерархам и всегда доступна идея смирения. Они и сами понимают, что невозможно оставить Церковь без кормила. Что всё равно неизбежно им вести дела до созыва нового Синода.

И благоразумный Сергий Финляндский высказал, что не следует своим слишком большим упорством подрывать молодое Временное правительство. Нужен компромисс с властью.

553

С такой быстротой Николай Николаевич отказался от командования,— Алексеев узнал уже с опозданием, что тягостная обязанность объявлять — свалилась с него. Хоть это!

Но кроме облегчения — испытал он и огорчение, что этот порывистый властный человек не останется тут. От петроградских посяганий на Ставку — всё больше чувство незащищённости и неуверенности охватывало Алексеева,— неуверенности, какой он не знавал во всей своей военной службе и даже в отступлении Пятнадцатого года.

Обещался великий князь в этот день с утра кипеть над бумагами, а вот всё миновало, опустело. И единственные бумаги, которые надо было теперь составить и подписать,— это передача временного исполнения должности, применительно к статье 47-й полевого положения, начальнику штаба, впредь до назначения преемника. И — рапорт великого князя военному министру с просьбой уволить в отставку.

Всё это и подписано было. На породистом лице великого князя с трудом сохранялось выражение гордости, так свойственное ему. Никакой деланной усмешки на губах. А долго прорезанные глаза не могли скрыть печаль. Слишком силён был удар после трёхдневной дороги в овациях, возбуждённого приступа к делу — и...

И влага подёрнула глаза, и надломился голос, когда, с жалостью к себе, поручил Алексееву великий князь просить ему от Временного правительства беспрепятственного проезда в Крым и свободного там проживания в Чаире, а брату в Дюльбере. Ехать в большое тульское имение ему казалось опасным.

Мог себе позволить теперь великий князь уйти в личные планы. Но Алексееву было уже невмочь и недосуг — вслушаться, посочувствовать, посидеть. На его плечах всё увеличивалась тяжесть — и с отречённым великим князем он уже не имел права делить её.

Сегодня два офицера привезли тайное, откровенное и оглушительное письмо от Гучкова. Он прямо признавался, о чём Алексеев не хотел, не смел догадываться: что Временное правительство не располагает никакой реальной властью, а лишь сколько дозволяет ему Совет рабочих депутатов. (Разгневанный на Алексеева!..) И что разложение запасных частей прогрессирует.

Боже мой, так чем держаться Действующей армии? За спиной, вместо обширной отечественной земли,— обвал, бездна... А впереди всё тот же сильный зоркий враг.

И таково было грозное свойство гучковского письма, что даже Лукомскому не хотелось его показать. Никому вообще. Переварить в одиночку.

Впрочем, в характере Алексеева было — не бояться огорчений, но стараться всё плохое всегда знать, чтобы скорей принимать меры. Постепенно — он всё перерабатывал.

Ни с кем он не мог делиться своим разрушительным знанием, а между тем лез к нему приехавший корреспондент «Русского слова»: какие меры надо принять, чтобы армии восприняла переворот без ущерба?

И — нельзя ничего не ответить, такая теперь общественная температура.

Скрываясь за очками, за сожмуром, за кислым выражением, отвечал Алексеев, что армия не может сразу охватить таких событий. Разъяснять солдатам не могут посторонние люди, а только прямые начальники. Наша задача — сроднить и сблизить солдат и офицеров.

А возможно ли выборное начало?

Абсолютно невозможно. В мире такой армии не бывало и не будет.

Среди дня вдруг вызвали к аппарату. И потекла лента от князя Львова, взволнованная. С первых слов стало понятно, что он до сих пор не получил отправленную утром телеграмму великого князя об отречении, но только что получил вчерашнюю: что великий князь прибыл в Ставку и вступил в отправление должности Верховного.

И видимо, перепугался. Но и не прервёшь течение его ленты.

...Между тем Временное правительство имело возможность неоднократно обсуждать этот вопрос перед лицом быстро идущих событий и пришло к окончательному выводу о невозможности великому князю быть Верховным Главнокомандующим. И был послан офицер с письмом, с указанием на невозможность. А теперь телеграмма великого князя о вступлении в должность стала известна Петрограду и вызвала большое смущение. Достигнутое великими трудами успокоение умов грозит быть нарушенным...

И который уже раз это у них! — то полное успокоение, то всё нарушено.

...Временное правительство поставлено в затруднение: оно обязано немедленно объявить населению, что великий князь н е состоит Верховным Главнокомандующим. Князь Львов просит генерала Алексеева и самого великого князя — помочь нашему общему делу. Решение Временного правительства никак не может быть отменено по существу, но весь вопрос в форме его осуществления: правительство хотело бы, чтобы великий князь сложил с себя полномочия сам...

Это поразительно, насколько они не чувствовали в себе силы! — они не решались утвердить великого князя, но и снять его тоже не решались. Гучков не примрачнил...

Наконец лента остановилась, и Алексеев мог отвечать.

Он сразу успокоил: вопрос благополучно исчерпан. Уже послано две телеграммы: о сложении звания и потом об отставке. Если даже эти телеграммы ещё не пришли, генерал Алексеев не видит препятствий немедленно объявить это во всеобщее сведение и положить предел смущению умов. Кроме того, великий князь просил гарантировать ему и его семейству беспрепятственный проезд в Крым и свободное там проживание на своей даче. И он просит на время проезда командировать вашего комиссара. И чем скорее будет решён этот вопрос и чем скорее состоится отъезд великого князя из Могилёва... Об этом и генерал Алексеев убедительно просит князя Львова.

Там, на той стороне, задышали свободно.

— Слава Богу. Вопрос относительно дальнейшего следования великого князя будет решён через несколько часов, и решение будет немедленно сообщено вам.

Теперь такое известие:

— Военный министр выехал на Северный фронт.

Алексеев это уже знал из донесений.

Теперь и:

— Сообщите, пожалуйста, общее положение. И настроение войск в данную минуту.

Общее положение? — не Алексееву в Петроград было объяснять. Оно было наилучшим образом объяснено в письме того самого военного министра,— и ещё хорошо, что Алексеев не успел его показать новому Верховному. А ещё бы два-три часа он не отрёкся — и надо было бы показать. И не счесть всех последствий, какие это могло бы вызвать в необузданном князе. Конфликт с Петроградом мог бы разразиться гибельным.

А настроение?

— В боевых линиях, в громадном большинстве частей, совершенно спокойное. Исключение составляет Гренадерский корпус, где все события нарушили равновесие и замечается некоторое брожение и недоверие к офицерскому составу. Меры к разъяснению событий приняты. Надеюсь на благополучный исход, которому поможет и близость противника.

Меры — только что к разъяснению. Других мер не стал видеть Алексеев.

— Далеко не в таком положении находятся части и запасные полки войскового тыла. Бедность в офицерском составе, энергичная агитация делают своё дело — и то тут то там вспыхивают местные беспорядки.

Изложил князю Львову свой план примирительных комитетов — против революционных. Надо искать путей невиданных — по невиданным обстоятельствам.

Как только генерал Алексеев получит согласие главнокомандующих на такие комитеты — он войдёт с представлением в надежде, что правительство поддержит эти меры. Просил бы и — назначить комиссара Временного правительства для постоянного пребывания в Ставке, для установления нравственной и деловой связи.

Никогда в другое время не попросил бы такой глупости. Но наступила такая эпоха — эпоха комиссаров, посылаемых всеми, во все дырки,— а само правительство не всегда получишь к телеграфному аппарату.

И наконец,— наконец, что же? Как это всё понимать?

— Я закончу просьбою скорее закончить переходное время в смысле Верховного Главнокомандования. Назначить определённое лицо, которое полновластно вступит в трудную должность управления войсками.

Алексеев, правда, видел, что всё клонится к назначению его самого, и сам, честно, не видел никого другого на эту должность при нынешних обстоятельствах. Но и так же, честно, он не гнался за этой должностью, которая сегодня совсем и не выглядела как успех военной карьеры. А тактичность требовала кого-то предложить. Очевидно — Рузского, они сами не могли не думать о нём, он был и близок им во всех отношениях.

— Так как ныне главкосев, по-видимому, пользуется наибольшими симпатиями известных кругов Петрограда, то, может быть, вы сочтёте соответственным вручить эти обязанности — ему?

Но Львов ответил в изящной форме:

— Когда будет объявлен приказ о принятии вами Верховного Главнокомандования?

Принятие Главнокомандования — есть временное исполнение должности. Что ж,—

— Приказ будет объявлен сегодня и сообщён телеграммой на фронты.

— Приложим все усилия помогать вам и надеемся на дальнейшее несение вами должности Верховного.

Но тогда уж позвольте:

— Великий князь вчера назначил генерала Гурко вместо Эверта. Но сегодня мы читаем агентские телеграммы, из которых видно, что на эту должность будто бы назначен генерал Лечицкий?

Удобно командовать, если о назначении своих подчинённых узнаёшь из газет! Но знает ли о том хоть само правительство?

— Если вам известно что-либо по этому вопросу, не откажите ответить, так как надо положить конец недоразумениям сразу на трёх фронтах — Западном, Юго-Западном и Румынском.

С прелестной беспечностью Львов отвечал:

— По поводу Гурко ничего не знаю. Ждём Гучкова, тогда скажу, чтобы он тотчас вам сообщил. А улучшилось ли положение на Северном фронте?

Если относительно агитации — он должен был бы сам знать лучше. Если же...

— В боевом отношении на всех фронтах более или менее спокойно. Особо рельефных признаков накопления немецких сил против Северного фронта пока нет. Да и погода не благоприятствует широкой операции. И германскому флоту.

И, уже окончательно облегчённый, Львов:

— Могу добавить, что в последние дни во всей России, не исключая Петрограда, заметно сильное стремление браться за работу и большой подъём духа. Можно надеяться, и мы твёрдо верим, что этот подъём покроет недоимки, вызванные пароксизмом революции. Идут вести о подвозе хлеба в усиленном порядке. Москва вступила в нормальную жизнь во всех отношениях. По-видимому, мы решили стадию первых шагов строительства новой жизни. Наша опора — здравый рассудок и великая душа русского народа. До свиданья!

— Будьте здоровы. Помоги вам Бог,— только и мог отозваться новый Верховный, отходя от аппарата.

С и е м это он сейчас разговаривал, с каким призраком? От к о г о получил назначение? Разговаривал — и забылся, и как будто — с серьёзным правительством.

Но снова перед глазами встало безжалостное тайное гучковское письмо, ещё даже не освоенное вполне.

ДОКУМЕНТЫ — 24

Лондон, 11 марта

ЛЛОЙД ДЖОРДЖ — кн. ЛЬВОВУ

...Как бы мы ни ценили лояльность и верное сотрудничество бывшего императора и русских армий в течение последних двух с половиной лет, мы полагаем, что революция, с помощью которой русский народ связал свою судьбу с твердой основой свободы, является лучшей лептой, которую Россия принесла на алтарь союзников... Русская революция еще раз подтверждает ту истину, что великая война является борьбой за народоправство...

554

Ни нашей стрельбы, ни немецкой уже не было который день, и не ждалось. Уже и обвыкли жить потиху.

А солнышко светило ровно, что ни день,— и даже утоптанный на батарее снег под каждою стопой ещё чуть подавался. Сильно он везде поёжился. А округ каждого стволика вытаивала воронка, на большем пригреве аж и до земли.

И по этой тиши, и по этому солнышку, и по разомлённости нутряной — хотелось чего-то делать весеннее. Плуг ладить не приходится, семян готовить не приходится,— а хоть что-то бы по хозяйству.

Но какое ж у солдата хозяйство? Орудие хоть и славно выручает, а не своё, да и карабин обрыдл — никогда в нём той души не будет, что хоть в цепу.

А вот дело, один догадался и все тянутся: из земляночной сыри вынести под солнце своё барахлишко — разобрать, подсушить, сложить понову, может что и выкинуть, только нечего солдату выкидывать, всё жаль.

Какое у солдата хозяйство? Всё в одном заспинном мешке и всё тряпичное; потвёрже, углом давит — только если консервы в походе. Но тряпичное — оно и самое дорогое: промочил ноги, если портянки нет запасной, а к ночи морозец прихватит на позиции, вот и пальцы отморозил. И холщёвые портянки дороги, а уж байковые! — как женина ласка. А ежели подштанники тёплые, а ежели фуфайка,— ну!

Но и без этого самого нуждяного — откуда-то набирается у солдата чуть не полный мешок добра. Уж не говоря, у кого балалайка — ту в руках неси или на двуколку пристраивай. У иного — шашки. У счастливца — и нож перочинный складной (бывает с двумя лезами, бывает и с шилом и со штопором), его на самом дне мешка берегут, да гляди чтобы в дыру не ускочил. А у кого — бритва со принадлежностями (у фейерверков больше). Зеркальце малое. Иголка с нитками. Мыло. И у каждого ж — чайная кружка жестяная, редко у кого малярованная. Ложка! — первый друг солдата. А потом же ещё, время от времени, к Рождеству, к Пасхе, или так середи года, без причины, присылают подарки из тыла. Пряники, орехи — эти тут же и съедаются, в два присеста. Махорка или даже папиросы — это покуриваешь, неделю-другую-третью. А курительная бумага тонкая, нежная, как городские курят,— она от махорки и прорывается, газетке не соперница, на неё и смотреть чудно — а и выкинуть жаль. И в землянке сыреет — вот ее теперь сушить. А то присылают ещё по книжечке совсем махонькой — записывать, а чего записывать? А листики малые — и на письмо не выдерешь. Ну, ин всё равно сохраиить, может до детишек. А химический карандаш — этот у каждого в деле, слюнявить, чтобы поярче, да письмо писать.

И незадачливое добро, а всё солдату пригоживается, уж будто и природнено, жаль потерять.

А ещё чего более всего насылают — это крестиков да иконок, уж на себя их вешать некуда и поставить негде, так в мешке и лежат. Теперь — тоже им сушиться. От них, выставленных, вся солдатская разборка на поляне уже больше не на базар похожа, а как будто, в облог церкви, ко крестному ходу приуготовляются.

Повылезали, каждый каку-ни-то рядинку по снегу иль по лапнику простелил, и разложил сушиться, а сам рядом, чтоб не застить — да от времени переворачивать.

Ещё не столько в солнце силы, сколь света,— глаза зажмуривает и душу располагает — не переругиваться, не перешучиваться. Кто о ствол облонясь, кто на корточках,— неподвижны, сами будто просушиваются, от сырости зимней. Уже троезимной.

А в душе только и клубится: да сколь же можно? Неуж столько прожить, перетерпеть — и до конца не дожить? Да уж вдосталь, кончать бы скорей! Замирялись бы. На что ж она тогда — и лево-руция?

Вот, говорят, и в Венгрии — то ж она. И Вильгельма со дня на день скинут. Да вот и кончится всё.

Терпели — и дальше б терпели, ничего такого не ждали. Но коли уже так приключилось, что царя не стало,— так теперь-то чего ж не кончать?

В Перновском полку, уже все знают, давеча не пошли две роты на ночную работу, передовку укреплять, на что мол нам теперь это? Мы дальше не пойдём — дослужит и та укрепления, что есть.

И — ничего им. Приезжало начальство уговаривать, кой-как склонило идти работать,— а никого не арестовали.

В пехоте — больше нашего теперь отмах: хватит, теперя домой пойдём! На Пасху будем дома.

А другие говорят: никуда не распустят, так и будем довоёвывать, но питанию сильно улучшат.

А иные булгачат: еще всё назад повернется, и царь воротится, и всё будет, как было.

А кто: там, без нас,— землю не почнут ли делить?..

Только темью души застлут: может, и правда там уже делит? Письма — когда обернутся, когда узнаешь?

Но и солдату из строя никуда не податься, хоть и под пули прямые погонят: в армии всё на сраме держится. И кандалов на тебе нет — и не денешься никуда, а пойдёшь, как направят.

Принесли ребята с наблюдательного листовку, с эроплана немцы разбрасывали, но по-русски. Прочли (офицерам не говоря). Там написано: всё англичане затеяли, они царя обманули, на войну подтолкнули, они ж его и скинули. Только англичанам эта война и нужна, а русский молодец-мужик за Англию умирает. А ваши матери, жены и дети живут в нужде, оттого что Англия вместе с богатыми торговцами задерживает съестные припасы.

Може и так, кто это разберёт. Съестное-то, впрочем, у нас без Англии.

А перед строем читали приказ по армии. Начинает снег сходить с полей. Солдаты! не езди без дорог, не сокращай хождением напрямки по вспаханным полям. Вспомни, что ты и сам хлебопашец, сколько труда и забот стоила тебе каждая полоска.

Это — поверней за сердце забрало. И правда, смотрим на эту землю как на бабу пьяную, поруганную, ничью, как только в ней ни копаемся, как только её ни полосуем. А она ведь — чья-то же родная, да вот Улезьки и Гормотуна. Им-то каково смотреть? С нашей бы вот так, под Каменкой!? — вот так бы лес валили, да так бы окопами изрывали, да так бы ездили наискосок — да разве это стерпно перенесть?

Эх, вся земля — чья-то, везде своё родное,— да приведи Бог к нашему вернуться. И — куда мы запёрлись? И чего третий год сидим, из пушек рыгаем?

Перешёл к Арсению Шутяков, на корточки присел.

— Слушь, Сеня, а не больно мы разомлели? А не рано? И ежели мы так — то гляди бабы же наши сполохнутся, как эта свобода до них дохлынет? Ведь бабам-то свободу нельзя давать, баб от неё разорвёт.

Прищурился Арсений. Не личит мужику на такое возражать.

— Разорвёт,— согласился.— Нельзя.

А про себя подумал: Катёне-то можно. Катёне свобода не пошкодит. Уж до того разумница. До того прилежница.

И так это сердце занялось: что там сейчас Катёна? Как там Савоська? Как там Проська?

Ох, разняло-разняло, потянуло.

Так вот, зажмурясь в тишине, и не знаешь: где ты, кто ты? Одно и то же солнце всем светит,— и немцам тоже.

А може — вся война — приснилась? А може, ты в Каменке и сидишь, сожмурясь? Вот сейчас глаза раскроешь — увидишь родной двор, сарай, избу, Доманю на крылечке?

ДОКУМЕНТЫ — 25

Лондон, 11 марта

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ БАЛЬФУР — ПОСЛУ БЬЮКЕНЕНУ, Петроград

Выясните, можно ли предполагать, что нынешнее русское правительство не будет придерживаться политики своих предшественников в отношении вывоза пшеницы из

России в Великобританию и Францию? Может быть, было бы хорошо указать, что всякое изменение этой политики, неблагоприятное для союзников, неминуемо отразилось бы на экспорте военного снаряжения в Россию.

555

(вторая неделя петроградской революции)

* * *

На улицах Петрограда уже не встретишь с перекрещенными на груди пулемётными лентами, с большими револьверами открыто за поясом, как становилось даже привычно ещё несколько дней назад. А сейчас — уже смешно бы. Зато солдаты стали вычёсывать из-под папах живописные чубы.

И банты красные стали редеть и уменьшаться в размерах. (Но ленточки с надписью «За демократическую республику» продают по 20 и по 30 копеек.) На некоторых появились, кто-то выпускал, жетоны в честь победы Февральской революции: то тусклого металла, женская фигурка с древком знамени, то золочёные: «Да укрепятся свобода и справедливость на Руси». И ленточки к ним — как георгиевские, но со вставленной красной полоской.

Во многих местах — всё ещё митинги на ветру, небольшие, дюжины по две,— а слушают благоговейно. И всегда есть оратор — со скамьи, с кучи снега.

Не вернулись на улицы те наглые шикарные автомобили с вензелями и гербами, так носившиеся прежде. И богатые — не так щеголяют богатыми нарядами, исчезли вызывающие дамские шубы, Невский и Каменноостровский перестали выглядеть парижскими бульварами, кричащими о счастьи. Но сутолока и многолюдье не уменьшились, народ всё куда-то валит, даже больше прежнего, потому что трамваев меньше, не сядешь. Только стала толпа сплошь проще и солдатистей.

Отдираются защитные доски витрин, начинают снова заполняться опустевшие витрины, даже и ювелирные. На одном стекле, где выгравирован орёл, добавили наклейку: «это — орёл итальянский», чтоб не били.

Снова зажглись кинематографы и появились вереницы у театральных касс.

В кофейных — много солдат. Сидят и с офицерами за одним столиком.

* * *

На дворце великого князя Кирилла Владимировича на улице Глинки постоянно развевается красное знамя.

На Театральной площади с пьедестала памятника Глинке рабочие скалывали зубилами слова «Жизни за царя».

Стоял рядом артист, уговаривал не сбивать.

* * *

Начальника Николаевской железной дороги инженера Невежина держали под домашним арестом и часто обыскивали — за то, что он 26 февраля давал вагоны для подвозки каких-то военных отрядов. На Николаевском вокзале — пробки неразгруженных товарных вагонов: то некому разгружать, то ломовики бастуют.

Там же, на вокзале, толпа пробила череп человеку, на которого кто-то указал, что он был надзирателем в тюрьме. Не проверяли.

* * *

Вдова Столыпина встретила на набережной старого лакея Илью из Зимнего дворца,— когда жили там, то хорошо его знали, он много рассказывал об Александре II, Александре III, показывал вещи из их быта. Сегодня он так же утопал в своих белых бакенбардах, а шёпотом с ужасом рассказывал, как на днях при нём из тронной залы вынесли царский трон, ещё екатерининский.

А на самом был красный бант.

Вдова упрекнула:

— Что же вы, Илья? Зачем эту гадость?

Оплывал Илья бакенбардами:

— Из предосторожности, Ольга Борисовна, из предосторожности только!

* * *

Мальчишки играют: ведут под палками одного или бьют его все сразу: «Офицеров бьём!» Поют: «Отречёмся от старого мира». Продают красные флажки на палочках. А кто бегает, зазывает: «Открытки! Гришка Распутин с листократками!» (Продаются и грязные книжонки об императрице с Распутиным, кто-то успел всё изобразить и напечатать.)

Кучка революционных подростков покушалась свалить Медного Всадника. Сорванцы взобрались на памятник, били металлическими прутьями, ломиком,— но безуспешно.

* * *

Из проповеди священника в те дни: «Мальчики и девочки с пальмами и цветами встречали Христа Спасителя — вот как сейчас гимназисты и гимназистки встречают Великую Русскую Революцию...»

* * *

На Пушкинской улице жгли большой книжный магазин монархического союза. Костёр из книг и брошюр горел во дворе, и ещё тлел два дня.

«Сатирикон» острит: изобразил Петропавловскую крепость, а под ней подпись: «Дворянское гнездо».

* * *

В дни хмурой оттепели превращаются улицы и площади Петрограда в непроходимую, где а непроезжую топь: водяная набухлость грязного снега много выше краёв дамских бот. Автомобили, экипажи и ещё не ушедшие сани, ломовики и грузовики — все зашлёпаны грязью, как и брюха лошадей. Всё, что не чистилось в революционные недели, теперь отдалось публике,— а дворники и сегодня не подхватываются ретиво, не видя себе ни понукания, ни награды. Уж тем более завалены и запущены дворы. Когда схватит опять морозец, удерживая градуса три и днём,— ещё пока сковывает это революционное безобразие.

А очереди у хлебных магазинов стоят как и раньше, только с домов свисают красные флаги.

* * *

На рынках солдаты продают дорогие предметы. Солдаты броневого дивизиона — вещи из дома Кшесинской.

На Сытном рынке двое-трое солдат идут мимо хвоста баб, стоящих за провизией, подходят к прилавку и безо всякой справки об оптовых ценах объявляют лавочнику:

— Та-ак... Будешь продавать масло — руб двадцать, мясо — 35 копеек, бутылку молока — 12.

И — дальше. Бабы в хвосте — в восторге. А лавочник — растерян и не хочет подчиниться, особенно если лавочница. И доходит до драк с выдиранием волос, их разбирают в комендатуре.

* * *

Назначали и переносили день введения хлебных карточек. Но и за два дня до него в районном комиссариате — ни самих карточек, ни инструкции.

Пошёл слух, что старые деньги с изображением династии не будут больше принимать, всё уничтожится. Паника. Бегают в газетные редакции, в банки, спрашивают.

* * *

В мелочной лавке орудует за прилавком поручик с двумя орденами на груди.

— Что вам угодно?

Вошедший офицер:

— Мне угодно, чтобы, стоя за прилавком, вы сняли бы офицерский мундир.

— Не понимаю, теперь свобода! А стоять за прилавком — ничего недостойного нет.

* * *

Вводя гостей в столовую к роскошно уставленному столу, дама объявила с торжеством:

— Господа, у меня сегодня — революционный стол!

Действительно, все кушанья были — красного или розового цвета.

Среди гостей был известный экономист. Он вздохнул:

— От всего этого надо отказываться. Скоро будем рады и фунту чёрного хлеба.

— Да почему же? почему? — возмутились в ответ.— Во главе революции стали умные люди, преданные народу!

— Оттого,— сказал экономист,— что всякая революция создаёт хозяйственный развал, а от него ещё усиливается революционное озлобление. Порочный круг.

* * *

В здании электротехнического института на Морской созвали «районное собрание обывателей».

— Не обывателей! — кричал черноволосый юноша в кожаной куртке, какие носят в технических частях,— а граждан! Я протестую!

Намеревались избрать комитет: для охраны личной и имущественной безопасности (район — центральный, состоительный, и было у всех, что поберечь).

Юношу в куртке тоже предложили в кандидаты.

— Что вы можете сказать о себе?

— Могу сказать, что убеждения мои — очень и очень левые.

— Браво! браво! — закричали.

А приятель подбодрил:

— Говори — анархист, и дело с концом.

Выбрали.

Кричали:

— Фёдора Иваныча Шаляпина, он нашего района!

* * *

По поздним вечерам патрули кричат: «Мотор! Стой!» — и грозно преградив штыками, проверяют документы у шофёров. Может показаться, что наступил строгий порядок. Но нет, многие автомобили так и не возвращены владельцам, а те не смеют громко жаловаться.

Ночные обыски какими-то солдатскими командами не прекращаются, и ни одна квартира на всём раскиде богатых кварталов не может быть спокойна, что не постучат. Грабят — и нельзя сопротивляться, а уйдут — не на кого жаловаться.

В Литейном районе — много аристократических особняков, и владельцы их то и дело просят

районный комиссариат о запоздалой защите — не от солдат, но от «грабителей, переодетых в солдатскую форму».

На Садовой ограбили ювелирный магазин: забрались ночью с чёрного хода, сорвали висячий замок. Вывезли весь товар на поджидавшем извозчике, и орудий взлома тоже не оставили.

Банда человек в пятьдесят окружила, осадила Преображенскую гостиницу и, ранив служителя, ворвалась, разбрелась по номерам. Но подоспели другие солдаты с милицией, окружили — и арестовали их всех.

В Ораниенбаум приехали на автомобилях от имени петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — и стали громить и грабить дворец.

А в Шувалове среди бела дня неизвестные высадили из своего автомобиля троих штатских, застрелили их и поехали дальше.

* * *

Поздно вечером в аптеку на Везенбергской у Балтийского вокзала пришли трое, спросили спирту. Но не было у них документа, установленного городской думой, и дежурный фармацевт отказали. Трое вышли на улицу, положили под аптеку соломы и подожгли. Весь дом сгорел.

* * *

В первые дни революции думали и говорили, и печатали в газетах, что освобождённая от царизма столица, как и вся страна, не нуждается в полиции. Но нет, к удивлению, оказалось слишком много городских подонков. И теперь милиционеров щедро оплачивали, в три раза больше прежних полицейских. (Именно от этого туда тянулись поступить профессиональные воры и беглые арестанты.) Для новых комиссариатов поспешно ремонтировали повреждённые полицейские участки (разгромленные на 2 миллиона рублей).

* * *

В погреб колониальных товаров Кёнига на Васильевском острове явилось вечером несколько человек с белыми повязками городской милиции для ночной охраны имущества магазина. Старший приказчик, уходя, отдал им ключи. Самозванные сторожа вошли в магазин, взломали ещё замок винного отделения и стали хозяйничать. Но захмелев — перессорились, шумели,— и к утру их взяли.

* * *

Так повысились цены на извозчиков — седоки удивлялись, многие платить не хотели. Звали милиционеров-студентов разбирать спор.

Помощник присяжного поверенного Шлосберг и журналист Фрейденберг после работы в районном комиссариате, уже вечером, взяли извозчика, чтоб он развёз их по домам. Подъехали к дому на Казначейской, где жил Шлосберг,— и тут с извозчиком возникли разногласия по расчёту. В это время из подворотни вышли трое матросов, и извозчик пожаловался им, что господин не хочет платить. Те с криками: «деньги! бумажник!» — набросились на седоков. Фрейденберг отдал бумажник со 160 рублями и поспешил уехать на этом же извозчике. А Шлосберга матросы затащили в подворотню, кинжалом в грудь убили и ещё уродовали труп.

Дворник поднял тревогу, из комиссариата прибыли милиционеры и арестовали грабителей. Они оказались нетрезвы, были в гостях у проституток. Объяснили, что приняли убитого за переодетого охранника.

* * *

Революционный комитет шлиссельбургского завода направил петроградскому Совету рабочих депутатов резолюцию: гарантировать полную амнистию не только политическим, освобождённым из шлиссельбургской тюрьмы, но и всем одновременно освобождённым уголовным каторжанам, потому как они, в единении со своими политическими товарищами, организовали ответственную службу по охране имущества. Например, один уголовный, имевший три бессрочных каторги за грабежи и убийства, охраняет сейчас большие суммы общественных денег.

* * *

Гнев народа ещё не утолился, и самочинные аресты продолжаются. Иногда вместо ареста берут залог, но когда потом арестовывают — залога не возвращают. Таскают в следственную комиссию, та освобождает. Одного после четырёх таких освобождений привели пятый раз.

Графиня Клейнмихель распоряжением Керенского переведена из заключения под домашний арест. Приставленный к её дому караул из гвардейского экипажа, 15 человек, потребовал с арестованной, чтоб она платила за свою охрану каждому по 2 рубля в день.

* * *

В новое общественное градоначальство на Гороховой пришёл молодой человек и у врача, ведущего полицейский приём, стал повышенным голосом требовать защиты от обысков. «А кто обыскивает?» — «Мой двоюродный брат! Когда-то-сь за моей женой ухаживал, теперь в отместку наладил с обысками».

Пришёл старый адмирал и просил дать охрану похоронной процессии для его убитого родственника. «Да кто ж похороны тронет?» — «Те же, кто и убили».

В хорошем пальто с каракулевым воротником пришёл некто и, волнуясь, и всё ещё колеблясь: «Я — служащий охранного отделения, арестуйте меня!»

* * *

Жандармский полковник Левисон застрелился на Смоленском кладбище, на могиле своей матери.

* * *

Стали заседать учреждённые Керенским новые временные суды — из мирового судьи, одного рабочего, одного солдата. Судья заседает без прежней цепи (как и низшие судейские служащие сняли форму с блестящими пуговицами). Документации не ведётся, лишь короткая запись в регистрационном журнале. Разбирают дела от мелких до посягательства против нового порядка. В прежнем мировом суде предельный штраф был 300 рублей, тут — 10 000 или арест до полутора лет. Приговор: «Именем Временного Правительства в России временный суд приговорил...» И осуждённого к заключению отправляют туда немедленно.

Привели рабочего-милиционера, поставленного охранять винный погреб после разгрома, но сам украл бутылку вина. При рассмотрении выяснилось, что раньше — ссылался за политическую неблагонадёжность. Судья предложил дать неделю ареста, рабочий — удвоить, а солдат: «Простить! Никто б не удержался!»

Обвиняли курсистку в краже 1500 рублей у своей квартирной хозяйки. Оправдали.

Жена пристава заявила, что при разгроме её квартиры 27 февраля её прислуга Рыбакова похитила все драгоценности. Рыбакова отрицала. Милиция произвела у неё обыск и нашла драгоценности. Тогда Рыбакова объяснила: она взяла их, чтобы спасти от громил. Оправдана.

Привели во временный суд женщину, которая энергично срывала со стены наклеенный номер «Правды». Признал суд, что женщина действовала по недомыслию, и ограничился выговором.

Пришли в суд два арестанта, выпущенные в революционные дни из тюрьмы, один убийца, другой вор. Им — нечего есть, а в мастерской при тюрьме они заработали по сто рублей, но теперь разгромлена канцелярия тюрьмы, им негде получить свои деньги, и они просят суд выплатить им. К полной для себя неожиданности и изумлению они были арестованы: «Разве при новом режиме арестовывают?» Но за добровольную явку суд скинул им половину прежнего срока.

* * *

В трамвае старуха громко вздохнула: «Ох, времена!» Сидевшая рядом интеллигентная женщина отозвалась: «Времена — языческие, а не христианские. Помазанника Божьего свергли с престола и посадили под арест.» Услышав такое, трамвайная публика переполошилась, и эту женщину, госпожу Фогель, препроводили добровольцы в следственную комиссию. Там её продержали несколько часов и отпустили с той лишь формулировкой, что она — психически неуравновешенная.

* * *

Из квартиры депутата Государственной Думы Родичева полотёры унесли всё столовое серебро, из комнаты дочери — золотые вещи. Та по свежим следам бросилась в милицию, точно назвала воров. Ей пригрозили карой за клевету.

А к брату Родичева, в его отсутствие, забрались воры. Он, возвращаясь, застал их. Они побежали чёрным ходом, он — успел сбежать по парадной и вместе с дворником задержал их. Свели в новый суд. Там их подержали и скоро выпустили. Мировой судья объяснял философски: «Сегодня Иван в милиции, а Пётр в ворах, Иван выпускает Петра. Завтра Пётр в милиции, а в ворах Иван...»

* * *

Молодой офицер, из студентов, был в Петрограде проездом и шёл переулком, в кармане шинели — браунинг. Навстречу — солдат, по виду из писарей: «О, офицер!» — и револьвер наставил.

А в переулке безлюдно. По той руке, что револьвер держала, офицер ударил левой, а правой выхватил из кармана свой: «А ну, подай сюда револьвер! Кру-гом! Ша-гом марш!»

* * *

В набитом трамвае солдат-санитар читает кадетскую «Речь»: почему некоторым газетам, например «Новому времени», разрешено выходить только с предварительного согласия Совета рабочих депутатов? Санитар вслух солидарен с газетой, и многие пассажиры согласны.

Но оспаривает вольноопределяющийся, показывает удостоверение, что он — член временного суда, и предлагает санитару отправиться с ним туда. На остановке вызывает милиционера и ведёт его.

* * *

В министерском павильоне, в Таврическом, и после отправки главных арестантов в Петропавловскую всё так же было густо, и всё приводили новых арестованных. Всё так же лют был преображенский унтер Круглов, окающий по-нижегородски. Керенский и новый прокурор Переверзев почтительно пожимали ему руку. Комендант Перетц заискивал перед ним и перед солдатами, и был груб к арестантам. Правда, после царского отречения Керенский произнёс тут, в павильоне, речь о новой законности и разрешил арестантам разговаривать между собой. А вскоре повалили в павильон и общественные депутации — «для проверки»,— а просто поглазеть на «бывших». И старались заговаривать — чтобы потом передать узнанное публике и в газеты. И корреспонденты — пытались интервьюировать арестованных. И фотографы — снимать их в нынешнем положении, но фотография была медленная, а арестанты не давались.

* * *

Горький стал Председателем Особого Совещания по делам искусства. И обратился к петроградскому городскому голове с письмом: на воротах московской заставы содержится надпись: «Победоносным российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши». Она оскорбляет чувства поляков и должна быть заменена другой, с указанием заслуг солдат в рабочих в деле революции.

Бунин, Горький, Вересаев, Короленко, Кареев, Винавер, Гинцбург подписали воззвание:

немедленно приняться за создание дома-музея в память борцов за нашу свободу, где учёные грядущей демократии, пользуясь опытом прошлого, находили бы руководящие идеи для будущего.

Добровольцы из статистического отдела городской думы уже начали собирать разные предметы для будущего музея.

* * *

В Царском Селе из здания Александровского лицея украдена единственная существовавшая коллекция личных вещей Пушкина.

* * *

На Марсовом поле всё готовилось к массовым похоронам жертв революции: то разводили костры для оттаиния земли, то рвали пироксилиновыми шашками. Похороны всё переназначались, откладывались. Ещё причина — не хватало трупов. В моргах переодевали в штатское и трупы замученных городовых. Говорили в городе, что некоторые гробы и просто хламом набивают.

А труп адмирала Непенина в Гельсингфорсе жена разыскала только через сутки, в мертвецкой, в обезображенном виде.

* * *

Вечером 29 марта гроб Распутина был вынесен из склепа в Царском Селе, скрыто перевезен в Парголовский лес по другую сторону Петрограда и там под командой сапёрного офицера труп облит керосином и сожжён на большом костре. При холодном ветре, рвавшем дым, собралась толпа окрестных мужиков, немо наблюдая, как сжигают святого старца, друга царя и царицы.

* * *

Сперва послали в Кронштадт на разведку — горячичную Дуню с подругой, им проще. Долго они там добивались, даже водили их солдаты с шашками наголо, наконец узнали точно, что штабс-капитан Таубе — жив, сидит под арестом, о чём анонимную телеграмму давал — его денщик. Тогда поехала в Кронштадт леночкина мама — и виделась с папой. Рассказал: матросы врывались всюду, убивали даже офицерских жён и грабили везде. И сейчас одни часовые говорят между собой: «А чего мы время теряем, их сторожим? Убьём да и разойдёмси?» А другие, которые как раз стояли: «Барыня, ваш муж — сухопутный, нам не нужен. Вы приведите каких-нибудь его подчинённых — мы им отпустим».

Леночка записала в дневнике: «Всё это принесло мне пользу, я не так уже дорожу жизнью, как раньше».

* * *

Племянница-курсистка, восторженно:

— Дядя! Ведь это же — Революция! Вы говорили — она неизбежна и необходима!

Дядя (М. В. Бернацкий, финансовый советник при Временном правительстве):

— Да, говорил. А теперь вкушаю плоды своих теорий. Тебе это трудно понять, девочка, а я всё больше убеждаюсь, что России был бы нужен просвещённый абсолютизм. Рушим, рушим — а что из этого будет?

* * *

В больнице Николая Чудотворца, доме для сумасшедших,— 150 человек, заболевших в дни революции. Жена городового вопит от страха за мужа, то воет, то мычает, кричит: «стреляйте! стреляйте!», пока не впадает в изнеможение. Старший дворник помешался, когда лежал больной, а солдаты пришли с обыском и требовали оружия. Вагоновожатый кричит: «Можно ехать дальше! Мы не работаем, можно ехать, рельсы свободны!» Много солдат, есть рабочие. Состояние возбуждённое, буйное. Одни поют революционные песни и наступают на врагов свободы. Другие трясут, воображая что оружием, и зовут толпу вперёд.

И много таких же обезумевших — в Новознаменской больнице, на Удельной и в Николаевском военном госпитале.

556

У них установился как бы такой обряд: именно за последние суматошные дни он уже который раз приходил (каждый раз позвонив — можно ли?) — в конце служебного дня. И Вера проводила его глубоко за полки, за свой столик, у окна на Екатерининский сквер. Ни по телефону, ни придя, он ничего не объяснял — и никакого внешнего библиотечного повода не было в его руках, хотя это было нетрудно придумать.

Свою кожаную куртку вешал тут на гвозде — и в суконной грубой рубахе садился на указанный стул — через столик против Веры. И — выдыхал, выдыхал, сперва выдыхал долго, как бы дух испускал. Но и выдохнув, покойной симметричной формы не принимала его грудь, плечи, голова, а так — косовато, неудобно сидел. Ещё выдыхал, меньше.

Прошлый раз показалось Вере, что эти выдохи — перед каким-то тяжёлым разговором, перед объяснением,— и сердце её часто забилось, и она чувствовала, что покраснела. Не потому что ждала (да и ждала!), не потому что хотела (да и хотела!),— но потому, что очень боялась этого объяснения — и даже предвидела, что от него может быть только всё хуже.

Объяснения полного — так чтобы всеми словами с обеих сторон было сказано всё —

между ними никогда не было. Но и — в несколько приёмов, всякий раз неудачно начатое, фразами, полуфразами, недосказами,— уже и было. Он — почти был готов. И почти это сказал. Она — почти отклонила. Однако и не вовсе.

Оттого объясниться наполноту — и страшно, и жутко. И хотелось. И могло совсем иначе выясниться.

В те разы собирался ли он, или даже не собирался, или духу не хватило, уклонялся в последний момент,— но не произнёс никакой даже подводящей фразы. И сегодня Вера почти уже не ждала её, она так начала понимать и уважать их правило.

И не услышав его жалобы — Вера уже всю её чувствовала, только что не в мелких подробностях. Из его прежних, ещё прошлогодних, обмолвок, да ещё из каких-то сторонних случайных сведений — она знала и довоображала ту ежедневную плиту, которая всякий день придавливала его на домашнем пороге — и, как бы вот, перекашивала плечи.

А ведь ему было только тридцать шесть.

Если бы, не приведи Бог (и сразу сердце неразумное бьётся с радостью), он начал бы говорить — эта плита стала бы вдруг через бок переваливаться, катиться, даже подскакивать — и могла пришлёпнуть их всех — двоих, троих, четверых? И даже до трупа?

А так, молча,— как будто удерживали плиту от падения и были, вроде, все целы.

Совершенно неуравновешенная, истеричная женщина, и эфироманство... Она только губит его.

Но и какое-то же неодолимое, не изъяснённое Вере притяжение было там — если сам он не мог освободиться, как прикованный подземно.

Михаил Дмитриевич всегда приходил к Вере только сюда, в библиотеку. Ни разу никогда не попросился прийти к ней домой. (А почему бы она его не приняла?)

Он смотрел — то в окно. То — на корешки, корешки книг.

И — на неё же, прямо.

Она — в окно. На свои листики, карточки.

И — на него же, прямо.

И когда вот так, напрямую, они встречались — здесь, в безвидном и беззвучном уголке,— на секунды было рассказано, выражено и отвечено дальше всех мыслимых слов, дальше всех допустимых границ: дочиста рассказано, до всех болей обжаловано, и прощено, и отвечено «да».

И от открытости, явности этого понимания — нельзя было выдержать взгляда больше нескольких мгновений: всё тогда сгорало!

И первая Вера утягивала глаза, спасалась.

А то и он — круто отворачивался в окно.

И продолжал сидеть.

Даже от таких вот встреч-молчанок, может быть, следовало бы уклоняться. Ибо не знаешь, когда что наступит.

А согревало: что Вера ему нужна!

А утешало: что во всякую минуту она может всё вызвать и изменить. И самой быть счастливой. И сделать его.

Но сидя сорок, пятьдесят минут — не всё же время молчать. И даже не слишком протяжно молчать, не слишком часто замолкать.

И Михаил Дмитрич рассказывал, и те разы, и сегодня,— о другом совсем, но тоже давящем его.

Сегодня, к счастью, опубликован восьмичасовой день, хоть это решилось. Да если б хоть восемь часов-то работали, а то ведь не будут.

Переложил голову с одной руки-подпорки на другую.

Но и много ли этим решилось? Заводской процесс распался. Разве сейчас военные заводы способны перестроиться с двух смен на три? Только если ничего не перестраивать, а лишние часы оплачивать как сверхурочные. Но ошалелые партийные агитаторы требуют запретить и сверхурочные.

И удивительно и страшно было Вере, что не находила она в себе жалости к той женщине. Как будто — и нет её, как будто не она между ними. Что это?..

Кому? как? через какие уши? с какой трибуны объяснить: мы и так уже несколько недель не работаем как следует, мы и так уже не выполняем военных поставок. Да нельзя же и примитивно сравнивать нас с Европой — у нас же сколько церковных праздников в году! — это и семичасового не получится. Как это вложить каждому рабочему: неужели мы оставим наших братьев беззащитными перед огнём свинца? Неужели мы пустим врага во внутренние российские губернии?

Так — порциями он что-нибудь говорил, она — кивала, удивлялась, сочувствовала. Иногда потирал по лбу наискось большой ладонью.

Сам он — не в силах разорвать своего узла, но отдавал это ей и обещал подчиниться.

Нет, не та женщина была препятствие Вере. А — та девочка. Восемь лет, ещё ломкий стебелёк. Неповинная девочка.

И даже тем беззащитнее, что не его родная.

А он, если скажет о ней,— всегда с нежностью. И как же — отнять его у девочки?

И так — ноет. И так — ноет.

Не было томика в русской литературе, который бы Вера не заглотнула трижды, дважды, единожды,— и навсегда они, живыми спутниками: Антон-Горемыка или немой Герасим, пронзительно обречённые Варвара и Настя из «Жития одной бабы» — «беда у нас смирному да сиротливому»,— и всё ниже, ниже, и в «Тупейном художнике» разбитой спившейся крепостной артистки любовь к её растимым теляткам — и боль, когда ведут их резать.

Телятки!..

И что ж — всех их не было?..

Объяснять рабочим ситуацию — такого обычая у нас нет, и некому, людей таких нет. Да заводская администрация вся напугана, оставлена без защиты, перегоняют друг друга в уступках. Уже многие инженеры смещены рабочими. И два директора, на Невском судостроительном вот.

Да не всего ли об этом он и пришёл рассказать?.. Может быть, другого и не было?..

— Да за что же, Михаил Дмитрич, такая ненависть к инженерам?

Это имеет историю. По поспешности нашего промышленного развития инженеры очень быстро продвинулись в заработках, богатая обстановка, роскошные квартиры,— вот уже и в кровопийцах. Конечно, ещё бы немного свободного развития, и стали бы доравниваться в заработках и умелые рабочие, не было бы этой трещины. Но — война, а теперь вот...

Однако если и заполнение времени — рассказ этот подпирал Петроград, полы благополучной библиотеки, снизу, коробя,— теми чёрными загадочными фигурами, какие мы и встречаем на улицах, да не слишком много думаем о них.

На одних заводах требуют: сокративши рабочий день — ещё теперь увеличить и заработную плату! На других рабочие сами стали устанавливать расценки, с большими, конечно, завышениями. Где — запретить увольнять без заводского комитета. Где — отменить обыски на проходной.

Ужасны ошибки, уже сделанные нами. Но ещё ужаснее — которые мы, может быть, сделаем. Как не ошибиться вперёд? Отклонить сейчас — это вообще уже отказаться от жизни. Двадцать семь лет. Это уже — похоронить себя.

И как же эта агитация за неделю всех поглупила: рабочие вообразили, что могут сами избирать мастеров и инженеров! Как будто они могут оценить их технические способности. Да ведь и листовки такие свежие ходят: все ценности создаются трудом рабочих, а инженеры и фабриканты — ничего не делают.

А однажды показал фотографию девочки. Какие испуганные глаза!..

Зачем показывал?

Он такой современный, индустриальный. А совесть — нежная. И не оцепенеет в нём.

Недотёсанное, сильное лицо Михаила Дмитриевича стыло в недоумении:

— Вообще такая природа человека? — сила, власть — и опьянились? Ведь что делают! На некоторых заводах, я слышал: материалы портят, раз не уступают по-ихнему, и грозят станки бить! И инструменты воруют, домой тащат.

Но и взять на себя весь этот перелом? — ведь во всю жизнь не изгладишь с души.

Косая гримаса по его большим губам, крупному носу.

— Да к трогательные же есть. Ведь и правильного же сколько. Запретить женщинам подносить тяжести. Где поставить вентиляторы, где умывальники с полотенцами. Уничтожить чёрную книгу предпринимателей. Конечно, заводчикам надо многое давно уступить. А они отступают только в страхе.

Любимая Ирина Годунова, ступая чистою меж мерзостей, неблагодарностей, и хлопоча за своих неприятелей...

Пусть будет только жизнь
Запятнана твоя — но дух бессмертный
Пусть будет чист, не провинись пред ним!

Ведь что, оказывается, в революции губительно? — быстрота. Никто ничего не успевает понять — а все только тянут руки и рвут своё. Если б можно было убедить рабочих поверить, что их положением заняты и другие, и что их спокойствие сейчас было бы для них не потерей, а выигрышем! Но если б и рабочие могли понять — хоть солдат, всего-то! Как же можно тут начать устраиваться — а солдатам не слать снарядов?

Спохватился, что много ли говорит, или ей неинтересно.

Так в перемолчках и переговорах прошли его прошлые визиты, проходил и сегодняшний. Но с потемнелого лица его — снимался и снимался вдавленный отпечаток тяжести.

И Вера — молчала. Она не находилась — что. Она хотела бы найтись — только помочь ему в тяжести. Но, вот уж, она была самый последний человек, который мог бы что-то посоветовать об этом чёрном трудовом почти подземном мире.

Молчание затянулось. И взгляды опять встречались — так близко, так страшно. И секундами казалось, что сейчас нашатнётся на них обвальный разговор. Одного неосторожного слова достаточно.

И в торопливом испуге Вера сама искала, чем заполнить затянувшуюся тишину.

О воззыве их библиотеки ко всем типографиям России. В неуправляемые эти дни, когда никто никому не приказывает, никто никого не слушается... Чтоб великий переворот сохранился в памяти потомства в виде полного собрания печати... Все бы, по гражданскому долгу, присылали в отечественное книгохранилище по два экземпляра даже каждого листка, афиши, плаката...

И к чему это она? — из одной только неловкости. Он как и не слышал. Но уже за эти полчаса голова его как-то выше стояла.

И он первый раз — улыбнулся ей, крупногубой своей улыбкой.

И — она ему, из тихой незаметности.

И — что-то он должен был тут сразу сказать?! Вот сейчас?!!

И сказал:

— Так мы перезванивались, встречались... И решили: все теперь образуют союзы, соберём и мы, Союз Инженеров. Тогда мы сможем с Советом Депутатов как-то разговаривать.

Сегодня вечером, вот через час, на Николаевской улице и будет у них первое заседание. Он туда и шёл.

Но — не зря тут посидел. Лицо, глаза становились выносливей, терпеливей.

И это была — награда Вере.

Разве было бы светлей, если б они воспользовались своей — взаимной — в общем, свободой?

557

Шляпников поставил, наверно, рекорд: от последнего октябрьского приезда в Россию пять месяцев бессменного подпольного состояния, без всякого своего угла, всё в скитаниях по Питеру, по чужим квартирам, под слежкой, по полно́чи заметая следы. Но уже втянулся и, может быть, такой-то жизни перенёс бы и год. А вот две недели революции домотали его, после подпольной усталости их-то он и не выдержал: совсем другого вида гнёт, и на разрыв. В зеркало глянул — просто старик, с лицом осунутым, усами обвисшими. (Сашенька не разлюбит?)

А заботы — заваливали. Буржуазная печать подхватила всей бешеной улюлюкающей сворой — и обставили большевиков травлей. Рассчитывая на народное легковерие и темноту (а они и есть у нас), в одну кучу валили царских контрреволюционеров, агентов Вильгельма и большевиков. Создалось такое погромное настроение, что опасались за присвоенную типографию «Сельского вестника» и стали держать там вооружённый караул. А тут и неприятности с разоблачением провокаторов,— выставляли в окнах «Русской воли» на Невском, будто Черномазов был главный редактор «Правды» (а совсем недолго) — и вот потому «Правда» учит нас: «долой войну!».

Шляпников потребовал от Исполнительного Комитета Совета защиты большевиков от клеветы. Но эта вся меньшевицкая рухлядь показала себя: «Теперь свобода прессы, защищайтесь сами». Ни «Известия», ни «Рабочая газета» не выступили в защиту большевиков: делали всю ту же молчаливую мину, а на самом деле злорадствовали.

Ну что ж, чем больше бешенела буржуазия, тем самым, значит, верней мы и действуем? — попали в самую больную точку. Трудно, опасно разворачивать интернациональное знамя, но стоит того! Зло и весело!

Однако — внушалась масса. И были случаи на улицах: вырывали у газетчиков «Правду», рвали, а то и сжигали. И это делала — толпа, не подставные какие лица. И никто не смел вступиться.

И даже в революционном Кронштадте — и там засомневались в большевиках.

Гоняя от филёров по питерским огородам и пустырям, ворочая забастовкой на 100 тысяч человек, Шляпников привык считать себя слитно с народом. А вот — он повис как на обрывках. И ничего не мог делать задуманного. И потерял уверенность в правоте.

Но ещё и эту травлю круговую можно было бы выдержать,— а достиг питерских большевиков удар от собственных ссыльных думских депутатов из Сибири. Глупый Петровский запросил телеграфно Чхеидзе, какой придерживаться программы. А Муранов выступил в Ачинске с поддержкой Временного правительства! Вот так да! Это сразу сюда донеслось, и тут тем гуще засвистели против Шляпникова, что он действует безответственно, и среди самих большевиков единства нет, не знают, что делают.

Как тут не потеряться? Может и правда ополоумел?..

Вот так со всех сторон вместе доточило его подпольную усталость — и дальше не мог он без поддержки и смены.

А придти поддержке оставалось — только из-за границы.

Но из революционеров, скрывавшихся там, никто до сих пор не ехал. И от Ленина не прорвалось — ни даже нескольких слов телеграфных! В Швейцарии как затаились, ни звука оттуда: что они думают? что предпринимают?

А как нужно было Шляпникову сейчас рядом — светлую ясную голову! Хоть не Ленина, Сашеньку бы!

Но она — не ехала, хотя ей из Норвегии было близко, поездом. И не писала, когда приедет. Только в первые дни проскочила от неё одна восторженная открытка, поздравляла с революцией.

А — ни слова любви. Не поместилось просто?..

И не ехала.

И не писала, когда приедет. Задерживалась почтовая переписка? Так приезжал за это время один товарищ из Стокгольма, привёз письма от левых шведов. А от Сашеньки ничего не было, хотя могла она передать.

Думать и горевать было некогда, и тем более впустую измысливать: а может быть?.. Нет ли тут простого бабьего отвороту?.. Да когда бы так быстро? Да отчего бы?..

А он уже не представлял себя без Сашеньки когда-нибудь. Она помогала ему верить, что — прав, и стоять на своём. Вдвоём с ней он был сильней и полней не вдвое, а больше.

Но — не ехала. И не писала.

Пытался связаться телеграммами — ничего не вышло.

После опозоренья от сибирских ссыльных — только и ждать было теперь помощи из-за границы. Ленин — все разногласия всегда решал одним ударом. И не может быть, чтоб он сейчас поддержал Временное правительство или войну!

Но как его дождаться?!.

Оставалось — посылать гонца в Стокгольм: узнать, в чём дело, и понудить их ехать быстрей. Нашли такую, Марью Ивановну, знала и конспирацию и языки.

Подозревая Временное правительство, да даже и Совет, что будут препятствовать возврату заграничных большевиков, формальный повод придумали: вызволить застрявшую литературу. Надо было получить паспорт на выезд. Но общественное градоначальство, занявшее Гороховую, ещё пока не расторапливалось со всеми делами.

Тогда придумал Шляпников сходить в Военную комиссию: ведь препятствия на границе могут быть именно военные, это им подчиняются сейчас пограничные власти в Белоострове и Торнео. Да Военная комиссия и оставалась ещё тут рядом, на втором этаже Таврического.

И всё сделалось быстрей, чем в социалистическом Совете или бы в градоначальстве. Вежливый подполковник выслушал, пошёл составил бумажку и принёс её, за подписью Ободовского: «со стороны Военной Комиссии не встречается никаких препятствий к выезду имя-рек такой-то».

Дали Марье Ивановне комплект вышедшей «Правды», большевицких воззваний и листовок, пусть это всё посылает Ленину на проверку. Но ещё раньше телеграфирует ему из Стокгольма: скорей, скорей бы возвращался в Россию!

И — Сашеньке прямое письмо: что ж ты не едешь, Милунечка! Что с тобой? Так тебя жду!

558

Легла на Гиммера ещё одна творческая работа. Стало известно, что Временное правительство коварно разослало войскам новую присягу, даже не известив Исполнительный Комитет. (И узнали-то — от приходящих солдат!) И теперь поручили Гиммеру и Эрлиху проанализировать текст этой присяги и выдвинуть поправки, чтоб её опротестовать. И в новой комнате ИК, где сперва не хватало столов, Гиммер с Эрлихом на широком подоконнике, грудями на него же, читали и поправляли присягу.

Одиозность и неприемлемость присяги бросалась с первого же чтения: она должна была завершаться крестным знамением для православных и целованием преславного корана для магометан,— дикий анахронизм для революционных дней, чего не мог допустить социалистический Совет. Что за отжившая форма? И где же тогда свобода вероисповедании?!. Да даже если стать на точку зрения христиан — клятва есть насилие над душой!

Да вообще, присяга как таковая, обломок рухнувшего царизма, не должна позорить новый строй! Что присяга? — в день революции она была превосходно нарушена солдатами, и все шли дружными рядами,— и зачем же присяга??

Но если вникнуть, то главная одиозность новой присяги была даже и не в этом, а в словах: «Полное послушание начальникам, когда этого требует мой долг солдата и гражданина перед отечеством». Что это? Послушание, полное и безоговорочное? Как это может иметь место? Всякая истина конкретна и тем более в революционное время. Послушание — даже если против завоёванной свободы? Послушание,— а если против народа? против республики? А если — против Совета рабочих депутатов?

О-о-о, тут была тонкая штучка, хитрый замысел! Пауки из Временного правительства не дремали! Они хотели оплести армию дисциплиной покорности и так вырвать её из-под Совета.

Посовещались с Нахамкисом, тот вспылил и шумел: не уступать! не допустить! Не могут выполняться распоряжения никаких воинских начальников, если они идут вразрез с волей Совета!

И вот, природно невоенному человеку и врагу этой войны, Гиммеру надо было теперь исправить присягу для всех военнослужащих России!

Но и что присяга! — мелочь, когда надо продвигать Манифест ко всем народам мира. Министры все обманщики, и Милюков из них первый. Жгло Гиммера, как Милюков обошёл и обманул его на своём радио «всем, всем, всем»: что революцию, якобы, произвела Государственная Дума. Простить не мог он Милюкову, и хотел отплатить ему Манифестом как бы в личную месть.

Эти дни Гиммер бродил, весь углублённый в свой Манифест. Надавали на Исполкоме поправок, и поручено было их все учесть. Но поскольку поправки пришли и слева, и справа, то понимал Гиммер, что работа — бесперспективная, и к исправленному тексту будет столько же недовольств и поправок. И он напрягал тонкость ума, как ему извилисто проползти между всеми возражениями и опасениями — и развернуть на весь мир своё интернационалистическое знамя.

В таком рассеянии он мало замечал заседания ИК, панику вокруг побега царя. Он то и дело вытаскивал свою затёртую бумагу и нечиненным карандашом вписывал четвёртые и пятые строчки поправок, где уже и прочесть их было невозможно.

Но ещё и сам он не выбрал оптимальные варианты — как объявили ему вчера, что придётся прочесть проект Манифеста на общем пленуме Совета. Гиммер ужасно взволновался: и потому, что текст был ещё не доработан, и — кто там на Совете мог оценить все его изощрённые тонкости и находки? И — как он голос найдёт для большого зала, не получится ли опять немая рыба? (Соколов предлагал выступить вместо него.)

Исполкомовцы шли в Михайловский театр большой разговорчивой группой, по улицам всё ещё зимним. И тут, по пути, прибились к ним два вернувшихся циммервальдиста, первые наши ласточки из Европы! И радостно, и тем ответственней при них чистота Манифеста. Они оба возмущались радиограммой Милюкова: просто кутерьма в головах, если всё — для победы и в руках цензового правительства, так зачем тогда вся революция? Ещё нажгли они Гиммера жаждой — скорей, скорей провести Манифест!

Но собрание Совета оказалось полным базаром. Много кричали, много волновались, и опять о похоронах жертв, и о городской милиции, и могут ли в ней участвовать дворники, и как производить в ней выборы, и опять же не дошло. И хорошо, Гиммер был даже рад.

Зато сегодня на ИК решили ещё раз слушать и критиковать его проект. (Между тем очень перепугался Гиммер, услышав, что депутата Суханова направляют комиссаром в провинцию. Ужас! — его перекидывают с мировых вопросов на провинцию?.. Но оказалась ошибка: это — другого Суханова, настоящего, думца.)

И снова, и снова нападали на проект и слева, и справа! Но уже все устали вникать, и споры шли вокруг частностей. Замотал их Гиммер! Свою главную циммервальдскую идею он за это время обставил такими несомненными бастионами, что их уже не так легко было подорвать. Вот было главное положение, которое трудно оспаривать социалистам: «российская демократия будет противодействовать империалистической политике своих господствующих классов и призывает народы (не правительства!) Европы к совместным выступлениям в пользу мира». Это был тезис всеобщей классовой борьбы, даже во время войны,— и это был настоящий циммервальдизм! А оборону отечества — он не мог вовсе отвергнуть из-за Гвоздева, Богданова и других правых меньшевиков, но Гиммер ловко назвал её: «защищать нашу свободу от реакционных посягательств как изнутри, так и извне»,— то есть на первом месте опять-таки классовая борьба, но в том числе не дать себя раздавить и Вильгельму.

Это вовсе не было обязательство продолжать войну до победы! Это — ловко было составлено! Это не значило отдать себя в хищные лапы российского империализма! Защита революции не обращалась тут в простую оборону своей страны от других наций! Это — острым ухом было проведено! Но — и затушёвано, но и зарисовано сложными кривыми фразами, чтобы собрать на ИК большинство.

А гвоздевское крыло всё добивалось: а как же защита страны от опасности германского ига? А левые считали «штыки Вильгельма» недопустимым шовинизмом. Эсеры прицепились к «пролетарии всех стран, соединяйтесь», почему не «в борьбе обретёшь ты право своё», они не хотели социал-демократического лозунга.

Уже и Гиммер начинал в этих спорах терять сознание, шли чёрно-зелёные круги в глазах. И вдруг — проголосовали «в основном — за», только вместе с Эрлихом и Стекловым доработать поправки. (Стеклов, избежавший всего труда, мучительного составления, теперь лез накрыть и возглавить этот проект. Он был тот, из сказки, «я вас всех давишь!»)

Их же тройке поручили и обработать пришедшую в Совет телеграмму Вандервельде. Хитрый этот оборонец горячо приветствовал, горячо приветствовал — российский проле-

тариат, крушение самодержавия,— а перекидывал на то, что теперь среди союзников все народы свободные и, значит, должны сомкнуться в великой борьбе.

О, тут ещё много подводных скал! И многие из самых знаменитых социалистов ещё обнаружат себя врагами пролетариата!

* * *

ДОИТ ШИБКО, ДА МОЛОКО ЖИДКО

* * *

559

Владимир Станкевич не был Гамлетом (отчасти, может даже и был), но всегда приводили его в трепет эти слова:

> Распалась связь времён.
> Зачем же я связать её рождён!

А вот точнее даже не времён, а — слоёв, он оказался присущим во всех этих слоях сразу — и невольно должен был пытаться связывать их. Большая часть его дня проходила теперь на заседаниях Исполнительного Комитета пяти-семичасовой длительности, и это был, конечно, не только орган власти, но и слой общества, полуобразованные и смежные с революцией. А ещё несколько часов — в Сапёрном батальоне, и это был ещё один слой, да почти сам народ. А ещё между всей беготнёй и заботами втискивались то встречи на улицах, хоть пятиминутные, то забеги к кому-то из знакомых, и это был уже самый сродный ему слой образованного класса, где он особенно быстро, легко понимал с полуслова.

И в этом образованном слое вот что обозначилось: все украшали себя красным, все произносили «наша революция», все торжествовали официально,— но с глазу на глаз с близкими, в разговорах наедине, а в душе тем более — начинали чувствовать себя пленёнными враждебной стихией, катящей совсем неожиданным, неведомым путём, даже ужасались, даже содрогались. Люди как будто перестали быть сами собой, только внешне играли взятую прежде роль, из побуждений тактических, партийных, карьерных, от личной осторожности до общего психоза. Но даже великий сотрясатель Василий Маклаков через четыре-пять дней после переворота уже сказал в узкой компании, что — всё погибло, и уже никто не удержит власти. А об одном думце, члене Прогрессивного блока, сказали Станкевичу, что он дома в истерике, плачет от бессильного отчаяния. Но выходя на свет — люди всё это скрывают, и даже спешат улыбаться и торжествовать, так стало принято. И Маклаков тоже ведь вслух ничего подобного не заявлял, хотя его бы — услышали все.

Но если настроение интеллигенции на самом деле стало переклоняться в мрачность, то настроение солдатни — всё более в радость: шли дни, и отпадала всякая угроза наказания за мятеж, а, напротив, свободы только прибавлялось, делать ничего не заставляли и на войну обещали не посылать, а наступил какой-то сплошной праздник.

В Исполкоме же было ещё третье состояние — направляющего действия, когда не остаётся много времени для чувств. И по характеру Станкевича эта динамичность должна была бы его увлечь — но, странно, именно тут он чувствовал себя наиболее чуже. Он с удивлением не видел здесь ни одного славного имени, не говоря уже — ни одного легендарного революционера, те естественно в эмиграции. Но даже, сам революционный публицист, он тут больше половины вообще не знал, кто они такие, откуда взялись. Извне, для публики, Исполнительный Комитет казался могучим вершителем революционных судеб, а внутри — сборищем серых и раздражительных людей. К ним — Станкевич наименее принадлежал, соединяясь с ними лишь общесоциалистическим направлением.

Но именно только с ними он мог решать неотложно вставшие задачи России.

И всеми этими разноречиями слоёв Станкевич оказался оглушён. Каждое он воспринимал ярко, но не мог на всё быстро и наилучше реагировать, а — немел от этой распавшейся связи. По своей энергии и систематичности, и как офицер с техническими знаниями, он мог бы куда больше действовать на Исполкоме и влиять — а немел.

Да и налетающая череда вопросов совсем не была легка и, действительно, кому же посильна? Всё нахлынуло в изобилии, в небывалом виде, и только тот мог не теряться и перед обстоятельствами не терять своих мнений, кто руководился заранее затверженной упёртой догмой,— а другие меняли свои мнения в течении нескольких буквально часов.

В самом деле, что же делать с бывшим царём? И держать ли в тюрьме арестованных министров? По какой системе организовать выборы в Учредительное Собрание? Как решить аграрный вопрос и когда начать его решать — сейчас или после войны? И не решат ли его крестьяне сами раньше? И как заставить распустившихся солдат снова

подчиниться офицерам, ведь без этого нет армии! (Может быть, в свою довоенную горячую юность Станкевич и мог бы увлечься красотой этой идеи — выборного офицерства, но сапёрному поручику с опытом понятно было, какая это дичь.) И — всё покрывающий главный вопрос: как же быть с войной? Этот вопрос с удивительным изобретеньем уже расщепился и вился на десяток ладов,— многоголовый, многожалый вопрос, кого он не разделил в революционной среде и в России! А война была — захвативший капкан, она не очень-то шла на переговоры. Немыслимо было её прервать — и невообразимо в ней оставаться.

На этом вопросе, как ни на каком, Станкевича разрывало. Вот обсуждался на Исполкоме Манифест к народам мира — и в груди его разливалась горячая волна всеинтеллигентской русской широты, всегда так доступной космополитизму: ах, как прекрасно! через ощетиненные фронты понести эту весть всем народам мира! какое всечеловеческое примиряющее чувство, когда все мы друг друга любим!

И тут же понимал: до народов ещё там когда как дойдёт, ещё какое впечатление произведёт — неизвестно, но до нашего фронта дойдёт немедленно, и все штыки опустятся окончательно.

Понимал! И по-офицерски отвергал! Но и сочувственно поражался неуспокоенному ввинчиванию этого Гиммера, нечеловеческого человечка, как будто сделанного в пробирке,— как он неутомимо просверливает этот Манифест через Исполнительный Комитет.

И затянутый великой мечтой человечества о мире — Станкевич голосовал *за* Манифест.

Сегодня тянулось длительное нескончаемое заседание, на котором даже споры о Манифесте миновали как эпизод. Сегодня очень много было сообщений с мест: из Киева, из Луги, из Гельсингфорса, большей частью бодро-поверхностные, но и под ними тоже что-то клубилось грозно, как суметь различить.

Докладывал и посылавшийся от Исполкома в Витебск (там опасались антисемитских погромов) вольноопределяющийся Линде,— и этот юноша-фантазёр, воспитанный в немецкой романтике, философ и математик, теперь захлёбывался от восторга, до чего же воодушевлённо витебские войска стоят за свободу и республику,— и Станкевич хотел бы верить как либерал-социалист и не должен был верить как трезвый офицер, и косился на этого Линде, в котором отчасти видел карикатуру на самого себя прежнего.

Потом пригласили с докладом Пепеляева, кронштадтского комиссара Государственной Думы. Он уже делал свой доклад Временному правительству, теперь позвали его и сюда. Кронштадт был — как острый кол, воткнутый в бок Исполкому: какая-то ещё одна мощная сила или даже отдельная республика, ещё более левая и ещё более грозная, чем Исполнительный Комитет мог сам себя вообразить. Вся русская провинция им здесь представлялась как тёмное пятно потенциальной реакции — а Кронштадт вот проявился неукротимо красным клочком, всех дразнящим, никому не подчинённым, ещё новой яростью революции, не испытанной нигде. (Оттого ли, что три зимы просидели без войны, во льдах?)

Пепеляев, кажется, столького там насмотрелся, что уже научился говорить об этом без истерики. Да был он от природы круглолицый устойчивый здоровяк. Рассказы его не вызывали никаких сомнений в правдивости, то же самое три дня назад слышал Исполком и от своего посланца туда. Убито офицеров около ста, а из живых почти нет не избитых, все морские и сейчас под арестом, сухопутные — частью. Путаница Советов: сперва — Совет революционного действия, потом три отдельных — морской, солдатский и рабочий. Был момент — начало как будто успокаиваться, но приехали большевицкие агитаторы с Выборгской, опять всё взбуровили. Тревожные слухи трясут Кронштадт: то один полк ожидает нападения от другого, то — что будут всех разоружать, то — что где-то в Кронштадте есть электрическая кнопка и если её нажать — взлетят на воздух и город, и крепость, и корабли. Несколько раз склонялось к порядку — и несколько раз опрокидывалось опять в анархию. Очень возбуждающе действуют в Кронштадте слухи о разногласиях между петроградским Советом и Временным правительством.

Красный остров — всех жёг, будоражил. Но придумать ничего не могли другого, как послать туда ещё депутацию, Скобелева конечно. (Он так много ездил, что и на заседаниях редко бывал).

Заседание сегодня было воистину бесконечное, сорок вопросов.

То лихорадило срочным сообщением, что не пропускают в революцию наших товарищей: какие-то Лурье и Штейнберг телеграфируют из Стокгольма дать указание консулам — всех пропускать, кто просит виз. И постановляли: указать правительству.

То капризничал Соколов: он привык во всём везде участвовать (лишь не успевал повсюду бегать) — как же мог ИК не включить его в КК с Временным правительством! — а он так защищал Контактную комиссию вчера перед Советом! Он так и просил теперь откровенно: кооптировать его в КК!

Но это снова поднимало вопрос о выборах туда, которые и без того трудно прошли. Но и — Соколов был как бы не зачинатель всего Совета, с первого дня 27-го здесь,— отказать

ему тоже было трудно. В утешение включили его и Красикова от Исполкома в Чрезвычайную Следственную комиссию Керенского. Отчасти Соколов успокоился.

Разгорелись большие прения о тяжёлом артиллерийском дивизионе. Фронтовое командование требовало его на фронт, аргументируя, что тяжёлая артиллерия нужна именно там. Но тут, в Петрограде, было же своё постановление: все, кто участвовал в революции, не должны выводиться из Петрограда. Но и от фронтовых частей уже стали приходить нарекания: что за привилегии петроградцам, а нам и отдохнуть нельзя?

Споры были долгие, большевики и Нахамкис не давали дивизиона. Наконец, против особого мнения Нахамкиса, сговорились: дивизион вывести не на фронт, но в Смоленск, ладно, но чтобы в здешнем Совете оставили своих постоянных депутатов на случай, если что, и в Смоленске сейчас же бы вошли в тамошний Совет.

Затем увидели другую опасность: что делается с солдатскими депутатами? Они избрали свой тоже как бы исполком — Исполнительную комиссию, и та действует всё более самостоятельно, не подчиняясь главному ИК, а настроение её, доносят, совсем не то, что у нас здесь: даже и монархические настроения возможны, по несознательности тёмных солдат. И так это грозит расколом наших сил и большой опасностью для революции — созданием второго революционного центра. Нужно эту новую ИК обуздать, поставить на место, срочными мерами повлиять и на настроение её и на состав.

И тут всё сошлось на Станкевиче: ему и возглавить эту работу — убрать (переизбрать) из Исполкома неподходящих солдат, а выбрать подходящих. И возглавить саму солдатскую Исполнительную комиссию.

Да Станкевич ведь и пришёл — опережать революцию?

Продолжение следует



В ТЕНИ

НА «СКОРОЙ»

Это смутное скольжение по городу ночному.
Стекла матовые. Разговор шофера с санитаром глуховатый.
Пусть везут куда угодно. Натерпевшееся тело невесомо —
Так легко на повороте отклоняется послушно, виновато.
И теперь уже все, что со мною, как бы не со мной, как бы помимо.
Перепоручил себя какому-то неясному, спасительному богу
В образе того взлохмаченного санитара, что ли? Еле уловимо
Сходство. Но, оказывается, способно усыпить мою тревогу.
И пока в висках стучит, карабкается вверх температура,
Безучастно смотришь на нелепую, приклеенную криво
Репродукцию картины Рубенса: Гермеса плутоватого фигура,
Ждет спасителя, доверчиво мыча, корова — Ио.
Намекают, видно. Жизнь никак не может от деталей
Посторонних, путающих весь порядок действия, избавиться.
Куда ей до Корнеля!
Там бы уж, конечно, позаботились, непредусмотренное вовремя убрали,
Чтоб сидеть нам тихо и торжественно, от ледяного ужаса хмелея.

КАПЕЛЬНИЦА

Что за отросток рыжий, резиновый из руки?!
Вегетативной, растительной силой объят.
В банке всплывают, шарахаясь, скользкие пузырьки,
Кровь приливает, под веками гаснет взгляд.
Только лежать остается. О, как безнадежен вид
Старого человека с разросшейся сетью жил!
Я бы не вынес, наверно. А он что? — Забылся, спит?
Ночью все рвался куда-то, бессвязно о чем-то просил.
Да... а теперь в забытьи, слава богу, не видит своей
Новой чудовищной плоти. К концу пуповина опять
С жизнью нас связывает. Ну, помедли, продли, не жалей
Лишнего дня! Как легко надавить, пережать!
С тоненькой трубочкой — жилкой пульсирующей (не задень!)
Старый младенец... Невольно заглядываешь по пути
К двери в лицо посеревшее, ловишь холодную тень.
Страшно? Не знаю... Но взгляд не могу отвести.

Алексей Геннадиевич Машевский (р. в 1960 г.) — поэт. Впервые опубликовался в 1983 году. Первая книга стихов — «Летнее расписание» — увидела свет в 1989-м. Живет в Ленинграде.

* * *

«Пусть сквозит! Ну хорошо, я свитер натяну. Нет, нет, не надо
Пуговицу на воротничке застегивать. Сама не простудись — смотри,
совсем застыли батареи».
Господи! На целый час мы вместе. Губы холодит оставшаяся после поцелуя
долгожданного помада.
Встанем у окна. Свободно. Редкие больные в галерее.
«Ты тут как?..» Вопроса жалобного тихое скольженье.
От дыханья нежная испарина на треснувшем стекле, и я невольно
Пальцем провожу: «Все хорошо. Ты не волнуйся...» — «Ну, а настроенье,
Ничего?..» В лицо мне смотрит долго-долго, как-то неестественно спокойно.
Если бы сейчас не эти стены облупившиеся, этот кафель ломкий,
Этот свет мерцающий, и тени, льнущие угрюмо, настороженно друг к другу,
Не нацеловались бы. А так — смущение какое-то безвольное, нелепые постромки
Слов случайных. Словно ждешь чего-то, держишь бережно в своей ладони руку.
И когда затихли вдруг бубнящие, слепые, неразборчивые звуки в коридоре,
Сразу не заметили тележку шаткую, задернутую грязной простынею.
Обернувшись, вслед смотрели с ужасом и непонятной жадностью во взоре...
«Нет, тут слишком холодно, уйдем, пожалуйста...»
Непроизвольно плечи шалью, мне протянутой, укрою.

* * *

«Жарче роз благоуханье,
Громче голос стрекозы».
Ф. Тютчев

Медсестричка по коридору, как стрекоза, промелькнет,
Локти расставив. Розовой юбки край
Из-под белого виден халата.
Притормозив, наблюдаю решительный этот полет.
Тише ты, не испугай!
Только рядом с водою прохлада
В полдень. Палящее солнце поднять головы не дает.
Помню, я помню скользкие тени их
Ярко-зеленые, синие над прудом.
Лежа в траве, мог следить за неровным полетом часами.
Как обостряются звуки! Лишь бережный ветер утих,
Ближе горячее пение, круче размашистый штрих.
Воздух, пронизанный крыльями и голосами,
Пьешь, наслаждаясь, почти обжигаясь, с трудом.
Детство? — Не знаю. Скорее — уменье глазеть
По сторонам, снова здесь вдруг
Приобретенное, в этих пустых коридорах, сверкающих кафелем броско.
Жизнь ли, сжимаясь, обводит свой тесный, свой пристальный круг,
Или дыханье торопится, или сбивается звук,
Словно боясь не успеть.
Ну, лети же смелее, стрекозка!

НА ОПЕРАЦИЮ

В коридоре шаги... За тобой?..
Белый-белый, как саван, холодный, как снег голубой,
Простыни, на каталку наброшенной, гладкий свисающий край.
И стучится непрошено, гулко в мозгу: «Так и знай!
Так и знай! Так и знай!..» — Пересохшие губы, о чем?
Полотно, прилипая, сливается с голым плечом.

О, откуда покорность такая, бесчувственность, анабиоз?
Только холод в крови — до ногтей, до корней, до волос.
А когда повезут, поплывет, поплывет потолок,
Свет от бледных плафонов — в один золотистый поток.
Лишь колеса гремят, отмеряя невидимый путь,
И сияющий лифт... Ты расскажешь потом? — Не забудь.
Но как выбраться мне по глухим переходам назад?
Нет, не ласковый сон, а таинственный темный обряд.
Встать не сможешь, себя не узнаешь. Все ближе, смелей
Смутный хор голосов, колыхание черных огней.

* * *

Ожили голубчики! Еще два дня назад
На кровати разве что не замертво лежали.
А теперь беззубо ухмыляются, бубнят.
Я уж и не знаю, остановятся ль? Едва ли.
«Что, Петрович, а не плохо бы сейчас по кружечке пивка?» —
«И не говори! А мне велели коньячку принять для хе... хемоглобяну».—
«Хо, да где теперь достанешь-то! Скопутишься, пока
Очереди эти отстоишь... Тебе не ломит спину
К вечеру?» Все знаю, все — и сколько в драгоценных почках у того
Камешков, и сколько позади инфарктов у другого.
Старость? — Это старость? Неужели не осталось ничего,
Ничего — ни страшного, ни дорогого.
И стократ осмысленней ночной горячий стон
Шепелявых слов, ухмылок — разума свидетельств жутковатых.
А пока лежали неподвижно (только ледяные сны со всех сторон),
Было жалко их, притихших, потерявшихся во тьме, невиноватых.

* * *

Это сейчас мне жутко представить себя через сорок лет,
А семидесятипятилетнему незачем «представлять»,
Да и пугаться особенно нечего. Где он, мелькнувший след
Прошлого? До него ли тут! — Выспаться бы, принять
Вовремя от давленья таблетки. Над чашей змей
Выгнулся — искуситель. Но ведь болит, болит!
Что притягательней может быть, мужественней, страшней
Этих трудов бесполезных? — Дряхлой надежды вид?
И ничего как будто не замечает плоть.
Ей изнутри, несчастной, не угадать потерь:
Только бы незаметно штопать, латать, колоть.
Тающая иголка входит под кожу.— Верь!
В сущности, не со смертью тяжба. Таких хлопот
Лишь у нее, у жизни, вдосталь. Не одолеть?
Кто же тогда заступится, кто на себя возьмет
Сумрачную заботу, тихо распустит сеть?..

* * *

Ничем не пугает — ни легкой повязкой ночной,
Ни сладковатым дыханьем, ни холодом треснувших губ,
Ни медленной, словно цветок, распускающейся тишиной,
Ни даже угрюмой заботой о тех, кто ей дорог и люб.

С цветущих лугов не уходит слепая вода,
И нити травы, извиваясь, полощутся в ней.
Прислушиваешься — ни звука, сощуришь глаза — ни следа.
Лишь запахи, вязкие запахи неодолимей, сильней.
У вечной весны нет причин ни о чем вспоминать,
У свежих стеблей нет предлога грустить ни о ком.
Не знаю вас, тени беспечные. Кто вы? Хочу опознать,
Кем встречен, обласкан, с улыбкою дальше влеком.
Но круг распадается молча. Как крылья стрекоз,
Глаза их лукаво-прозрачны; и детские губы нежны.
Ах, только душа отвечает вопросом немым на вопрос.
И сердце гнетут по ночам незаметно тяжелые сны.
Ничем не пугает... Но знаешь, мне вспомнился тот
Старик и жена его. Перед уходом они
Зашли попрощаться. Я долго следил, как ведет
Она его под руку бережно... Все уже, скрылись в тени.

* * *

«Но дом ее уж пуст и гол стоит».
Ф. Тютчев

И тени за ним не придут проводить,
Грустя и ласкаясь, до черных ворот.
И некому в руки слепые вложить
Зеленую ветку и в сохнущий рот —
Монету прохладную. И восковой
Светляк не затеплит огонь в головах.
И к сводам не ринется голос живой,
Тесня зачарованный пением страх.
И, бедные, слов не сумеют найти
Родные, надежду подать или знак:
«Утешься, ну-ну, ты в начале пути.
Мы следом. Не бойся, ступая во мрак!
Не бойся!..» Но что это, черная ткань
Отдернута, снят шелестящий покров.
«Ты слышишь! Там встретимся мы...» — Перестань!
Их нет больше, жарких тоскующих слов.
Лишь руку держать до конца, все сильней
Сжимать, наклоняться, движение губ
Ловить. Ну давай, обопрись, не жалей! —
Последний, едва различимый уступ.

Глеб Горышин

Мой дядюшка Егор

Повесть

В воскресенье умер мой дядюшка Егор, последний родной мне человек. То есть мы с ним из одного рода; он нес в себе знаки рода в большей мере, чем я. Будучи инвалидом войны, дядюшка Егор иногда отдавал нам, моей семье, свой паек инвалида: гречневую крупу, венгерский перец, один раз финскую колбасу...

Мой лечащий врач отпустил меня на похороны. Я вышел из больницы утром затемно. Было морозно и мозгло. Я был в драном, но греющем полушубке, в шапке худого меха, в скороходовских ноголомных ботинках, в вельветовых брюках, сшитых у нас по образцу и подобию тех вельветов, что там, у них, но без запаса по длине, в расчете на стандартную коротконогость советского брюконосца и, прежде всего, из экономии материала. Брюки были коротковаты.

Из мрака выплывали фигуры, примерно такие, как моя; это меня погружало в спокойствие: я тут, я дома, такой, как все. У меня спросил гражданин:

— Где Город?

Я удивился.

— Как где? Вот он.

Я обвел вокруг себя руками.

— Я имею в виду центр,— сказал утренний гражданин.

Вскоре выяснилось, что гражданину надо в противоположную сторону от центра.

При переходе проспекта ко мне подошел прохожий.

— Есть прикурить?

Я с наслаждением чиркнул зажигалкой. Ее мне подарила женщина много моложе меня, с очень ровными белыми зубами мелкого калибра, с татарскими глазами желудевого цвета, в крапинку. И я не знаю, в чем скрытый смысл подарка: в закреплении бывшего? на будущее? И я не знаю о моем будущем: есть ли? каково станет? Я — гражданин среднего возраста, положения, по утрам куда-то бегущий, как многие, большинство.

Я дал прикурить человеку с не проступившим в предрассветное время лицом. Это меня еще более успокоило: я нашел себе место в этом утре, в этом Городе, в этом государстве.

Я вырвался из больницы на волю по случаю смерти моего дядюшки Егора. Но я не думал о смерти, чувствовал жизнь — в себе и в просыпающемся Городе. Выйти до срока из больницы — это не то, что быть отпущенным из тюрьмы, но ощущение воли охватывало меня, я осязал свою экстерриториальность, ловил обращенные на меня взоры: во мне видели нечто не предусмотренное здесь, сверх положенного. И обонял исходящий от меня примесный запах больницы, то есть чего-то потустороннего, по ту сторону проспекта, парка, жилмассива.

Мальчишка спросил у меня закурить. Я ответил ему:

— У меня «Беломор». Ты же его, мальчик, не куришь.

Мальчишка отвалил в сторону, не веря мне и уже презирая меня.

Курение «Беломора» сообщало мне сознание вневременности, то есть принадлежности ко времени отцов и матерей: они курили «Беломор», сокращали сроки своих жизней посредством «Беломора», по подсчетам научной статистики, на десять лет. Если бы они не курили «Беломора», некоторые из них были бы живы. Хотя табачный дым — только малая доля причин, сокративших жизни наших отцов и матерей. Их давным-давно нет...

Я ушел из больницы, неся в себе свежепроявленную (при гастроэндоскопии) язву луковки двенадцатиперстной кишки,— такую язву носила в себе моя мама. Мамина язва была больнее, как вся мамина жизнь. Я нес в себе рубчик инфаркта, стенокардию; у папы были натруженнее рубцы; его стенокардия, метко окрещенная в самом начале грудной жабой, мучила папину грудь. У папы была аневризма на сердце, вдруг убила его.

Мои язва, жаба, инфаркт пока что еще не развились до той отметки, когда... Мамины-папины болезни были во мне, отсчитывали мое время на своих, еще не слышимых мною часах.

Город подрагивал от множества крутящихся колес, тяжести транспортных средств над и под землею, подвывал моторами, вычиркивал искры трамвайными дугами из проволок, сощуривался; свет ламп становился голубоватым в разжижающихся сумерках, воздух — сизым.

Я стоял у края панели, даже не поднял руку. Черная «Волга» остановилась, вместила меня в себя. Водителю очень нужна была треха, он уловил мой пеленг — ему. И даже спросил, как поедем. Я ответил с медлительной важностью:

— Смотри сам, как тебе лучше.

Моя важность, как нынче говорят, самодостаточность, проистекала из сознания моей роли: я ехал на похороны. И я сам, имея в себе болезни, был как бы подвигнут, приближен... ну, в сравнении, скажем, с шофером. И я состарился (хотя питал надежду вернуться в какой-нибудь из минувших возрастов, добрать недовзятое. Да и в этом возрасте что-то светило). И у меня были деньги, не те, что раньше бывали, но были. Я крепко стоял на ногах.

В машине пахло хозяином — достаточным в социальном смысле мужчиной. Снаружи доносились смешанные, раздвоенные запахи: Городом пахло то с одной стороны, то с другой, и еще не вполне развидневшимся утром, иногда деревьями и водой.

Шофер привез меня к большому дому, недавно построенному — неожиданно, крестообразно, отдельно, на пологости склона, в торце широкого лука проспекта. В доме поместилась больница, ей дали название Карла Маркса. Это мне показалось странным: есть другая такая больница (ну, не такая, эта — супербольница), на одноименном проспекте, в моем Городе; я в ней лежал с проходной, текущей болезнью — воспалением легких...

Одноименность — от недалекости, а путь наш к Марксу ой как еще далек!

К новой супербольнице вели ступени столь же широкие, как к храму Святого Петра в Риме, переметенные ночью метелью, заснеженные, без следа. Я спросил у взбирающейся по ступеням старушки, первой посетительницы этого храма Эскулапа, здесь ли вход. Научены мы тому, что редко, редко пускают нас с главного входа, все больше с черного, с закоулка. Старушка ответила, что здесь, но, понимая несоразмерность потребности одного человека с величиною больничного чертога, спросила, что мне нужно, какое место в больнице. Я сказал, что мне нужен морг. И опять ощутил внезапное душевное сжатие, как в тот момент, когда узнал о смерти дядюшки Егора.

— Что, жена померла? — спросила старушка.

— Нет, не жена, дядюшка.

— Старый?

— Старый. Шестьдесят восемь лет.

— Это еще не так старый. Ну, что поделаешь... Морг с другой стороны.

Я обошел здание больницы, по свежему снегу. На снегу прочитывались следы, в морг было пройдено. В одном месте пришлось сойти по обледеневшей лесенке. Вдруг явилась старческая трусость, как бы не уронить себя. Открытие в себе старчества всегда внезапно, иногда смешно. Однажды на загородной прогулке я спускался с горы, на которой многое что бывало со мною: летывал на лыжах, на финских санях, на велосипеде и так, и на авто... Я держал под руку даму в кроличьем жакете, с татарскими желудевыми глазами, с ровными белыми зубами, и вдруг... Вдруг мои «скороходы» неудержимо поехали аниз по накатанной горе. Я вцепился в даму не как в подарок судьбы, не как в надежду на будущее, а как в опору, перилу. С нежданным старческим раздражением пробормотал: «Не посыпают песком...» Тут же внутренне усмехнулся: «Песочек-то из тебя сыплется, сударь. Ты теперь сам в некотором роде пескоструйная машина». Дама от души расхохоталась, ибо вышла со мной на прогулку не в роли поводыря, а в роли подарка. После она мне сказала: «Я вас представляла как русского богатыря».

Я обошел больницу имени Карла Маркса. На задах трое мужиков что-то грузили в машину. Я спросил у них о морге, они отвлеклись от работы, отнеслись ко мне как к деду, идущему в морг. Это серьезно.

Морг помещался в подклети здания. На двери была вывеска: «Прозекторская». В кучке собравшихся у двери я выделил Семена Клячина, односельчанина моего отца, гораздо старшего, чем мой дядюшка Егор, лет уже под девяносто, но как-то ухитрившегося не очень состариться. До пенсии Семен Клячин преподавал начертательную геометрию в одном из вузов; выйдя на пенсию, вооружился фотоаппаратом, сел на велосипед, принялся шастать по домам отдыха, пансионатам, делать групповые и всякие снимки, имел за это дело хороший навар. Когда я бывал на даче у Семена Авдеевича, он приводил меня на второй этаж в светелку, где спал круглый год при открытых окнах. Летом Семен Авдеевич по два часа бегал в лесу, по сорок раз отжимался, зимой ходил на лыжах. Сентябрь-октябрь проводил в Ялте, у моря, жил в гостинице «Ореанда». В саду на усадьбе Клячина стояли двадцать три домика пчел. Мы поговорили о меде и о язве. Семен Авдеевич Клячин сказал, что язву надо лечить медом, у него лечит жена и, может быть, вылечила.

О покойнике говорили мало: готовился справить свое шестидесятивосьмилетие, стал задыхаться; сын свез его в больницу; положили под капельницу. Он отошел, что вообще было свойственно ему: легко дающаяся веселость. Его оставили без присмотра... После сосед по палате рассказал: «Он вдруг стал воздух ртом ловить. Сказал: „Умираю“. И замолчал. Пришел врач, констатировал летальный исход. Вскрытие показало острый инфаркт...»

Пришел сын дяди Егора, мой двоюродный брат Серега, желтый, с почечной коликой, еле приволокся. На похоронах моего отца, Серегиного дядюшки Тимофея, он был в форме военно-морского летчика. Таких ослепительных синевы и золота я в жизни моей не видал. А над синевою, над золотом — юная мужественность, белокурость, кровь с молоком. Отлетав свое (Серега летал штурманом на бомбардировщиках), мой двоюродный брат работал в том же ведомстве, что его отец, по городскому хозяйству, на «освобожденной» должности. Выше достигнутого Серега не подымался, кажется, и не метил. По этому случаю, в родственной компании, дядюшка Егор посмеивался над сыном. Велись ли у них разговоры на эту тему с глазу на глаз, не знаю. Возможно, и не велись, во всяком случае, несогласия в чем-либо у старшего с младшими в семье у дядюшки не замечалось; дядюшка Егор жил вместе с сыном, невесткой и внуком, в своей комнате; и другим места хватало.

Серегина жена работала в исполкоме райсовета, что придавало семье нелишние социальные плюсы, например, паек по заказу, вполне перекрывавший нужду в инвалидском вспоможении дядюшке Егору, в гречневой крупе, венгерском перце, даже в финской колбасе.

У моего дядюшки Егора был поместительный лоб, лицо крупное, правильного овала, значительный подбородок. Открытое, откровенное лицо с выраженным смыслом, без двусмысленности. Мой дядюшка Егор Афанасьевич Бугреев был доцентом планово-экономического института, по кафедре городского хозяйства. Последние лет десять страдал прогрессирующей глаукомной слепотой, после инсульта — изрядной заминкой речи. Много это или мало в божественном даре жизни — видеть, говорить?.. Судя по тому, как отнесся к потере мой дядя, нельзя было проникнуться безнадежностью или сочувствием ему до слез. Что он умел, так это довольствоваться данным ему для жизни островом, пусть урезаемым; материка, даже архипелага, так и не возымел.

Дядюшка Егор нанимал себе подчитчицу, был в курсе науки и разных событий, до последнего дня консультировал аспирантов. Из общества слепых ему приносили меру болтов, меру втулок и меру гаек с шайбами. Надлежало надевать втулки на болты, навинчивать гайки. Это занятие отвлекало от дум как трудотерапия, к тому же приносило в месяц когда четыре восемьдесят, а когда и пять двадцать. Дядюшка Егор по-детски, непосредственно радовался такому приварку: «Заработано честным трудом».

И он рано лишился жены, еще зрячим, со связной речью. Жена «ушла к другому» — какое редкое выпадение счастливой карты, все равно что выиграть по денежно-вещевой лотерее... ну, не «Волгу», а, скажем, электрический самовар. Оставленному мужу открылась возможность добрать недополученное. Именно так мой дядюшка и отнесся к утрате жены.

Жена ушла от дядюшки Егора, возможно, еще и потому, что в его генетическом коде сочетались разноименные полюсы... Например, известная русская широта: пропить с дружками квартальную премию, положить голову на алтарь Отечества, отдать все силы построению коммунизма или еще что-нибудь такое... И, с другой стороны, крестьянская скаредность в мелочах (он и стал экономистом-плановиком), «идиотизм деревенской жизни», особенно заметный в городе. Это городской женщине в тягость.

Как-то раз мы поехали с дядюшкой Егором на Северное кладбище к моим маме и папе. Мама похоронена вместе со своей матерью, моей бабушкой Зинаидой, то есть «подхоронена»: в бабушкину могилу опущена урна с прахом ее дочери. Отец упокоен отдельно. Мама жила еще восемь лет после папы (хотя была старше его тремя годами), перед смертью распорядилась, чтобы им быть на том свете с мужем поврозь. И на этом свете тоже... Папины — бугреевские — широта, безудержность, низменность инстинктов никак не укладывались в мамино представление о порядочности. Обыкновенная, как корь в детстве, папина измена супружескому обету никак не прощалась, не забывалась, со временем накапливала в себе злокачественные признаки, как язва двенадцатиперстной кишки. Мои папа с мамой все сделали для того, чтобы укоротить свои и так короткие жизни. То есть они жили, как живут многие семьи. Папа был существом полигамным, с быстро развившимся сознанием многодозволенности; явившись из деревенской глуши на новое поле жизни — хозяином, едва ли знал какой-либо нравственный императив превыше: даешь план! Служение верой и правдой плану снимало моральную ответственность за другое. Да на другое и времени почти что не оставалось, как выразился герой рассказа Владимира

4*

Насущенко «Чужая собака»: «война за войной, пятилетка за пятилеткой». Папа рано стал командиром производства.

А мама?.. Мама просто страдала от выпавшей на ее долю несправедливости, как страдают многие женщины, каждая, впрочем, на свой особый манер. Мама очень понимала, что достойна иной судьбы, не раз говорила о том, что в годы учебы в медвузе ее приглашали в свои клиники Ланг, Мясников и другие светила, но она отдала душевные силы семейному очагу, как в свое время онегинская Татьяна. Но я не помню, чтобы под сенью нашего семейного очага был мир или хотя бы заключалось перемирие на сколько-нибудь длительное время. Война — под знаком маминой справедливости — велась не на жизнь, а на смерть. Мы знаем, что редкий мужчина переживает свою благоверную. Еще Николай Семенович Лесков заметил, что человек умирает до срока от трех причин: от жены, от любовницы или от того, что денег нет.

Когда с папой случался приступ стенокардии, удушья, давала о себе знать мерцательная аритмия или еще какая-нибудь «дама сердца» последних лет папиной жизни, мама пускала в ход все свое докторское уменье; в ванночках кипятились шприцы, пахло всеми сердечными средствами, какими располагала наша фармакопея; мама не знала сна и покоя, выцарапывала в очередной раз папу из объятий сей дамы. По примеру докторов старой закалки, она не доверяла докторской трубочке, выслушивала папину заросшую седыми волосами, довольно-таки тучную грудь, приникая к ней ухом, и тогда казалось, что распря и мука между двумя такими добрыми людьми наконец развеется, пропадет и они еще поживут по-людски... Но папа подымался на ноги, вдруг где-нибудь задерживался, напивался, или находилась какая-нибудь улика в подтверждение ранее подозреваемого — и все опять рушилось, в осколки разбивалось, с какой-то поистине самозабвенной иррациональностью.

Мама происходила из иной социальной среды, нежели ее муж,— из разночинской; Бугреевы были крестьяне, а мамин отец Нил Антипыч Титов служил уездным фельдшером в Тверской губернии. Это неравенство сказывалось, как я помню, в нашей семье, даже подчеркивалось. Еще моя бабушка по маме, папина теща, жившая в нашей семье, при всяком случае, надо и не надо напоминала, что Бугреевы — кряхтуны, пердуны... Не находя дома должной почтительности, душевного комфорта, папа брал реванш на стороне. А мама... мама отстаивала свою независимость с той решимостью, с какой ее отстаивает целый свободолюбивый народ, пусть маленький. Она служила на двух, на трех службах, преподавала на сестринских курсах, чтобы сравняться с папой по вкладу в семейный бюджет, даже выйти вперед, иметь право при случае заявить: я сама себя содержу!

Сначала мы с дядюшкой Егором постояли над маминой и бабушки Зины могилкой, потом над папиной. Говорить не о чем было и не надо. Хорошо, что не было посторонних, чужих. Мы были свои у своих могилок, за ними уж ничего у нас не было, тут наше кончалось. У могилы своего старшего брата Тимофея дядюшка Егор сказал мне то, о чем я сам подумал: «Ты умрешь, и тебя здесь похоронят». Такая определенность в известном роде успокаивала. Вообще свидание с близкими на кладбище на время освобождает от чувства вины перед ними. И перед живыми, самим собой.

На кладбище мы с дядюшкой приехали на такси, на обратную дорогу не поймали машину, пошли на электричку. Дядюшка Егор ступал по земле медленно, на ощупь — и с какой-то непроизвольной важностью слепого, обстукивал пространство перед собою палкой, откидывал голову, выпячивал живот. Он был в синем драповом пальто, в шляпе, при галстуке, то есть в обычной доцентской униформе. И он посмеивался надо мной, вопрошал, заминаясь в речи: «Ну а ты-то... ну а ты-то... док-тор-скую... за-защитил?» Я отвечал, что нет, еще не собрался с мыслями. Дядюшка заливался смехом: «А ш-што? По-пороху не хватило? Или у вас те-теперь установки другие?» Я отвечал, что фундаментальных основ не касаюсь, меня больше интересует прикладной аспект. Дядюшка поворачивал ко мне свое нездорового розоватого цвета лицо, наставлял на меня укрытые черными очками глаза, будто видел что-то такое, чего я и сам за собою не знал. Вдруг терял ко мне интерес, отключался надолго.

На станции я побежал за билетами в кассу. Дядюшка остановил меня с гневливо-озабоченным выражением, как бывало у моего папы, других Бугреевых, как будто поймал вора за руку в собственном кармане, воскликнул: «Да ты что?! У меня же удостоверение инвалидское, я же бесплатно!» Я заметил на это, что я-то пока не инвалид. Дядюшка Егор, по-гусиному шепелявя, отверг и этот мой довод, все с тем же выражением хозяйственной рачительности: «Я и-имею право прово-озить при се-себе сопровождающ-щего». Если бы я не послушался дядюшку, он бы раскис. Так и поехали без билетов. Дядюшка рассмеялся: «Ты что, бо-богатый стал? де-денег некуда девать?..»

И с папой тоже... Помню, в самом уже конце... После работы еду домой, вышел в центре что-нибудь купить на ужин, иду в толпе, вдруг вижу... до того знакомую спину, с уроненными плечами, в руке авоська со свертком. Немножко впереди меня шел бесконечно знакомый мне человек, никуда не спешащий, может быть, никуда и идущий, состарившийся, плохо видящий, опечаленный чем-то, может быть, даже плачущий. Передо мной шел мой отец. Я догнал его, пристроился сбоку. Из-под его очков с толстыми стеклами, если приглядеться, выкатывались слезы, то есть я видел одну слезинку на одной щеке, совершенно явственно скатившуюся. Я знал про папу, что он в настоящее время в таком ущербе своей довольно-таки саркастической к нему планиды... Мама его отлучила от дому бог знает за какую провинность, на какой срок. Мама поставила меня в известность об этой своей мере пресечения по отношению к папе. Мы жили отдельно, моя семья... Моих слов о том, что «надо бы помириться», мама не приняла.

Пройдя несколько рядом с папой, я взял его под локоть, ощутил мягкость, вялость, особенное, ко мне одному относящееся тепло его руки. Сказал: «Здравствуй, папаша». Он весь встрепенулся, остановился, обрадовался, воскликнул: «Здорово!» Посмотрел на меня испытующе: знаю ли я про него. Я тоже взглядом ему ответил, что знаю. «А я, понимаешь, с работы... да вот, думаю, к Егорке зайти...» Папа работал тогда замзавотделом в проектном институте. Сроки своих отлучений от дома обыкновенно отбывал у брата Егора. Я предложил папе куда-нибудь зайти и маленько выпить. Тогда это можно было в нашем Городе: зайти и выпить.

Мы зашли в ресторан, мест оказалось сколько угодно. Авоську папаша прихватил с собою, не выпускал из рук. Я предложил ему чего-нибудь такого, наилучшего из меню, икры, крабов. Он сделал таинственное лицо, громко зашептал: «Ни в коем случае. Возьми какой-нибудь салатик — и все! У нас в институте в буфете была очень хорошая красная рыба. Я взял триста граммов. Очень хорошая рыба! — Он предъявил мне авоську со свертком.— Мы рыбой и закусим». Я сказал, что здесь ресторан, не принято, неудобно. И у меня есть деньги... Папаша сморщился, махнул рукой. Ему хотелось как лучше, не вводить бы меня в расходы, в нем говорило крестьянское, экономическое, бугреевское.

Я все-таки заказал икры и крабов. И папа угостил меня своей — очень хорошей! — рыбой. Мы выпили на двоих триста граммов, папа разбавлял свою водку лимонадом, собственно, и не пил, а вспоминал, как это делается. Он исповедался мне, сказал, что нынче вины за ним нет, что было, с тем кончено. Я не поддержал эту тему. Нам обоим похорошело.

Дядюшка Егор лежал в гробу на столе в прозекторской. Его лицо не исказила обида смерти, он выстоял в жизни, не обиделся на судьбу, имел в себе талант стоицизма и, кажется, гедонизма. Большое, овальное, самодостаточное лицо с обширным лбом, чуть сплющившимся от смерти подбородком. Со знаком рода на лице. Дядюшка Егор организовал в своем лице отдельные черты рода, разнесенные, разрознившиеся, измельчившиеся на лицах братьев.

Из всех деверей мама родственно-близко зналась только с Егором. И бывали минуты, когда для Егора интересы моей мамы оказывались ближе круговой поруки братьев, превыше даже главенства старшего Тимофея — старейшины, хранителя рода. У мамы с Егором была своя беспроволочная, надо полагать, сладостная, мало улавливаемая другими Бугреевыми связь — через интеллект. Интеллект Егора, в многословной его бугреевской натуре, подавал знаки, откликался на мамины импульсы. Мама с Егором могли, например, разговаривать об ответственности перед жизнью, о второй сигнальной системе Павлова или о чем-нибудь еще, неинтересном для родственного окружения.

Когда вначале мой папа привозил молодую жену в родительский дом в деревне Угорье, когда по случаю дорогих гостей в избе не утихало застолье, припевали, отплясывали, моя мама с бесштанным, в одной рубашке — белоголовым Егоркой уходили на речку ловить пескарей и уклеек.

В тридцать седьмом году Егорку, студента планово-экономического института, упек в тюрьму наш общий дядюшка Джо. В чем Егорка был виноват? Сколько я ни выспрашивал его, много лет спустя, он не находил слов, заикался. Какой-то был патриотический порыв: поехать в Испанию и там победить фашизм на корню или еще что-то. Выпустили стенгазету — и всех побрали; из порыва вывели антисоветскую агитацию. Егорку ставили стоймя в футляр, подобный часовому футляру — такие были часы в прошлом веке; он помещался в футляре столь туго, что не давалось ни малейшего шанса ни одному члену расслабиться. Его держали в футляре так долго, что в суставах, связках, опорных костях настаивалась непереносимая боль. В те времена знали, как раскалить в человеке боль, чтобы он стал послушен.

Рассказывая об этом, дядюшка Егор посмеивался: «Как чеховский человек в футляре...»

Он был тогда настолько юн, невиновен, классово чист по происхождению — из нераскулаченной, середняцкой с наклоном в беднячество — орава голодных ртов — семьи, так послушен, ибо ослушаться не знал в чем, что его даже не увезли в места, позже ове-

янные ветрами странствий, романтикой свершений для моего поколения. Его продержали год и отпустили.

Егорка пришел из тюрьмы ночью, грязный, в лохмотьях, стриженный наголо, во вшах. Пришел в семью старшего брата, больше некуда было идти. Ему открыла моя мама. Лохмотья связала в узел, снесла и бросила в реку. Истопила баню, помыла Егорку. Он стал с нами жить, покуда оклемался, без малого враг народа, вражонок.

Мы жили тогда в двух часах езды на паровике от города. Отец работал директором торфопредприятия, и так был нужен тогда стране торф, предполагали сжигать его в топках электростанций — и сжигали! — а там не за горами и коммунизм: советская власть плюс электрификация всей страны. Отец давал стране столько торфу, что каждый год на его широкую грудь, заключенную в синюю диагоналевую гимнастерку, привинчивался очередной стахановский значок; торфопредприятию присуждали переходящее знамя наркомата и ЦК профсоюза.

Когда явилось в свет чудо нашего автомобилестроения — «М-1», отцу как победителю в соцсоревновании выделили «эмку». В болотистой кочковатой местности, где добывали торф, имелась всего одна дорога — шоссе (местные звали ее «шаше»), позволяла проехаться быстро на сияющей лаком и хромом легковухе, да и то один был прогон с километр, от ямы до ямы, а так все «гофрэ». Привезенный из города специально для «эмки», как бы в приложение к ней, шофер привез с собой это словечко, так отзывался об лучшей здешней дороге: «гофрэ». Когда у папы выдавалась свободная минута, он всех нас усаживал в «эмку», велел шоферу ехать по «шаше» в то место, где можно было развить сногсшибательную скорость: семьдесят километров в час! Такая скорость — семьдесят километров — долго потом представлялась мне пределом вообще всей быстроты, какая бывает. Мне было в ту пору шесть лет. Езда с бешеной скоростью по «шаше», по «гофрэ», от одной ямы до другой в упоительно пахнущей бензином «эмке» повергала меня в неописуемый восторг. Кажется, то же самое испытывал и мой папа, ему тогда еще не было тридцати.

Какой русский не любит быстрой езды? Мой дед Афанасий ганивал коней в ночное, на рысях, в своем босоногом детстве. Деду Нилу как уездному фельдшеру полагалась лошадка для выездов; в помещичьи усадьбы его важивали на тройках с бубенцами...

Мой отец Тимофей Афанасьевич Бугреев предавался добыче и вывозке торфа с полной самоотдачей, как того требовали время и партбилет в накладном кармане гимнастерки, слева у сердца. Работали тогда не только днями, но изрядно прихватывали от ночей. Единственным развлечением для папы, как я помню, служила парашютная вышка в райцентре. Туда они отправлялись с дружком, механиком Лесниковым, в свое короткое свободное время. Прыгал с парашютом один Лесников, папа только вчуже переживал полет и приземление друга. Он бы тоже прыгнул, но парашют нес на своих стропах прыгуна весом не более восьмидесяти килограммов. Папин избыточный вес не позволял ему прыгнуть и... снимал с него подозрение в недостаточной храбрости. Приехав домой, папа рассказывал о подвиге своего друга, как о своем собственном. Он обещал в следующий раз всех нас свезти посмотреть, как прыгает Лесников. Язык у папы заплетался, над ним посмеивались: пьяный на посулы горазд...

Младший папин братик Егорка вошел к нам в дом, обрел приют как будто безотносительно к главе дома. Когда он пришел, папы не было, и после я не помню случая, чтобы мой папа уделил время специально для младшего брата. Папин распорядок победителя соцсоревнования никак не изменился с появлением в доме Егорки. То есть, конечно, о чем-то братья говорили меж собой, какие-то меры насчет жизнеустройства Егора предпринимались. Да и папиного... в связи с появлением в доме, в поселке нового человека: не из деревни приехал в гости, не из института на каникулы, не из Красной Армии на побывку. Но главное попечение об Егорке: отмывание, одевание, обувание, выкармливание, оттаивание закоченевшей юношеской души возлагалось на маму.

В детстве одно не выводишь из другого, не мучаешься анализом. Мир явлен тебе как данность, предметы и лица: мама, папа, бабушка Зина, домработница Дуня, кошка Капля, собака Рекс, корова Любка, поросенок Саака, куры с петухом. Одно время был индюк, так и не получивший имени; у индюка оказался дурной задиристый характер. Он обыкновенно прогуливался по улице вдоль забора участка; завидя прохожего, напускал на нос кишку, кидался клеваться, клохтал при этом, бил крыльями. Особенно не жаловал военных из расположенного неподалеку лагеря. Когда проходил по улице командир, наш индюк немедленно распалял в себе ярость, напускал кишку, нападал. Шинели у командиров тогда были долгополые; ничего не оставалось комсоставу, кроме как задирать полы шинелей, задавать стрекача; другого оружия против индюка у них не было.

И я побаивался этого страшилища с его ужасной кишкой на носу, и папа не выдерживал шага, когда индюк, забегая сбоку, клохча, нацеливался клювом в блестящую пряжку на ремне... Особенно раздражало индюка папино кожаное пальто; он питал к нему какую-то классовую ненависть. То-то мы посмеялись, но смех смехом, а индюка пришлось лишить жизни, ощипать; бабушка Зина стушила его в духовке с яблоками; яблоки тоже родились у нас в саду: антоновка, белый налив, чулановка...

И все равно индюк был наш, когда особо разгуливался, Дуня брала хворостину, загоняла его в курятник. Весь сущий мир в детстве был поделен на наш и не наш, с той же отчетливостью, как день отличался от ночи. За калиткой нашего двора начиналось не наше — темные леса, полные страхов, туда нельзя одному носа совать, там где-то обитал каким-то непонятным образом Гринька Жмудин, им пугали детей в нашем поселке. Иногда Гринька приходил в магазин, на вид и правда был страшноватый: малый лет семнадцати, в кожушке из шкуры телка, видимо, самим им выделанной, пахучей, в заячьем самодельном треухе, с одностволкой на сыромятном ремне, с коротколапой злой шавкой. Он происходил из выморочной семьи, как-то уцелевшей на выселках, на бывшем лесном хуторе, не вычесанный оттуда даже частым гребнем всеобуча, шастающий по лесам с одностволкой и шавкой. Ничего такого злодейского в Гриньке Жмудине, конечно, не было, просто он нес в себе знак несчастья. После говорили, что в войну Гриньку забрали в армию Власова, там он и сгинул.

Страхов в детстве хватало не только в лесу, а везде. На покатом к реке Шуйде лугу у моста весною по вечерам поселковские и из соседней деревни Ивановки мальчишки играли в лапту. Зимой на коньках — на «снегурках» — катались по пузырчатому слоистому льду, в ледоход сплавлялись на льдинах, летом закупывались до посинения, а весной, как снег сойдет, до потемок играли в лапту. И так мне хотелось поиграть с мальчишками, но страшно было и не разрешали: мальчишки — голь перекатная, озорники, охальники, матюгальщики. Про ивановских старших Одоевых ходила молва, что они по ночам ездят на крышах вагонов, раздевают богатых пассажиров. Богатых!

Вопрос имущественного неравенства, бедности и богатства не обошел меня в моем детстве своей извечной фатальной неразрешимостью. Младший Ванька Одоев пришел со мной вместе в первый класс, был упоительно беден, до заморозков ходил в школу босой, а потом в опорках. Высшего блага для себя, чем Ванькина бедность, я не мог возжелать моим детским умишком. Моя душа хотела социальной справедливости. Но как сравняться мне с Ванькой? Ванька происходил из воровской семьи, а меня приводила в школу Дуня; я был «гогочка». Зимою Ваньке надели на головенку тряпочную шапку, а мне купили пыжиковую. Дома я плакал, требовал, чтобы обшили пыжиковую тряпкой. Больше всего на свете мне хотелось носить такую, как у Ваньки, тряпочную шапку. Но это оказалось так же невозможно, как Ваньке бы вдруг явиться в пыжиковой.

После войны младшие Одоевы пострадали в один день, весь поселок тогда переполошился. Ваньке оторвало запалом кисть на правой руке... Запалов всяких мы находили великое множество, а бикфордовым шнуром дорожили. Высшим шиком считалось обрезать шнур так, чтобы он чуть высовывался из запала; запалить, отбросить, и тут же — бух! Ванька Одоев переукоротил шнур, ну, конечно, на спор, на глазах у лопоухих, сочувствующих... А Венька Одоев, постарше Ваньки, в тот же день отправился на ямы рыбу глушить, взял с собою мешок толу, запалов, шнура и одну противотанковую гранату — давно уже у него руки чесались рвануть. Вот он взял взрыватель, замахнулся... а под кустом черемуховым стоял; гранатой ветку задел... И рвануло у него за правым плечом... Пока мы до поселка добежали, медсестру доискались да обратно... Веньку на самодельных носилках несли... Живой остался, без правой руки...

Мы жили в Торфяном поселке в казенном двухэтажном доме на заросшем бузиной, лопухами яру над Шуйдой. (Однажды с крутизны яра в реку сверзился наш поросенок Савка, захлебнулся бедняга, обнаружил себя на другой день на мели под мостом сильным запахом; было лето.) Мы занимали первый этаж, на втором жил почвовед с семьей. Дуня звала верхнего жильца «печкоедом». В близкие отношения с «печкоедовой» семьей мы не вошли, быть может, из-за нашей собаки Рекса. Рекс был по роду, предназначению, сути своей добрейшей, умнейшей, красивой собакой, черной с подпалиной масти,— сеттер-гордон. Ему бы делать стойки по дупелям и бекасам, а после бы лежать на ковре у камина или класть на колени хозяевам покрытую шелковистой шерстью голову, заглядывать в глаза, склонять ко всеобщей любви и добру...

Но Рекса... посадили на цепь, препоручили ему охрану нашего весьма изрядного хозяйства. Выходцы из деревни (хотя из разных социальных прослоек), мои папа, мама, бабушка за основу жизнеустройства почитали *свои* молоко, мясо, яички, картошку-капусту-морковку... Не свои, так чьи же? Альтернативы не существовало тогда. Даже в голову не приходило никому в нашей семье сесть на магазинное довольствие. Главную долю работ по хозяйству взяла на свои плечи бабушка; плечи у нее были широкие, крепкие, руки неустанные, искусные. Какие пироги пеклись на дни рождения и праздники, коптился окорок в ржаной корочке! А какие студни разливались в блюда-озера, какой хрен! Бабушкина активность в хозяйственных делах придавала ей высокий социальный тонус, пусть в пределах семейной ячейки. Бабушка не забывала упоминать во всеуслышание: «Я даром хлеба не ем. Я свой кусок зарабатываю». Очевидно, с этой же меркой высокой трудовой отдачи (бездельничали в нашей семье я да кошка Капля) отнеслись к нашему сеттеру-гордону, нашему красавцу, любимцу: посадили его на цепь.

Натянули толстую проволочину от курятника до бани, мимо хлева; на проволочине колечко, к нему привязана цепь; по ночам Рекс бегал по двору, брякал колечком, напропа-

лую гумкал, распугивая всех окрестных воров. Домашней живностью тогда интересовались цыгане.

Надо думать, Рекс исполнял службу стражника исправно, но, рожденный для вольного поиска в лугах и перелесках, зазывно пахнущих птичьим пером, для возлежания на ковре у камина, для передачи эстафеты любви ото всех ко всем, пес мучительно воспринял неволю. Днями он лежал в будке с приподнятой головой, не спал, а о чем-то думал, приблизив к свету свое собачье лицо. Иногда я заглядывал в Рексову будку, хотя это всем запрещалось, кроме мамы и бабушки: Рексу надлежало стать злым, и он озлобился. Я смотрел Рексу в глаза, обведенные ярко-рыжими пятнами на черном. Меня притягивал к себе серьезный, строгий, страдальческий взгляд собаки; глаза у Рекса были на мокром месте, он, кажется, плакал. Может быть, пес испытывал примерно то же, что мой дядюшка Егор, будучи изъят из студенческой вольницы, заключен в камеру с решеткой на окне.

Однажды я все же протянул руку погладить Рекса по голове. С неожиданной для меня бешеной злобой он гумкнул, лязгнул зубами, но вхолостую, сознательно мимо, а то бы... Я испугался до смерти, заревел; Рексова провинность стала известна маме. Вечером мама отвязала Рекса, привела его за ошейник на веранду, взяла ремень... Рекс сначала бил своим роскошным хвостом по полу, выражая этим любовь к маме; при виде ремня затих, шкура его по всему телу нервически задергалась. Мама побила Рекса ремнем, не очень сильно, но и нешуточно, приговаривала: «Да как ты посмел пасть разинуть на нашего Донюшку (меня зовут Даниил)? Да за такие вещи я с тебя десять шкур спущу!» Рекс смотрел в глаза маме любящим, преданным, непонимающим, бесконечно несчастным взором, дергался и молчал. После экзекуции мама увела Рекса в лес, там пустила. Вернулись они уже в полных потемках. Когда мама сажала Рекса на цепь, он лизал ей руки, целовал в губы.

Сколько я думаю о моей маме: такая умная, тонкая, все понимающая, сострадательная — и слепая в отношении муки собачьего сердца. Слепота порождала горе. Однажды, как ни остерегали, в будку к Рексу сунулся маленький сын «печкоеда». Рекс хватанул ребенка вострыми зубами за губу. Моя мама потом пришила губу на место, но метка укуса — знак мести собаки за свою неволю — осталась на лице будущего гражданина самого свободного в мире государства до конца его дней. Все обаяние мамы, все ее докторское искусство, весь социальный вес папы как первого человека Торфяного поселка ушли на то, чтобы Рексу остаться живу, не подвержену казни за его бесчеловечный поступок.

А то еще раз пришел к папе в гости человек его круга, прокурор. (Дуня обозвала прокурора «прокуроном».) Был он слегка под хмельком, исполнен сознания своей неприкасаемости... Остановить «прокурона» не успели, он с важным видом подошел к вылезшему ему навстречу из будки Рексу, снял с руки кожаную перчатку, покровительственно похлопал собаку по носу. Рекс прокусил «прокуронову» руку в том месте, где проходила вена, фонтан крови обрызгал лицо «прокурона». Маме пришлось не только останавливать кровь, зашивать рваную рану, но и делать предупреждающий укол против бешенства.

Мама-то знала, что Рекс не взбесился. Сеттер-гордон возненавидел человеческий род, лишивший его врожденного права на свободу. Особо Рекс не терпел детей и пьяных.

Когда приблизился фронт к Торфяному поселку, к нашему дому подогнали газогенераторную трехтонку, стали грузить нас в кузов, наполовину закиданный чуркой, мама спустила Рекса с цепи. Рекс будто и не обрадовался свободе, отошел в сторонку, лег, поглядывал исподлобья. Мама подошла к нему проститься, он кинулся ей на грудь, но маме было не до собачьих нежностей, столько выпало ей забот. Мы поехали, Рекс так и остался лежать, не сделал движенья вдогонку, все понял.

Дядюшка Егор явился к нам в дом, стал нашим. Мне тогда исполнилось семь лет, а дядюшке двадцать. Разницу в возрасте я как-то не ощутил, настолько Егорка был помальчишески худ, с какими-то беспомощными детскими глазами. Когда он поотъелся, ожил, я повлек его в лес играть в шишки. Шишек было в лесу полно, игра состояла в том, чтобы, перебегая от дерева к дереву, хоронясь за стволами, швырять в противника шишками. Игра довольно жестокая, как многие игры в детстве: шишки попадали в чувствительные места, именно этого и хотелось.

С нами играла в шишки моя двоюродная сестра Алька, Алевтина, десяти лет, прижившаяся в нашем доме годом раньше Егорки. Мы с Алькой, как «красные», сражались вместе против «белого» Егорки, таким образом уравновешивалась разница в возрасте.

Откуда взялась Алька, как, почему, тогда я не задумывался, она была наша. А дело вышло такое... Алевтина жила с папой и мамой, как все добрые люди живут, в Сочи. Ну что же, и в Сочи люди живут, не только же туда ездят, как в рай земной, в сочинский рай, за какой-то особенной благодатью. Мы с мамой однажды съездили в Сочи к тетушке Вере, маминой сестре. Из моего раннего знакомства с всесоюзной здравницей в памяти остались не впечатления, не лица, а, пожалуй, одни слова. Тетя Вера с мужем дядей Ильей, с дочкой Алей — их фамилия Знаменские — жили в Сочи на Батарейке, так называлось место; где, почему так назвали его, я не знаю. Много лет, то есть целую жизнь спустя

я приехал в Сочи лечиться на мацестинских ваннах от радикулита. Попытался найти Батарейку и не нашел; никто из нынешних сочинских не помнит, где было такое место. Правда, не очень я и искал: то ванны, то пляж, то куда-нибудь занесет... Еще запомнилось: Орлиная скала, гора Ахун, змея желтопузик. Это уже не слово, а правда змея. Мы пошли с Алей и с нашими мамами куда-то прогуляться, может быть, на Орлиную скалу, и на тропе увидели большую медночешуйную змею. Змея неторопливо ползла по своим делам. Меня поразила именно эта хозяйская неторопливость змеи; змея не придала нам значения; тут было ее змеиное место. Тетя Вера сказала, что это желтопузик, неядовитый, не кусается. Помню, я тогда испытал нечто вроде любви к желтопузику (ну, конечно, на расстоянии): хороший, не кусается...

Как-то после работы я зашел за дочкой в детсадик, дожидался ее, стал свидетелем урока любви к нашим меньшим братьям, преподанного воспитательницей. Малышам показывали картинку с изображением зверей, давали каждому зверю положительную характеристику: «А это, детки, бегемотик. Он хороший, он не кусается». Мне вспомнился желтопузик, я про себя улыбнулся: «Бегемотик, конечно, хороший. Только не надо, детки, его дразнить. А то он того и гляди укусит».

Еще мне запомнился из первой моей поездки к южному морю особенный запах моря, пальм, кипарисов, самшита, эвкалиптов, акаций, сосновой хвои, утреннего рынка со всевозможными фруктами, травами, цветами и ряженкой. Это после я разделил запах на элементы, а в детстве моем так пахло именно детство, с мамой, со счастьем каждого дня. Когда я теперь приезжаю на юг, выхожу утром к морю, иду на рынок, то узнаю мой запах; меня охватывает вдруг растерянность: что поделать с дыханием моего детства, что оно значит, ласкает или дразнит меня, пожилого человека? Впрочем, утренний запах на юге недолог, как самое утро, как день, как вся наша жизнь.

Знаменские жили на Батарейке в каменном городском доме, в хорошей квартире. Я уже тогда понял, что квартира хорошая, много места, цветов. Дядюшка Илья был чекистом, служил в мангруппе, то есть в маневренной группе, охранявшей Сталина — дядюшку Джо — во время его наездов на Кавказском побережье. Когда Хозяин (в мангруппе Сталина звали: Хозяин) приедет или уедет, того не знали; мангруппу постоянно держали в мобилизационной готовности. Во время коротких побывок дома дядя Илья навострял уши на какой-то ему одному ведомый сигнал, на зов трубы; труба вдруг звучала, звала; дядюшка Илья затягивал портупею — и исчезал в неизвестном направлении, на неведомый срок, в покрытом тайною мире.

Он был инженер-майором; выучился в Ленинграде, служил на Дальнем Востоке, в чем-то отличился, выделился, то есть его выделили для прохождения в дальнейшем особо ответственной службы. Комсостав в мангруппу отбирали не только по аттестату отличного служаки или по тесту верноподданности — это само собою,— но и по признаку идейной преданности вождю, которую не скроешь, не симулируешь, как веру мусульманина в Магомета; или есть, или нет. Из рассказов тети Веры я знаю, что дядя Илья ведал в мангруппе инженерными сооружениями: много чего-то рыли, кажется, даже подземные ходы. Например, валяется в придорожной роще колодина, на ней отдыхающие ведут свои тары-бары, а под колодиной в яме денно и нощно бдит чекист, и так на всей территории, освоенной для рекреации дядюшки Джо, подведомственной мангруппе. Впрочем, и тетю Веру дядя Илья посвящал далеко не во все хитрости своей сплошь таинственной службы.

О дяде Илье я знаю, что он был кристально чистым чекистом, ревностно предавался службе вождю (Хозяину!), почитал за честь быть в известной близости с Ним, хотя бы в пространстве, на короткое время. Из долгих бдений в своих подземельях дядя Илья возвращался странно бледным на фоне всеобщего сочинского загара. (Один раз моя мама приехала из Сочи, я посмотрел на нее и даже испугался: «Ой, кто тебя так йодом намазал?») В молодости и потом, но реже, дядя Илья обнаруживал в себе признаки редкостного музыкального дарования, абсолютного слуха. Еще курсантом пойдет на оперу «Аида», вернется и разыграет на мандолине «Аиду» со всеми аллегро и модерато.

Тетя Вера тогда училась в педвузе; где-то на опере они познакомились с дядей Ильей, сошлись в музыкальных вкусах, полюбили друг друга и поженились...

В тридцать седьмом году, не помню, какого месяца и числа, маме пришла от тети Веры телеграмма странно-зловещего содержания: «Аля тяжело заболела. Срочно приезжай». Мама поехала в Сочи, скоро вернулась с Алей. Мы вместе прожили наше детство, отрочество и юность как родные брат и сестра. Когда Аля заканчивала физмат и ее распределяли на работу, тут-то и обнаружили в анкете сокрытие факта близкого родства с врагом народа. Аля писала в анкете об отце, что он умер... Так оно и было... но допуска ей не дали. Где-то, как-то она работала без допуска... По счастью, вскорости опочил в бозе дядюшка Джо, и Алевтина Ильинична Знаменская получила допуск, закончила аспирантуру, защитила диссертацию...

В тридцать седьмом году в мангруппе был раскрыт «заговор» против вождя. Весь комсостав мангруппы забрали и расстреляли без суда, очевидно, в такое время, когда Хозяин не собирался в Сочи. Произошла как бы смена караула. Жены комсостава получили одинаковые уведомления в том, что их мужья осуждены каждый на десять лет без

права переписки. Сочи тогда представляли собой не то, что теперь: не чудовищный город-спрут, в котором не то что выстрела или вопля, но и злоупотребления мэра не сразу усечешь; Сочи были большой деревней; что бы где ни случилось, о том узнавали не из средств массовой информации, а из уст в уста, из уха в ухо; окон в Сочи не закрывали, тепло круглый год; что у соседей, все видно и слышно.

Арестованных увезли в Батайск, с глаз долой, там с ними под горячую руку и покончили. Жены кинулись следом, со своими передачами, с чистым бельем, прошениями, мольбами, с надеждой, что это — ошибка, и вот она разрешится, с верой в своих мужей, чистых, безупречных, несгибаемых. Вернулись жены без надежды. Я не знаю, что сталось с женами комсостава мангруппы в тридцать седьмом году. Кажется, их тоже призрели. И я не знаю, какие бездны разверзались в душах молодых женщин. Дети были тогда еще маленькие.

Тетя Вера распорядилась своей и дочкиной судьбой как ей подсказал инстинкт самосохранения или, может быть, ясность ума. И наша бабушка Зина была мозговитой, и мама... Тетя Вера вызвала телеграммой сестру, отправила Алю к нам в Торфяной поселок, которого ни на одной карте не значилось. Сама села в поезд зеленый и растворилась в тогда еще чистых водах нашего сплошь надзираемого, но весьма пространного государства. Надежда ее возлагалась только на добрых людей (и на сестру Надежду), больше не на что было надеяться, некуда укрыться от всевидящего дурного глаза дядюшки Джо, то есть его сатрапа в пенсне — Берии. Она уехала в те места, откуда родом, где-то между озером Селигером и Валдайским озером, три года зарабатывала кусок хлеба тем, что учила детей в школе грамоте; тогда в деревнях, даже маленьких, были школы, была нужда в учителях. Добрые люди не выдали тетю Веру, не подвели.

Письма от тети Веры приходили и нам редко, с какой-нибудь оказией. Так просто посылать письма по почте она считала неосторожным. Ни в чем не виноватая, у себя на родине тетя Вера жила полулегально, как какая-нибудь бомбистка, постоянно настороже, в неизбывной муке по живому разорванного организма. У нас в семье говорили, что дядя Илья в Красной Армии на границе, на опасном посту, с ним вместе тетя Вера,— для меня говорилось; Аля все знала про папу и маму, плакала в горьком одиночестве детской души. Я смеялся над Алькой, ревой-коровой. Когда мы играли в шишки с дядей Егором, Алька становилась шустрой, бойкой девчонкой, входила в роль «красной», закидывала шишнами «белого» Егорку.

В сороковом году тетя Вера приехала к нам, больше не могла быть в разлуке с дочерью, сердце не выдержало. Понятно, что мой папа *разрешил* ей приехать после трудных, надо думать, переговоров с мамой. Каково было папе пустить в свой дом семью врага народа, осужденного высшей мерой? Папа знал, что значит «без права переписки». Врагов народа брали по ночам в райцентре и в Торфяном поселке. Кто знает, какие теснились чувства в груди директора торфопредприятия, члена бюро райкома?.. Когда приходили папины гости, его свояченица с дочкой запирались в комнате-боковухе, сидели тихо, как мыши. Так велено было им.

Мы с мамой, бабушкой, тетей Верой и Алькой уехали в эвакуацию, долго-долго тащились на газогенераторной трехтонке, в такое место, где тоже добывали торф. Там нас встретили как семью Бугреева, известного в топливной промышленности лица (перед войной папа пошел наверх, начальником управления), Мама стала работать врачом в эвакогоспитале, тетя Вера преподавать в школе литературу и русский язык. В школе тоже знали, что она свояченица Бугреева; муж директорши школы работал на торфе. Лучшей аттестации и не требовалось.

Когда я подрос и меня допустили в круг взрослых разговоров (я и маленьким схватывал), тетушка Вера, бывало, помню, чуть заходила речь о больном (обязательно заходила, болело), впадала в какое-то исступление, прижимала к груди кулачки, выговаривала странным, не своим голосом: «Ненавижу Сталина! Изверг! Убийца! Отольются ему наши слезы. Мы не доживем, а ты, Доня, доживешь до того дня, когда все, все, все ему припомнят. Нет прощения этому извергу!» Я насупливался, набычивался, пускал пузыри. Тетушкины слова действовали на меня обратным их смыслу образом, возбуждали во мне особенную — до мокроты в глазах — преданность отцу народов, превыше всего на свете. Мне хотелось немедленно куда-нибудь бежать, кому-нибудь докладывать об услышанном, может быть, даже самому дядюшке Джо. Но почему-то я не бежал, просто был маленький домашний кролик, боялся бежать; тетушка Вера представлялась мне полоумной; неподалеку от Торфяного поселка располагался большой сумасшедший дом; я насмотрелся на трпкающих дурачков, кликушествующих, что-то несусветное выкрикивающих теток. По временам тетя Вера становилась похожа на них. Потом успокаивалась, говорила вроде разумно, но тоже ненужное мне: «Я за Советскую власть,— говорила тетя Вера,— и пусть будут коммунисты. Но чтобы как у Ленина в декрете: «Вся власть Советам!» Пусть председатель Совета получит действительную власть, без райкома над ним. А у председателя заместитель по политической части, как в армии комиссар. А он что сделал с партией — вывел ее из-под закона. Беззаконие, безнаказанность развязали руки самым темным силам».

Тетушкины слова не входили в мое детское, отроческое, юношеское сознание, отлитое сызмальства в легко усваиваемые, как гоголь-моголь, формы: «Спасибо родному товарищу Сталину за наше счастливое детство!», «Сталин — это Ленин сегодня». Ради этого, с этим стоило жить; жизнь только и делала, что подтверждала лозунги на знаменах.

А каково было папе? При нем старались не говорить о чем-нибудь таком... Но стены в нашем деревянном доме были звукопроницаемые. Да и так языки распускали, особенно когда сходились тетушка Вера с дядюшкой Егором... Хозяин дома страшно сморщивался, как будто уксусу проглотил; его мясистое лицо раздергивалось от гнева, даже волоски на бровях вставали дыбом. Он отчаянно взмахивал рукой с истончившимися без физической работы пальцами, директорским басом всегда одинаково шумел: «Вы мне, понимаете, бросьте эти штучки!»

После пережитого стресса папа обращался к стоящему на серванте графину с разведенным фифти-фифти спиртом, наливал большую рюмку, опоражнивал в два глотка с передыхом, заедал соленой волнухой, моченой брусникой, потом хлебал кислые щи со сметаной, из своей капусты; опять наполнял-опоражнивал рюмку, кушал котлеты с жареной картошкой, с луком, своим соленым огурцом (бабушка умела засаливать маленькие, с пупырышками, необыкновенно вкусные корнишоны). После пил чай с клубничным вареньем, из блюдечка, потел, выкуривал «беломорину», уезжал на работу.

После войны мой папа устроил тетю Веру инспектором роно в одном из райцентров нашей области; у него там были дружки — секретарь райкома и председатель райисполкома. У папы всюду были дружки. Из тети Веры получился дельный инспектор роно: она любила работать; в своих предметах — русском языке, литературе — находила то истинное, высокое, необманное, в чем обманула жизнь.

Она померла пятидесяти двух лет от рака. С того дня, как не стало ее мужа, не впустила в свою жизнь ни одного мужчины, ни на одно мгновенье... Тетушка Вера была красива, как и моя мама Надежда, без резких черт, как Валдайская возвышенность, русской красотой.

Ах, папа, мой добрый папа... У Виктора Голявкина есть повесть «Мой добрый папа»... Совсем другой папа, но тоже добрый, как мой. Садясь за повесть, Виктор Голявкин думал об одной из причин того, что мы называем счастием жизни, подаренной нам. Он думал о доброте своего папы, убитого на войне, теперь невозвратной. Чем далее я живу, соображаю, кто я, откуда, зачем, из чего произошел, тем нужнее мне помнить о папиной доброте. Доброта побеждала даже верность вождю народов, даже страх перед дядюшкой Джо. От установки «незаменимых нет» не помогали такие вещи, как право, клятва или протекция. Одна доброта спасала! Жаль, что наши отцы с матерями не умели оборотить свою доброту на самих же себя: пощадить, пожалеть, пожить на свете, как добрые люди живут (где? когда?). Да и мы не умеем.

В войну отец даже получил орден как начальник топливного управления, когда в наших местах мало кого награждали. Через пять лет после войны он попал под «Дело» — такое же кроваво-бесчеловечное, как другие «дела», но даже в итоге всех «дел» особо изуверски-кощунственное: по «Делу» казнили тех, кто не отдал Город фашисту, перемог блокаду, победил в войну. Одно из последних «дел» дядюшки Джо — с большой кровью.

Раскрутили дело сатрапы дядюшки Джо, сам он в это время... едва ли думал о Боге, вожжей из рук не выпускал... Можно предположить, что дни дядюшки Джо были сочтены в Кремле теми, кто заглядывал за предел: вождя не станет, и тогда мы («мы» состояло из нескольких «я»)... В основание грядущего нового самовластья прежде всего закладывался многократно испытанный материал всеобщего страха, чтобы народ боялся всесильных органов, как при дядюшке Джо. Загодя убирались, как конкуренты, не по чину высоко взлетевшие, подозрительно популярные, эдакие новоявленные «Мироничи». Мироныч один был... история аппаратной борьбы не повторяется в героях, об этом считали нужным напомнить.

И — преподать урок Городу, пусть не высовывается поперед Главного места! Незаменимых не только людей, но и городов — не бывает! Стоит заменить в Городе партийный, советский, хозяйственный аппарат, и Город станет другим, ибо кадры решают все. Так и сделали, так и вышло.

Может быть, и еще что-нибудь было в далеко идущих планах сатрапов, может быть... Приступая к «Делу», один сатрап, возможно, хотел возвыситься над другим, а третий в это время соображал, как разоблачить этих двух, самому выйти чистым. Понятно, что я подспудных материй не знаю, да и вряд ли кто знает, настолько материи эти не подпадают под категории даже здравого смысла... Я знаю, что в «Деле» не принимались в расчет такие невесомости с точки зрения диктатуры, как истина, человеческое достоинство, заслуга перед партией и народом, самая жизнь. Все это сочли «факультетом ненужных вещей», как в романе Юрия Домбровского.

И я знаю, что Город стал другим после «Дела»; его победили. В сорок пятом Город

явил себя миру — и самому себе — победителем; казался вечным не только в мантии прошлого, но и в бессрочном ордере на будущее. В сорок девятом Город победили, в последующие годы победу закрепили, ввели новый гарнизон; Город так и остался... У побежденного другое лицо, чем у победителя...

Поздно вечером отец вернулся с бюро обкома; его исключили из партии, сняли с работы; сел к своему письменному столу, порылся в ящиках — бумаг у него было не много, все держалось в голове,— достал, положил перед собою портрет: увеличенное фото, восемнадцать на двадцать четыре. На портрете мордатый мужик в морской военной форме, с подполковничьими погонами, с орденом Красного Знамени на груди, с глазами человека, вышедшего из боя, только что оравшего: «За Родину, за Сталина!», или еще что-нибудь, что орут в бою. Наискось поперек портрета надпись большими буквами: «Тимохе Бугрееву, другу и побратиму. Ораниенбаум. 1943 год». И подпись: «Федька Сапрыкин».

Открыли трубу, растопили печку, сожгли Федькин портрет. Других компрометирующих бумаг в ящиках папиного стола не сыскалось.

Федька Сапрыкин, друг и побратим Тимохи Бугреева, работал председателем облисполкома в одной из соседних областей. Его вызвали в Город, но сразу не взяли, дали погулять два дня и две ночи. Две последние ночи они провели вдвоем с моим папой, в каком-то, не знаю, месте, что-то пили (скорее всего, спирт: в папином управлении было гидролизное производство), разговаривали, не знаю о чем. Под утро папа возвращался тяжело похмельный, мрачнее тучи, ел картошку, поджаренную бабушкой Зиной с луком, со шкваркой, садился в поданную машину, уезжал на работу. Федька Сапрыкин сгинул, чтобы никогда не вернуться...

Ночью после бюро папа в последний раз заказал несколько междугородных разговоров по служебному паролю «торф». Все разговоры получились короткими, кроме одного, один подольше. Утром мама собрала папе в чемодан белье и все другое. Он уехал в такие же места, в каких набрал силу для командирства на производстве. Начальник стройки бокситного комбината, папин дружок-побратим, взял его на стройку прорабом; другие дружки-побратимы от разговора ушли, а этот решился. Доброта, как талант, в одних только дремлет, с других взыскует поступка.

Папа уехал, мы с мамой и с бабушкой Зиной остались жить в Городе. К той поре «Дело» уже раскрутили до самых мелких сошек в аппарате. Тех, кто шел по первому разряду, убили (после мне рассказывал один из вернувшихся из Владимирской тюрьмы, получивший двадцать пять лет, четыре года отсидевший: случалось, убивали на допросах, головой об стенку). По второму разряду давали двадцать пять лет как сообщникам, то есть за недонесение. Жен и детей взятых препроводили в Воркуту или в Караганду. Укатали туда и друга-побратима моего отрочества Лешку Сапрыкина, курсанта мореходки, и его брата Мишку, и мать их Ольгу Степановну, поврозь, на семь лет. Не взятым, а только снятым с исключением не давали вида на трудоустройство; их жизни и судьбы оказались вверенными непостоянной, как наша погода, госпоже Доброте; как-то сами собою они рассасывались.

Люди исчезали, как мухи с приходом зимы, беззвучно, безропотно, беспамятно. На их место привозили новых людей издалека, непричастных, незамешанных, совершенно чужих Городу, закусивших удила, готовых искоренить подчистую все, что было до них. Новые люди входили в систему, как входят патроны в стволы. Их вселяли в освободившиеся квартиры; происходило социальное оздоровление; вливалась свежая кровь в давший сбой организм.

Я зашел в комитет комсомола моего факультета (не сразу, но решился: надо), сделал заявление: отца сняли с работы, исключили из партии. Секретарь комитета посмотрел на меня как-то бегло, без интереса, будто на встречного, чтобы не столкнуться, а разойтись; сказал: «А мы знаем. Иди учись. Надо будет, пригласим».

В первые месяцы отец только переводил нам деньги, писал на переводах, что жив-здоров. Приехал, когда солнышко повернуло на весну, странно загоревший, то есть с нормальным для сельского жителя цветом лица и шеи: особенно выдает приезжего нос, охотно розовеющий от первого ультрафиолета. Отец явился здоровехонек, похудел, пропитался всевозможными запахами строительства бокситного комбината, неухоженной холостяцкой жизни. Сапоги его не блестели, на галифе появились стежки, сделанные несвычной рукой. Отец перевоплотился в поворотливого, моторного прораба.

И он загорелся мыслью прожить еще одну жизнь (ему было сорок три года), предложенную Советской властью, как и первая его жизнь (о ней бабушка Зина отзывалась: «Из грязи да в князи»). Постройком предложил отцу направление в Строительный институт, заочно, на ускоренный курс по сокращенной программе: без вступительных экзаменов, без общественных дисциплин, языка — как передовику производства. Передовиком мой папа успел уже стать. Теперь ему захотелось образованной, инженерной жизни, ну, разу меется, на руководящих постах.

Осенью папа поступил в институт; во время сессий к экзаменам готовились у нас

в квартире: собирались к столу такие же, как мой папа, загорелые, тем самым пахнущие, тугие мужики в русских сапогах, накуривали «Беломором» хоть топор вешай, до утра ломали свои негибкие мозги на дифференциалах-интегралах. Чертежи папе помогал делать его односельчанин, однокашник по церковно-приходской школе, преподаватель начертательной геометрии Семен Клячин. Через три года папа защитил диплом на материале строительства бокситного комбината.

Иногда я приезжал к папе на стройку, ночевал на раскладушке в комнатухе под лестницей, в доме, где помещалась контора участка. Как и в детстве, с папой мы виделись мало: он уходил рано на работу, возвращался близко к гимну по радио. Мы пили с ним чай из блюдечек, прихлебывая, дули на чай. За эту деревенскую привычку пить из блюдечка, дуть папе перепадало от мамы. Бывало, папа нальет из чашки в блюдечко, выпятит губы, подует, мама его уколет: «Не дуй, это же некрасиво». Папа передернется, крякнет, мама тут как тут: «Не крякти!» Теперь папа мог пить и дуть до седьмого пота. В чай подливалась водка из маленькой; маленькая за вечер не расспивалась, мы пили пуншик. Голимую водку стали пить в наших селах после укрупнения, прежде пивали пуншик. Приезжая к папе, я целые дни проводил в заречных лесах. Откровенного разговора двух взрослых мужчин у нас с папой не получалось. Папа не понимал моего выбора гуманитарного профиля, ему хотелось, чтобы я работал в добывающей или перерабатывающей промышленности. Маме в свое время хотелось, чтобы я поступил в Военно-морскую медицинскую академию. Но я выбрал сам.

Однажды, единственный раз в жизни, отец обратился ко мне за помощью. Он писал прошение XIX съезду партии — восстановить его в рядах, мучился над писанием, попросил меня отредактировать. В папином прошении были единственные слова, какие приходили на ум: «не мыслю себя вне... преданный идее и делу... обязуюсь отдать все силы...» Редактировать было нечего. Сомневался папа в первой строке: «Уважаемый товарищ Маленков!» или же: «Дорогой Георгий Максимилианович!» Тут мы с ним призадумались, припозднились. «Уважаемый товарищ Маленков» — казалось нам суховато, официально, хотелось с первой же строки войти с адресатом в какие-то более доверительные отношения, как старый партиец со старым партийцем... Но и «Дорогой Георгий Максимилианович»... тоже мы не могли на это решиться, отдавало фамильярностью, все же не личное письмо... Остановились на «Уважаемый товарищ...».

Спустя время по соответствующим каналам отцу сообщили, что для пересмотра дела нет оснований. Отца приняли в партию как вновь вступающего передовика производства, в первичной организации стройучастка. Рекомендации ему дали начальник и парторг стройки. На бюро райкома утвердили. Партийный стаж Тимофею Афанасьевичу Бугрееву восстановил Двадцатый съезд, по его заявлению.

Защитив диплом, отец уехал к себе на стройку, на этот раз ненадолго... Его привезли в областную больницу с обширным инфарктом, на самолете санитарной авиации. В районе тогда не умели лечить от инфаркта.

Папа еще не долечился как следует, вдруг его пригласили в Москву к министру. Лично к министру, правительственной телеграммой. Папа подхватился, поехал. После рассказывал, на вокзале встретили, в министерской машине привезли, гостиницу заказали... Министр предложил папе пост директора строящегося в Сибири комбината или... министром в одну из республик. Папина другая, горячо желаемая им жизнь сама давалась в руки... Всегда готовый по первому зову... на этот раз мой папа... попросил времени на раздумье. Раздумывали они вместе с мамой. Мама доказала папе, как дважды два четыре, что при его рубце на миокарде, при его атеросклерозе, коронарной недостаточности, мерцательной аритмии было бы непростительным легкомыслием по отношению к самому себе, семье и, наконец, к делу... «С твоим больным сердцем и брать на себя такую ответственность!..» Папа отказался от предложенной ему высокой чести, поступил в проектный институт замзавотделом.

Когда папы не стало, как-то мне позвонил незнакомый мужчина, сказал, что ему хотелось бы со мной поговорить. При встрече я сразу узнал в мужчине приезжего из тех мест, откуда приезжал мой папа, по запаху, по загару. Мужчина сказал, что он геодезист, вел съемку на площадях, где строили бокситный комбинат. «Я жил вместе с вашим отцом,— сказал геодезист,— был с ним в ту ночь, когда он свалился с инфарктом. Я специально узнал ваш телефон, может быть, вам это интересно услышать. Мы с вашим папой вечером попили чаю, легли спать. Я уже засыпал, слышу, Тимофей Афанасьевич меня зовет. „У тебя,— говорит,— пенициллину нету?“ А тогда, знаете, пенициллин только появился, все болезни лечили пенициллином, и я его при себе имел. Я говорю: „Есть“. Тимофей Афанасьевич говорит: „Что-то грудь стесняет, дышать нечем и в левое плечо отдает. Должно быть, простудился, как бы не расхвораться. Дай мне пенициллину“. Я ему дал порошок, а он: „Ты что? Это мне как слону дробина“. Я дал ему три порошка, он заглотил, чаем запил и затих. Утром гляжу, он весь синий, хрипит. Врача вызвали, она послушала, испугалась, бегом на телефон... Я его на носилках нес в самолет, грузный мужчина...» Геодезист посмотрел мне в глаза прищуренным, каким в теодолит смотрит, взглядом, будто прикинул, насколько я соответствую родителю, высказал главное, зачем

прищел: «Ваш отец был замечательный человек. Он любил работать, нынче это редко встретишь... Знаете, как крестьянин раньше любил в своем хозяйстве, чтобы был порядок... Он был простой, с мальчишкой фэзэушником у себя на участке разговаривал как с равным. На стройке никто на него обиды не имел. Я месяц прожил с ним вместе в его каморке — разные же люди и по возрасту, и он высокие посты занимал, и столько пережил... Мы жили с ним душа в душу. Вот это я вам хотел сказать». Геодезист опять посмотрел мне в глаза, я пожал ему руку, он ушел, навсегда растворился в необозримых просторах нашего Отечества.

Году, наверное, в семьдесят третьем я поехал в Сочи лечиться от радикулита. В жилбюро на вокзале снял койку в комнате на троих, купил курсовку на ванны. Делил время между ваннами и пляжем. По вечерам... В один из вечеров меня постигла та самая удача, какая постигает почти каждого из одиноких мужчин, проводящих в Сочи свое отпускное время: на пляже я познакомился с девой, свободной, как я, плававшей в пространстве, пригласил ее вечером в ресторан «Горка». В ресторане я тотчас развил непосильный для моих скромных средств младшего научного сотрудника темп событий, угостил даму одним, другим и третьим, заказал музыку... Такая торопливость, выдавание себя за того, кем еще не стал, жалкая потуга блеснуть свойственна бедным. Богатые не спешат, не раскрывают карты, дожидаются своего часа, и он настает. Меня не хватило надолго, то есть моих наличных ресурсов; официант унес со стола остатки нашего с дамой скоротечного пира. Дама стала скучать, ее интерес склонился в сторону контрабасиста из оркестра. Контрабасист подсел к нам за столик, я угостил его из последнего, что нашлось. Между моей дамой и контрабасистом существовали какие-то нити; может быть, они вместе учились в школе или состояли на учете в одной комсомольской организации. Чего-либо другого между ними, более принятого вечером в ресторане в Сочи, я не мог пока допустить, поскольку сознавал себя кавалером, помнил о заказанной мною музыке...

Когда моя дама куда-то отлучилась на довольно долгое время (оркестр не играл), когда она опять появилась и засобиралась уходить без меня, я высказал ей мое неудовольствие, без резких выражений и жестов, однако ставшая явной, демонстративной неверность женщины оскорбила меня; я завелся. Служители ресторана помогли мне вылущиться из зала на свежий воздух (с заходом солнца в Сочи скоро свежеет), опять же без грубого принуждения и нецензурных слов, единственно давлением на меня превосходящих сил, отношением ко мне как к загулявшему дурачку. (Каковым я и был.)

Не твердой... нет, скорее раздумчивой походкой человека, не довершившего своих дел в том месте, какое оставил, я двинулся вниз по склону (понятно, что ресторан «Горка» на возвышении). Еще бы малость пройти, и я бы стушевался в черноте субтропической ночи. Но на самом краю исходившего от ресторана синеватого клубящегося света меня подхватили под руки два дюжих молодца в милицейской форме — будто меня и ждали! — препроводили в стоявшую под платаном, не видимую из освещенного места карету спецмедслужбы. Меня повезли одного; двое милицейских сели на переднее сиденье к кабине, я поместился в хвосте. От ресторана до места назначения ехали долго, с горки на горку, с поворотами — виражами, с чередованием кромешных потемок и яркого света. Мною владела какая-то абсолютная трезвость, сверхтрезвость; сознание бешено работало, улавливало не только все оттенки происходящего, но и его высший смысл, почему-то в государственном масштабе. Мои мысли, чувства имели ярко выраженную гражданскую направленность. Мне было жалко двух везущих меня молодых парней (еще двое в кабине), я обратился к ним с речью: «Что же вы, ребята, здоровые лбы... что же, вам больше делать нечего? Что ли, в Сочи воров и бандитов мало? Чего же вы их не ловите? Нашли преступника... Куда вы меня везете? Государственный бензин жжете... Что ли, у вас бензина некуда девать?» Мне было особенно жалко государственного бензина. Милицейские порыкивали в ответ, с определенной злобой: «Поговори, поговори... договоришься...»

Меня привезли... ну, конечно, в вытрезвитель, куда же еще,— в одноэтажное каменное строение под кипарисами. Внутри за столом сидел капитан, лет на десять старше меня, подле него тоже немолодая женщина в белом халате. Капитан опрашивал привозимых, забирал у них документы, деньги (денег почти ни у кого не оказывалось)... Главный вопрос капитана был: «Сколько выпил?» В ответ назывались бесконечно малые величины: «пол-литра на троих», «стакан мадеры утром», «бутылку сухаря с приятелем», «две кружки пива» и так далее. Капитан записывал то, что ему отвечали, не поднимал головы. А что было делать? Коэффициента вероятности, детектора лжи под руками у начальника вытрезвителя не имелось.

Когда очередь дошла до меня и капитан мне задал свой главный вопрос, я почему-то ответил: «Триста грамм водки». В этом была правда, но не вся. Капитан посмотрел на меня без интереса, как смотрят на встречного, чтобы разойтись, а не стукнуться лбами, как посмотрел на меня в свое время секретарь комсомольского комитета, когда я ему доложил о моем папе: сняли с работы, исключили из партии...

По-видимому, капитана вовсе не занимало происходящее во вверенном ему заведении. Некоторые из клиентов выступали примерно в том же духе, что я в карете спецмедслужбы. Другие осоловели. Я присоединился к выступающим, поднял мой голос... в защиту попранной справедливости. Женщина в белом халате, должно быть, сестра милосердия, подошла ко мне, тихо сказала: «Вы не выступайте, и вас отпустят». Но этот жест милосердия почему-то еще более возжег во мне обиду несоблюдения прав человека. Я продолжал выступать.

В «приемном покое» сочинского медвытрезвителя в тот давний (дивный) летний вечер... хотя какой же вечер, дело было за полночь... колготилось изрядное количество человеческих существ (homo sapiens), довольно-таки похожих одно на другое, кажется, знакомых, привычных для этого места. Опрошенных раздевали и препровождали в дверь, за которой, судя по всему, находилась камера, то есть ночлежный дом, самый непритязательный в Сочи, охраняемый отель. Одни раздевались сами, другим помогали приглядывающие милицейские, их было трое или четверо. Процедура тянулась замедленно, с множеством ненужных, незаконченных движений, как будто в жидкой среде, в аквариуме. Время, проведенное в «приемном покое», засчитывалось в общий срок казенного ночлега, за все про все те же семнадцать рублей.

Пришла моя очередь раздеваться, я сдрючил с себя костюм, сорвал с шеи галстук, специально завязанный для моего звездного часа в ресторане «Горка», в обществе для меня забронированной, при сочинском дефиците, партнерши. Я обнажался, заголялся с превеликой охотой именно заголиться, замеченной еще Федором Михайловичем Достоевским как характерная черта русского человека. Мною владело такое чувство, что вот я сейчас разденусь, кинусь в темные воды, и понесет меня, понесет. Было легкое беспокойство за оставленные неизвестно на чье попечение костюм, ботинки. Но уже лязгнул замок на двери...

Кажется, внутри горела синяя лампочка, но свет в камеру поступал от наружного фонаря, в квадратную амбразуру в толстой кирпичной стене, забранную решеткой, справа под потолком. Внутри камеры что-то бесформенное шевелилось, сопело, воняло, булькало. Я отыскал пустой топчан, лег на гладкую липкую клеенку. Сложенная здесь же постельная принадлежность была мне как бы ни к чему; моя душа абстрагировалась от тела, затосковала сама по себе. Душу мою охватила непереносимая тоска утраты свободы, заключения в неволю. Пусть всего до утра... Тоска наваливалась каменная, по-звериному рвала в клочья душу. Я как будто переживал в себе не свою короткую несвободу, а муку всех, кто попал за решетку. Я думал про дядю Илью: может быть, его содержали в этом самом доме. Лежа на жестком топчане в камере вытрезвителя города Сочи, я вбирал в себя ужас, пережитый моим дядей Ильей.

Я думал о дядюшке Егоре, как его ставили в ящик... В висках стучало: «От сумы и от тюрьмы, от сумы и от тюрьмы...»

Мои сокамерники храпели, бормотали, кто-то кидался на дверь, вопил: «Пустите, пустите! У меня сегодня мать уезжает!» Ответа долго не поступало, наконец злобный, как будто уставший от злобы, голос выговорил длинную, из мата составленную, с угрозой в концовке фразу. Постоянно кто-нибудь булькал в парашу, стоящую у противоположной от окошка стены.

Я думал, как же все-таки близко... И как это просто... «От сумы и от тюрьмы, от сумы и от тюрьмы...» Я перебирал в памяти весь минувший день, отыскивал, в чем ошибка, где совершил неверный шаг, что привело в тюрягу. День был по-сочински солнечноликий, синенебесный. Девушка на пляже отличалась от других девушек только тем, что ее путь в пространстве и времени пересекся в одной точке с моим путем. Я спросил у девушки, как вода, она сказала, что вода ничего, только медузы.

Я думал, что, может быть, мне выпала кара за то, что нарушил заповедь «не прелюбодействуй». Но я же и попрелюбодействовать не успел. Ну и что? «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Но почему меня одного покарали? Неужто я в Сочи первый прелюбодей? Бог к себе забирает тех, кого любит. Но не Бог же меня забрал, а милиция в вытрезвитель...

Так я рассуждал сам с собой. Сна не было ни в одном глазу. Время как будто не двигалось (часы велено было сдать), казалось, что ночь застопорилась, захрясла в самом темном своем апогее. И так безлюдно, беспробудно, безответно, такая тоска, боже мой!

Рассвело по-южному сразу, как свет включили. Снаружи крикнули выходить. Капитан сидел все на том же месте, по-прежнему что-то писал. Его незагорелое лицо постарело от усталости, набрякло. Я сел против него. Не поднимая головы, он спросил: «Ну что, научный сотрудник, часто в Сочи бываешь?» Я ему вчера не сказал, что я младший научный сотрудник, он так и записал меня «научным сотрудником»; теперь мой листок лежал перед ним. Я сказал, что последний раз был в Сочи в тридцать шестом году. Капитан перестал писать, вдруг улыбнулся. «Давненько...» Глядя на капитана, я подумал, что по годам он мог быть тогда... «А ты сам здешний?» — спросил я его. «Да, у самого синего моря, только искупаться некогда».— «А ты не помнишь, до войны мангруппа была, Сталина охраняла?» — «Их всех расстреляли в тридцать седьмом году,— сказал капитан скучным голосом.— Один вернулся с Колымы, Гагулия. Лежаки на Ривьере выдавал, что-

то последнее время не видно, в годах уже был». Мелькнула мысль поискать Гагулию, но забота моя сейчас состояла в другом: семнадцати рублей — заплатить за ночлег — не было у меня, и в Сочи ни души знакомых.

Капитан спросил: «Деньги достанешь?» Я ответил: «Найду».— «Найдешь, принесешь; затягивать не в твоих интересах». И он мне отдал паспорт, хотя полагалось его придержать, покуда я рассчитаюсь. «Перевода без паспорта не получишь»,— сказал капитан, как бы извиняясь за несоблюдение правил. Он все больше нравился мне, можно было еще посидеть с ним рано утром, в безлюдии и тиши под кипарисами, как человеку с человеком. Напоследок я все же спросил у капитана: «Ну а все-таки, капитан, скажи мне, зачем твои молодцы забрали меня? Прямо из ресторана, там же все одинаково тепленькие были. В ресторан же и ходят, чтобы пить, это же не изба-читальня...»

Капитан опять погрузился в чтение документов, на мой вопрос прямого ответа не дал, а высказал нечто вроде назидания: «И профессора у нас бывают. Недавно полковник ночевал. Тоже вроде тебя выступал... Языки-то нынче у всех без костей... Вот ты говоришь мангруппа... За твои речи знаешь, где бы ты оказался, если б тогда... в мангруппу попал... Утром все одинаково тихие становятся,— сказал капитан.— Пар выпустят, и тише воды, ниже травы. Всем стыдно бывает. Вот так-то, научный сотрудник. В „Горку“ я тебе не советую больше ходить. И к нам в другой раз лучше не попадайся. Телегу мы на тебя писать не будем. Иди».

Я вышел из вытрезвителя и сразу увидел море: вытрезвитель стоял на горе. Пахло морем, как в детстве. Вспомнилась чья-то крылатая фраза, кажется, Эсхила, из сборника крылатых фраз: «Море смывает грязь мира». От нее стало легче: можно будет отмыться в море. Море было такое, как вчера, хоть все начинай сначала.

Когда стала война, мой дядюшка Егор ушел воевать. Он возвратился вскоре после Победы. С войны возвращались бравые лейтенанты, грудь колесом, с металлом на гимнастерках. Лейтенанты возвращались победителями. И дядюшка Егор победил-таки фашизм.

Но он вернулся измученным войной. Его контузило, он долго валялся в госпиталях. И ноги его иссохли. Галифе болтались на дядюшкиных конечностях, в голенища хромовых лейтенантских сапог можно было насыпать по мере овса. На нем болталась гимнастерка, как на огородном пугале. Его лейтенантские ордена и медали запали в складках гимнастерки. Его фуражка была помята, не натянута на обруч. Он был фронтовой пехотный лейтенант, по виду только вылезший из окопа. И так он был тощ, худ, изможден, как будто вышел из окружения. И он был долговязый.

И все равно я любил ходить рядом с дядюшкой по улицам — с настоящим фронтовиком. Дядюшка редко-редко подносил к козырьку руку, вялым, как будто с крайним усилием взмахом. Старшие по чину не взыскивали с него за неотдавание чести, младшие оглядывались с почтительно-усмешливым любопытством: это что еще за одер? Дядюшку Егора война утомила.

Когда мы ходили с ним в баню, я поражался его худобе, вялой коже с фурункулами, иссохшим мослам.

Однако при всем при том, что удивительно, дядюшка привез с собой из Германии велосипед (иные хваты на машинах приезжали: на «опелях», «хорхах», «БМВ»), с тормозом «torpedo» — лучшее, о чем я мог тогда помечтать. У моего велосипеда как раз в ту пору завосьмерило заднее колесо, подшипники из втулки высыпались, тормоз не держал... Дядюшка Егор отдал мне заднее колесо трофейного велосипеда, не насовсем, на то время, пока я обзаведусь своим, а сам он наберется силенок — педали крутить. Я привинтил дядюшкино колесо, перевернул велик кверху колесами, поставил на руль и на седло, раскрутил педаль... Заднее колесо бесконечно крутилось, с упоительным стрекотаньем. Нажал на тормоз — намертво схватило.

Дядюшка жил тогда в Угольном на причале; старший брат устроил его туда дежурить через сутки; в конторке он и жил, пока определился в аспирантуру, получил место в аспирантском общежитии. Неподалеку от Угольного причала, в селе Плотичном, жил в ту пору глава рода Бугреевых дед Афанасий. Его родное село Угорье сгорело во время войны, всю местность выщербило снарядами, бомбами, минами: линия фронта проходила как раз посередке села, по речке Стрежу; тут мы, там они; почти что год друг друга гвоздили. Даже следа от могилки бабы Ули не осталось, она еще до войны умерла. Дед Афанасий приехал к старшему сыну в Город с довольно старой (так мне казалось, я отроком был) женщиной, с недобрым лицом, называл ее «моя хозяйка». Отец назначил деда Афанасия скотником в подсобное хозяйство своего управления, в Плотичное, там нашлась и изба.

Когда дед Афанасий опасно занемог, его по-докторски навещала моя мама. Помню мое последнее свидание с дедом. Он лежал на широкой железной кровати с панцирной сеткой, с розовыми подушками, задрав голову. Кверху торчала его косматая, сиван, рыжая борода, из-под нее выглядывал здоровый кадык, будто кость в горле; лицо было такого цвета, как подушки. Сидя в ногах у деда, мама доставала из сумочки загодя написанные рецепты, объяснила, какое лекарство, когда и поскольку принимать. Дед хрипло дышал, его хозяйка стояла поодаль, держа сплетенные пальцы под животом. Я помещался лицом к деду на стуле. Мама говорила докторским голосом: «У вас, Афанасий Гордеевич, есть все болезни, какие бывают в вашем возрасте, изношено сердце, склерозированы сосуды. И у вас предынсультное состояние. С вами может случиться в любую минуту инсульт, то есть паралич. Я вам выписала в основном сосудорасширяющие и успокаивающие средства. Как будет протекать болезнь, это в ваших руках. Надо прежде всего отрешиться от вредных привычек: бросить курить, водку ни под каким видом...»

Дед задергал бородой, задвигал кадыком, поворотился лицом к хозяйке. «Ну-ко, хозяйка, принеси пол-литра, у нас же гости дорогие, когда еще увидимся». Хозяйка выполнила приказ хозяина. Дед взял в руки бутылку, принялся сколупывать с нее белую головку.

Мама поднялась, закурила «беломорину», глубоко затянулась, отчего щеки ее запали, глаза сощурились, в уголках глаз собрались морщинки, сказала мягко, тихо, без укоризны: «Я вам как врач, Афанасий Гордеевич, добра желаю. А вы поступайте как вам заблагорассудится, это ваше право».

Больше я не видал моего деда, вскоре он приказал всем нам долго жить.

На похоронах моей мамы, то есть на поминках, дядюшка Егор встал над столом... Его сын Серега вложил ему в руку стопарь с водкой... Дядя Егор сказал, далеко отделяя одно слово от другого: «Когда я вышел из тюрьмы... Надежда Ниловна приняла меня... помыла и накормила... До свидания, Надежда Ниловна!» Дядюшка Егор стоя опорожнил стопарь, по-бугреевски сморщился, утерся рукавом... Он не вспомнил о войне; с войны его тоже приняла Надежда Ниловна. Он вспомнил о тюрьме...

— Траурный митинг по случаю кончины...— Оратор запнулся, запамятовал фамилию усопшего... Он был молод, невелик ростом, коренаст, светлолиц, председательствовал по праву «освобожденной» должности, не то парторг, не то председатель профкома. Собрался с мыслями, вспомнил: «Егор Афанасьевич принимал участие в Великой Октябрьской...» — Опять запнулся. Великая Отечественная была от него так же далека, как Великая Октябрьская. Снова начал: «Принимал участие в Великой Октябрьской...» — Бывают такие речевые заторы, заезженные словосочетания. Председательствующему подсказали: «В Великой Отечественной...» Он справился, заговорил дальше, в том смысле, что покойник занимался экономикой городского хозяйства, двигал экономическую науку.

— Траурный митинг по случаю кончины Егора Афанасьевича Бугрова...— Ему подсказали: «Бугреева». Он поправился: — Бугреева...

Слезы вдруг хлынули из моих глаз. Как будто и меня хоронили тоже, последнее мое, родовое.

На вытертых алых подушечках лежали лейтенантские ордена и медали дядюшки Егора. Орден Отечественной войны I степени ему вручили в честь сорокалетия Победы, как пролившему кровь на войне.

Я вернулся в больницу, переоблачился в пижаму, вышел на лестницу, сел на каменную ступеньку, закурил. Мой дым смешался с дымом других пижамников. И стало мне хорошо. На прокуренной вонючей лестничной площадке все мы были равны и ни в чем пока что не виноваты.

Лариса Романенко

ДЕРЕВЯННАЯ РИГА

Деревянная Рига меж каменной тает:
То ли домики в землю с крышей врастают,
То ли в небо ночное они улетают?
...Осененные липами, кленом, каштаном
В тихом дворике прячутся
утром туманным,
И покажется вдруг
их покой
несказанным.
В зачарованный дворик нет доступа веку?
Опускает каштан могучую ветку,
Так ли просто чужому войти человеку?
Деревянные домики, если уж честно,
То старинный комод занимал много места,
О себе об одном только думая лестно.
И теснились столы, этажерки, кровати.
Жил мышонок за шкафом
смирения ради.
И держалось за гвоздик
корытце дитяти.
Деревянная Рига меж каменной тает:
И фундамент из камня к земле прирастает,
И во дворике флоксами сквер расцветает,
Исчезает бесследно мирок деревянный!
Но исчезнуть не могут липы, каштаны —
Свет зеленый, спокойный,
свет несказанный...

НА ВЗМОРЬЕ

Едва белизной ослепило нас птичье крыло
И пеной белейшей обрызгал нас ветер,
Растаяло солнце и медленно в море стекло,
И сумрак плетет между соснами сети.
Так было. Так будет и после меня.
Но глаз не могу отвести
Изумленных:
Анютины глазки цветут средь январского дня,
Как белые бабочки в листьях зеленых.
Доверчивость это, что всем безрассудствам равна?
А может быть, жажда цветения
Наша:
Чуть ласковым вздохом поманит весна —
И хрупкий цветок обречен на бесстрашье.
А ветры зимы ледяны.
Ледяны.
Все гуще и гуще у сумрака сети.
Но тех, кто услышал дыханье весны
Среди январи,
Никогда не жалейте.
Пусть с мигом цветение их наравне.
Метель заметет, и ни горсточки праха.
Но в памяти жить им,
Но жить в глубине
Предчувствий счастливых, не знающих страха.

Лариса Николаевна Романенко — поэт и переводчик. Первая книга стихов — «Верю в человека» — увидела свет в 1963 году. Том «Избранного» — в 1988-м. Живет в Риге.

Глеб Горбовский

Остывшие следы

Записки литератора

> Душа моя — элизиум теней...
> *Ф. И. Тютчев*

Этой действительности уже нет. Как нет в Ленинграде гостиницы «Англетер», в которой погиб Есенин, а есть ее финская копия; как нет на Сенной площади церкви Успенья Пресвятой Богородицы, в чьей прохладной тени съел я свое первое мальчишеское мороженое, как нет самой Сенной, а есть скучная площадь Мира; как нет в живых большинства из моих вчерашних друзей, как нет Петербурга в Петрограде, а в Ленинграде — ни того, ни другого; как нет в маленьком старинном Порхове матерого дуба, под чьими ветвями, первоклассником, влюбился я в некую смутную девочку, а точнее — во все женское на земле; как нет моих следов на прибрежном песке Финского залива,— но вот чудо: есть неподалеку от родимой Малой Подьяческой улицы церковь Николы Морского, куда меня тайком от запуганного атеистами отца притащила в начале тридцатых тетка Гликерья, чтобы окрестить, и есть еще эта книга, которую задумал я возле Никольской церкви пятьдесят лет спустя после своего крещения и почти тысячу лет спустя после крещения Руси.

И вторая действительность, заполнившая страницы этой книги, не есть ли моя подлинная жизнь, то есть — жизнь Духа? И не о ней ли надлежит печься и сожалеть, если она не задастся, если и ее сотрет с лица земли равнодушная стихия времени?

Что ж, если первая действительность это явь, а вторая — ее отражение на бумаге, тогда третья, искомая сердцем,— не есть ли Истина? И служение ей, поиск этой третьей действительности разве не оправдывает нашу нравственную неопределенность, всю эту предполагаемую трехмерность, трехслойность бытия? И если первый слой — суета, второй, нацеленный на отыскание Истины,— преодоление суеты, то что есть Истина? Во всяком случае — не блаженство, не «покой и воля», не итог, не награда за муки, а как раз блаженное ничто в чистом виде, именуемое бессмертием, обретенное нами заживо, за шаг до могилы.

* * *

Этого человека уже нет. Или — почти нет. А значит, речь как бы и не обо мне. Хотя и от меня. Впечатление такое, что держишь свою жизнь в ладонях, как картофелину, выхваченную из огня.

Этот человек проник в собственную судьбу при помощи страстного желания сделаться писателем. Когда это было? После первого свидания с книгой? Вряд ли. После осмысленного свидания с ней. После которого книгу полюбил я, как создание природы, был очарован ее присутствием подле себя так же, как полевыми цветами, морозным узором на стекле, лицом ребенка, шумом ночного дождя, мерцанием небесных звезд.

Всякая книга для меня с тех пор есть живое существо: изящное или уродливое, аскетическое или компанейское, насмешливое или несчастное, угрюмое или уютное,

---

Глеб Яковлевич Горбовский (р. в 1931 г.) — известный поэт, автор сборников: «Косые сучья» (1966), «Тишина» (1968), «Стихотворения» (1977), «Видения на холмах» (1977), «Черты лица» (1982) Горбовскому принадлежат также книги прозы: «Вокзал» (1980), «Избранное» (1981), «Явь» (1981), «Звонок на рассвете» (1985), «Первые проталины» (1989) и другие. Живет в Ленинграде.

неприкаянное или пошловатое, доброе или злое, но всегда — существо и всегда живое, то есть — способное не только жить, но и умирать: в огне забвения или просто на костре, а то и в плесени бездомья или под ножом машины, шинкующей макулатуру,— в руках книжного убийцы. Книга беззащитна до тех пор, пока ее не полюбишь. Нелюбимую можно продать, растерзать, хотя и нельзя разлюбить, возненавидеть. Удел книги — терпеть и ждать своего друга-читателя. В свою очередь, обескниженная людская душа обречена на преждевременное разрушение.

Истинная книга — не от тайны. От вечной правды. От ясной цели. Так же, как и воля, сотворившая эту книгу. Что путного привнесли собой в миропонимание так называемые «черные книги», призванные смущать, а не просвещать? Все эти магии — черные и белые,— все эти поиски философских камней, да и все эти «майн кампфы» и иже с ними — чем одарили они жаждущего откровений читателя? Сумятицей в мыслях, а то и ненавистью в сердце. Истинная книга милосердна, ибо — выстрадана.

Из неосознанных, однако застрявших в памяти книг первыми были «Гаргантюа и Пантагрюэль», а также толстенный, ларцеподобный том энциклопедического словаря Павленкова. Эти книги постигал я без помощи чтения, путем разглядывания картинок. Мерцающее впечатление от этих книг, словно от посещения двух миниатюрных музеев, осталось на всю жизнь.

Великий Рабле, точнее — иллюстрации знаменитого рисовальщика Гюстава Доре произвели на меня не столь пронзительное впечатление, нежели словарь; рисунки к роману воспринимались мной как нескончаемое повторение одной и той же мысли, темы, тогда как страницы словаря, испещренные неисчислимыми изображениями великих людей всех времен и народов, миниатюрными пояснительными рисунками,— являли собой для порожнего, алчущего мозга шестилетнего проныры аладдинову пещеру невиданных сокровищ. Во всяком случае, обретение мной, причем довольно позднее, своего «Гаргантюа и Пантагрюэля» чрезмерным ликованием не сопровождалось: я просто раздвинул на книжной полке французов и довольно бесцеремонно поселил меж ними гениального сатирика.

Совсем другое дело — букинистическая тоска по словарю Павленкова. Да и вряд ли уместно именовать ее книжной тоской: это была тоска по утраченному существу, по одному из одушевленных персонажей сказки, именуемой Детством. К этому персонажу влекло не бескорыстно, то есть не без расчета: за сорок минувших лет многое на земле переродилось, деформировалось, а то и вовсе исчезало: одни люди умерли, другие постарели, как и деревья на канале Грибоедова, как и дом-утюг на Малой Подьяческой, что не единожды перекрашивался с тех пор и даже был надстроен; давным-давно исчезли с лица земли птицы моего детства, все эти хрупкие воробышки, синицы, голуби, ходившие по жестяному подоконнику нашего окна; отбегали по булыжнику и напрочь растаяли в культурном слое города все эти домашние, а также бездомные собаки, кошки, мыши. И только утраченная книга, возбудившая во мне столь острое любопытство ко всему происходящему в мире, наверняка осталась такой же толстой, такой же насыщенной сведениями, такой же уютной, несмотря на огромное число жильцов, населявших ее бумажное многоквартирье и многоэтажье.

Почему-то верилось без сомненья, что книга эта жива. Пусть не та буквально, однако — экземпляр из того же, 1907 года рождения. Лежит он где-то на полке, а то и валяется на каком-нибудь чердаке. Ожидает моего прихода. Чтобы успеть что-то сказать. Еще что-то. Перед окончательной нашей разлукой. Тем более, что сведения, таящиеся на страницах словаря, устарели далеко не все. Если англичанин Гарвей, открывший кровообращение, родился в 1578 году, а французский писатель Вольтер в 1694-м, то, пожалуй, так оно и останется на все века вперёдь, и если итальянец Гарибальди прожил семьдесят пять лет, то русский писатель Достоевский не дотянул до шестидесяти. Это факты. А факты, как и время,— не стареют. Они лишь несколько отдаляются от наблюдающего их.

Когда эта книга вернулась ко мне из многолетних странствий, я долго не раскрывал ее. Держал на руках. Как свою жизнь. Не взвешивая — убеждаясь, что таковая (жизнь) была возможна. Потом я раскрыл книгу и жадно принюхался к ее плоти. Одна из стальных скрепок, продырявивших обтрепанный коленкор широчайшего корешка книги, несильно уколола мою ладонь, как бы давая знать, что в руках моих не просто осуществленная радость, но и нечто, способное причинить боль. И не только физическую.

Теперь — о первых прочитанных книгах, а значит, и в какой-то мере осмысленных. Это они, первые, незабвенные, как первый лес, в котором ты заблудился, первое посещение театра, первая женщина, первый глоток вина, первая рана на твоем теле, первая милость, освободившая тебя от затянувшегося отчаяния, прельстили мой разум, подбив на многолетнюю писчую каторгу, зажгли в сердце незатухающую страсть копошиться в словосочетаниях; это на ее отглагольной страсти алтарь приносил я затем многочисленные жертвы: покой, волю, дружбу, семью, а если требовалось — и саму любовь.

Первые книги — это они увели меня с гибельной дорожки нравственного одичания.

Это в их зазеркалье уловил я призрачное шевеление одежд вечности, чтобы раз и навсегда усомниться в обреченности всего живого на земле, а главное — внутри человеческой сущности.

После раблезиански пышных картинок Доре, после энциклопедического калейдоскопа павленковского словаря, после сказок Пушкина, «Тысячи и одной ночи», после «Кавказского пленника» Л. Толстого, «Слепого музыканта» Короленко и «Гуттаперчевого мальчика» Григоровича, прочтенных мне отцом до войны, вернее — до отъезда отца в 1938 году по этапу на лесоповал в северное Заонежье, в общении моем с книгой наступил многолетний перерыв. До войны я успел зачерпнуть из двух классов обучения — первый класс в старинном Порхове, второй — на набережной Лейтенанта Шмидта в Ленинграде. Прочитанных в период безотцовщины, без проповеднической воли отца книг — не помню. Может, и были таковые — следа в сознании не оставили.

Затем — четыре года войны, каждодневной заботы о выживании. Житие по Дарвину. Не обезьяне, но и не человеческое. А там уж — с неокрепшей, но уже надтреснутой психикой — послевоенное шпанство, обучение в «ремеслухе» среди подобных себе звереныщей и как логическое завершение — исправительная колония, где чтение, в лучшем случае, воспринималось как наказание. Помню, в детской пересыльной тюрьме — адрес: «улица Ткачей, дом палачей» — сажали нас в коридоре с окнами без стекол в марте месяце и читали нам «Два капитана» Каверина. Сидячих мест не хватало: один ряд рассаживался вдоль стены по лавкам, остальные — на коленях сидевших, и так — в несколько слоев, попутно согревая себя стадным теплом. Естественно, что к роману Каверина впоследствии сложилось у меня особое отношение: чаще всего при упоминании этой книги я непроизвольно и зябко вздрагивал всем телом.

Убежав из колонии, пустился я на розыски отца, отбывшего к тому времени ежовскую «восьмилетку» и поселившегося в заволжских лесах Костромской области. Именно там, в голодной лесной глуши, в бревенчатых стенах сельской школы, в бегах и одновременно под отцовским недремлющим педагогическим конвоем, произошло мое знакомство с первой самостоятельно прочитанной книгой. И была эта книга громадна. И называлась — «Война и мир».

Вот и сегодня, спустя сорок лет, передо мной проза Л. Н. Толстого. Только что, декабрьским беспросветным утром перечитал я «Крейцерову сонату». А вчера, с вечера — «Смерть Ивана Ильича». И вот что замечательно: мрак человеческого умирания, телесного и духовного, окутавший мне мозг по прочтении этих беспощадных повестей, ни в коей мере не затмил благодатного света, пролившегося на меня от «Войны и мира» на заре туманной юности. Наоборот. Умирание от рака Ивана Ильича, гниение заживо от безверия и отсутствия милости в сердце героя «Крейцеровой сонаты», не пощадившего слабой женщины, только еще ярче высветило в моей памяти благословенное сияние глаз (цвета мокрой черной смородины!) Наташи Ростовой, мягкую улыбку Пьера Безухова, предсмертные озарения Андрея Болконского, победившего собственную гордыню, и еще многих и многих теплых сердцем и светлых разумом созданий, населяющих это величественное построение, этот словесный храм, воздвигнутый гением.

* * *

«Остывшие следы» — что это? Мемуары? Нет. Скорее — плоды сомнений и догадок. Мемуары пишут от нечем жить или от избытка впечатлений. Но чаще — от гордыни.

А если — из благодарности к подразумеваемому Всевышнему? Из благодарности за предоставленную возможность лицезреть сей мир? Разве не случалось такого?

А теперь — о симптомах сочинительства, об истоках моего неизлечимого графоманства. Но прежде об искренности, о том, почему «Остывшие следы» — не исповедь.

Исповедь подразумевает покаяние. Очищение от содеянного тобой зла — вольного и невольного. Исповедь исключает всякую игру воображения. Истинная исповедь внелитературна. И нужно быть действительно гигантом духа, чтобы отважиться на изъявление, а значит, и на невольное навязывание кому-то своего мировоззрения, своего толкования Истины.

Сия же работа моя — литературна. В том смысле, что это не откровения, не бескорыстная песнь души, а все ж таки продукт элементарного сочинительства, хотя и под грифом «последнего слова», под знаком космогонического бескорыстия.

Но ведь даже там, выше нас, над нами «звезда с звездою говорит», и всяк мыслящий на земле, а тем паче пишущий, говорит прежде всего о себе с себе подобным. Говорить с Богом мы не научились. Говорить с человеком, как с Богом,— вот оно, вечно благое и вечно недостижимое желание всех исповедующихся, несмотря на то, что благими намерениями вымощена дорога куда-то там... И потому — не исповедь, а всего лишь пособие для начинающего писателя или вот... лирический роман. Не просто бессюжетный или бесконфликтный, а, так сказать, эмоциональный роман с неизбежным, невольным враньем, которое и отличает, к примеру, пение человека от пения соловья, мерцание уличных фонарей

от мерцания звезд, гениальную «Анну Каренину» от «Священного Писания», из которого автор семейного романа взял эпиграфом пять бестелесных слов: «Мне отмщение, и аз воздам».

Утешает и обнадеживает следующее обстоятельство: желание стать писателем, сочинять пришло ко мне далеко от стен большого города с его библиотеками, писательскими клубами, лекциями, редакциями и прочими интеллектуальными соблазнами; повторюсь, сообщив, что возникла сия неодолимая потребность в глухих заволжских дебрях, в полуразоренной лесной деревушке Жилино, на исходе шестнадцатого в моей жизни лета, за бревенчатыми стенами сельской школы, возле окна, по стеклам которого расползались ленивые струи затяжного осеннего дождя, то есть возникла и развилась под воздействием одиночества, а также сельских «красот природы».

Оглядываясь теперь в изведанное, пережитое, словно в огромный пустой коридор с многочисленными закрытыми дверьми и с одной-единственной лампочкой в самом начале этого коридора (свет детства!), спрашиваю себя: так чего же в тебе все-таки больше — городского или сельского, геометрически-уличного или плавно-географического, сотворенного разумом, то есть сконструированного, или — природного, почвенного, то есть — навеянного, почерпнутого? И, не мешкая, хочу ответить: поровну! Примерно так же, как добра и зла.

Родился в городе. В прекрасном городе. Измышленном дерзостью разума и воздвигнутом волею Великого Петра. Но детство прошло не в сиятельных апартаментах, а — в многолюдной, густой коммуналке, в десятиметровой комнате на троих. И вот что запомнилось ярче прочего: в проходном квартирном пространстве общего пользования, будто на пешеходном мосту, соединяющем черный ход коммуналки с основным ходом, под портретом наркома Ежова, на гигантском окованном сундуке жила у нас в квартире ничья бабушка, из сельских. В свое время кем-то выхваченная из деревни в няньки да так и забытая в коридоре — то ли младенец, которого надлежало ей нянчить, умер до срока, то ли родители младенца поссорились и развелись,— во всяком случае, бабушка жила в коридоре на сундуке, ела хлебную тюрю с луком, крестилась на портрет наркома, шептала молитвы и, за неимением собственного младенца, ласкала время от времени меня и всех остальных малолеток жилобщины, ласкала, угощала тюрей и вместо сказок рассказывала нам иногда о своей деревне.

Ее рассказы были пересыпаны необыкновенными словами, такими, как «поветь», «поскотина», «пряслице», «загнеток», «лукно», «гумно», «сусек», казавшимися мне если не сказочными, то — иностранными. Эти лохматые, грубого помола «скобарские» выражения нравились мне, тогдашнему учительскому сынку, привыкшему к правильной, монотонной речи образованных родителей, так же, как нравились горожанину, очутившемуся в деревне, крестьянский хлеб с парным молоком, разваристая картошка с малосольными огурцами, колодезная вода из ковша, деревенские сумерки над притихшей рекой.

И тут необходимо отметить, что родители мои сделались образованными незадолго до моего рождения, оба, хотя и порознь, окончили Ленинградский педагогический институт им. Герцена и своей образованностью весьма дорожили и наверняка гордились, так как вне этой образованности, верней — до нее, были они никто или почти никто: отец — крестьянский сын, мать — зырянская дочь, то есть представительница малого народа, к которому, по словам поэта, «Тютчев не придет». Надо ли объяснять, с каким благоговением относились мои родители к обретенной образованности, с каким тщанием соблюдали ее условности, в частности — отбор и произношение слов. Ясное дело, что преимуществом у них пользовались так называемые «культурные» слова, а всяческие вульгаризмы и архаизмы безжалостно подвергались остракизму.

Поселившаяся в той же коммуналке сестра отца и моя крестная — тетка Гликерья (по другой версии — Лукерья), недавняя крестьянка, работавшая на «Скороходе» и старавшаяся выражаться на пролетарский манер, тоже нет-нет да и выпускала затрапезное словечко типа «надысь», «нешто», «сумлеваюсь», «лихоманка», «ушат», «гунявый», «хлобыстнуться». Хотя куда чаще в устах верующей Гликерьи звучали слова молитвенные, церковные, смысл которых для моего социалистического (на груди звездочка октябренка) мозга был совершенно неуловим. Подглядывая за молящейся Гликерьей, которая неистово, просительно смотрела в угол своей шестиметровой комнатки и при этом время от времени взмахивала рукой, словно отгоняя мух, вслушивался я во все эти торжественные «дондеже», «како», «присно», «поелико», «днесь», «агнец», «главизно», «учахуся», «за ны», вслушивался и толковал эти приглушенные, исторгаемые шепотом слова по-своему: так, часто повторяемое Гликерьей «вóвеки веков» принимал я за имя собственное, за поминание теткой каких-то Вовиков, «присно» — за искаженное «пресно», а «како» — вообще за ругательство.

После того, как однажды в первом часу ночи пришли за отцом и тот, прощаясь перед восьмилетней разлукой, поцеловал меня, спящего, внезапно сделавшегося полусиротой,— мое сближение с природным в этой жизни пошло по нарастающей, и, подсчитывая теперь

разницу лет, проведенных в городе и вне его, то есть в кирпичной пещере городского двора и на чистом воздухе сельщины, прихожу к выводу, что городской я, действительно, всего лишь наполовину, потому что не менее тридцати лет из прожитых пятидесяти девяти провел вдали от Ленинграда, в сладкой тоске по его улицам, невской воде, дождливым погодам, каменным лицам его зданий, храмов, площадей, запахам его сирени, коммунальных квартир, балтийского ветра.

Хотя опять же — природное в мою жизнь вошло еще до исчезновения отца, когда ежегодно всей семьей отправлялись мы на летние каникулы в Скреблово под Лугу, на изумительной прозрачности озёра, Черемецкое в том числе. На одном из островов этого озера взрослые показали мне развалины монастыря, и с тех пор на долгие годы в моем представлении все, так или иначе относящееся к религии, церкви, монашеству, ассоциировалось у меня прежде всего с разрушением, упадком, развалинами и запустением.

Там же, в Скреблове, пропахшем яблоками (необозримые совхозные сады!), был я впервые приобщен к таинству созревания плода на ветке, возникновения полевых цветов, мерцания на лесной вырубке душистой земляничной россыпи, образования на стебле хлебного колоса, а в пчелиных сотах — библейски мудрого меда.

Но главное — в Скреблове шестилетним мальцом успел я застать в живых своего деда по отцу — Алексея Григорьевича, придумщика нашей фамилии (от именьица Горбово), жившего тогда как бы на покое у младшей дочери Евдокии, скребловской учительницы, дремучего семидесятилетнего старца, в недавнем прошлом настоящего, доподлинного русского крестьянина Псковской губернии Порховского уезда, к тому же еще и старообрядца, комната которого в скребловской школе была увешана иконами, пахла лампадным маслом, пчелиным воском, самоварным жаром.

Не помню, о чем разговаривал я тогда с дедом, лишь помню, как смотрел он на меня однажды после очередной «буреломной» схватки со старшими родственниками, которых он называл «греховодниками» и которых тогда прогнал из своей обители, оставшись со мной наедине. Он смотрел на меня со слезой во взоре, как бы ища во мне поддержки. Белая борода его была распушена и вздыблена, будто от головы деда Алексея шел пар. Некурящий и непьющий, он, казалось, постоянно излучал какой-то неповторимо спокойный, травянисто-банный телесный запах, вдыхать который было вовсе не противно. Так запомнилось.

Природное продлилось затем через год в похоронах этого деда; он словно пожертвовал собой для того, чтобы я впервые узнал и о тайне смерти. Прошло полвека, а я и теперь бываю на его могиле, выдираю вокруг нее буйные сорняки, посыпаю ее подножие речным оранжевым песком. Хорошее место. Правда, ютится оно у самого речного обрыва, подмываемого течением в паводок. Того гляди — рухнет. Могила в бездну или... бездна в могилу. Этакая неисчислимая квадратура круга переходов одного вида энергии в другой. И все это — здесь, наяву.

Природное, почвенное, изначально-сущее, по великой милости отпущенное мне вровень с городским, измышленным, сконструированным, отвоеванным волей разума человеческого, прислонялось ко мне во все периоды жизнепостижения и чаще всего, когда в мыслях и поступках моих наступало нравственное голодание, оскудение в сердце светлых начал.

Даже война, с ее дьявольской идеологией умерщвления и распада, не остается бесконтрольной, вне влияния созидающих сил. Тем более — одна человеческая единица. За четыре года войны, помимо узаконенных беззаконием ужасов, сколько я видел и принял вовнутрь, впитал, осознал *добра*, пропустил его через кровь и мысль, сколько его — природного и человеческого, планетарно-абстрактного и конкретного — от жестов милосердия до актов сочувствия — выпало на мою долю. И как же были они, деяния добра, выпуклы на фоне горящей планеты!

Житие на войне для меня — это все та же сельщина, «полевые условия», негородской образ жизни. Деревни приютила тогдашних беженцев из города, поделилась с ними припасами. Но разве мог я, десятилетний мальчишка, усидеть на одном месте, когда за окном — война и столько всего стреляющего, взрывчатого разбросано по земле? Нашими игрушками той поры были патроны, снаряды, мины, разбитая техника, а порой — и настоящее, стрелковое оружие. Мои военные скитания завершились в Прибалтике, на латышских хуторах, в так называемом Курляндском котле — опять же под открытым небом, на «лоне природы».

После войны — детприемник в Луге, розыски родителей, встреча с матерью, попытка приобщения к школе, каникулы в вырицком детдоме. Затем предпринял тактику «большого скачка», поступив сразу в пятый класс (минуя третий с четвертым), и вскоре был отчислен за дерзкое поведение и неуспеваемость и определен в ремесленное училище, откуда попал в исправительную колонию, снова как бы на «волю», на умиротворяющие душу ландшафты заволжских степей Саратовской области и далее на лесоразработки в приволжской возвышенности, откуда бежал, опять скитался по берегам великой реки, отогревался на ее пароходах, затем коченел от стужи и голода на товарных поездах, сунулся было в Ленинград, но там едва не отловили, выскользнул из дворницких рук и —

опять на Волгу, ближе к ее верховью, в костромские леса, к вернувшемуся из лагерей отцу. Деревня Жилино. Десятка три жителей, столько же волков, сидящих вокруг деревни в морозную лунную ночь. Школа, где отец и «зав», и просто учитель, и техничка, где в первом классе — двое, во втором — трое, а в третьем — один. В четвертом — и вовсе никого.

Потом — село Богородское Владимирской области, куда меня отправил отец к своей сестре Евдокии и где я окончил семилетку (сказались настойчивость и педагогический дар отца, который за один год с величайшими жертвами, душевными и материальными, подготовил меня фактически сразу за четыре класса).

После Богородского — Ленинград, в котором продержался год, не зацепился и, окончив восьмой класс, призвался в армию. А что такое армия, тем паче стройбат, куда меня определили по близорукости зрения: это же вологодская Шексна и вновь милая сердцу Волга под Кинешмой, опять душеласкающие пейзажи, а вокруг — люди, делающие в своих разговорах ударение на букву «о».

После армии — экспедиция: Средняя Азия, Сахалин, Якутия, Камчатка. И опять Волга, спасительная, отцовская. А затем Белоруссия, деревня Тетерки, в которой обретаюсь и поныне каждый год — по полгода. Так какой же я городской? Нет, просто русский, не более того.

Толчком к моему уходу в писатели было не только природное начало, и не столько сельский пейзаж и окающие люди вокруг меня, тогдашнего, но и, прежде всего, Книга. А книга — дитя города. Под деревом, как грибы, книги не растут. Ни в речной, ни в морской воде, ни в земных подпочвенных слоях книжной продукции не содержится, разве что — составные ее элементы: свинец, целлюлоза, красители и т. п.

Но повторюсь. Все же книга пришла ко мне по-настоящему в деревне. Осознанная книга. Что содержалась в убогом фанерном учительском шкафу Жилинской начальной школы. В этом шкафу проживали непостижимые по глубине, бездонные гиганты духа людского: Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский, Ж.-Ж. Руссо, Карамзин, Лермонтов, Сервантес, «Священное Писание». Пять или шесть десятков книг, но — каких!

Сперва очарование (книгой, писательством, возможностями творца), затем — дерзость: «И я!» Дерзость, не всегда подкрепленная способностями. Дерзость как склонность. Но дерзость — еще не одержимость, а способность мыслить образами — не поэтический дар. Это солдатами становятся, а поэтами всего лишь рождаются, причем обладатели поэтического дара далеко не все подряд превращаются в поэтов. Многие из них так и живут, оставаясь «простолюдинами», слывут чудаками, если не придурками, делают свое незапланированное, спонтанное добро и умирают если и не с улыбкой, то, во всяком случае — не с проклятием на устах.

Книгу всегда любил я уродливо (следствие невоспитанности), любил не столько за ее содержание, сколько — за образ. Более прочего пленяло меня старинное происхождение книги. И возникла эта библиофильская патология во мне, скорее всего, еще там, до войны, на Малой Подьяческой, когда я впервые, еще ребенком, но уже не бескорыстно, начал сравнивать печатную продукцию эпохи социалистического реализма конца тридцатых годов с продукцией дореволюционных издательств — Маркса, Суворина, Глазунова, Сойкина, Гржебина, Брокгауза и Ефрона, имевшихся в библиотечке родителей.

Позднее, даже после того, как в медвежьем углу отцовской школы в Жилине была прочитана классика, изданная в годы сталинских пятилеток на быстрожелтеющей газетной бумаге военных и прочих суровых времен, в мои руки попала удивительной добротности и красоты старорежимная книга из собрания сочинений Ф. М. Достоевского, а именно — роман «Идиот». Мелованная бумага, крупный, так и льющийся в душу шрифт, изящнейшие виньетки, заставки и прочая полиграфическая «завлекаловка», помещенная в обтянутые коленкором крышки или корки, скрепленные корешком из мягчайшей натуральной кожи, с золотом тиснения по этому корешку и обложке, с навеки западающей в память ярчайшей тканой узкой ленточкой-закладкой, и все это дивное сооружение, весомое, солидное и какое-то не от мира сего (мир хлебных карточек, кухонных склок, запаха керосина), обладало терпким, сладчайшим, духовным книжным ароматом! Читать такую книгу было наслаждением, вспоминать о ней — блаженством.

Потом, когда в моей жизни очарование книгой на долгие годы оттеснится многими разрушительными страстями и страстишками и я стану предввать свои книги (в том числе и несравненного «Идиота»), спуская их за бесценок перекупщику, во мне все ж таки не иссякнет приверженность к книге вообще, и всякую из них, отрывая от себя, стану я провожать со вздохом, а то и — с символической слезой.

В связи с моим полубогемным периодом жизни запомнились некоторые из книжных эпизодов, и прежде всего — один телефонный звонок, недавно прозвучавший как бы оттуда, прямиком из моей опрометчивой юности, когда я столь безжалостно расправился с нашей семейной библиотекой.

Жил я тогда на Васильевском острове один, семья наша распалась еще до войны якобы по вине наркома внутренних дел Ежова; мать с отчимом уехали работать на юг, отец учил в Жилине детей, не забывая посматривать в окно, поджидая уполномоченного, так как не

верил, что испытания на прочность позади, и я, выгнанный из девятого класса, вел самостоятельную жизнь единоличного обладателя тридцатиметровой комнаты, уставленной книжными шкафами и порожними бутылками из-под «плодо-выгодного». В нашей комнате была прекрасная, облицованная старинным кафелем печь-голландка, которую я, начитавшись классики, именовал камином. Усаживаясь перед разверстой печной дверцей в ветхом, продавленном кресле без ножек, смотрел я на огонь в «камине», прихлебывал гнусное «Волжское» и не читал, а слезно, почти ритуально-истерично прощался с прекрасными книгами, перебирая драгоценные издания в ожидании звонка перекупщика.

Он приходил страшный, не имеющий лица, с крючками обгоревших пальцев рук, с короткой и полупрозрачной косточкой носа, с вечно плачущими красными щелями глаз, с лицом, на которое старался я не смотреть — не из брезгливости или сострадания, не из страха даже, а из-за воображения, что так вот в жизни могут поступить с любым человеческим лицом, в том числе и моим.

Он складывал книги в мешок. Словно слепых котят. Или щенков. Которых затем намеревался топить в воде. Сам-то я неужто не ведал, что принимаю в экзекуции утопления не просто участие, но даю, так сказать, окончательное «добро»? Знал, понимал, но... не сознавал непоправимости творимого, а главное — не слышал сердцем. Одним лишь зачумленным умишком смекал, как и что.

По нынешним дизайнеровским меркам книги, которые уносил от меня перекупщик, напоминали не полиграфическую продукцию, а скорее — ювелирные изделия. Так роскошно и добротно были они сработаны: кожа, сафьян, цветной коленкор, золотое тиснение или золотой же обрез, а то, как чернь по серебру, не книги — драгоценные слитки... Полные собрания Чехова, Диккенса, Лескова, Гончарова, Оскара Уайльда, Гете, Бальзака, Ибсена, Гауптмана, Гамсуна, Достоевского. И книги в более дешевом оформлении — Блок, Ницше, Гумилев, Мандельштам, Клюев, Бальмонт, Северянин, Ходасевич, Вяч. Иванов. Первое издание стихотворений Ф. И. Тютчева с предисловием Тургенева. За него мне Горелый (так в нашем кругу звали перекупщика) отвалил... пять рублей в старом, до реформы 60-х годов, исчислении.

Обыкновенно, стянув горло на своем заглотистом мешке веревочкой, Горелый швырял на круглый наш, некогда обеденный, стол так называемую «простынку», то есть сто рублей одной бумажкой, на которые при желании можно было сообразить довольно скромное угощение на две персоны. Не больше.

Горелый позвонил мне через тридцать три года. Как в сказке — «ровно тридцать лет и три года». Голос его, какой-то механически сиплый, с напрочь исчезнувшими человеческими качествами и оттенками, показался мне все же знакомым и в то же время ужасным, связанным в моей жизни с чем-то гнусным, тщательно мной скрываемым, но вот же — явившимся наконец под окно моей совести.

— С-сдрасствуй, Хлеепп, это Сереежжа танкишт, Хореелый! — скрежетал в телефонной трубке голос.

Незадолго до этого похоронили мы замечательного русского поэта-фронтовика Сергея Орлова, бывшего танкиста, горевшего в танке, но затем на долгие годы сохранившего невредимым — и в огне жизнепостижения в том числе — свое доброе, отзывчивое сердце. В первые мгновения, когда в трубке зашелестело: «Сережа, танкист», да еще «горелый», сознание мое затрепетало, будто листва на дереве, по которому ахнули обухом топора. Губы и язык почему-то отказывались повиноваться. То, что меня разыгрывают, дурачат,— не приходило в голову, ибо сразу почувствовал (не понял — ощутил!): звонит человек, горевший именно на войне, в танке, инвалид и непременно — подлинный инвалид, к тому же из тех, с кем я наверняка общался.

— Помниш-шь, Хле-еп, кнши-ижника, опхоре-елого? Ты вот в пишаа-ателях тепе-ерь, са-ам кн-ишечки выпуска-аеш-шь... Давай увиидимся. Есть ш-што с-сказать перед с-сшсмертью...— свистело в трубке.

И опять сработало мое болезненное воображение, перенасыщенное мнительностью: я почему-то представил себе страшного, теперь уже старого и наверняка нетрезвого человека (такой жуткий голос!), встречу с которым надобно было непременно обмывать и т. д. и т. п. И — отказался от встречи. А зря. Потому что просьба звучала искренне.

Несколько дней жил я под впечатлением этого звонка. Этого голоса из ниоткуда. Содеянное мной насилие над книгой аукнулось не просто просьбой о банальной встрече давнишних «подельников», но — призывом к моему милосердию. И я отказал в этой наверняка расстанной, прощальной милости несчастному инвалиду. То есть — еще раз проявил малодушие. Совершил преступление против человечности. Книги как бы деликатно пеняли мне на то, что я не прочел их тогда, не напитал вовремя живительным их смыслом свою неокрепшую душу. И кто знает, скольких ошибок не совершил бы я впоследствии, прочти тогда или просто не отпусти их от себя?

И еще один книжный эпизод. Произошел он в 1968 году, для меня знаменательном и даже как бы — роковом. Осенью того года мне исполнилось тридцать семь лет, и я всерьез подумывал о закруглении жизненной карьеры, ссылаясь на многочисленные «гениаль-

ные» уходы из жизни именно к тридцати семи годам. Не хватало мелочи: оттенка гениальности в личном деле. Это и удерживало, скорей всего.

Где-то в начале 1968 года вышла моя четвертая книга стихов — «Тишина», которой затем изрядно досталось от критики, и не только от нее, но и от элементарных доносчиков; книга даже попала в разряд антисоветских, о чем говорилось в специвльной брошюре издательства «Юридическая литература», повествующей об идеологических шпионах и диверсантах. «Тишина» была срочно изъята из продвжи, ее редакторы получили партийные взыскания. Короче говоря, раздули из мухи слона. О чем расскажу позднее. А сейчас — о других событиях незабываемого шестьдесят восьмого.

Примерно в марте, через неделю-другую по выходе в свет «Тишины», попал я в больницу, и не в простую, а в натуральную психушку. На почве излишнего восторга от издания «Тишины». Тогда же — окончательно и бесповоротно — порывает со мной женщина, которой посвящал я свои стихи. Но нет худа без добра: примерно в то же время в извивах огромного города, на одном из книжных прилавков находит «Тишину» другая женщина, которая, чуть позже, станет моей женой. Свидание с ней описано в стихотворении, начинающемся так: «Это были не райские кущи, ей-ей! За больничной оградой — десяток растений. Я увидел ее в перехлесте ветвей, и упала душа на колени...» И все это — в том же 1968-м. Однако я вновь отклонился от сугубо книжной темы.

Перед самой психушкой квартировал я у одной сердобольной женщины где-то в линиях на Васильевском острове (тогдашнее мое горячечное состояние духа не позволяло запомнить адрес благотворительницы более отчетливо). Со всей определенностью знаю лишь о том, что выход в свет «Тишины» отмечали мы вдвоем с этой женщиной, сидя глубокой ночью напротив друг друга, и наверняка молчали, так как за стеной к тому времени в огромной коммунальной квартире все уже давно и чутко спали.

Утром при посещении туалета с удивлением обнаружил я в этом укромном месте экземпляр своей «Тишины», прибитый гвоздем к стене возле порожнего полотняного мешочка для туалетной бумаги.

Как выяснилось в дальнейшем, отмечали мы выход книжки не вдвоем, а втроем. Какое-то время за нашим столом присутствовал еще один человек-призрак — сосед по квартире, с которым приютившая меня женщина поддерживалв дружественные отношения. Был он по профессии художник, окончил некогда Академию художеств. Рисовал преимущественно деревья. Портреты деревьев, как сам он комментировал свой труд. Но чаще прочих рисовал он дерево, стоящее в каменном колодце двора напротив единственного оконца в жилище художника. Мастерской у этого художника почему-то не было. А имелось именно жилище — жалкое, убогое и все ж таки замечательное, можно сказать — уникальное. Напоминало оно ствол шахты из-под лифта: метров десять ввысь. Башня. Причем — при одном окне, расположенном внизу, возле пола. А в вышине светилась одинокая лампочка без абажура. Далекая, как ночная звезда. И еще: у художника не было руки. По плечо. Оторвало в послевоенное время, когда он подростком разряжал мину где-то под Ленинградом. Странный художник. Затаившийся, молчаливый, с лицом, запорошенным синими точками — последствия взрыва.

Оказалось, что я подарил ему «Тишину» еще с вечера, а утром он пригвоздил ее к стене туалета. И меня, помнится, более всего поразило то, как умудрился он прибить ее, владея одной рукой, в которой и молоток, и гвоздь, и книга.

Однако теперь, спустя двадцать лет, перечитывая «Тишину», понял я, что казнил художник не книгу, не бумагу и даже не стихи, содержавшиеся в ней, а — меня, внешне хоть и неблагополучного, бездомно-богемистого, но ведь — счастливого же! Дождавшегося издания, получившего денежку и весь вечер кощунственно распространявшегося о бедах-злосчастиях, якобы терзавших меня и не дававших мне развернуться. Он преподал мне нравственный урок. А я, неблагодарный, поспешил объяснить себе случившееся элементарной ревностью художника ко мне, вломившемуся в его мирок, заведшему смутные отношения с женщиной, которую он, может быть, обожал или к которой привык, будто к дереву, росшему под его беспросветным окном.

Оказывается, книги учат добру не только содержанием, но и своим поведением, своей жизненной драматургией.

Надо ли говорить, что впоследствии, когда некоторые из страстей, державших меня в узде, отпустили, когда наконец-то в кармане появились не однодневные — стационарные деньги, первым делом принялся я восстанавливать библиотеку. Книги в мой дом пришли. Их стало гораздо больше, нежели при отце с матерью. Но пришли — другие. Не те. Как пришли в мою жизнь другие времена, другие лица, иные сюжеты. А из тех, разоренных, осталось три тома писем Пушкина. Случайно? Или потому, что не самое интересное для «мешка»? Но как же они любезны теперь моему сердцу, эти три тома.

И еще о невернувшихся книгах. Я верю, что где-то нашли они приют, более достойный, нежели тот, что имели у меня. Помнится, на многих книгах, попавших в мешок Горелого, были оттиснуты инициалы прежнего их владельца. Чужие книги. Хотя и купленные в букинистическом. Что разлучило их с хозяином? Нужда, горе или подобное моему хамство юного невежды? Ясно одно: книги ушли от меня, потому что я не был их достоин.

* * *

Ставшая расхожей фраза «мой Пушкин», конечно же, утомляет, а то и нервирует. Есть в этом капризном словосочетании нечто от незаконного присваивания общественной собственности или — от детски-амбициозного «мое!» — «Моя кукла!», «Мой конструктор!».

Стало быть — «наш Пушкин»? Но ведь тогда — без многократно повторенного «мой!» — Пушкин делается... ничей. Без меня конкретного, личного нет не только Пушкина, но и всей жизни сущей, всей Вселенной. Нет меня — нет Времени. Ибо я — это не столько «эго», сколько — смысл Бытия.

Пушкин, конечно же, наш, дар его не напрасный — от Бога, Божеский, и все же как не соблазниться поразмышлять именно о «своем» Пушкине? О Пушкине в тебе? Да и кто запретит? Кроме разве что — совести. Но совесть иногда помалкивает. Совесть сообщает, что степень моего желания не превышает степени дозволенного. Желания вторгнуться в святая святых.

Каков же он — «мой Пушкин»? Небось такой же, как и у всех. Только с поправкой на мою невоспитанность и самоуверенность, в лучшем случае на... любовь. Своя любовь к Пушкину — вот право на приобщение к прекрасному. А может, просто любовь, без «своя»? Слепая, традиционная? Вряд ли.

Иногда мне хочется зорко и жадно оглянуться назад, за полторы сотни лет, оглянуться, как в степь или море, на живой огонек и увидеть «своего» Пушкина.

«Ни огня, ни черной хаты. Глушь и снег». Представляете? Огромная, бескрайняя российская ночь. Вокруг ничего живого. Кони встали. Шуршит поземка по насту. Пушкин соскочил с возка — размяться. Глушь и снег. На беспомощном, человеческом его лице тают случайные снежинки. Я вижу его именно таким. Не всегда — последнее время. Теперь, когда я по возрасту гожусь ему в отцы.

Главное — не навредить Пушкину своим рвением! Не навредить его наследию. Мы горазды на сотворение не только кумиров, но — идолов. А молодежь идолов не любит. Она любит их ниспровергать.

Воскрешая в воображении изящный, тончайшей отделки (резец разума, судьбы, молвы) образ Пушкина, я спрашиваю себя, когда он жил? И заставляю свой мозг вспоминать Пушкина в быту, в обыденщине, так как знаю: наверняка и у него бывал потерт сюртук, а на сапогах порой лежала дорожная пыль, а то и грязь; он тоже болел, температурил, сникал и возрождался, живя без... машины, без авиалайнера, телефона, то есть — размереннее и не потому ли — короче (спешил успеть). И — успел, прожив ровно столько, сколько было угодно Богу, сколько было отпущено для сотворения себя, гениального.

Меня всегда изумляло и будоражило использование наследия Пушкина враждующими идеологиями, не просто разными, но взаимоисключающими эпохами, а стало быть, и полярными в своих верованиях людьми — читателями, критиками, философами, писателями. Что это? Приспособление к гению? Или, наоборот,— феномен всеохватности литературного дарования, уместившегося в одной человеческой голове? Откуда у Пушкина, грубо говоря, смешение идеологий? Ведь не простой же смертный. Вот, вот! Не простой, а все ж таки смертный. Способный под горячую руку сказать о своей жизни, а значит, и о своих возможностях — «дар напрасный, дар случайный», а когда нужно — осознать в себе Пророка, или прозреть на столетия вперед, и с полной ответственностью перед Богом, к которому он шел постоянно, и перед людьми заявить: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

«Во глубине сибирских руд» Пушкин написал не тотчас по восстании декабристов, прежде было «И. И. Пущину» — «Мой первый друг, мой друг бесценный», в котором поэт молил провиденье озарить заточенье друга «лучом лицейских ясных дней»! И только в 1827 году, потрясенный приговором, мужеством и страданиями именитых соплеменников, отныне каторжан, когда голос поэта для сибирских мучеников был нужнее хлеба и тепла, Пушкин не «милость к падшим» призывает, ибо какие же они падшие, эти восставшие, но — заклинает: «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут...» Так написать необходимо было с точки зрения гражданина, написать и отослать стихи с женой декабриста на каторгу. С точки зрения *поэта*, провидца, Пушкин в стихотворении «Поэт и толпа» вскоре напишет: «Не для житейского волненья, не для корысти, не для битв, мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Что это? Отказ от позиций гражданина? Нет. Здесь прослеживается живая жизнь, продвигающаяся в направлении Истины, это постижение в себе сверхзадач, усовершенствование Духа. Пушкинская всеохватность только на первый взгляд стихийного происхождения. «Веленью Божию, о муза, будь послушна» — это не молния поэтического озарения, это — завещание. В Пушкине нет ни одного случайного слова, произнесенного вопреки сердечной деятельности или наперекор суждениям разума.

Не слишком рано и, как впоследствии оказалось, не слишком поздно — в сорок пять лет — удалось мне приобрести у букинистов пятый номер пушкинского «Современника»,

тот, посмертный (четыре номера при жизни поэта-издателя), в котором Пушкин представлен поздними в его творчестве стихотворениями: «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Вновь я посетил...», «Была пора: наш праздник молодой...» и «Медным всадником». Факт обретения пятого номера вовсе не означает, что я не задумывался над этими стихотворениями Пушкина прежде, но прочтение их в посмертном сборнике, как бы еще таящем тепло мысли поэта, возымело на меня действие волшебное, чарующее, и с тех пор, как правило, читаю Пушкина... наоборот, то есть с конца его дней, начиная погружение в поэтический океан с последних шедевров творца. «Мирская власть», «Не дорого ценю я громкие права...», «Памятник». И все ж таки особенно необходимы опорные строки из «Отцов пустынников...»:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

После рассуждений о Пушкине — все как бы преодолимо, то есть многое уже не страшно; мысль, зрение разума, словно пройдя огонь, воздух и воду, получили закалку. После Пушкина можно оглянуться на поэзию Блока и не ослепнуть от ее трагической красоты, принять ее за нечто вероятное, то есть не просто явленное Богом, но — выстраданное человеком.

Когда я читаю Блока, сердце мое ликует, когда же думаю о нем, о его пути, о его глазах, о его России, о его Христе, то чаще всего «плачу и рыдаю», как над раздавленной певчей птицей, погибшей под копытами времени. И не утешает, что птица сия песню свою якобы допела до последней ноты. Ужасает сама драматургия многочисленных поэтических финалов. Певчих птиц на Руси и подстреливали (Пушкин, Лермонтов), и подвешивали (Рылеев, Есенин), и секли (Полежаев), и сжигали (Аввакум), и доводили «до ручки» (пистолетной), и «ликвидировали» (Мандельштам, Павел Васильев, Клюев), морили голодом, презрением (Ахматова), равнодушием и просто душили руками (Рубцов) или сбрасывали с поезда на ходу (Кедрин), но чаще — давили... Машиной своего времен , ее равнодушным копытом, времени, в котором они отваживались подавать голос.

Трижды за свою жизнь поднимался я по лестнице в квартиру Блока на Офицерской и всякий раз — неудачно: не принимали... И — поделом: легкомысленно был настроен, идя к кумиру. Ведь знал, что хозяина нет, а тащился, досаждал...

Впервые сунулся к нему, когда квартира его еще не была музеем. Открыла женщина, пожилая, с лицом уставшим и как бы привыкшим ко всяким неожиданностям.

— Простите, здесь квартира Блока?

— У меня на плите молоко,— ответила женщина, стоя в дверях, опустив глаза к порогу.

— Александра Александровича...— уточнил я растерянно.

— А в комнате голодный ребенок,— добавила она.

— Мне бы только взглянуть...— канючил я нерешительно, однако уже пятясь к перилам лестничной площадки.

— С ума посходили... со своим Блоком,— доносилось из дверной щели, затем клацнул запор, и я, смутившись, будто мальчишка, сыпанул вниз по ступеням.

Тогда я еще не знал, в какой именно квартире некогда проживал великий петербургский поэт, и решил, что не туда попал. А затем сообразил, что жильцам этого дома наверняка, и причем смертельно, надоели визитеры, подобные мне.

Вторично пришел я к блоковскому дому, когда на дверях парадной была уже укреплена фирменная табличка музея-квартиры, сообщавшая мне, что музей нынче выходной.

И третья попытка не увенчалась успехом: воспротивилась еще одна женщина, то ли гардеробщица, то ли сторожиха, принялась объяснять мне про каких-то иностранцев, у которых экскурсия, только я уже как-то заранее был готов к неудаче и возмущаться не стал, и даже вздохнул с облегчением, найдя в происходящем подтверждение каким-то своим тогдашним мыслям, и тут же стал тщательнейшим образом рассматривать крутую каменную лестницу, ведущую на этаж к высокому порогу блоковской квартиры.

Пускали в тот день по черному ходу, с набережной Пряжки, и старинные серые ступени лестницы, а также простого, темного металла, железные, отполированные множеством рукопожатий, нехитрые перильца говорили мне о Блоке ничуть не меньше, нежели, скажем, стол, или какая-нибудь вешалка для пальто, или телефонный аппарат начала века. Вот разве что — книги, некоторые из книг, к которым поэт прикасался зрением своих чудесных глаз. А за эти перила, холодные и тусклые, брался он своей слегка дрожащей, к вечеру уставшей рукой, и рука на какой-то миг замирала, а эти ступени держали всю его изможденную в схватке с временем плоть, а к этим шершавым стенам он прислонялся, отдыхая от голодной одышки. А эта покрытая вековой патиной дверь со следами былой обивки, а вот этот гвоздь в дверной доске с медной шляпкой... Свидетели живые! Да, живые, ибо они есть. И они наверняка помнят Блока. Его живое вещество. А не только его дух. Его величество Дух.

Итак, Блок не пускал меня к себе, и я не знал — за что именно: скорей всего — за мой неоправданный образ жизни. О, я ведь тоже все это время что-то там такое писал, слагал, рифмовал, то есть — прикасался к всепожирающему огню воображенья, но почему-то не выгорал изнутри заживо и дотла, не задыхался от бездушья, а все еще обитал в этих каменных улицах, все еще коптил небо, торговал строчками, не верил, но всего лишь надеялся на Бога, страдал тщеславием...

Со стороны может показаться, что я примазываюсь к великому человеку, желаю к нему присоседиться посредством словосочетаний. Так-то оно так, но... почему бы и нет? Желаю, хочу, стремлюсь безотчетно, потому что люблю этого человека. Заворожен, очарован его стихами. Не сознаю, что делаю. Нахожусь под воздействием... Разве не оправдание? Таких даже в армию не берут — лечат. Доводят до кондиции, выпуская из мозгов пар иллюзий. Правда, я свою армию давно отслужил. И доводить меня до кондиции в государственных интересах — нет смысла.

Понятие «Александр Блок» для меня с некоторых пор шире, чем понятие о поэтическом явлении или понятие о конкретном человеке, к которому в 1914 году можно было дозвониться по телефону № 61988, взятому из справочника «Весь Петроград», понятие сие для меня чуть ли не метафизическое; не столько прелестно-земное, сколько предрелигиозное, и прежде всего за то, что понятие это было ко мне милосердно, потому что не раз выручало, даже спасало и возвышало над грязью, потому что утешало в безверии и отчаянии мой разум, отлученный от неба всеотрицающей эпохой.

И еще одно, опять же чисто субъективное ощущение: портретное сходство Блока с ликом самой Поэзии. Нашей, русско-петербургской. Не в облике Пушкина или Лермонтова, Тютчева или Есенина, а вот именно в лице Александра Блока — сходство. Эталон образа поэта. Для меня лично. И не мертвая маска, но мужская, осмысленная сдержанность в облике. Она сквозила для меня постоянно в чертах Блока. Призывала к интеллектуальному мужеству. Которое, как правило, не берется в расчет владыками сего дня.

Одержимому да простится. Хотя бы потому, что его никогда не удручало внешнее портретное сходство со своим кумиром, да и внутреннее (поэтическое) не разочаровывало: не было таковых. Несоответствие только усугубляло мой восторг. Теперь, когда пришло время не просто оглядываться на пережитое, но и как бы вновь пребывать в нем, догадываюсь, что помимо блоковских томиков издательства «Алконост» своей любовью к поэту обязан я прежде всего — городу, в котором посчастливилось родиться и в котором все еще живы, не развеялись балтийские воздухи, обтекавшие жителей блоковской эпохи; не полностью распались видения той поры, разъялась музыка тех судеб. Да и то сказать, отцу моему, живущему в этом городе и поныне, свидетелю блоковского ухода, было тогда уже за двадцать.

И разве не объяснима, разве не простительна моя сравнительная археология, мой школярский по сути своей поиск элементов родства с прекрасным поэтом? Будем же снисходительны, дорогой читатель, хотя бы потому, что подобные вольности и шалости, имя которым преклонение, совершаются человеком, как правило, бескорыстно и лишь однажды в жизни.

С тайной грустью прикидывал я: проживи Блок лишний десяток лет, хотя бы до своих пятидесяти, и тогда я запросто мог бы родиться при Блоке, причем — рядом с его семейной штаб-квартирой, в знаменитой «Оттовке», что через дорогу от Университета. Далее от Подьяческой, куда меня привезли из роддома, до Офицерской — тоже рукой подать. Затем моя двоюродная сестра Марфа Батракова была похоронена в тридцатых годах на Блоковской дорожке Смоленского кладбища, в двух шагах от могилы поэта. Что еще? С певицей Дельмас Любовью Александровной, которая была дружна с великим петроградцем, довелось мне однажды сидеть бок о бок на телевизионном диванчике. И я украдкой всматривался в ее отороченные морщинами глаза, стараясь разглядеть в них «театр Блока», его «Кармен». И... ничего не видел. Кроме безжалостности времени. К тому же у певицы неожиданно расстегнулась (или порвалась) на шее цепочка от кулона, и Любовь Александровна затрепетала, засуетилась, умоляя меня не двигаться с места. А камеры телевизионные тогда снимали живьем, и операторы поспешно переключились на других гостей блоковской передачи, а я, ничтоже сумняшеся, просунул разудалую руку куда-то за вырез ее наряда и мгновенно извлек оттуда упавший кулон, с которым Любовь Александровна мысленно уже распрощалась. После этого я был расцелован и овеян духами безо всяких приличествующих моменту «туманов».

И еще — дерево... Давнишнее, корявое, невеселое, кладбищенское, под которым прежде была изначальная могила поэта. Приводила меня к этому дереву еще до войны тетка Гликерья, моя крестная, приводила бессознательно, не размышляя о судьбе «какого-то Блока», так как имела свою заботу: могилу рано умершей дочери Марфы. А для меня

дерево сие стало священным. Теперь на этом дереве медная любительская дощечка, под деревом бетонный холмик, на котором аляповато выведены какие-то слова, в коих как бы и смысла никакого нету, а есть только дерево, тоже обреченное умереть, и есть печаль негасимая от случившегося переезда — захоронения на Литераторских мостках, ибо даже прах смятенного поэта не знал покоя. И, конечно же, написались свои собственные зарифмованные раздумья по этому поводу:

Есть дерево на кладбище Смоленском.
Под ним поэт в смятенные года
был молнией низвергнут в прах вселенский,
дабы уснуть, казалось, навсегда!

И время шло вдогонку неустанно,
и листья опадали на плиту.
...Но были потревожены останки
того, кто здесь сгорел за красоту.

Перевезли... На дереве, как птица,
висит табличка — вещей жизни след.
Поэт сказал: «Покой нам только снится».
И в вечном сне — покоя тоже нет.

* * *

Человек выходит на улицу и сразу же начинает не доверять окружающей среде: людям, погоде, технике, собакам, даже голубям, которые могут пометить. Хочется проследить истоки собственной настороженности в отношении сообщества людей, времени, жизни.

Во-первых — врожденное... Из генетических запасов защитное чувство, накопленное мириадами поколений живых существ всех биологических степеней и рангов. То есть — следствие пресловутой борьбы за существование.

Во-вторых — абстрактно-нравственное имущество, приобретенное по законам совершенствования духа вследствие извечной на земле борьбы двух непримиримых начал — добра и зла.

И в-третьих — от смешения первого со вторым, материального с идеальным, осознанного с подсознательным, а точнее — от личного опыта, от частной жизни конкретного человека, в данном случае — от издержек моего непосредственного обитания на земле. На них и сошлемся. Как на самое очевидное.

Нет, я не о рефлексах. Не об отдергивании пальца от язычка пламени. Я об уроках, формирующих характер.

Что напугало меня в жизни основательнее всего? Не сильнее, а — проникновеннее, с хроническими последствиями? Не физическая боль и даже не грань, за которой преждевременная гибель. Подобное — боль от ранения телесной оболочки, возможность утонуть, замерзнуть в чистом поле — случалось со мной до определенного времени неоднократно и всегда неожиданно. Такое, не успев измотать душу, отступало. Скажем, обучаясь в ремесленном училище, однажды повис я на руках, держась за жестяную кромку крыши пятиэтажного здания, и, не успев по-настоящему испугаться, был втащен за шкирку на чердак через слуховое окно комендантом училища, недавним фронтовиком, не успев зачерпнуть смертельного холода настолько, чтобы промерзнуть им до печенок. Помнится, вся забота моего повисшего существа сконцентрировалась тогда на пальцах рук: только бы не разжались. Хорошо, что пальцы все еще были целы, чего не скажешь об их дальнейшей участи, когда приходилось терять и пальцы. Всему свое время.

Куда въедливей оказался страх, испытанный мной в более раннем возрасте от ночного вторжения в нашу комнату на Подьяческой незнакомых, неулыбчивых, пристальных людей, за спинами которых торчали понятые из числа соседей по коммуналке.

Вторжение. Непрошеное, властное, безоговорочное, за спинами которого всегда что-нибудь стояло, оправдывающее сам факт вторжения,— вот то, чего я, да и не только я, все мы, пришельцы из эпохи тридцатых, боялись более прочего. Помнится, из всего сказанного тогда чужими людьми в нашей комнате зависло в памяти одно слово — «Одевайтесь!». Сказанное негромко, но как-то неотвратимо-внушительно, серьезно, не ласково, хотя и достаточно вежливо.

Мать рассказывала мне позднее, спустя лет тридцать, что я в эти грустные для нашей семьи минуты спал, но именно при слове «Одевайтесь!» на какое-то мгновение проснулся. Кто-то, скорее всего, отец, поцеловал меня, и я, перевернувшись на другой бок, опять уснул.

С этих грустных минут начнутся великие испытания для всех троих: распадется семья, на многие годы потеряем мы друг друга, каждый узнает свое: лагерь, блокаду, оккупацию, одиночество, отторжение от общества, но главное — познает великий страх, который не выветрится затем до скончания дней у каждого из ощутивших его начальный

сквознячок именно в ту незабвенную ночь, ночь жизни, за чьей беспросветной спиной, смущенно потупив глаза, стояли понятые. То есть — как бы народ стоял. А мы, все трое,— были уже как бы нелюди.

Не менее ярко впечаталось в память еще одно вторжение, испытать которое довелось без родителей, то есть вполне самостоятельно, хотя в ту пору мне еще и десяти лет не исполнилось. Нет, здесь я не просто о войне хочу сказать — о самом первом мгновении контакта с, так сказать, международным насилием, о первом касании с чужеземцем, о соприкосновении с противником, как выразились бы военные люди.

Согласитесь, прожить девять лет от рождения под шелест красных знамен, под яркую, бодрую музыку пионерских горнов и маршей, под аккомпанемент словесной пиротехники («Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет!»), с размаху наткнуться не просто на слово «война», для мальчишки в какой-то мере романтического звучания слово, а на бледно-зеленых (цвет сукна полевой униформы гитлеровцев) человечков, кричащих и постреливающих с противоположной стороны неширокой реки Шелони, в тридцати метрах от тебя, выпучившего глаза на эту невероятную новь. Тут ведь не просто кино, не очередное приключение в стереоэффекте — тут явь, и явь воспитующая, хватающая душу ребенка чужими, мокрыми от пота и воды (переправа!) руками.

Нет, не объявление по радио о начале войны, не речь Молотова, не домашняя и соседская в Порхове паника и суета взрослых людей, не первые выстрелы и взрывы в окрестном воздухе (это даже интересно для шустрой пацанвы), а вот такое — взгляд во взгляд касание с немцами, сшибка с людьми иной нации, иных нравов, обычаев, разговорного языка — потрясло и втекло, вплавилось в сознание, не вмятину оставило, но как бы разбавило плоть и кровь, психику небывалой новью официального, совершаемого не в одиночку, но всем общественным миром насилия над человеком в отдельности и, что вдруг стало ясным,— над любым человеком, в том числе и над тобой конкретным, вчерашним «пионером и школьником», маминым сыночком, в одночасье лишившимся не только материнской опеки, но и детской неприкосновенности, негласно гарантированной нравственными законами цивилизации, права на всеобщую любовь, которую дети ощущают, ибо — заласканы, так приучены, таковы традиции. И ты хоть и наивен, но остро реагируешь на произвол. Ты потрясен. Униженность и оскорбленность придут чуть позднее, не говоря о гневе. А пока что — шок. Таранящий нервные клетки, взламывающий структуру твоего характера, неокрепшего мировоззрения.

Помню берег Шелони, там, внизу, под огородами серенькой деревушки со странным для моего тогдашнего слуха названием Гнилицы. Мы, то есть ребятишки, деревенские и такие, как я, бывшие городские, беженцы, высыпали из деревни, из погребов и землянок, после обстрела — на берег реки. Опасность как бы миновала, и нам было интересно узнать, что вообще происходит? За детьми вслед потянулись к берегу и некоторые из взрослых, в основном деревенские дедушки и кое-кто из женщин, старавшихся отогнать детей от берега, заманить их домой, от греха подальше.

На гнилицком, пока еще нашем берегу, ниже по течению простиралось желтое поле поспевающей ржи или овса, в общем чего-то низкорослого и основательно вытоптанного. По этому полю, отстреливаясь, убегал отступающий красноармеец, самый, видимо, последний. Иногда он, прекратив петлять, оборачивался и с колена... не стрелял, а вот именно «производил выстрел» из большой, длиннющей и наверняка очень тяжелой винтовки.

Производил он этот выстрел в сторону немцев, уверенно стоявших возле машин, мотоциклов и велосипедов. Немцы даже не стреляли уже по красноармейцу, многие из них смеялись, и только некоторые время от времени откликались на очередной выпад «с колена» краткой, ненацеленной автоматной очередью, срубавшей и шелушившей колоски на хлебном поле. Кое-кто из немецких солдат призывно махал в нашу сторону руками, выкрикивая: «Русс! Лодка давай! Абер шнелль!» Что значило — и побыстрей, мол.

Пришельцы, несмотря на жару, явно не хотели залезать в воду в обмундировании, портить внешний вид. А команды на купание, видимо, не поступало. В реке каждому из них самое большое — по горло. Однако раздеваться еще нельзя: бой не окончен. Бой... с одним-единственным красноармейцем.

Никто из ребят перевозить немцев не собирался. Да и на чем? Лодок в Гнилицах мало. Если у кого-то имелись одна-две дырявые, то были притоплены. Обходились так называемыми комлями, то есть долбленками: два бревна, из коих выбрана сердцевина, связанные в катамаран. Руководили плавсредствами дедушки. В тот момент они почему-то замешкались, засуетились, провожая взглядами красноармейца. И только когда немцы чесанули из автоматов над нашими головами, дедушки опомнились: пришлось им поработать, отрядиться в перевозчики.

Часть немцев, около взвода, переправилась тут же на комлях, остальные, с машинами, прихватив провожатого, пустились на поиски брода.

Немцы поднимались от реки шумные, разгоряченные, в основном молодые, простово-

лосые, каски висели на ремнях. Помню, что обратил внимание именно на необычную для моего взгляда амуницию: на ремнях висели помимо касок фляжки, обтянутые суконной материей, металлические круглые футляры противогазов, плоские котелки, какие-то подсумки, а за спинами ранцы, крытые гнедой шкуркой, и еще множество всяких блестящих предметов: крепежных карабинчиков, медальонов, бляшек, пуговиц. Рукава мундиров почти у всех закатаны по локоть. Разгар лета. На руках — оружие: черные короткие автоматы.

Не скажу о взрослых обитателях Гнилиц — за ними я тогда не наблюдал, зато уже вся пацанва, оказавшаяся на берегу, во все лупетки разглядывала пришельцев, благо разглядывать было можно — никто даже не шикал на ребятню.

Многого я тогда не понимал. Можно сказать — ничего не понимал. Было не столько страшно, сколько интересно. Как же — война! Собственной персоной. Не по радио, не в кино. Не в книжках. Вон они какие, фашисты знаменитые... Ну, ничего. На войне всякое бывает: сегодня они речку перешли, завтра наши погонят их за эту же речку, если не дальше.

И только вечером, перед сном — некоторое отрезвление от «бесплатного кино», от небескорыстной занимательности происходящего. В голову приходит догадка: стряслась беда, прежней жизни нет.

До прихода немцев мы, то есть беженцы из Порхова, ночевали в Гнилицкой школе. Спали на полу в классном зале. В первые же минуты своего появления солдаты потеснили нас из школы. Все так же весело, припеваючи, выбрасывали они в открытые окна наши узлы, или «шелгуны», как выражались местные жители. Однако самое невероятное произошло часом позже.

Немцы собрали возле школы все население, вынесли из помещения несколько застекленных рамок с портретами наших вождей и, трахнув ими о землю, начали топтать сапогами, приговаривая ругательства, и яростно и одновременно весело сплевывали. Хрустели портреты товарища Сталина, Ворошилова, Кагановича. Топтали наши иконы, изображения наших идолов. Никто даже пикнуть не успел, как все было кончено. И стало ясно: пришло время, способное растоптать не только портреты, но и любого из нас. Именно эта демонстрация врагом урока с применением наглядных пособий потрясла мое детское воображение до изначальных глубин. Урок насилия и попрания был преподан с такой отчетливостью, что с ним уже ни в какое сравнение не шли события последующих дней и лет, в которые окунуло меня затем всенародное бедствие...

* * *

Чем ближе к выходу из лабиринта существования, тем неохотнее мы переставляем ноги, а лично я время от времени ловлю себя на том, что передвигаюсь как бы задом наперед, лицом к прошедшему. Но что можно увидеть в лабиринте? Идя лицом вперед — лишь то, что перед твоими глазами до очередного поворота; идя лицом к прошедшему, удаляясь, но не имея сил расстаться, можно увидеть все. И даже больше, положим, еще и то, чего в жизненной спешке не удалось как следует разглядеть, на что не хватило сил или внимания, причем увидеть не только памятью, но и постигнуть любовью к выстраданному, наконец — чувством прекрасного (ностальгия по утраченной красоте действенней смутной тоски по красоте неизведанной).

Избирая символ для обозначения царства жизни, я, не раздумывая, остановился на метафоре Лабиринта. Легендарный его Создатель вряд ли был озабочен одной лишь прихотливостью рисунка, очарован всего лишь магией геометрии углов постройки: наверняка имела место *идея*. И смысл лабиринта, думается, вовсе не в выходе из него, а как раз в блужданиях по его закоулкам. Не сама цель, а ее поиск.

В памяти жива прелесть благоухающих углов моего лабиринта, напитанных терпким сущим, источающим признаки солнца, дорожной пыли, дворовых кошек, горькой полыни, бензинного перегара, первого снега, хлебной соломы, книжной бумаги... Однако не в одних лишь углах прелесть и жуть лабиринта, не меньше очарования в его поворотах. Что за углом? — вот движитель молодости и незамутненного простодушия. С годами восторг перед неизвестностью меркнет, его сменяет прагматическая настороженность, а затем и — просто страх. Блаженны те, кому интересно до конца, чей восторг не гаснет даже у выхода из лабиринта. И впрямь, разве не интересно хотя бы предположить: что там, за последним поворотом? Неправ тот, кто утверждает, будто по выходе из путаницы нас ожидает *ничто*. И математически, и логически, и нравственно-генетически, и как хотите, не говоря уж об интуитивном предрасчете, ожидает нас не ничто, а — *нечто*. Даже если это нечто нельзя будет потрогать руками (увидеть, обнюхать, вкусить и т. п.), даже если там действительно откроется пустота, но ведь будет все-таки, откроется! Пустота, но ведь не абсолютная! Конкретная. Пустота — это же заманчиво, это же неизведанно, это же своеобразный мир со своими законами, обликом, последствиями, а главное, мы туда — в Пустоту — вхожи, нам предстоит, мы — достойны. Не-е-ет, не просто пустота, не нонсенс, не измышленный вакуум, а — продолжение, ступенька из бытия в вечность. А будет ли оно, продолжение, во времени и пространстве или еще в каком измерении, субстанции,— не так уж и важно путешественнику. Важно, что неизбежен путь. Разве не утешает? Подобная версия?

В сравнении с неизведанной, потусторонней пустотой — в лабиринте нам уютнее, удобнее, к тому же за годы блужданий по его извивам в нас развились всевозможные эмоции, пристрастия, навыки, и мы уже как бы патриоты своего лабиринта.

Ярче и трогательней прочего высвечивается из пройденной тьмы та именно часть лабиринта, что преодолевалась в детстве. Так и должно быть: первые впечатления не только самые неизгладимые, но и самые преодолимые — легче отринуть, забыть чинимое рядом непотребство, проще отвернуться от неприглядной картины, а значит, первые — они же и самые ласковые, милостивые впечатления, то есть — созидательные, в отличие от разрушительных впечатлений более зрелого возраста, когда нам открываются реалии беспощадных свойств — охлаждение в любви, предательство, утрата иллюзий, обретение недуга, развенчавие кумира, привыкание к чудесам, осознание ухода из бренной юдоли, утрата веры в бессмертие, предчувствие бездны. Блаженны те, у кого этот процесс протекает как бы в обратном порядке: от ощущения ужаса к душевозвышающему покою, от распада — к синтезу.

О восхитительные сюрпризы лабиринта! А также — его кошмары, наблюдая которые, не единожды хотелось проснуться от яви, когда неокрепшее сознание отказывалось верить происходящему. Ариаднина нить нескончаемых видений... Вот одно из самых ранних, ласковое: зимнее просторное бело-голубое солнечное утро возле огромного, лохматого от инея Исаакиевского собора. Отец в необъятной медвежьей (почему-то именно медвежьей) шубе держит меня за руку. Мы выходим к собору от Конногвардейского бульвара, где задержались возле гаража (здание бывшего Манежа, ныне — выставочный павильон). Машины выезжали из гаража блестящие, ухоженные и все черные. Гараж принадлежал органам ГПУ. Машин до войны в городе было не так уж и много. Я любовался ими столь же искренне, как животными в зоопарке.

Камни Исаакиевского собора, покрытые пушистым инеем, почему-то ярче прочего легли на мое тогдашнее воображение. Собор в шубе. Шуба отца и шуба собора. Прямая связь. Впоследствии в быту и в стихах (в своих и посторонних) я еще долго и чаще невольно буду прослеживать эту связь человеческого с неодухотворенным, природным, черпая в пантеистических иллюзиях не только умиление, но и определенные надежды.

Кстати, по рассказам отца, именно эта неразговорчивая и немыслящая шуба на первых порах помогла ему выжить в холодном трюме ладожской баржи и там, под Пудожем, за Онегой, на лесоповале, в вообще оставила в его судьбе след, гораздо более отчетливый и милосердный, нежели некоторые из впечатлений, навязанные памяти созданьями одушевленного ряда.

Позже, встречаясь и разговаривая с отцом уже как бы на равных, не раз упрашивал я родителя описать, хотя бы в отдельных штрихах, годы, проведенные им в заключении. Но отец только неопределенно улыбался, глядя куда-то туда, в невозвратное. «Пропадет, сотрется в памяти поколений...— убеждал я его.— Кто, если не вы, расскажет?!»

«Помнить зло — грех»,— отвечал мне отец, погасив улыбку.

Однако под настроение, чаще всего после мурлыканья под гитару, отложив инструмент, прервав недопетый старинный романс «Счастливые годы, веселые дни», начинал рассказывать «про это». Со вновь вспыхнувшей улыбкой на губах и неподдельной искрой во взоре. И вот что удивительно: рассказывал он только о хорошем, скажем, про то, как в камере, в невообразимой людской гуще, когда пересыльная тюрьма трещала по швам, какой-то совершенно незнакомый человек уступил ему место, свое, пусть мизерное, жизненное пространство, столь необходимое тогда отцу для короткого, сидячего, воскрешающего сна; иногда в его памяти оживало что-нибудь веселое, к примеру, в «Крестах», арестованная за антисоветскую агитацию, сидела группа... глухонемых в ожидании этапа, четыре человека, на которых был донос от такого же, как они, глухонемого (не приняли в свой круг?), или про то, как в лагерном бараке, в первые дни отбывания, после изнурительной для бывшего учителя работы в тайге, замешкался он у котла при раздаче горячей пищи, так как не имел, обворованный на этапе, ни собственной миски, ни собственной ложки, и кто-то протянул ему ложку с миской, не ополоснутые, и он, чтобы не обидеть своей врожденной брезгливостью доброго человека, ел из немытой посуды со слезами благодарности на щеках, ел в ничего, кроме радости за людей, за братьев своих по счастью жить, не испытывал. Еще рассказывал о том, как после пересказа в бараке соседям по нарам романа Достоевского «Преступление и наказание» неожиданно перевели его с повала на более легкую работу — маркировку бревен, а затем, когда в лютые морозы он совсем доходил и, обмороженный, истощенный, попал в санчасть, доктор почему-то оставил его у себя санитаром. Не дал помереть.

Спросят: зачем публиковать личное, сокровенное, выметать мусор из судьбы-избы? Чтобы делиться опытом? Пусть это делают новаторы производства. Делиться опытом страданий или несбывшихся надежд, опытом обуздания желаний, переоценки ценностей? Кому это надо? У всех свой опыт. В том числе и опыт любви к ближнему. Которого всем не хватает. Опыт самопожертвования. В эпоху стяжательства.

Опыт любви всегда имеет притягательную силу для читателя, и не только в тривиально-клубничном сочетании этих слов; в их возвышенном значении даже еще больше, потому что первое сочетание мимолетно, элементарно, быстро приедается, не насыщая сознания, второе хотя и неуловимо, однако фундаментально, и не манит, а зовет, не растлевает — воскрешает.

Опытом поиска в себе именно такой неотчетливой, нематериальной, закадровой любви, сопутствующей нам всегда, но почти всегда принимаемой нами как бы не всерьез, со снисходительностью искушенных знатоков, и хотелось бы поделиться. И прежде — с самим собой, как с наиболее покладистым из смертных, как вот с белым листом бумаги, смысл существования которого в обретении на своей девственной поверхности знаков и символов нашей несовершенной любви и неукрощенного отчаяния.

Там, в хитросплетениях лабиринта, в его чаще дождливых ленинградских полутонах, возникала во мне периодическая задумчивость над вопросами смысла и веры.

Под вселенский голос вьюги
на диване, в темноте
поразмыслить на досуге
о Пилате и Христе.

...Как же так! — руками трогать
воздух истины, итог,
в двух шагах стоять от Бога
и не верить, что Он — Бог.

Под тенистою маслиной,
на пороге дивных дней
видеть солнечного сына
и не сделаться светлей!

Отмахнуться... Вымыть руки.
Ах, Пилат, а как же нам
под щемящий голос вьюги
строить в сердце Божий храм?

Нам, не знавшим благодати,
нам, забывшим о Христе,
нам, сидящим в Ленинграде
на диване — в темноте?

Там, в закоулках судьбы, я вижу свою Россию, которая, по словам Петра Чаадаева, никогда не жила под роковым давлением логики времен, то есть — жила самостоятельно, вне прагматических устремлений Запада. Россия молилась, Запад — мыслил. Католицизм действовал, православие созерцало. Запад интернационализировался, Россия — хранила себя. Ради других — добавлю я. На пользу ближнего. Даже если этот ближний весьма далек. Тот же Чаадаев в своих «Философских письмах» не единожды упоминал об уроках, которые давала и дает своим историческим примером Россия остальному миру. Соображение об «уроках России» перекочевало в двадцатый век, и теперь уж не предположить, не сказать, а прямо-таки воскликнуть хочется: если столь впечатлительны были сии уроки во времена Петра и последующих радетелей державы Российской, то каковы же по силе воздействия на окружающий мир уроки Советской России?! Уроки социализма? Уроки эксперимента? И сколько миллионов душ пошло во имя эксперимента на переплавку? И где наше профессиональное крестьянство? И где наша вера в торжество коммунизма? И неужели крест, который выпало нести России, должен быть столь тяжек, словно отлит из чистого золота? И еще множество подобных запоздалых вопросов, задавать которые не обязательно, но отвечать на них — придется. Грядущим поколениям Отчизны.

Там, в спекшихся от времени, но все еще различимых извивах пережитого, вижу я и нечто конкретное, хотя бы тот яркий июньский полдень за неделю до войны. Варшавский вокзал Ленинграда, поезд, отправляющийся куда-то на юго-запад страны через Псковщину, с которого я неотвратимо сойду в маленьком отцовском Порхове.

Там ярче прочего высвечивается в моей памяти образ матери, молодой, красивой, беспомощно-одинокой. И, что замечательно, кристаллизация образа началась внезапно, в момент, когда уже тронулся поезд и я разглядел за оконным стеклом бегущую по платформе, все еще прежнюю, но какую-то уже и небывалую для меня, отторгнутую движением поезда (времени!) женщину. Я не помню ее другой — ни домашнюю того дня, ни на вокзале, ни даже в купе, где она долго упрашивала моих соседей по вагону проследить, чтобы я сошел именно в Порхове, чтобы «вел себя», чтобы ел бутерброды... нет, я запомнил ее бегущей вдогонку, роняющей сумочку на асфальт перрона и постепенно отстающей от меня *навсегда*, ибо встретимся мы уже с ней другими людьми.

Предвоенные дождики лета,
на Варшавском вокзале цветы!
...Я впервые на поезде еду.
Десять дней до Великой Черты.

Провожает меня, задыхаясь
от улыбок и жалобных слез,
мама... Мама моя молодая,
золотой одуванчик волос!

. . . .

Провожает меня исступленно,
за окном продолжает бежать...
И уже до последнего стона
будет в жизни меня провожать.

Свет всемерной, немеркнущей в нас любви, хоть и прикрыт всевозможными бытийными наслоениями, хоть и разбавлен искусственным светом от потребительского фейерверка сиюминутных торжеств и наслаждений, однако он таки есть, внедрен, содержится в нас точно так же, как и свет мысли, с той лишь разницей, что свет мысли возгорается с приобретением знаний, а свет любви передается нам с материнским молоком, с материнской кровью и нежностью. И этот свет не иссякает в человеке до скончания его дней: ни в пятилетнем детдомовце, от которого отказались родители, ни в трудном подростке, ни в юноше или девушке, которых надули с первой любовью, ни в разочарованном в жизни, непризнанном гении, ни в стареющей красавице, ни в воистину уставшем, искореженном болезнями старце, ни даже в преступнике, не говоря уже о герое или подвижнике, то есть — в людях, сильных духом.

* * *

Ранней весной 1947 года я не смог устоять перед соблазном и украл у одного дяденьки никелированный шестизарядный трофейный револьверчик. В свое время из той штуковины, должно быть, не только стреляли, но и убивали. Чары зла посверкивали на ее поверхности.

Дяденька был морским офицером. Он приехал в Ленинград на побывку и остановился у нас переночевать. Во время войны дяденька служил вместе с моим отчимом на Балтике. Они были «кореша́». Копошась утром в своем трофейном чемодане в поисках бритвенного прибора, дяденька имел неосторожность приоткрыть завесу... То есть случайно вытряхнул из шерстяного офицерского носка свою блистающую игрушку. Второй носок отягощала коробочка с патронами.

За годы военных скитаний в отношении подобных игрушек глаз у меня был наметан. Соблазн обладания оружием, делающим тебя как бы выше ростом, мускулистее, надменнее, мгновенно спеленал мои помыслы, сковал волю, разнуздал воображение. Себе я уже рисовался этаким залихватским уркой, который, придя на урок в ремеслуху, в ответ на резкое замечание мастера вынимает из заднего (непременно из заднего!) кармана штанцов «пушку» и производит предупреждающий выстрел в классную доску. Все расступаются, и я волевым шагом покидаю аудиторию, выбегаю на Малый проспект, прыгаю на подножку трамвая № 4 и еду на вокзал, и дальше — в жаркие страны или хотя бы в Поповку, где у меня в заброшенном блиндаже есть все: от карабина до пулемета иностранного производства, от ротного миномета до гранаты РГД, не считая пушки «Берта» на железнодорожной платформе, в ствол которой можно было спрятаться от дождя и которая, к счастью, кажется, не успела произвести по Ленинграду ни одного выстрела. Все имелось у меня в Поповке. Не было только карманного «личного» оружия, этой вот сиятельной вещицы, что вновь была засунута морячком в носок и небрежно задвинута куда-то под тряпье, на дно чемодана. После мучительных, хотя и не слишком долгих раздумий решил я присвоить это почти ювелирное изделие, а вместо наганчика затолкал в носок испорченную машинку для стрижки волос, блестящую и такую же увесистую. Не забыв прихватить коробочку с патронами.

Так впервые нарушил я законы социалистического общежития, его морали и права, в том числе — и несколько статей Уголовного кодекса. До этого нарушал преимущественно законы педантичных национал-социалистов, чьи мораль и право, в свою очередь, были поставлены вне закона.

Натура моя, живьем вкусившая в годы войны от приключенческого жанра, бессознательно требовала продолжения нескучного кино, теперь уже — в криминальном его варианте. Впопыхах и потому весьма небрежно были сделаны первые наколки на руках (остальные, исполненные основательно, будут нанесены чуть позже — на нарах в карцере исправительной колонии).

К тому времени производственную практику от нашей ремеслухи проходил я на фабрике клавишных музинструментов в качестве будущего столяра-краснодеревца, хотя

начинал обучение в элитной группе столяров-модельщиков, прикрепленной к знаменитому Балтийскому кораблестроительному заводу. Пилить, строгать, долбить, шкурить деревяшку было невыносимо скучно. И я уезжал в неразминированную Поповку, в запретную зону, чтобы еще разок повисеть на волоске, полежать под поездом острых ощущений. Естественно, что вскоре меня перевели из модельщиков (столяров-инженеров!) в столяры-краснодеревцы, то есть в нечто затрапезное, патриархально-изначальное.

Именно здесь, на пахучей и гремучей фабричке, научил меня один взрослый изворотливый работяга «крутить черта», то есть — отделять в политуре шеллак от спирта. Операция была не столько физического свойства, сколько современно-химического. А главное — в итоге своем — содержала она все тот же элемент риска, ибо, научившись отделять посторонние вещества, мы так и не приспособились распознавать: до конца ли мы избавились от примесей, смертельно опасных? Грозящих всевозможными неожиданностями, вплоть до потери зрения.

Ко времени моего прихода на фабрику с позаимствованным револьвером в кармане в руководстве училища, да и среди сверстников, сложилось обо мне определенное мнение как о человеке тихом, задумчивом, но порой — весьма неожиданном, непредсказуемом. Случалось, что я производил выстрелы, сидя за партой в аудитории и неотрывно глядя в глаза преподавателю.

Повязали меня в разгар рабочего дня, когда я с двумя партнерами играл в картишки под выбракованным, некондиционным роялем, задвинутым в самый дальний и темный угол цеха (полированную махину в одночасье не разберешь, в окно или на помойку не выбросишь). Под прикрытием этого инструмента-калеки и политуру обрабатывали, и в карты играли, и просто отсыпались «после вчерашнего».

«Менты» подговорили одного нейтрала из нашей группы, с которым я был знаком, но этак шапочно, он-то и вызвал меня на свет божий из укрытия. Как только голова моя показалась наружу, два ловких оперативника мигом поставили меня на ноги, заломив мне руки. От неожиданности я даже забыл, что... вооружен и, стало быть, опасен.

С этого момента началась для меня новая полоса испытаний, и, пожалуй, самая трагическая, потому что из-под этого поезда я мог вылезти кем угодно: убийцей, вором-профессионалом, мошенником, наркоманом, а правильнее — мог вообще не вылезти, так и остаться размазанным по шпалам и рельсам «жизненного пути».

Рассказ о том, как превратился я в заправдашнего зека, нужен мне отнюдь не для самоутверждения (не тот возраст), да, пожалуй, и не для самоанализа; и не потому, что аттестация сия беспрецедентна, уникальна; согласитесь, не так-то уж часто будущий писатель начинает с тюрьмы, вернее — не каждый в этом признается на страницах своих произведений. О плохом не принято. Ни о зазнайстве, ни о пьянстве, ни о прочих изъянах.

Вернемся к забракованному роялю, из-под которого меня выманили обманным путем, как одичавшую собачонку на запах колбасы. Тут же, в цехе перед строем учеников, не выпуская моих заломленных рук, меня обыскали, составили акт на изъятие револьвера и коробки патронов к нему. Держался я героем, помаленьку начиная входить в роль арестованного урки, а мои однокашники выглядели смущенными, отворачивали от меня глаза и не то чтобы порицали — скорее, прощались со мной, понимая: в училище я больше не вернусь.

Удивительное дело, оглядываясь нынче в ту весеннюю даль девятьсот сорок седьмого года, я не припомню себя смертельно напуганным или хотя бы удрученным сверх меры из-за ареста — нет! Ощущение крутых перемен в жизни — вот что кипело тогда в сердце, ощущение, равносильное обретению свободы, как это ни парадоксально. Видимо, наскитавшись за годы войны в гордом одиночестве — без школы, родителей, вволю наигравшись со взрослыми в небезопасные прятки и жмурки, с возвращением в Ленинград я почувствовал себя не в своей тарелке. И, сознательно или по наитию, начал склонять свою биографию к нарушению обретенного покоя, к выведению жизненной линии на кривую незапланированных событий. Ко времени истории с наганом на мне уже висело столько кошек и собак (взрывы, политура, торговля хлебной и мыльной пайкой, кража арбузов из соседней с училищем арбузной клетки, драки, азартные игры, взлом химического кабинета и порча реактивов, подача сигнала воздушной тревоги сиреной с крыши училища, присвоение семейных облигаций, многочисленные приводы в милицию, знакомство с нарами КПЗ), что изоляция меня от общества казалась многим естественным и почти единственным средством, способным привести в чувство, остудить порыв, умерить протест шестнадцатилетнего искателя приключений.

Трудный возраст подзатянулся. Обогащение сознания благими намерениями — забуксовало. Катаклизм войны, потрясший планету, отразился и на моей микроскопической жизненной системе. Не стану вдаваться в толкование проблемы «личность — общество», не компетентен, да и задачи передо мной иные, скорей лирические, одно лишь повторю со всей искренностью бывшего недоросля, безнадзорного перекати-поля: среди всех возрастных категорий подростки — самые ранимые, жалкие, гордые, безрассудные и поэтичнейшие существа. Недаром великий Достоевский посвятил проблеме прорастания личности отдельный роман. «...Гордая молодая душа, угрюмая, одинокая, пораженная и уязвленная еще в детстве». «Он хочет непременно, чтоб у него просили прощения все, для того, чтоб тотчас же простить всех и любить вечно, неотразимо, страстно»,— писал Достоевский в одном из набросков к «Дневнику писателя» за 1876 год, характеризуя своего подростка — Версилова.

С каким мазохистски-жертвенным наслаждением пустился я в арестантскую жизнь, доселе неведомую, но о которой наслышан был весьма и весьма по дворово-уличным знакомствам первых мирных лет. Блатные песни, с подражания которым начал я проникание в сочинительство, рассказы о романтических урках, весь этот кастово-воровской жаргон, «феня» и, если так можно выразиться, «камерный» шарм подготовили меня теоретически к принятию тюремно-этапно-лагерного существования как чего-то в высшей степени независимого, героически-приключенческого — немыслимого.

Помню, как замахивался на меня следователь-дознаватель мраморным пресс-папье, намереваясь бить в лоб, и всякий раз не доносил промокашку, похожую на маленький танк, останавливая замах в каком-нибудь сантиметре от головы, и я ловил кожей лба спрессованный воздух и замирал в ужасе и восторге, что вот-де, пытают... а я — ничего, держусь. Да и как не держаться: опыт имелся, немцы били, теперь вот — наши стараются. Закалка образуется. Происходило это на Васильевском. Подвели к столику, измазанному черной краской. Сняли отпечатки пальцев. На языке зеков: «поиграл на рояле». Оформили документы, чтобы передать дело в ЛУР, на площадь Урицкого, или, как выражались все те же зеки,— на «площадку».

Попасть на «площадку» — значило официально начать отсидочный путь, путь уголовника. Помню, как было мне воистину интересно и уже абсолютно нестрашно входить в этот карающий храм, как в холодную воду,— главное, ступить, сделать шаг, а ступил — притерпелся. Бодрило и в какой-то мере возвышало то обстоятельство, что «храм» располагался на Дворцовой площади, напротив бывшего обиталища русских царей — Зимнего дворца. С каким достоинством взрослого человека переезжал я из Василеостровского КПЗ на черном вороне в ЛУР. Тюремный фургон в те годы выглядел внушительно, ибо стоял на шасси американского трехосного «студебекера». А дальше... Дальше опять-таки... скучно. Шмонали, заглядывали в рот (не пронесу ли в камеру бритву или ампулу с цианистым калием?), стригли, затем — баня тюремная, камера, нары, качание прав... Горько, тошно. Не аукается. Кричу, а отзыва нет. И слава Богу.

Я не суеверен. Классифицировать происходящее со мной с оглядкой на приметы — так в не научился. Исключение составляет одна примета из области совпадений. Да и та на поверку выглядит закономерностью, нечто вроде пресловутого эффекта сообщающихся сосудов. Суть его, как известно, в следующем: причинил миру зло — прими сам страдания, сотворил добро — ощути восторг, благое воздаяние. И вряд ли это всего лишь закон возмездия, скорее — принцип равновесия для поддержания на планете атмосферы бытия. Зло — габаритнее, объемнее; его на первый взгляд больше, нежели добра. Отчего же тогда — равновесие? Ясное дело — оттого, что добро весомее любого разрушительного, тяжелоатомного урана или плутония. Удельный духовный вес элемента добра, плотность его частиц неизмеримо выше тех же качеств злодейства. Вещество зла рыхлее, недолговечнее вещества созидающего. Аксиома, доказательством которой является длящаяся на земле жизнь. В чем корни ее долголетия или даже — бессмертия? В немалой степени — в добросердечии и неуспокоенности людских душ. Ну а корни зла естественно что — в бездуховной суете, в мелкотравчатой суматохе приобретательства изящного хлама, в промашке с выбором цели и т. д. и т. п. Во всяком случае — ничего таинственного опять же.

Теперь о совпадениях конкретного ряда. Незадолго перед тем, как лишиться мне свободы, ее обрел мой отец, отбывший на севере восьмилетний срок. Домой заявился он, предупредив о своем приходе мать с отчимом, и последний отправился ночевать к приятелю. Отец мой, как мне тогда казалось, выглядел не ахти. И в сравнении с отчимом, экипированным во все военно-морское, офицерское, критики не выдерживал. Полинявшая гимнастерка пехотного образца была несуразно длинна и в паре с коричневыми — на коленях заплаты — гражданскими брючатами навевала тоску. Даже пуговицы на гимнастерке были цивильными, а точнее — самодельными деревяшками, а сама гимнастерка перехватывалась в поясе не кожаным комсоставским ремнем, а какой-то плетеной веревкой. На ногах отца крепились завязками парусиновые тапочки или спортсменки. Шея у отца длинная, взгляд из-под очков внимательный, строгий, изучающий — педагогический. От таких взглядов я тогда, как правило, отворачивался или вовсе убегал прочь. А тут сиди, как под микроскопом, терпи. Жди, когда тебя полностью разглядят и раскусят.

Отец с матерью проговорили всю ночь, я пытался их подслушивать из-за шкафа, где стоял мой диван, и, естественно, ничего не понял, а затем мне сделалось стыдно за подслушивание (то же воровство, кража не принадлежащих тебе звуков), и я уснул. А когда проснулся, отца в комнате уже не было. Он уехал куда-то на Волгу, к своей сестре, сельской учительнице.

Отец мне тогда не то чтобы не понравился, во всяком случае — не приглянулся. В нищенском одеянии, неуклюжий, за плечами котомка. И эти «интеллигентные» очки вдобавок. Я знал, что он — «из тюряги». Но, как ни странно, именно это обстоятельство делало отца в моих глазах не конченым человеком, а заслуживающим хоть какого-то внимания и даже — уважения.

Как выяснилось позже, отец в городе объявился, можно сказать, нелегально, потому что разрешения на жительство в Ленинграде не имел, никакими правами вообще обеспечен не был. В справочке, возле отметки о судимости, значился некий пунктик, эдакая надбавочка к восьмилетнему сроку: четыре года поражения в правах, или, как говорили все те же зеки,— «четыре по рогам».

Одним словом, друга для себя в отце я в тот раз еще не разглядел. Даже чуть позже, убежав из колонии, когда резоннее всего было направиться к отцу, в заволжскую глушь, откуда меня не скоро бы достали, я по инерции помчался в Ленинград, где и был схвачен одышливым дворником дядей Костей, и, если б не мои проворные ноги, заменявшие мне крылья, возвернули бы меня грамотные люди в Саратовскую область, в крошечный городишко с внушительным именем Маркс, на окраине которого располагалась колония, и неизвестно, чем бы все это кончилось — в смысле сюжета биографии.

Вот такое совпадение: отец — оттуда, я — туда. О чем говорит примета совпадения? О невыплаченном долге, о пользе страданий или... ни о чем? Просто — примета времени.

Оглядываясь теперь на себя, уцелевшего, спрашиваю: почему все-таки не погиб, не разрушился раньше срока? По чьей милости — выкарабкался? Устоял? Не растекся плевком по асфальтам двадцатого века? Ответом должна быть эта книга, вернее — судьба, мерцающая в ней.

* * *

Одного нынешнего писателя, известного и уважаемого, ветерана войны, «народника» интеллектуального склада, спросили в очередном интервью для «Литературной газеты»: доведись заново родиться — как бы вы распорядились своей жизнью по второму разу? (Писателю в те дни исполнялось шестьдесят.) После некоторого раздумья писатель сказал примерно следующее: «Свою вторую жизнь я прожил бы, как первую». Иными словами — повторил бы ее от начала до конца. Так как она у него, видите ли, была хорошая. Без единого, стало быть, серьезного изъяна. Каким неоправданным, гигантски раскормленным честолюбием нужно обладать, чтобы не разглядеть в пройденном тобой пути ни единой колдобины, где ты мог оступиться, пусть неосознанно, согрешить перед своей совестью, убеждениями. Прожить шестьдесят лет и ничему не научиться. Не пожелать хоть чем-то обогатить опыт той, «первой» жизни, пройденной на ощупь, на свой страх и риск. Лично я прожил бы свою вторую жизнь совершенно иначе, нежели первую. И прежде всего — милосерднее, терпимее к соседям по судьбе. Бережливее расходуя время. И чаще — на свету смирения, нежели на ветру тщеславия.

У того же писателя поинтересовались, в чем состоит главное назначение его жизнедеятельности? Писатель ответил: «В служении обществу. В любви к человечеству». А как же тогда с конкретным, отдельным человечком, с тем самым пресловутым ближним, который прозябает возле тебя? — хочется спросить писателя. Любя абстрактное человечество, не обделить бы любовью натурального, всамделишного страждущего. Состоя на службе народу, не отвернуться бы от... человека. Любить всех скопом — проще. Но разве это любовь? Полюбить каждого невозможно. Любят, как правило, не каждого, не всякого любого, но — кого-то одного. Сперва — одного, затем — другого. То есть — по отдельности. То есть — со вниманием. Всерьез.

Ответы писателя на вопросы корреспондента подбили на размышления, и я благодарен случившемуся. В том числе — и писателю. У меня даже возникла идея призвать из невозвратной действительности десяток-другой конкретных персонажей, коим, каждому по отдельности, был я в свое время обязан многим, в том числе и любовью. Призвать их погостить в этой книге-элизиуме, книге-острове, чтобы сделать ее обитаемой, одухотворенной.

Эти живущие во мне души и лики будут приходить по одному, усаживаться напротив меня в пустующее кресло и молчать. Иногда в пустующее кресло будут усаживаться люди, еще не завершившие земного пути. Никакой разницы между первыми и вторыми не будет, потому что как те, так и другие — бессмертны. По крайней мере — в моем сердце.

Художественный фильм «Единожды солгав» предваряют документальные кадры любительской ленты о давнишней, середины семидесятых годов, выставке художников ленинградского авангарда в клубе Невского машиностроительного завода. Среди мешанины лиц, из коих я тут же узнал «возвращенца» Синявина и еще одного художника, вскоре после выставки сгоревшего в своей мастерской на Красной улице, а также режиссера Георгия Товстоногова, рассекавшего толпу изгоев от искусства, как рассекает американский авианосец скопище катеров и лодчонок где-нибудь у берегов Новой Зеландии; так

вот, среди этого коловращения лиц и личностей, на фоне изысканного хаоса абстрактнo-ташистских, сюр- и суперреалистических работ, в убого освещенном вместилище и на еще более убогой, пятнистой от времени и качества пленке микрофильма мелькнуло довольно отчетливое изображение человека с прической ежиком, тусклой норвежской бородкой и с характерным, слегка приплюснутым и как бы укороченным носом — лицо Саши Морева! Человека, которого все мы на Васильевском острове 50—70-х годов очень любили, все — это так называемая творческая интеллигенция, пишущая словом и красками, полубогемная, полупрофессиональная, пасущаяся в скверах и садиках острова, обитающая в коммуналках и чердачно-подвальных мастерских, забредающая на чашечку кофе в Союз писателей или художников или в «Сайгон» — угол Невского и Владимирского.

Александр Морев (Пономарев) обладал художественным зрением и слухом. Для начала он в своей внешне заурядной, церковнослужительской фамилии расслышал... дыхание моря, дыхание стихии (Пономорев!) и не побоялся извлечь для себя из этой фамилии довольно экстравагантный псевдоним.

Он учился на художника с детства, был затем выгоняем и отчисляем из Академии, писал стихи, потому что был поэтом, поэтом, которого не печатали, но которого с удовольствием слушали. Был он и прозаиком. И проповедником. И странником. Он мог забраться (под взглядом любимой девушки) на самую верхотуру колокольни в Киево-Печерской лавре, собрать толпу и что-то ей крикнуть с вершины, что-то такое, чего толпа никогда не расслышит. Он мог читать свою знаменитую «Мессу» на турнире поэтов, иметь шквальный, стихийный успех и какое-то время затем ничего не делать, сибаритствовать на диване в своей девятиметровой комнатенке, в которой пережил все до единого апокалиптически-судные дни ленинградской блокады и где еще долго после войны сушил и держал под подушкой хлебные сухари — про запас.

И все же одним из самых ярких достоинств Морева было некое нерукотворное свойство его натуры: Сашу любили. Многие. Все, кто его знал.

На вернисаж авангардистских работ Александр Морев представил две или три работы — что-то рельефное из металла и наплывов краски. Морев любил и ценил жест, вявляющий о независимости художника. Протестантский дух торчал из него наружу, ежиком волос-мыслей топорщился на вздорной голове. Сам факт участия Морева в подобной выставке был неоспорим и неизбежен, ибо отвечал творческому порыву его натуры. И не беда, что на выставке компоновались работы более ярких, более именитых мастеров — без Морева они таки не обошлись. Ведь Морев — сам по себе событие.

По выходе из Дворца культуры к Саше привязались какие-то молодые мускулистые люди, то ли дружинники, то ли активисты-общественники, а скорее всего — науськанные хваты, которые в итоге страшно избили его, после чего — потеря сознания, ночь на холодной земле, больница. Семидесятые годы... Время глухое, инертное. Вязкое. Для дыхания искусства — гиблое. И все же кое-что возникало, например, в Москве — так называемая «Бульдозерная выставка», где работы независимых мастеров — по распоряжению чинуш от идеологии — смахнули с лица земли, как некую нечисть, а не извечный поиск себя в постижении прекрасного.

Томик стихов Александра Морева стоит у меня на полке. Обложка его обтянута натуральной мешковиной. Самиздатовский томик. Еще несколько таких из десятиэкземплярного тиража — на руках у друзей поэта. В стихах Морева есть живой нерв, трепещущее чувство. И — обожаемый поэтом — жест. Стихи эти писаны не в Домах творчества, не за письменным столом профессионала — они возникали в периоды поэтических состояний и прозрений, в которые окунался интеллект стихотворца, будто в запах цветов или в музыку птиц, в ритмическое шевеление речной воды, в созерцание облаков и звезд на небе или — в собственного изготовления сны. В каждом из стихотворений Морева торчала занозой какая-нибудь вздорная строка или словосочетание, ударяющее в нос блюстителям поэтического порядка ленинградских издательств и редакций той поры. На компромиссы Морев не шел. Зарабатывать деньги «прозрениями и откровениями» — не мыслил. Устраивался «художником» на завод и рисовал афиши для заводского клуба.

Саша Морев мог позвонить вам по телефону и пригласить на беседу с угощением. И вот вы поспешно принимаете приглашение, входите в его узкую девятиметровую «кишечку», хозяин достает с полки тазик, в тазике — вино. И вы ничему не удивляетесь, потому что знаете: это не пижонство, это нужда. Хозяин успел обернуться: сдать бутылки и купить на вырученные копейки хлеба и двести граммов собачьего студня. На закусь.

В одном из выпусков ленинградского «Дня поэзии» шестидесятых годов неожиданно опубликовали «Мессу» Морева. И это было событие в поэтических кругах. И затем — ни строчки более, вплоть до ухода из жизни. Итак, что же получается? Поэт одного стихотворения? Хотя и большого, длинного, экспрессивно-бурлящего образами, порывами чувства, но все же — одного. Как перст. Как сам Морев. Как все мы, ищущие смысла в красоте мира, чурающиеся толпы, стадности и составляющие толпу, одинокие без бога-смысла, беспомощные на людных площадях и общественных собраниях, выкрикивающие для бодрости и самоутверждения свои безобидные проклятия всемирному хамству.

Однажды летним днем, выбравшись из продавленного дивана, не умываясь и не

причесываясь, в домашних тапочках на босу ногу Морев покинул свое обиталище, чтобы не вернуться в него никогда.

На листе ватмана крупными печатными буквами (чтобы заметнее) набросал последние строчки последнего сочинения в специфическом жанре предсмертной записки. Вот она: «Теперь за всех своих друзей спокоен, за всех, кто окружал меня. Я — выздоровел».

Морева нашли на дне шахтного ствола строительные рабочие — то ли метрополитеновцы, то ли копатели коллектора. Смерть его загадочна дважды — как всякая смерть и еще как смерть, настигшая человека без свидетелей.

Люди, любившие Морева, ценившие его неповторимость, были не просто огорчены и потрясены его гибелью, но и как бы... завидовали ему в некотором роде, ибо всех еще только ожидала развязка, а Морев уже сделал этот последний росчерк на своем ватмане. И сразу личность Морева стала в нашем представлении кристально завершенной, объемной, цельной. Все, что он в жизни недорисовал, недосочинил, недовысказал,— сказалось, нарисовалось в этом последнем росчерке. Собственно, все мы — я говорю здесь о мучениках пера, кисти, звука, чистой мысли — все мы в какой-то мере заложники своих иллюзий, в поисках истины обманываем себя зачастую и, вместо того чтобы жить раскрепощенно, отрадно, воедино с природным началом мира,— живем в жалких фантазиях и порывах духа, коверкая интеллект сказкой о бессмертии художественных творений, которым чаще всего — грош цена по сравнению с ценой жизни.

Александр Морев предстал перед лицом жизни личностью своеобразно мыслящей, хотя и мыслящей сумбурно, даже судорожно, взахлеб, проглотивший достаточное количество малых истин, не разжевывая, искавший своего Бога в мире искусства и разминувшийся с ним вследствие неумения сосредоточиться, а также из-за своей бытовой незащищенности и глобального непонимания людьми друг друга.

Нельзя сказать, что остров жизни Саши Морева был необитаем: друзей и врагов на его зыбкой почве хватало всегда. Дело в том, что на этом острове жить ему было весьма неуютно, и в один из роковых дней остров пришлось покинуть. Досрочно? Кто знает. Свидетелей отъезда нет. Кто его провожал — неизвестно. Может, суетливый воробышек, обнаруживший взъерошенного человека на краю черной ямы, попытался отвлечь Сашу от бездны, на мгновение замер в ветвях старой липы и, залихватски чирикнув, занялся чем-то конкретным, насущным, на чем стоял, стоит и стоять будет мир земли, покуда его оплодотворяет солнце.

Саша Морев — с Васильевского острова. Островитянин. Шахтный ствол, в котором нашли поэта, расположен неподалеку от Смоленского кладбища, где Морев любил бывать при жизни и где некогда был похоронен Александр Блок, где, кстати, и поныне покоится прах еще одного поэта, «очарованного» смертью,— Федора Сологуба (Тетерникова). За пределы Васильевского острова Саша Морев, как и А. Блок, прах которого перезахоронен на Волковом кладбище, попал уже после смерти, ибо на Смоленском кладбище давно уже никого не хоронят.

Как-то в один из предзимних дней, в вечерние часы, под первым, сырым и тяжелым, снегопадом стояли мы с Сашей у фонаря возле городской Думы — напротив Гостиного двора, и я читал из недавно сочиненного. Одно из тогдашних стихотворений пришлось ему по душе, и Морев попросил посвятить ему эту вещицу. Вообще-то стихов, посвященных Мореву, у меня много. Однако приведу сейчас строчки именно из того, подснежного и подфонарного, выбранного самим Сашей незадолго перед смертной развязкой:

По ступеням к морской разудалой водичке,
по уступам из серых гранитных каменей...
Оставляю одежды, надежды, привычки,
уступаю воде — приношу себя к ней.

Мне еще на заре, на вокзалах скитаний
обещала гадалка беду от воды.
Уступаю воде, но умру не в стакане,—
в синем море, где рыбы разводят цветы.

Надоело! Устал уступать шарлатанам,
хитроглазым машинам, имеющим вес...
Уступаю воде — мировым океанам,
обжигающим звездам, что плачут с небес.

* * *

Люблю посещать кладбища. С некоторых пор. Особенно после того, как был принят в Союз писателей. Когда вынужден был приобщиться к борьбе за литературное существование. Когда вместо творческого восторга новоиспеченный проф. стихотворец начинает ощущать всевозможные редакторско-издательские заботы и треволнения, а со стороны пишущих собратий — косые взгляды.

Во дни душевного трепета и обескураживающих сомнений как раскрепощенно и независимо чувствовал я себя, приходя на Смоленское кладбище выпить на могилке Федора Кузьмича Сологуба бутылочку «плодово-выгодного». С какой жадностью вдыхал дремучую свободу распростившихся с миром суеты и обмана обитателей становища мертвецов, над которым разросся настоящий солнценепроницаемый лес, полный запустения и неконтролируемой одичавшей травы, некогда именовавшейся цветами.

Именно там, на кладбище, к моему воспаленному честолюбию, к ощетинившейся загнанности неокрепшего интеллекта прикоснулась идея всеобщего равенства и умиротворения, способная утихомирить в человеческом сердце любые житейские бури. «Ужо, дескать, вам!» — мысленно отрезвлял я своих обидчиков и прочих не в меру боевитых сограждан, кипящих там, за кладбищенской оградой. И, не задумываясь, причислял себя в этот миг к существам иной, нежели боевитые граждане, формации, к еще не мертвецам, но — уже и не к особям, стоящим в очередях, кишащим в общественном транспорте, конструирующим приспособления, развивающим мысли, предполагающим жить всегда, причем — в свое удовольствие. «Ужо вам!» — попыхивал я дешевой сигареткой «Памир», переходя от могилы к могиле, от Сологуба к художнику Маковскому, и тут меня безжалостно отрезвляли подкованные шаги дежурного милицейского сержанта, посчитавшего подозрительным мое отстраненно-созерцательное поведение в местах не столь коммункабельных.

Самое удивительное, что на кладбище я ни в коей мере не унывал, чувствовал себя отменно и даже время от времени писал там стихи, с опубликованием коих пришлось повременить. Одно такое стихотворение написалось рано утром, сразу же после утренней гимнастики, которую передавали по радио и которая доносилась до моего слуха из колокольчика-репродуктора, укрепленного на кладбищенских воротах.

Получилось так, что накануне по ряду причин пришлось мне заночевать на Смоленке, сперва — сидя на лавочке, затем, на этой же лавочке,— лежа. То есть — растянувшись. Ночь была как ночь — земная, знакомая, грешная, в шуме деревьев и слабом попискивании сонных птиц. Зато пробуждение явилось фантастическим! Под звуки радиогимна и всего остального, чем был напичкан в те годы колокольчик громкоговорителя. Окончательно отрезвев от глубокого сна и ошеломляющих впечатлений пробуждения, нашарив в кармане огрызок карандаша, а в куче мусора клочок оберточной бумаги, я сочинил стихотворение, этакую кладбищенскую балладу, причем составилась она под моим карандашом задолго до прочтения «Дневников писателя» Достоевского, его фантасмагорического видения под названием «Бобок».

На кладбище «Доброе утро!»
по радио диктор сказал.
И как это, в сущности, мудро...
Светлеет кладбищенский зал.
Встают мертвяки на зарядку,
тряхнув чернозем из глазниц,
сгибая скелеты вприсядку,
пугая кладбищенских птиц!
Затем они слушают бодро
последних известий обзор.
У сторожа пьяная морда
и полупокойницкий взор.
Он строго глядит на бригаду
веселых своих мертвецов.
— Опять дебоширите, гады? —
И мочится зло под крыльцо.
По радио Леня Утесов
покойникам выдал концерт.
Безухий, а также безносый,
заслушался экс-офицер.
А полугнилая старушка
без челюсти и без ребра
сказала бестазой подружке:
— Какая Утесов — му-ура!
Но вот, неизменно и точно,
курантов ночных перезвон...
Спокойной, товарищи, ночи!
И — вежливость, и — закон.

В сороковых победных годах могила Александра Блока перекочевала на Литераторские мостки Волкова кладбища. Меня в те кощунственные дни в городе не было. Вернувшись, я долго слонялся по Смоленскому кладбищу, безуспешно разыскивая смертный знак своего кумира. Дерево, под которым он прежде лежал, продолжало расти и в бесконечном поклоне склоняться к земле, приютившей множество петербуржцев и, в какой-то мере, ленинградцев.

Не найдя могилы любимого поэта, я принялся расспрашивать административную старушку о захоронении другого поэта блоковской поры — Федора Сологуба. Как ни странно, в кладбищенском реестре могилы Сологуба и его жены Анастасии Николаевны Чеботаревской уцелели и значились под определенными номерами — «как ни странно» — потому что подобного запустения, каковое царило тогда, да и теперь еще царит на Смоленском кладбище, трудно себе представить даже на общегородской свалке. А ведь на кладбище этом и ныне покоятся косточки многочисленных выдающихся граждан Отчизны, ученых и военачальников, героев и талантов, и так называемых простых смертных, которые в свое время тоже были людьми, гражданами, равными перед Богом и пред людьми. А значит, могли рассчитывать если не на память потомков, то — на элементарное (не путать с элитарным) уважение. Почва, рельеф, ландшафт, в который они перешли — плоть в плоть,— должен выглядеть прилично, быть если не ухоженными, то хотя бы не отвергнутыми. И вдруг мне отчетливо представилось, на кого именно похожи наши затрапезные, отшибные «пантеоны» — на одиноких, заброшенных стариков, лишенных семейного догляда, неряшливых поневоле, дурно пахнущих, пестриженых и небритых, таскающих на себе уродливые обноски. И расхотелось распространяться о могилах при неизжитой живой печали «ничьих» стариков.

А могилу Сологуба я нашел. Помогло оговоренное кем-то в реестре указание, что онаде возле «Блоковской дорожки». Сологуб скончался чуть позже Блока и тем самым обрел устойчивый ориентир... И я вдруг вспомнил о восторженном отношении Александра Александровича к автору «Мелкого беса» и «Чертовых качелей». О выношенности его любви к старшему собрату по ремеслу.

Как известно, Чеботаревская покончила с собой, прыгнув в Неву с Тучкова моста. Случись такое при царе и прежних церковниках — не лежать бы ей на Смоленском кладбище. Самоубийц хоронили на стороне. А с приходом нового времени телу несчастной женщины подыскали вполне приличное местечко. Нельзя сказать, чтобы женщина эта ушла из жизни, не выдержав или не приняв новых постреволюционных порядков в России. Ибо, если это так, тогда почему она стала утопленницей в дни получения визы, то есть — после разрешения на выезд из страны? Пересекла бы границу и топилась где-нибудь в Лабе, Шпрее или Сене. Родная земля не отпустила? Вот женщина, вот подвиг, вот любовь. Или — вот женщина, вот тайна, вот излом? Горячее сердце? Бог ей судия. Федор Сологуб остался один и, как гласит легенда, до конца дней поджидал жену. Был уверен, что она вернется домой. Несколько лет прислушивался к звоночку в передней.

Могилы у Сологуба и Чеботаревской были до крайности убоги. Казалось, еще мгновение, пара бурных петербургских весен, и от могил этих не останется следа. Скособоченные, ушедшие в землю миниатюрные раки из скромного подсиненного бетона, и все это завалено гнилыми листьями десятков былых листопадов, отшумевших над памятью о русском поэте.

Где-то в начале семидесятых, придя на традиционные посиделки к Сологубу, я обнаружил на его могиле белую мраморную плиту. А вокруг плиты — желтый песочек. Могила Чеботаревской тоже слегка преобразилась — в лучшую сторону. Хотя и в меньшей степени, чем мужняя. Будто кто-то до сих пор подчеркивал: могила самоубийцы. На белом сологубовском камне, голубой, в бутылке из-под кефира, танцевал, раскачиваясь на ветру, цветок, напоминающий колокольчик. После некоторого раздумья я все ж таки переставил бутылку с одного надмогильного камня на другой. Дышать в этот день было легче, мыслить — проще, любить деревья, траву, воздух — слаще.

Давно хочу объяснить себе Сологуба: чем привлекает, притягивает к себе образ этого некрасивого, покрытого бородавками человека? И вдруг догадываюсь: уродством духа. Уродство, заполученное в общении с людьми еще на первой стадии жизни — в детстве-отрочестве и далее — в провинциальном учительстве. Передонова Сологуб в общем-то с себя рисовал. Потому — и убедительно, и пронзительно, и неповторимо. Хлебнувший в молодости уродства несет на себе отпечаток дьявольского копыта. По себе знаю. Отсюда и родство, и тяга к себе подобному. Моя — к Сологубу. По крайней мере — к его стихам. И даже — к могиле. И еще, как мне думается,— плебейское происхождение, не помешавшее Сологубу стать самим собой, то есть личностью незаурядной,— единит: я тоже не из «графьев». Но, пожалуй, больше всего притягивает к Сологубу побочное обстоятельство, а именно — тот факт, что его любил и ценил Александр Блок.

А теперь, во след видению, стихи, как второй цветок на могилу, только на этот раз — в бутылке из-под «плодово-выгодного».

НА СМОЛЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ

Под непогодой, как под прессом,
уходит в плечи голова.
И мелким бесом, мелким бесом
толчется в воздухе листва...

Влезает ветер боком в щели
и все наращивает гнев!
Как будто чертовы качели,
вершины шаткие дерев.

И жутко впитывать, и любо
мне воздух, от дождя рябой.
Там, на могиле Сологуба,
цветок танцует голубой.

Там голосистая калитка
в стене дождя... А дождь — грибной.
Там Недотыкомка по плиткам
уходит плавно в мир иной.

Стою с неадекватною ухмылкой,
как перед классом — новичок.
И собирающий бутылки
меня обходит старичок.

С друзьями и в одиночку, с цветами и без оных, время от времени выбирался я с Васильевского острова в знаменитую Лавру или на Волково кладбище, навещал любимых писателей. Словно они жили там, как в некоем царстве-государстве или... в Доме для престарелых.

Строгая, ухоженная Лавра не позволяла расслабляться, вести себя буднично, раскованно, тогда как на более демократичном и более просторном Волковом кладбище можно было присесть и покурить, а то и перекусить.

Почему-то запомнилось, как закусывали мы шпротами возле «фешенебельной» могилы И. С. Тургенева, я и ныне покойный писатель Анатолий Клещенко. О нем хочется сказать что-нибудь теплое, ласковое. Внешне — это бородатенький мужичок, поэт и прозаик, страстный охотник, бродяга — неповторимая личность, относившийся к жизни с трепетом влюбленного, улыбчивый страстотерпец, отсидевший при сталинщине восемнадцать лет в сибирских лагерях, поселившийся затем в Ленинграде, но к Ленинграду так и не привыкший, махнувший опять в тайгу, на Камчатку и там, где-то среди медведей и зимнего ненастья, окончательно замерзший, исчезнувший, словно упавшее дерево под буранным снегопадом.

А тогда, на кладбище, Толя пытался откупорить банку шпрот при помощи пальцев и плоского французского ключа от дверей очередной каморки, которую снимал у какой-то современной старухи-процентщицы за кровные-любезные, так как своего угла в любимом городе не имел.

Это были годы хрущевской оттепели. Вели мы себя возбужденно, и не только на кладбищах. Пьянели без вина, читая Цветаеву, Гумилева, Пастернака, Ходасевича, Клюева, урывками Вл. Соловьева, Бердяева, В. В. Розанова и, как всегда, Блока с Есениным. Особенно доставалось блоковскому стихотворению «Поэты», которое, как некий катехизис, распевали мы нестройными голосами при первой возможности. И тогда — возле могилы Тургенева — тоже. Хотя и — вполголоса. Возле Тургенева имелись реечные скамьи-диваны, а также урны для мусора и пустых бутылок. Словом — комфорт. Тогда как возле Блока или, скажем, Апухтина, где петь и читать стихи как бы пристойнее, нежели возле Тургенева,— никаких удобств не было.

Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!

Шпроты извлекали из «пулевого» отверстия в банке — по крошке, вернее — по капле, поливая смесью масла и рыбной трухи кусочки хлеба. Попутно кормили местных птиц, угощали кладбищенских собак и кошек. Декламация стихов не понравилась человеку, сопровождавшему делегацию поляков. К нам подошел милиционер и попросил заткнуться. И тогда мы отчетливо запели: «Разгромили атаманов, разогнали воевод!» Некоторые из иностранцев сочувственно улыбались нам. А некоторые — смущенно отворачивались. И тут мы вспомнили, где находимся, и несколько поостыли. И, попросив извинения у бюста великого писателя, кстати, автора замечательного рассказа «Певцы», двинулись к могиле Всеволода Гаршина, чтобы торжественно возложить *красный цветок* — основательно привявшую за время вскрытия шпрот гвоздику...

Доскажу об Анатолии Клещенко. В начале шестидесятых мне повезло подружиться с ним. Звали мы друг друга по именам, хотя Толя был старше почти на десять лет. Ребячлив, неунывающ, задорен на диво, среди писателей чувствовал себя гостем. Содержалось в нем что-то от бескорыстных золотоискателей Джека Лондона, от охотничьей

страсти Хемингуэя, когда зверь — не просто добыча или враг, но — и соперник, пробующий твои силы, заглядывающий в твои глаза на равных; и еще — от горьковского Челкаша. Врожденная независимость в характере, попираемая в нем на протяжении множества тяжких, однообразно-безнадежных лагерных лет, казалось, так и выплеснулась наружу с приходом освобождения и реабилитации. До войны, а точнее, до лагерей Толя писал стихи. После — прозу. Зеленую, из таежного быта изыскателей. До писания лагерной прозы дело у него не дошло: не каждый способен залезать к себе в незаживающие раны.

Обитатели комаровского Дома творчества, в большинстве своем люди городские, с отшлифованными манерами и мозгами, чаще — литературоведы с профессорскими званиями или переводчики, реже — писатели, Анатолия Клещенко откровенно побаивались, сторонились, потому что высказывался он и держался с непривычной для них откровенностью и задором, любил появляться на людях с огнестрельным оружием, а иногда и постреливал, правда — в воздух. Во всяком случае, и я тому свидетель, выстрелы в Комарове частенько раздавались и сеяли панику, разрывая дремотную «творческую атмосферу».

В писательском кафе на бывшей Шпалерной стал я свидетелем забавного (по другой версии — драматического) происшествия, связанного с широкой, несломленной и одновременно милостивой натурой Толи. В тот вечер в карманах имелись какие-то деньги. Мы сидели с Клещенко за отдельным столиком, что-то пили, что-то жевали, но больше — говорили. Я, пожалуй, читал новые стихи. Имелась такая страстишка. Меж занятых столиков слонялся в поисках угощения один весьма подвижный, хотя и не первой молодости стихотворец, к тому времени докатившийся в поисках очередной выпивки до попрошайничества. Назовем его буквой Н. Ему иногда наливали, иногда вежливо просили отойти прочь, а то и просто гнали.

— Знаешь, Глеба, этого ханыгу? — спросил меня Клещенко.— Думаешь, кто он?

Я ответил, что знаю, что это Н., хреновый, в общем-то, поэтишко, ну и... алкаш, естественно.

— Самого главного не знаешь.

Толя поманил пьянчужку пальцем, и тот, как-то весь извиваясь и едва не плача от усердия, расшаркался, не решаясь присесть к нашему столу.

— Садись давай,— подбадривал его Анатолий.— Рвани рюмаху. Чего уж там обижаться. Все мы люди, все мы человеки.

Н. примостился на краешке стула, порывисто «рванул» и, как мне показалось, совершенно протрезвел. Подпер голову рукой и стал пристально смотреть на Клещенко, однако — не в глаза, а так, куда-то пониже, скорей всего, на Толину еще довольно-таки отчетливую, без седых размывов, бородку.

— Ну, теперь ступай... иди. Раз не о чем говорить.

— Пр-рас-сти! — нутряно, будто не сдерживая себя, не сказал, а рыгнул, чревом провещал — вырвалось у Н. из груди горячее слово.

— Бог простит,— усмехнулся Анатолий, наливая Н. в порожнюю рюмку новую порцию.

С жадностью опрокинув в себя спиртное, Н. заторопился уходить, смотрел он теперь строго в пол, как бы боясь наступить на что-нибудь скользкое.

— И что же в нем самое главное? — поинтересовался я по исчезновении Н.

— Из-за него меня посадили в свое время. Именно этому созданию обязан я Колымой. Я и еще восемь писателей... обязаны. Настучал.

— Почему же ты его... поил?! Привечал? — вспыхнул во мне праведный гнев.

— Потому что я его простил. Давно уже,— улыбнулся Клещенко, просияв, словно удачно зарифмовал ускользающую строчку.

— Простил? Неужто?

— Понимаешь, Глеба... Однажды я попытался как бы войти в его шкуру. И мне стало куда страшней, чем было там, в «зоне».

Толя умер на Камчатке. Там он работал охотоведом. Ему очень хотелось убить настоящего медведя. И медведя он убил. О чем говорится в его рабочем дневнике. Мужественное начало в его щуплом теле и мускулистом характере — взяло верх. Получило удовлетворение. В зарослях камчатской тайги жил он последние свои дни вместе с неким напарником. Ютились на заимке, в избушке-землянке. Гоняясь за очередным медведем, Толя простыл. Началось воспаление легких. Вовремя вывезти его в Петропавловск не успели. Пуржило. По рации — «непрохождение». Напарник ушел, оставив Толю умирать наедине с природой. Я читал записи из дневника Анатолия Клещенко, которые он вел вплоть до развязки. «Завтра умру...» — нацарапано несомневающейся, еще послушной рукой. Так он написал, ибо знал о себе больше, чем другие. В одиночестве, особенно предсмертном, происходит будто бы кристаллизация наших знаний о самих себе. Назавтра он действительно умер. Выхаркал кровью легкие из груди.

Урна с пеплом долго стояла на столе его жены Беллы, которая привезла мертвого Толю с Камчатки и еще месяц ждала разрешения на то, чтобы опустить урну в сырой комаровский песочек, за спиной внушительного креста Анны Ахматовой. На этом же

кладбище лежат и другие писатели, которых я знал, с которыми пил вино, верил в «светлое будущее», играл в преферанс, а некоторых из них — просто любил.

На книжной полке, составленной из книг моих друзей,— несколько томов прозы Анатолия Клещенко, а также — итоговый сборник стихов. Писателем он был одаренным, человеком незаурядным, с судьбой — необыкновенной.

Но вернемся к разговору о кладбищах Лавры и Литераторских мостков, то есть к некрополям с печатью вечности, которые сопутствовали Петербургу-Петрограду в его истории, вернемся, чтобы завершить главу, посвященную деликатной теме, в тонах если не восторженных, то — возвышенных, ибо чем дальше от нас разлука с тем или иным гением, чем глубже в земле его могильная плита или крест, тем освобожденнее наша мысль от расстанной печали, тем академичнее, музейнее, корректнее наше право толковать о них без уныния.

Захоронения значительных людей воспринимаются подчас не как могилы, но как мемориальные знаки, а то и просто как памятники этим людям. Надгробная плита, вмонтированная в каменный пол церкви, на плоскости которой выбито: «Здесь лежит Суворов», вызывает у патриотически настроенного посетителя Лавры не кладбищенские потерянные чувства, а чаще — стойкое ощущение гордости за немеркнущую славу русского оружия, солдатского мужества. За отсутствием в городе на Неве памятника Ф. М. Достоевскому, чье художническое око пронизало извивы этого города, ленинградцы, а также приезжие граждане со всего мира приходят в Лавру, чтобы поклониться надгробному бюсту великого гуманиста. А заодно и бронзовому подобию композитора П. И. Чайковского, сидящему на металлическом диванчике в окружении ангелов, словно в окружении дивных мелодий, непревзойденным извлекателем коих из природы российского бытия был этот человек.

И здесь самое время обмолвиться об одном невольном сопоставлении, которое пришло в голову только что. Отдыхая от сочинения настоящих «Записок», а точнее — от импровизации при помощи слова и памяти, вот уже несколько дней, малыми дозами, читаю в перерывах мемуары Ирины Одоевцевой «На берегах Невы», где она в изящной манере пытается воспроизвести дыхание литературной жизни Петрограда первых трех послереволюционных лет. В коллекции ее лирического романа содержатся и, по мере сил, живут известные поэтические имена, ярчайшие таланты, такие, как Гумилев, Мандельштам, Блок, Ахматова, Кузмин, Георгий Иванов и другие звезды «серебряного века» поэтической России, с которыми Одоевцева существовала бок о бок. Она знала их живыми. Мне же в своих «Записках» приходится довольствоваться знаменитыми призраками, для этого я вынужден посещать кладбища, куда заботливое время рассовало моих персонажей. А те из живых, что вынуждены селиться в «Записках», к сожалению, не столь знамениты, как друзья Ирины Одоевцевой, хотя и неповторимы по-своему, и талантливы, а в отдельных случаях — даже очень.

Было время, когда несколько весен подряд наезжал я с друзьями на Литераторские мостки Волкова кладбища преимущественно с сиренью и одним красным, для Всеволода Гаршина, цветком — гвоздикой или тюльпаном. Сирени на всех любимых писателей не хватало, приходилось отщипывать от букета по маленькой веточке. И самая первая гроздь — на еще холодный, только что переживший очередную зиму черный камень Тургенева (это чуть позже, по обретении поэтического эгоизма, первым для меня сделается белый камень Блока, а пока что — Тургеневу), которого я обожал тогда не столько за гениальные «Записки охотника», не за романы-повести и даже не за властно-чарующее высказывание о русском языке («О великий, могучий...»), сколько — за эталонный образ русского писателя, красавца с европейской статью и славянской расплывчатостью лика, теряющегося в дремучей, ухоженной, дрессированной бороде.

Вторая гроздь — поэту Апухтину, имевшему сдобную, непоэтическую внешность, страдавшему водянкой, писавшему с мученической улыбкой: «Но трудно до того сознания дойти, что поле перейти мне все-таки труднее». К его массивному, чуть покосившемуся памятнику, к румяному (цвет камня) бюсту стихотворца влекло меня в те годы не столько из любви к его «Паре гнедых», а также к стихотворению-поэме «Сумасшедший», откуда читающая и поющая публика извлекла строки про «Всё васильки, васильки», сделав их на какое-то время популярной песней,— к Апухтину тянулся я из чувства неосознанной вины перед его памятью, укоряя себя за преступное безволие, так как именно трехтомником Апухтина, снесенным в скупку, расплачивался тогда за насущные, выражаясь языком Саши Черного, «хлеб, вино и котлеты», а также — за романтически-рыночную сирень, принесенную на его могилу.

Третья гроздь — прозаику Лескову, чья словесная вязь постоянно отпугивала меня от сочинения собственных «повестей и рассказов» своим фантастически-недосягаемым совершенством. Лескову, чей ординарный, скособочившийся чугунный крест торчал

неприкаянно прямо посередине нахоженной дорожки, и на него многие натыкались, как на препятствие, и тогда его обходили, как нечто инородное, возникшее не по правилам и канонам, а почти самопроизвольно. Для меня Лесков — не писатель, а скорее — сказитель, своеобразнейший русич, носитель множества национальных тайн и таинств, акцентов и примет. Лесков уже тогда, во времена моей полубосяцкой юности, совершенно околдовал меня магией своей «архиерейской» прозы, и я, безо всякой рисовки, причислял себя к «очарованным странникам» этого мира.

Четвертая гроздь — Семену Надсону, чахоточному красавцу, пожалуй, самому молодому из всех умерших в России поэтов (моложе Лермонтова!), за исключением разве что внешне тоже весьма обаятельного Веневитинова.

На могиле Надсона — роскошный бронзовый бюст, пробитый во времена блокадных артобстрелов мелкими осколками навылет. В часы непогоды немолчный ветер играл на этом памятнике, как на музыкальном инструменте, вежливо подсвистывая или удрученно подвывая. Впоследствии пробоины были аккуратно зашпаклеваны, и ветер, налетая, как бы недоумевал, молча обтекая запрокинутую восторженно металлическую голову поэта.

Однотомник Надсона, выдержавший многочисленное число переизданий, весь в сафьяне и коленкоре, тисненный золотом, еще и сейчас можно отловить на книжных развалах у букинистов. Имелся такой однотомник и у меня.

Стихи Надсона никогда не потрясали меня, хотя и трогали. Как трогает горячее, летнее тело едва ощутимый, обессилевший от жары ветерок. Добрый до безразличия. И только одна, отглагольно зарифмованная строфа, вынесенная эпиграфом ко всему однотомнику, волновала своей завершенностью, угнездившись в памяти, как жемчужина в раковине моллюска.

Не говорите мне: он умер. Он живет.
Пусть жертвенник разбит — огонь еще пылает.
Пусть роза сорвана — она еще цветет.
Пусть арфа сломана — аккорд еще рыдает!

Пятая гроздь — моему будущему кумиру, Александру Блоку. В те дни я еще жил Есениным и ранним Маяковским, открывал для себя Марину Цветаеву, которую с возвращением на родину лишили не только жизни, но и — могилы. И если теперь кому-то приспичит протянуть ей веточку сирени, то положить ее можно разве что на Крымский полуостров или на паутину арбатских переулков в Москве, на городок Елабугу, но лучше — прямо на русскую землю.

Добавлю, что для меня могила Блока была и остается на Смоленском кладбище. И не потому, что во мне говорит сейчас истый василеостровец. Без иронической ухмылки вспомним хотя бы наши православные «сороковины». Пусть — религиозный миф, пусть мистическая легенда, но что-то в этом есть трогательное, когда предполагается, что душа усопшего сорок дней и ночей обитает где-то неподалеку, нависая над порожним уже телом, как тучка небесная, как шепотливый рой живой листвы зеленой, как память людская... Таинство расставания тела поэта с духом вершилось в случае с Блоком — на Смоленке, а на Литераторских мостках — только памятник, только надгробный знак, отъединенный от посетителей металлической решеткой.

Есть в Ленинграде еще одно, неповторимо-своеобразное кладбище — это кладбище бывшего Новодевичьего монастыря. Далеко не все ленинградцы, не говоря уже о приезжих людях, знают о его местоположении. Куда известней московское Новодевичье с его престижными квадратными метрами, заполучить которые под вечный отдых, не будучи членом литературного Политбюро или ракетным академиком,— не так-то просто.

Ленинградское Новодевичье — спокойнее, потому что на нем никого уже не хоронят. То есть — мертвое кладбище. В сравнении с живым московским. Когда меня завели туда сведущие друзья-товарищи, я так и ахнул от неожиданности, от какой-то инопланетной, потусторонней физиономии представшего глазам зрелища. Кладбище сие расположено за спиной бывшего монастыря, выходящего лицом на шумный, широкий, современной застройки Московский проспект, некогда именовавшийся Забалканским, Международным, а то еще и проспектом Сталина. Фасад бывшего монастыря, аккуратно оштукатуренный и покрашенный под серый мрамор, заслоненный от проезжих и прохожих взглядов многочисленными рослыми деревьями, молчаливой декорацией отгораживает от нынешнего горожанина мир иной — в прямом и переносном смысле. Стоит обогнуть правое крыло некогда богоугодного заведения, в котором сейчас квартирует какой-то безликий НИИ или КБ, и вашему взору откроется страшная картина запустения: изнанка зданий, образующая монастырское подворье, не штукатуренная и не беленная наверняка еще с послушнических времен, похожая на огромную захламленную затхлую пещеру. Тут же, в объятиях двора — величественный храм, крупноголовый, как константинопольская София, но весь какой-то полуистлевший, облезлый, напоминающий древний курган, внутри которого притаилось испуганное время.

Отвернувшись от угасающего жилмассива, где сидят и работают современные образованные люди, не имеющие ни желания, ни средств для благоустройства исторических памятников, обратимся теперь погрустневшим лицом к воротам кладбища, за которыми притих островок городского леса, возникшего в кирпичной неволе обступивших его зданий, заборных стен, словно в гигантском глиняном горшке. И первая благая мысль: сколько же здесь птиц! Спасающихся от газового удушения города. А где птицы, там и радость, там и жизнь. И что покуда на земле, даже кладбищенской, поют птицы — земля не оставлена вышней милостью, по крайней мере — хочется так думать.

И сразу же, в трех шагах от ограды,— черный, с золотыми буквами камень, ставший как бы во весь рост, камень, который еще на подходе к вратам просматривался сквозь решетку, как некое запредельное знамя царства теней, камень над прахом великого русского поэта, народного печальника и заступника — Николая Некрасова. И сразу, как заупокойная месса, в памяти звучат, переливаясь слезным (в отличие от звездного) сиянием, строки:

Будут песни к нему хороводные
Из села по утру долетать,
Будут нивы ему хлебородные
Безгреховные сны навевать.

И хоть ясно, что не прилетят, не навеют, не достигнут, в все ж верится, что птицы земли поют не напрасно, и поэты — в том числе.

Так вышло, что для меня ленинградское Новодевичье — самое неожиданное из кладбищ. Долгие годы жил я, не подозревая о существовании этого заповедника. А когда обнаружил и углубился в его зеленую нещеру, кладбище принялось удивлять меня чуть ли не на каждом шагу.

В отличие от европейских отутюженных кладбищ наши отечественные родименькие погосты чаще всего напоминают собой элементарную свалку. Печать запустения и отчуждения лежит на заросших могилах, на дорожках, покрытых вековым мусором, на больных, обреченных на полугнилое существование деревьях, на стойком бурьяне, на облезлых «нечитабельных» табличках с исчезнувшими именами и датами. Разлитие всесокрушающей бездуховности первым делом сказывается на облике мест захоронения отживших свое граждан страны. Раз нет выгоды, пользы от скорбного участка земли (отдай под дачный огород — моментально бы запахали и засеяли), стало быть, и нет догляда за ним. Бескорыстное служение абстрактной Памяти непопулярно среди целеустремленных безбожников, деловитых особей энтеэровской формации. А чиновник, ведающий ходом кладбищенских процессов, чаще всего — пониженец, съехавший с прежней должности, весь в обидах, а значит, далеко не энтузиаст своего дела. Вот и приходишь на старинное кладбище не как в музей под открытым небом, а словно и впрямь — в царство теней.

А ведь на этих полузаброшенных клочках отчей земли покоятся останки оригинальнейших людей, земной след каждого из коих не только неповторим, но и, по некоторым оптимистическим прогнозам,— бессмертен.

Попятившись в глубь кладбища от могилы Некрасова, оказываюсь перед старинным, белого мрамора крестом; ниже креста — древним, пергаментным свитком стелется надгробная плита с надписью: «Раб Божий Феодор». Спроси за воротами кладбища, на просторах Московского проспекта, первого встречного: «Где могила великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева?» И не всякий ответит правильно. Начнут гадать и предполагать: в Лавре, пожалуй, или на Волковом, если не в тютчевском Овстуге, на Брянщине, или — в Москве на Ваганьковском... А то, что Тютчев лежит в двух шагах от бурной действительности,— и в голову никому не придет. Согласитесь, в чем-то мертвые беспомощнее живых. Но в чем-то и тверже, постояннее, определеннее. Мертвые обитают в памяти сущих, живые — в постоянной зависимости от мертвых, в неизбежности приобщения к клану последних. Повторяя мысленно расхожую фразу «о мертвых — или хорошо, или ничего», в быту чаще всего используем вторую половину присловья, по принципу: «Умер Максим, ну и бог с ним!» А через какое-то время, глядишь, воспылаем к тому Максиму запоздалой любовью.

Завершая погребальную главу своих «Записок», бегло перечислю заупокойный ранжир «новодевичьих» имен, что стали мне близкими и чья жизнь во плоти, оборвавшись, не стерла значение этих имен на скрижалях Отечества. Поэт Аполлон Майков («Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые?»), поэт, о котором наслышан с детских лет. Другой, не менее яркий и даже весьма своеобразный поэт — Константин Случевский, без чьих стихов обходился я почти всю жизнь, не подозревая, какой уникальный певец обошел меня вниманием (спасибо поэту Михаилу Дудину, протянувшему мне однажды старинный томик стихов Случевского «Песни из уголка»). Корявая, угловатая интонация поэтических словосочетаний Случевского не только весьма созвучна лексической музыке нашего времени, но и лишний раз подтверждает истину: ничто самостоятельное в искусстве не делается по смерти автора беспомощным, но продолжает тянуться к свету людских глаз (душ!).

Там же, на Новодевичьем,— внушительное, глыбистое сооружение над прахом смятенно-очарованного красотой мира художника Врубеля, а рядом — в метре от врубелевской скалы — игрушечный камушек с обозначением имени русского поэта Константина Фофанова. И все же — центральной могилой Новодевичьего кладбища является не могила писателя или художника, музыканта или философа, путешественника или врача (к примеру, знаменитого Боткина, похороненного там же, или адмирала Невельского, или родственников Н. Крупской), главенствующее положение среди могил по количеству стоящих на ней горшков с живыми цветами, вообще по ухоженности, надзору, популярности, по торжественности облика, занимает могила жены некоего генерала Бенкендорфа. Не того приснопамятного шефа жандармов, счастливчика, общавшегося с самим Пушкиным, а какого-то ныне напрочь позабытого, заурядного генерала и графа Бенкендорфа, хотя почему непременно заурядного — просто не того самого, а всего лишь однофамильца или родственника знаменитого царского сатрапа. Могила эта венчается каменным сооружением из прекрасного карельского шлифованного гранита, напоминающим вместительную шкатулку красного дерева, внутри которой — цветы, а в цветах, как в маленьком саду, величественная статуя Иисуса Христа, покрытая (защищенная от кислотных дождей) современным лаком, охраняемая посменным, немеркнущим старушечьим оком, вычищенная и вылизанная — ни пылинки, ничего постороннего, этакий пышноцветущий оазис не в пустыне, а как раз — в дебрях города, в древесном и каменном надмогильном хламе. Своеобразный старушечий «неформальный» пост или пикет на добровольных началах. Аренда смысла. По поводу этой статуи написались тогда следующие стихи:

Вдали от глаз живых, от бренного труда
на кладбище людей есть статуя Христа.
Деревья пышные и птичий всплеск рулад,—
не скорбная юдоль, а — Гефсиманский сад!..

Нет, нет, какая ж это печаль, какой страх — все эти священные могилы знаменитых и безвестных людей! Не бойтесь могил. Страшитесь разрушителей священной тишины. Вот я поднимаю взор и на Святогорском холме вижу могилу Пушкина; опускаю глаза долу и меж яснополянских деревьев нахожу зеленый холмик Льва Толстого; всматриваюсь в живые, растущие камни Москвы и различаю среди ее вершин и отрогов часовню с прахом Осляби и Пересвета, славных защитников нашей государственности, нашей веры; а неподалеку от Москвы, под стенами Троице-Сергиева монастыря — богоценимые мощи Сергия Радонежского, а также забытую могилу талантливейшего писателя, философа, дивного стилиста — Василия Розанова... Да мало ли их — священных знаков российского духовножития — расставлено временем по нашей многострадальной землице. И не страх, не печаль, не тьма сердечная обволакивает мой мозг при виде могил отцов, а покаянный трепет и благодарный восторг за свою причастность к сообществу жителей Земли.

* * *

Главные (любимые?) персонажи моих «Остывших следов» не занимали при жизни высоких должностей, не носили генеральских звезд, не получали спецпайков, не потрясали общественных основ, не создавали внутрипартийных оппозиций, расправ над подобными себе не вершили, судеб ничьих, кроме собственных, не коверкали — занимались, в основном, отысканием своего места под солнцем посредством стихов и прозы, красок и музыки. Гранили и шлифовали так называемое «я», надеясь попутно кое-что разузнать о смысле жизни, о десятке-другом ее относительных истин.

На лихой тачанке
я не колесил,
не горел я в танке,
ромбы не носил,
не взлетал в ракете
утром, по росе...
Просто — жил на свете,
мучался, как все.

Но оттого, что жили мои сомученики не на политических Олимпах, не в поэтических башнях из слоновой кости, а преимущественно в гуще народной, подвижнический их опыт в освоении отпущенного судьбой времени не сделался менее интересным, нежели опыт какого-нибудь сановного властолюбца или народного героя, любимца журналистов, ставшего затем жертвой пустоглазого бюрократа, в свою очередь, смещенного и т. д. и т. п. «То вознесет его высоко, то бросит в бездну без стыда».

И все же некоторые обитатели моего непридуманного сочинения вдоволь хлебнули остренького и горяченького от щедрот той или иной мини-эпохи (сталинской, хрущевской, брежневской), смотря за чьим столом довелось им сиживать дольше всего.

Одной из центральных фигур повествования является мой девяностолетний отец, вкусивший за свою жизнь не только от вышеназванных временных периодов, но и от времен революционно-беспощадных, становленческих, то есть ленинских и даже — царских. И потому о нем — несколько подробнее, нежели о других.

Он родился в октябре 1900 года и долгое время считал себя ровесником века двадцатого, покуда я, со свойственной мне вздорностью характера, не принялся разубеждать его в этом, доказывая, что родился он как раз в другой эпохе, то есть в веке девятнадцатом, пусть в самом его конце, однако — в девятнадцатом, а не в моем, двадцатом. Мы поспорили. Затем прикинули, подсчитали, и, когда выяснилось, что до двадцатого отец действительно с появлением на свет не дотянул два с половиной месяца,— меланхолически согласился: «Выходит, что родился в девятнадцатом, а жил... жил все-таки в двадцатом!»

И здесь необходимо отметить, что в девятнадцатом он не только и не всего лишь родился, но — из девятнадцатого зачерпнул свои вкусы, взгляды, пристрастия, то есть всю мировоззренческую закваску, вызревшую на русской и европейской литературной и философской классике той нравственной формации, что в своем развитии оглядывалась на учение Сократа и Платона, евангелистов и апостолов «ветхозаветной» мысли и на «Мысли» Паскаля, Гегеля, Канта, Владимира Соловьева. Его литературные кумиры — Пушкин и Достоевский, поздний Гоголь, Виктор Гюго и Вольфганг Гете, Данте и Диккенс, Сервантес и, в какой-то мере — как эталон непобежденной гордыни, но и как вдохновитель позднего раскаяния Андрея Болконского,— Лев Толстой. В произведениях искусства он, прежде прочего, выделял не «как», но — «о чем», и если речь шла не о духовно-возвышенном, не о вечных поисках Абсолюта, не о так называемых главных вопросах Бытия — то и моментально охладевал и расставался с этими произведениями, как бы хорошо или даже блестяще ни были они созданы художником.

Родился отец в Псковской губернии в деревне Лютые Болота, в старообрядческой семье государственных крестьян-однодворцев, купивших затем, на закате века, у разорившегося помещика землицу с усадьбой — сперва Овсянниково, а когда эта усадьба сгорела, перекупивших такое же имение в деревне Горбово Островского уезда, что стояла на холмах и на двух озерах — Черном и Белом, разделенных перешейком и соединенных ручьем, вращавшим колесо мельницы.

Прадеда звали Григорием Сергеевичем. О нем сохранилась довольно прочная версия: прожил девяносто с лишком. И, несмотря на свою принадлежность к старообрядчеству, употреблял спиртные напитки, то есть — знатно зашибал по этой части. Приобрел же таковое пристрастие не сразу, но лишь войдя в самостоятельный образ жизни, где-то после сорока лет. Когда в кармане появилась наваристая, «льняная» (с торговли льном) денежка.

Дед Алексей Григорьевич, о котором я уже упоминал и которого мне довелось видеть собственными глазами, прожил лет на двадцать меньше своего отца, а ведь не пил, не курил, соблюдал обряды старой веры, но, в отличие от своего отца, не дожившего до революции, вплотную соприкоснулся с социальными катаклизмами двадцатого века, потрясшими могучий раскольнический организм деда гораздо основательнее шинкарских зелий и забористого «жýковского» табачка.

Не знаю, сколько раз был женат прадед Григорий, наверняка единожды, чего не скажешь о сыне его Алексее, поимевшем в разное время трех жен. А дальше — как генетическая закономерность — трижды пришлось «ожениться» моему отцу, трижды не миновала сия чаша и меня. Вот и прикидывай, что это: падение нравов или непредсказуемое стечение обстоятельств? Характерной для всех троих «многоженцев» особенностью явилась недолговечность их первого брака, совершаемого, как правило, впопыхах, без глубокой разведки, а в прежние годы и — без согласия молодых, исключительно по воле и сговору родителей. Самый короткий союз был у моего отца: от своей первой жены он ушел на другой день, то есть — по прошествии ночи.

К началу нового века дед мой Алексей Григорьевич имел под своим началом семью в десять душ и не имел... фамилии. Обходился именем-отчеством. Прикупив Горбово и ненадолго обосновавшись на бывших помещичьих землях, семья деда при составлении купчей вместе с землей обрела и фамилию: Горбовские. При взгляде на обитателей холмистого Горбова, высыпавших, скажем, на сенокос, проезжие из соседних деревень люди наверняка говорили: «Эвон, Горбовские с клевером управляются!» — и делали при этом ударение на последнем слоге прозвания, так что и правильнее всего было бы в дальнейшем произносить мою фамилию на дворянский манер — Горбовской, а не — Горбовский. То есть — на русский манер произносить, а не на польский, тем более, что ни к полякам, ни к каким другим нациям семейство наше отношения не имело (это — по отцовской линии, а по материнской моя бабушка — коми-зырянка). Следы наших предков теряются в непрозрачных глубинах российского крестьянства. Фамильные приметы — голые холмы на месте сгоревшей в войну деревни и два озера — Черное и Белое, как два основополагающих цвета жизни.

Иду коридором сосновым —
то хутор мелькнет, то село,
а наше родное Горбово
фугасное время смело.

Спросил я у встречной старухи:
мол, где тут деревня была?
Но бабка пошарила в ухе
и медленно дальше пошла...

Среди детей, посещающих наши современные школы, где культивируется всеобщее и обязательное обучение, почти нет учеников, воистину одержимых приобретением знаний. Почти все у нас учатся если и не шатай-болтай, то — как бы по течению, а то и — по принуждению. Отец мой, Яков Алексеевич, обучаясь в трехклассной церковноприходской села Зарубина школе, к знаниям не просто тянулся — рвался, молитвенно перед ними преклонялся, стремился к ним так же, как стремится к свету из тьмы прозябания зеленый росток или свободолюбивая зверушка из клетки на волю. И что замечательно — стремление сие пронес он через всю жизнь и по сию пору несет. И не только преуспел в своем благородном рвении, но в чем-то даже перебрал, и теперь, в преклонном возрасте, время от времени жалуется мне, что знания будто бы мешают ему иногда в постижении Истины, отвлекают многочисленными сомнениями и «прелестями» от возвышенных чувствований, соблазняют своей логикой, утомляют бесстрастной цифирью, уводят в сторону от раскаяния и смирения. Одним словом — энергия разума будоражит совесть.

На помещичьей земле будущие Горбовские не зажились долго: дважды горели, хозяйствовать пришлось себе в убыток — ни лен, ни хлеб не удавался, не хватало средств, опыта. Перед самой войной решили перебираться в ближайший город. Продали Горбово. Купили в уездном Порхове домик на Гольдневской набережной. Думается, решению этому в немалой степени способствовало отцовское рвение к учебе, жажда знаний. «Вкушая, вкусих мало меду...» Необходимо было вкушать этот мед и дальше, то есть поступать в Порховское реальное училище. В реальное отца приняли не по блату или подкупу, а по «объему знаний»: сочинение незаурядное написал, да и в глазах — жажда немеркнущая выпирала духовным томлением навстречу преподавательскому взору. На приобретение форменной фуражки и ремня с пряжкой дан ему был определенный срок, который вскоре безжалостно иссяк, и не видать бы отцу «реального обучения», как своих заплат на просиженных штанах, не случись с ним тогда в училище нечто нереальное, сверхъестественное, а именно: отец написал пьесу. И что самое удивительное — пьесу решено было ставить в городском театре, то есть, по провинциальным меркам — событие из ряда вон. Короче говоря — неплохо сочинил.

Называлась пьеса «Осенний сон». И говорилось в ней о насилии и милосердии, о том, что нельзя строить счастье (личное или общественное) на крови невинных жертв, что зло, причиняемое во имя блага,— бесплодно, ибо родит — зло. Согласитесь, тема не для школьной пьески. Главный герой сочинения, неокрепший нравственно гимназист, в финале действа, конечно же, стреляется, причем — под звуки духового оркестра, исполняющего стариннный вальс «Осенний сон». Выстрел производился ударом колотушки в барабан. По воле автора в одной из картин на сцене, в разных ее углах, должны были стоять бюсты Льва Толстого и Иисуса Христа. С бюстами помог директор реального училища, которому идея постановки пьесы его ученика пришлась по душе: дескать, знай наших! Да и милосердный замысел драмы, как видно, не шел вразрез его убеждениям: директор не только не вскипел, но даже как следует не рассердился, когда по ходу пьесы один из гипсовых бюстов был задет чьим-то неосторожным бедром и с грохотом рассыпался на подмостках.

Пьеса, естественно, не принесла автору ни копейки, так как спектакль объявили любительским. Зато уж популярностью юный драматург обеспечил себя с избытком. Реальное училище начали посещать делегации от женской гимназии. И все же главным приобретением отца от постановки «Осеннего сна» явилось распоряжение начальства, дозволяющее реалисту Горбовскому посещать занятия без ученической формы. На подвижнические заплаты отца многие стали смотреть как на элемент богемного существования: что поделаешь, господа, сочинителям и не такое сходит с рук, поэтические, видите ли, нравы-с... А тут еще подоспела февральская революция, и всяческие лохмотья, не говоря уж о заплатах, сделались чуть ли не знамением времени и атрибутами почитания.

Примерно в эту же пору, семнадцати лет от роду, отец дал миру публичную клятву — никогда в жизни не вкушать спиртного и не курить табака. Клятва была дана после молодежной вечеринки, на которой почитатели «Осеннего сна» отмечали успех премьеры. Душу молодого драматурга посетили сомнения — пить или не пить,— а затем твердая убежденность: человек, посвятивший себя приобретению знаний, боготворящий, по примеру французских энциклопедистов, разум,— пить вино и курить табак не имеет права.

Замечательно, что клятва сия в дальнейшем ни разу не была нарушена. Ни при каких обстоятельствах. Ни на фронтах гражданской войны, ни в польском плену, ни в сталинских лагерях, ни в заволжской ссылке. Ни разу — от 1917-го до нынешнего, 1990-го.

Порховскую ЧК времен революции возглавляла некто Крашинская. Именно ей, несгибаемой приверженке идей военного коммунизма, молодой и симпатичной, курящей длинные пахитосы из дореволюционных запасов, облаченной в скрипучую комиссарскую кожу-скорлупу, именно этой военизированной, с маузером на бедре, пронзительноглазой революционной даме, суждено было сотрясти иллюзии юного реалиста, которые он, не без помощи двух гипсовых бюстов, проповедовал в своей пророческой пьесе.

В крошечный Порхов в те дни возвращался служилый люд, разметанный по белому свету военными действиями. В городке объявили регистрацию бывшего офицерского корпуса — для дальнейшего добровольного привлечения к новой жизни. Золотопогонники обязаны были являться куда следует — с оружием и документами.

А в доме на Гольдневской набережной имелся к тому времени свой, не так давно испеченный офицер. Старший брат отца — Павел. Еще до войны подался он в Питер, в пролетарии, устроился на завод и смиренно тянул рабочую лямку. Началась война, его мобилизовали. На фронте отличился, и его послали в школу прапорщиков. Грянула революция, и прапорщик, сориентировавшись, незамедлительно подался в тихий Порхов, под крышу отчего дома. И вдруг — повестка в ЧК. А затем — стук в двери вооруженного патруля, который ходил по адресам и брал под ружье офицерскую белую кость. Хотя опять же — какая у Павла белая кость? Чего ему-то было бояться? Однако — испугался. И в тот миг, когда в двери дома на Гольдневской бабахнули прикладом, нырнул из окна в огородные гряды и — сначала ужом, затем ящеркой юркой, а чуть позже — всполошным зайцем — заструился, заскакал к лесу, прочь от родимого гнезда — и аж в буржуазную Эстонию вынесло...

Не обнаружив Павла, заложником взяли... моего отца. Впопыхах, когда уводили, отец нахлобучил офицерскую фуражку брата. Из-за этой фуражки его едва не вывели в расход. Крашинская в ЧК приняла его за юного офицера, а когда разобралась, кто есть кто, обвинила в укрывательстве опасного заговорщика и посадила парня под замок вместе с другими офицерами, в частности — с приговоренным к смерти подполковником Гагаринским, сыном местного мельника, двадцатишестилетним красавцем, атлетом, героем и кавалером многих орденов.

Примерно в эти же дни из-под расстрела на порховском Коровьем кладбище совершил дерзкий побег другой старший офицер, к тому же князь — Гагарин, чье имение располагалось в Порховском уезде и куда он сунулся было, чтобы пересидеть революцию. Но — был схвачен. Расстреливали ночью. После первого залпа Гагарин, человек в подобных ситуациях искушенный, метнулся на землю, а затем — в кусты, в ночь. И когда днем позже арестовали подполковника Гагаринского, красноармейцы, бравшие дюжего золотопогонника, решили, не дочитав фамилии подполковника, что им повезло отловить беглеца-князя, и стали ему крутить руки, вязать, а также попытались сорвать с офицера погоны, которыми он гордился. Это и разобидело пуще всего. Гагаринский вскипел:

— Смир-рна-а! — рявкнул он полной грудью, весьма умело. Красноармейцы даже опешили поначале. Стали топтаться в нерешительности. А Гагаринский продолжал внушение.— Погоны эти не вами на мои плечи положены, не вам их и снимать! — И хвать себя рукой по бедру, по военной привычке, фронтовой, по тому самому месту, где у него порожняя кобура болталась на ремне. Ну, тут его и повязали окончательно, предварительно помяв и обезоружив.

В памяти отца немеркнущим видением остались часы, проведенные в камере порховской тюрьмы на пару с обреченным подполковником. Этот еще совсем недавний счастливчик, здоровяк, бравый и симпатичный малый, которого одна отшумевшая война вывела в люди, дав ему, совсем еще молодому человеку, солидное положение, перспективы, или, как тогда говорили, прекрасные виды на будущее,— другая война бросила его в камеру, где он на глазах у моего отца превратился в жалкое существо, катавшееся в истерике по полу, вымаливающее лишний глоток жизни безо всякого достоинства.

Когда отца пригласили на допрос, он вдруг непонятным образом осмелел и заговорил с «тройкой», в первую очередь — с самой Крашинской, одно имя которой наводило в Порхове трепет и ужас, заговорил выспренне и крайне наивно, как на сцене любительского театра, встав в позу и простерев в направлении прищурившейся от дыма Фемиды о трех головах указующий перст.

— Отпустите невинного! Я говорю о Гагаринском. Его перепутали с князем Гагариным. А подполковник — просто честный вояка, герой войны, гордость нашего Порхова! Он и вам еще пригодится как военный специалист. Вы совершаете гнусную ошибку, приговорив его к смерти. Помилуйте невинного! Нельзя казнить правду! Тот, кто несет миру зло, причем зло не мотивированное ничем, не может быть другом народа!

— У нас, голубчик, все мотивировано... именем Революции! — хлебнула взасос папиросного дымка Крашинская. А человек мастерового обличья в кожаной фуражке продолжил:

— Именем Революции, которая есть освобождение народов, молодой человек.

— Освобождение от чего?

— От насилия! От гнета! Вот наша религия.

— Освобождение от одного насилия при помощи насилия другого? — не сдавался реалист.

Теперь это может показаться странным, что деловые, вооруженные люди пустились в рассуждения с каким-то молокососом, но в те сокрушительные и одновременно наивные, некабинетные времена люди, даже враги, могли разговаривать друг с другом искренне.

— По документам вы не из благородных. Тогда почему, спрашивается, вступаетесь? Плевако, понимаете ли, нашелся! Кровавую контру под защиту берет! Начитаются графа Толстого и пускают... непротивленческие слюни. «Невинная жертва»! А эта невинная жертва, случись у нее в кобуре наган, всю нашу Революцию перестреляла бы не задумываясь,— хлопнул мастеровой по столу ладонью и почему-то добавил,— если патронами ее обеспечить.

— Где бр-рат, т-твою мать?! — внезапно переменила тему разговора Крашинская, подбежав вплотную к высокому, в сравнении с ней, юноше, семеня при этом короткими ножками.

— К-какой брат? — отпрянул было.

— Твой, твой! Павел, прапор! Контрик скороспелый!

— Ясно где... Убежал.

— Почему убежал?

— Испугался потому что. Насилия... И вообще. Решил: расстреляете ни за что. Не его первого потому что.

— Опять за свое?! Клеветать на Р-революцию? Това-арищи дорогие, разве не ясно, с кем дело имеем? — обратилась Крашинская к остальным членам «тройки», среди которых кроме мастерового, впоследствии оказавшегося питерским рабочим, сидел третий, сидел и упорно помалкивал.

— Что скажете, Устин Поликарпыч? — обратилась к нему Крашинская.

— Вражина... Списать,— выдавил из себя Устин Поликарпыч, сверкнув глазками столь беспощадно, что и слов никаких не требовалось в подтверждение его приговора.

— Ну, это вы слишком — «списать»,— пожевал губами мастеровой, оказавшийся председателем совещания.— Наверняка распропагандирован... Начитался графа Толстого. «Не убий». Всыпать бы ему по голой... теории! Вицей, с оттяжкой.

Ночью отец и Гагаринский спали, обнявшись, чтобы не так страшно и холодно. Перед сном отец долго, искренне утешал подполковника. Затем они плакали вместе и всерьез молились, прощаясь друг с другом. Одним словом, приготовились к самому худшему.

На смутном, сыром и знобком рассвете пришли за подполковником. С минуту он катался по полу. Его уже хотели вязать и выносить на руках. Как вдруг что-то в нем свершилось. Словно один механизм заменили другим. Он встал на ноги, посмотрел на людей. Взгляд его задержался на отце. Затем Гагаринский принялся тщательно отряхивать помятый мундир от сора. Привел на голове волосы в порядок. Спокойно обнял реалиста как единственного родного человека. И твердо ступил в направлении дверей. В дверях задержался на миг, обернулся. И тут на его губах ожила, зашевелилась улыбка! Но — какая! Осмысленная, ясная — всепрощающая.

Гагаринского увели, а его заветная улыбка осталась в памяти отца. И отец рассказал мне об этой улыбке спустя семьдесят лет. И не было у отца за эти семьдесят лет ни единого случая, когда бы он отрекся от своей теории справедливости, о несостоятельности всеобщего счастья на крови невинно загубленных жертв. Сия милосердная теория стала *зрением* его души на всю оставшуюся жизнь. А рассказ отца о «прощальной улыбке» навеял стихи, которые я написал параллельно с этими прозаическими страницами. Конечно же, в стихах этих — не только улыбка Гагаринского, но и — отцовская, когда он, уходя в ежовскую ночь, улыбнулся нам — моей матери и мне, спящему безмятежно.

Уже в дверях прихожей,
на фоне тьмы ночной
он оглянулся все же...
Но — вяло, как больной.

Взирая покаянно
на мир, что посетил,
он улыбнулся странно,
как будто всех простил.

Те двое, что развязно
пришли за ним — к нему,
покашливали страстно,
маня его во тьму.

Жена, сцепив ладони,
теряла цвет лица.
Скрипели снегом кони
у мерзлого крыльца.

...По чьей, по чьей ошибке
(измыслить нелегко)
владелец той улыбки
уехал далеко?

Но свет улыбки бедной,
питавшей вдовьи сны,
возжег румянец бледный
на сумерках страны!

Проникновение в нравственную структуру отцовской личности далось мне далеко не сразу, причем с превеликими жертвами, главная из которых — смирение собственной гордыни. Естественно, что произошло это на трезвую голову, когда сердце стало биться ровнее, а опыт разума обрел тягу к постижению вечных истин. То есть — где-то ближе к пятидесяти годам.

Я знаю, что в 37-м отец держался на Шпалерной молодцом. Его заставляли признаться в том, чего он не совершал. Он поначалу тоже заупрямился, и тогда его ударили по голове какой-то огромной книгой. От страшного удара у отца выскочил глаз из глазницы, искусственный, вставной, но этого было достаточно, чтобы допрос на тот день прекратился. По-разному действуют на людей всевозможные непредсказуемые эффекты. На нервного следователя выпадение глаза подействовало отрезвляюще, если не удручающе. Во всяком случае, принадлежность отца к партии меньшевиков после динамического эффекта от книжного удара больше ему не вменялась, и в дальнейшем его повели по другому пункту, обвиняя в элементарной антисоветской пропаганде и агитации — ст. 58, п. 10.

Вскоре после ареста отца поместили в одиночную камеру, и не в камеру даже, где койка приставная и параша выносная, а в некий каменный мешок или «багажник», где можно было только сидеть, скрючившись, но где можно-таки сосредоточиться и подумать о случившемся не суетясь, в какой-то мере раскрепощенно и даже независимо. И сразу перед отцом возник вопрос: «Почему я здесь очутился?!» И — ответ: «Потому что ушел от Христа». И строчки Блока воссияли в сознании: «В белом венчике из роз впереди — Исус Христос!» Какой бы длительной и беспощадной ни была заварушка на улицах страны («Ой, пурга какая, Спасе!»), впереди — Свет, Надежда на исцеление. И на второй неизбежный вопрос — «Кто виноват?» — в памяти вспыхнул ответ вразумляющий и мобилизующий, и пришел он из дневниковой и «цитатной», в черной клеенке, тетради, где накапливались свои и чужие мысли, тетради, послужившей следователю «вещественным доказательством». Итак, ответ на вопрос: «Если ты, человек, сам не навредишь себе, не может навредить тебе ни друг, ни враг, ни сам диавол» (Иоанн Златоуст).

Первая ночь наедине с собой оказалась бессонной и в то же время милосердной: в эту ночь вызрело убеждение, что всё не зря, что испытания посланы ему во искупление вины его, заключавшейся в безмерной гордыне и одновременно в слабости духа. С осознанием вины пришло успокоение. А под утром — и сон. Но прежде — раскаяние...

«Грешен, Господи,— повторял он сквозь тихие, покаянные слезы,— родителей своих безграмотных стеснялся... На мать родную покрикивал, жену запугал... на «вы» со мной разговаривала...»

И восприятие Христа, прежде абстрактное, расплывчатое, неконкретное, вдруг сделалось отчетливым и отграниченным от словесной символики, то есть — живым, сущим. И вечно смущавшая разум «тройственность» Божественного смысла (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой) обрела для него осмысленную ясность: Христос — людской Бог, Бог Земли, Сын Вседержителя, а Дух — Его учение. Христос — страдал и этим указал Путь. А значит, и мои страдания — частица Пути.

Отец от радости просветления хотел было встать, распрямиться, но крепко приложился о камни «багажника» и малость поостыл в своих размышлениях. Однако именно с этих пор принятие страданий тюремной и лагерной жизни сделалось для него более терпимым, а сама жизнь — милосерднее и многозначимее. Пришло раскаяние.

После одиночки была камера на двоих. Но вот беда: человек, с которым теперь предстояло совместно обитать, был мрачен, то есть угнетен происходящим до крайней степени, общения сторонился, бесед не поддерживал и, казалось, в отличие от моего отца, жаждал побыть наедине с собой.

К тому же человек этот, Безгрешнов Василий Михайлович, по роду своей деятельности являлся представителем совершенно неизвестного, а значит, и малопонятного отцу круга людей, еще недавно облеченных властью и располагавших привилегиями. То есть — как бы и свой, российский мужик из крестьян или рабочих, и одновременно — чужак, иностранец у себя дома, если вообще не инопланетянин.

По словам отца, на воле Безгрешнов был заместителем наркома путей сообщения Лазаря Кагановича, занимался электрификацией Мурманской железной дороги. Под следствием Безгрешнов находился уже целый год, шили ему контрреволюционный заговор, шпионаж и террор (убийство все того же Кагановича), то есть дело вели четко к расстрелу Василия Михайловича, но он оговаривать себя не спешил, обвинительного

заключения ни в какую не подписывал. Методы воздействия к нему применяли самые разнообразные, то есть пытали с пристрастием, но Безгрешнов уперся. Как выяснилось в камере чуть позже, для Безгрешнова непризнание своей вины перед Родиной стало единственным способом продолжения жизни. Не соломинкой, за которую хватаются в отчаянии, а как бы самим сердцебиением, о пользе которого не рассуждают, а ежели утрачивают, то вместе с жизнью.

Разбудил, расшевелил (если не воскресил!) его отец при помощи чтения книг русской классики. В тюремной библиотеке «Большого дома» на Литейном имелись тогда «Война и мир» и «Воскресение», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и даже однотомник Гоголя с «Выбранными местами из переписки с друзьями». На чтение вслух отец, естественно, испросил у Безгрешнова разрешения. Тот невнятно буркнул в ответ, и отец стал читать вслух.

Однако бывший путеец с каждым днем становился внимательнее, за происходящими в романе событиями явно следил, и когда отец, утомленный чтением, пожаловался на свое слабое зрение, Безгрешнов предложил подменить его и, вначале смущаясь, скованно, а затем все раскрепощеннее продолжил чтение «Войны и мира».

Толстого сменил Достоевский. Прочитанное, а для отца-учителя — в который раз перечитанное, по ходу чтения пытались осмыслить совместными усилиями. Отец подметил, что Безгрешнову было безразлично то, как написаны великие романы, его совершенно не волновала непохожесть нервного письма Достоевского на степенное письмо Толстого. Бывшего замнаркома интересовал итог: что своим сочинением хотел ему, впавшему в унижение и немилость коммунисту, сказать автор? И есть ли связь меж его, автора, гениальными размышлениями и той жизненной ситуацией, в которую угодил читатель Безгрешнов? И нельзя ли этому обескураженному, отчаявшемуся читателю извлечь для себя из прочитанного — утешение?

Речь шла о Наполеоне, а значит, о гордыне; о прозрении и смирении князя Болконского, о мудром крестьянине Платоне Каратаеве, имевшем нравственные убеждения, которые помогали ему переносить тяготы плена, о повелевающих царях-императорах, посылающих на смерть народы, о ничтожестве этих царей перед лицом высших начал.

— Как это понимать? — настораживался время от времени Безгрешнов.— Речь идет о... Боженьке, что ли? Я — член партии большевиков, а стало быть, неверующий. Ни в Бога, ни в дьявола.

— А в свою партию? Разве не верите?

— Если партия мне почему-то не верит...— начал было Безгрешнов, но в голосе его что-то надломилось, Василий Михайлович надолго замолчал.

Потом читали «Преступление и наказание». В перерыве опять рассуждали о гордыне и покаянии, о возмездии и милосердии.

— А я не совершал преступления, в котором меня обвиняют,— как бы случайно, между прочим пробормотал себе под нос Безгрешнов.— Не совершал, однако... наказан. Разве это по-Божески? Это... это по-дьявольски!

На что отец согласно кивнул бывшему замнаркома, предложив, то ли в шутку, то ли всерьез:

— Хотите, Василий Михайлович, обучу вас волшебному слову? Ни один следователь после этого не справится с вами. Не заставит подписать неправду. Ни один бес не боднет, копытом не лягнет.

— Подписать — значит получить «высшую меру». Я и так уже год держусь. Но силы не беспредельны...

— Потому-то я и хочу вам помочь.

— Вы что, серьезно?

— Повторяйте за мной. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое...»

Безгрешнов укоризненно рассматривал человека, читающего наизусть какую-то старушечью белиберду, слышанную им в детстве и прочно забытую. Затем, отвернувшись от отца, размеренно зашагал по камере — взад-вперед, туда-обратно.

— Хотите, растолкую вам смысл этой бессмертной «белиберды», которую повторяет половина человечества? И повторяет чаще в минуты скорби, смертного ужаса, реже — в состоянии радости, из неосознанной благодарности. И почти никогда — в остальное время, то есть — в серые будни повседневности.

Отец толковал, как мог, импровизировал, проникая в слова молитвы, просвещая не столько Безгрешнова, сколько себя, так как прежде почти не задумывался над торжественно-архаичным звучанием слов «Господней молитвы». Потом уже, по прошествии дней, они пели эту молитву на два голоса, и надзиратель предупреждал их неоднократно, грозя карцером и некоторыми другими неприятностями, которые могли возникнуть в тюремной обстановке. Но они продолжали читать и тихо петь, потому что знали: сама тюрьма и есть для них высшая неприятность, и что бы к ней теперь ни добавили — тюрьма останется тюрьмой, как жизнь жизнью, а смерть — смертью.

Через какое-то время Безгрешнова увели на очередной допрос к следователю. Со слов самого Безгрешнова, однако — не без участия собственного воображения, отец рисует

тогдашнюю сцену в кабинете следователя как весьма знаменательную, подвижнической окраски.

Видимо, Безгрешнов вошел в кабинет с несколько иным, нежели всегда, выражением лица, что не укрылось от внимательного, из-под ладони, взгляда хозяина кабинета.

— Что это с вами, Василий Михайлович? Никак... решились?! Ну и правильно. Стоило мучать друг друга столько времени. Присаживайтесь. Слушаю вас, Василий Михайлович. Такая улыбка у вас сегодня хорошая... Предвещающая. Что вы там шепчете? Говорите громче. Или вот бумага, перо — излагайте.

Неожиданно Безгрешнов поднялся со стула, и оказалось, что он высокий, осанистый, видный, одним словом. Дряблые складки на похудевшем, некогда полном, дородном его лице расправились. В движениях проснулась военная выправка бывшего комиссара полка.

— Дело в том, что я вас теперь не боюсь,— отчетливо произнес Безгрешнов.

— Не понимаю...— опешил чиновник.

— И вот еще что: я не из тех, кто часто меняет свои убеждения. Но если уж проникло что... в сердце — колом не выбьешь!

— Никто и не собирается того... колом. Что, собственно, произошло?

— А то, что я теперь знаю: моя жизнь, а стало быть, и смерть не от вас зависит! Не вы мне ее дали, не вам и распоряжаться ею!..

В задачу автора этих «Записок» не входит подробное описание тюремно-лагерных мытарств его отца или своих собственных, пусть не таких продолжительных и объемных, какими были они у родителя, но — также весьма впечатляющих. Придется обойтись без тщательного изображения всех этих нар, параш, вышек, попок, паек, этапов, бараков и прочих аксессуаров уголовного быта блатняжек или интеллектуальной атмосферы политкаторжан середины двадцатого века. Долг русского литератора — еще раз напомнить миру, что народ мой, в сравнении с другими народами, принял в двадцатом веке страдания безмерные, безграничные, ни с чем не сравнимые, причем принял их снизу доверху, вширь и вглубь — начиная с земли, с кормящего страну крестьянства, через все остальные мыслящие, творящие, созидающие, терпеливо скорбящие и сдержанно ликующие слои общества. Принял и устоял.

* * *

Добивая шестой десяток лет, все чаще ловлю себя на мысли: не хочется жить. Устал. Голова кружится. И если бы — от вина или успехов. В основном — от сужения сосудов. В походке — неуверенность. Зрение на исходе. Слух перерождается в шум. Ко всему еще — сомнение: на ту ли карту поставил, принимаясь за писательство? Не правильнее ли было просто задуматься?.. Лежа на продавленном диване и размышляя о том же, только — без применения письменных принадлежностей и неизбежной писательской маяты?

В зеркало посмотришь — смотреть противно: лицо расплылось, испортилось. Хоть не брейся. Не по этой ли причине люди бороды отпускают? Чтобы не видеть себя? Прежнего, ускользающего? И вообще — суета сует, только без начальных прелестей жизни: без трепета первых любовных свиданий, без первой пойманной рыбки в реке, первой земляничины душистой возле старого сухого пня, без первой соловьиной трели, пробудившей в тебе прекрасные чувства, без первой военной бомбежки твоего детства, да мало ли без чего, без каких неповторимых открытий и событий земного присутствия предстоит тебе жить отныне, теперь, когда все ясно, все понятно. Как бы всё.

И чудеса — разве что в кино или в приключенческих книгах, читать которые не то чтобы не хочется — нету сил.

Мрачноватый пассаж. Не можется жить, однако, живешь. Спрашивается — почему? Что прежде всего — побуждает? А вот что: любовь. Лица детей. И не только своих собственных. Это раз. Поиски Бога, в которые ты углубился, будто в девственную тайгу, и далеко зашел. Это два. И призывы твои в теологических дебрях не безответны, ибо отклик — в тебе же самом, и нельзя повернуть обратно, не из-за потери ориентации, а потому что, подобно бабочке, стремишься на свет из тьмы. Что еще удерживает? Красота. Скажем, весенний гулкий лес, полный надежд и ликующих звуков. Или живое колыхание океана — именно так вздымается грудь дышащей планеты.

Что еще оставляет нас на жизненной тропе иллюзий в минуты отчаяния и невыносимой усталости, что не дает сорваться в непроглядное, усыпляющее окошко манящей трясины забытья? Что — помимо страха? Лично меня — мания сочинительства. Благословенный, миротворящий, словосозидательный кайф. Внезапное сочетание слов, насквозь пропитанное тем или иным чувством — умилением, верой, раскаянием, любовью опять же. Не воспоминания о таких мгновениях возбуждают, не ностальгия по ним, а как раз — предчувствие оных!

Покуда живет в тебе предчувствие Творца, созидающего начала — все твои мечты

о смерти несостоятельны и отдают если и не кокетством, то наивностью. Итак — сочинительство. То есть — служение магии слова. В частности — магии ритмованного слова, поклонение стиху. С чего началось, помню смутно, а вот когда и где — отчетливо. На заре туманной юности, в деревне...

Внешне выглядело таким образом: возле жилинской начальной школы, под двумя большими дородными плакучими березами, в зарослях крушины и орешника произрастала аккуратная рубленая подсобная избушка. Представляете, четыре года скитаний, смрад и пепел, сквозные и рваные раны, окоченевшие трупы повешенных, пустыри и пожарища, бездомье и нары лагерно-барачного кромешного быта, и вдруг — собственный уютный уголок. Причем не комната, не квартира, а — дом. Домик в два оконца. Дощатый стол. На столе керосиновая лампа с подкопченным стеклом — собственный источник света. Тут же — топчан с матрасом-сенником, от которого источается аромат сухой травы. Стены избушки утыканы пучками зверобоя, душицы, мяты, чистотела, ромашки. В предбаннике, именуемом по-питерски «прихожей»,— ведро с ключевой водой. Хозяйство. Твое. Владей и здравствуй. Наращивай силы любви.

Вот так и получилось: сел за стол, посмотрел в окно, по которому тихо слезился нежный, вкрадчивый летний дождь. И захотелось что-нибудь сочинить. Такое же ласковое и умиротворяющее, как этот дождь, такое же исцеляющее, дающее силы живой траве. Скорей всего, за годы скитаний я не только не растряс, не израсходовал отпущенного природой запаса чувств, но они, эти чувства, во мне как бы сгустились, прозрачной смолой запеклись на дне души. И тут их и размыло. В лирическо-дождливой обстановке.

Выпросил у отца дефицитную по тем временам школьную тетрадочку, сел за стол и, не сходя с места, начал «слагать», выдав к вечеру пяток стихотворений, главным свойством которых было разве что элементарное занудство, этакий ритмический бубнеж, навеянный однотомником И. С. Никитина, блатными и жалостливыми песнями поездных инвалидов. До сих пор при воспоминании того изначального, исходного писчего момента удивляюсь собственному бесстрашию, с которым я ринулся в беспросветный омут стихописания. Знать бы, чем все это обернется, какие дивиденды приобретешь, каких радостей жизненных лишишься на почве сочинительства — подумал бы хорошенько, прежде чем выводить первую строку, приблизительно такого содержания:

Прилетели грачи. Отчего мне так больно?
Над погостом слепая торчит колокольня...

Далее последовали стихи о развалившейся, с торчащими ребрами лодке, о лодочном скелете и еще — целая поэма о покинутой деревне Кроваткино («Мертвая деревня»), что в пяти верстах от Жилина — на глухой лесной поляне, деревин-призрак, без единого жителя, если не считать одичавших кошек и поселившихся в избах хорьков, ворон и, естественно, крыс, деревня, поросшая бурьяном, вернее — проросшая им насквозь, потому что крапива, полынь и прочий чертополох лезли из щелей избушек, из окон и дверей, как щупальца смерти.

Что-то было, какие-то смыслы:
то ли хутор, а может — погост?
Эти выступы почвы бугрвстой,
словно формулы, буквицы, числа...
И — трава в человеческий рост.

Как видим, сюжеты прихлынули не из изящных. Отсюда, полагаю, и мое дальнейшее пристрастие тащить в стихи все ущербное, униженное, скорбно-неприглядное, измученное непогодами Бытия. И уж если какая красивость и вспыхивала на странице, то и не сразу ее хотелось гасить, топтать, вычеркивать, потому как — несоответствие завораживает. А стало быть, и впрямь прекрасное — из глубин жизненных, тогда как идеальное — от созерцания примет бытия: цветка, чьих-то глаз, звезд небесных, Творца, подразумеваемого и предощущаемого.

Отец, на которого я безжалостно пролил свои первые лирические опыты, поначалу пришел в ужас, подвергся панике, решив, что с этого дня я непременно заброшу обучение по школьной программе, нравственно сгину, оставшись неучем. Тогда же, за ужином, был поднят вопрос о предании крамольных опытов огню. Но было уже поздно: я вкусил. Не просто заупрямился, но — подвергся сладчайшему из соблазнов: творить! То есть посягнул на ремесло — сродни божественному. И вот что удивительно: оба мы — отец, одержимый рациональной заботой моего обучения наукам, и я, бессознательно окунувшийся в сочинительство, ставили перед собой одну (в итоге) цель: вытащить меня из растительно-животного состояния, то есть — отслоить от природного мира чистой материи, где настоящее — миг единый, а то и вовсе — ничто, отслоить и передать в мир духа, в царство интеллекта. Чтобы я, в конце концов, не просто задумался, но отважно спросил себя: кто я, человек? И не менее отважно ответил: аз есмь мысль, воля и совесть подобия Божия, малая ее искра.

В армии, куда я, послевоенный переросток, попал из девятого класса вечерней школы, стихи спасли меня от душевных потрясений, мало чем отличавшихся от тюремных.

В момент, когда над моей головой до предела сгущались тучи (а на гауптвахте за три года службы я просидел двести девяносто шесть суток), милосердная Муза подсказывала залихватский стишок в полковую газету или заставляла выступать на политинформации с лекцией о творчестве великого русского поэта Некрасова (бывшие урки, когда я им напевал «Меж высоких хлебов затерялося...», неподдельно плакали); Муза писала за меня сценарий праздничного концерта, пересыпанный бойкими частушками и пародиями на актуальную тему. И, глядишь, на груз многочисленных взысканий наслаивалась очередная благодарность, исходившая, скажем, от начальника политотдела, которая и покрывала своей весомостью тяжкие грехи моей солдатской молодости.

Стихи в армии писал я двух планов: «для печати» и «для народа» — для своих друзей-сослуживцев. Двойная мораль в творчестве была тогда как бы запрограммирована общественной моралью, о так называемой, буржуазного происхождения, свободе творчества никто даже и не помышлял всерьез. Все еще было актуальным понятие «неосторожного слова», которое не только не печатали — за которое давали срок. Мои стихи для печати резко отличались от народных своей причесанностью, благообразностью и совершенной бессердечностью. Мертворожденные — так бы я окрестил их с высоты утраченного времени. Самое удивительное, что стихи эти... не печатали. Ни «Советский воин», ни «Советский моряк», ни «Работница» с «Крестьянкой». Вот уж действительно — Бог уберег. В этих стихах было все, что нужно редактору того времени: верность Родине, кремлевские елочки, бесстрашный юный воин, охраняющий склад с боеприпасами, величавая Нева, по которой солдат грустил; Сталина с Лениным, правда, в них никогда не было: сказались жилинские, за вечерним самоваром, беседы с отцом. И вот что еще примечательно: стихи эти исчезли. Все до единого. С лица земли. Смыло их, как серую пыль. Не сохранилось при мне ни единого листочка с их начертаниями. И как же я благодарен тем литконсультантам из «Советского воина» и «Работницы», раскусившим мои гнусные намерения выдать бессовестное вранье за рифмованный крик души.

Стихи второго, народного, плана были непечатными по другой причине: из-за своей безудержной откровенности, из-за присутствия в них так называемых непечатных слов. То есть совершенно иного рода крайность. В дальнейшем, на пути к профессиональному писательству, мне постоянно приходилось сближать обе крайности, как два непокорных дерева, грозящих разорвать меня на две половины. И слава Богу, что одно из этих деревьев оказалось в своей сердцевине гнилым и треснуло, обломилось. Так что и сближать в себе с некоторых пор стало нечего, а вот очищаться от бесконечно многого — пришлось. Под знаком очищения от самого себя, от наносного в себе и прошла моя «творческая деятельность», и процессу тому не вижу завершения при жизни.

Из тогдашних моих стихов «народного» плана наиболее характерным опусом являются стихи, ставшие довольно известной песней (в определенных кругах, естественно) «Фонарики»:

Когда качаются фонарики ночные
И темной улицей опасно вам ходить,
Я из пивной иду, я никого не жду,
Я никого уже не в силах полюбить.

Мне дева ноги целовала, как шальная,
Одна вдова со мной пропила отчий дом.
А мой нахальный смех всегда имел успех,
И моя юность пролетела кувырком.

Лежу на нарах, как король на именинах,
И пайку серого мечтаю получить.
Гляжу, как кот в окно, теперь мне все равно,
Я раньше всех готов свой факел потушить.

Когда качаются фонарики ночные
И черный кот бежит по улице, как черт,
Я из пивной иду, я никого не жду,
Я навсегда побил свой жизненный рекорд!

* * *

Сколько бы мы в припадке искренности или благотворительности ни заявляли печатно или изустно, что старость так же, как и детство, беспомощнее, ранимее зрелости, функциональный эгоизм последней не позволит ей поровну разделить социальные дивиденды. Старость всегда обделена здоровьем, надеждой, да и достатком. У нас, во всяком случае.

«Уж не мечтать о нежности, о славе. Все миновалось, молодость прошла!» И это написано до сорока лет. Потому что истинные поэты взрослеют в иных темпах, как бы один к двум, и, скажем, тот же Блок умер не в сорок, а — за все восемьдесят... Если взве-

сить накопленное его интеллектом. Что же касается чувств или сердца поэта — здесь и вовсе иные измерения, не поддающиеся повседневному исчислению.

Могут подумать, что апологию старости затеял я слишком поздно, как-никак — самому уже шестьдесят. Где, мол, раньше был? Там и был. Возле стариков. Мне они всегда нравились чем-то. В начале бессознательно тянуло к ним. Прелесть какая-то всегда таилась в их поведении, позах, взглядах. Эффект обреченности. Жалеть тоже ведь приятно, а порой — просто радостно жалеть! И что уж совсем замечательно: оказывается, жалеть — полезно, даже выгодно. Это я для деловых, добычливых: пусть учтут, пусть преумножат плоды.

Меня частенько (хотя и вежливо) укоряли, ставя на вид, что в стихах, вообще в моих писаниях — многовато всяческих обносков, разнообразных ветхостей — деревенских и городских дедушек-бабушек, которые от частого их появления на страницах делаются назойливыми, а сами страницы — мрачноватыми, как бы морщинистыми. Что ж, как говорится, с кем поведешься. Старики, дети, собаки, птицы. И еще деревья. Вот — население стихов. И все они чаще старые, ущербные. Почему, спрашивается, из ярчайшей мартины детства не запомнились мне мои сверстники, даже — девчонки, а стариков хоть отбавляй? Потому что старики ближе не столько к смерти, сколько — к бессмертию. Недаром головы стариков даже снаружи светлее прочих голов. На плечах истинных стариков — тяжесть жизни, в глазах — отблеск страданий, в сердце — свет милосердный. Не космоса, не просто неба — возвышенный свет совести, очищенный от мирских язв.

«Старость — самая ответственная пора»,— так или почти так высказывался о ней Лев Толстой, написавший не только галерею образов зрелой жизненной поры, скажем, старого князя Болконского, Алексея Александровича Каренина, Хаджи-Мурата или отца Сергия, но и создавший образ самого старца-писателя, не просто Льва Николаевича Толстого, но — философскую легенду начала двадцатого века.

«Хорошо умереть молодым»,— говорил поэт Некрасов, но ведь это фраза из контекста, а на самом-то деле умирать молодым плохо, не только плохо — жутко несправедливо, трагично, и великий Некрасов, вечно балансировавший на гранях услад и страданий (позднее — сострадании), на острие земных слабостей и на высокой проволоке душевных терзаний, наверняка, принимая предсмертные тяжкие муки, знал цену не только молодости, когда «хорошо умереть», но и цену старости, когда не только умереть, но и жить — подвиг.

Сколько замечательных, свыше одаренных людей ушло из жизни, не дожив до мудрых мгновений старости, не уяснив для себя главного смысла, не завершив благих намерений, не освободившись от суетно-хищнических задатков звериной закваски в человеке. Сколько дивных поэтов, художников, музыкантов, ученых недораскрылось, недозрело, недобродило. О гениях не говорю. Гении способны, как я уже сказал, жить иными темпами, и, скажем, Пушкин в России в тридцать семь — это седая вершина, так же, как у себя — Байрон, Моцарт, Рафаэль... А сколько их могло быть еще выше, доживи некоторые из погибших в молодости до возраста Гете, Толстого или хотя бы Шекспира, Рембрандта, Баха. Есенин в России велик, но — загублен, подкошен, сражен на полдороге. Также и наших времен поэт — Николай Рубцов. Или художники Васильевы — минувшего века пейзажист и нынешний, чья живопись былинного настоя... Кто они все? Жертвы? Неизбежный процент золотого отсева? Или... слезы жизни? Не алмазные — живые: теплые, соленые. Да, если смерть съедает юное создание — это слезы, рыдание рода людского. Если умирает старик — это вздох всего лишь. И чаще — вздох облегчения.

Где причина нашего закамуфлированного, потаенного пренебрежения к старости? В чем она? В нас самих. Червячок трусливой брезгливости к морщинистому лику дряхлости. Боязнь ее одышливого дыхания за спиной. Иногда боязнь старости невыносимей страха смерти, могилы. И тогда петля на шее в какой-нибудь глухой Елабуге желанней или неизбежней бесконечно-беспомощного истаивания в предгибельном одиночестве. О, старость — не радость, она — героизм. Ее боль, ее смрад, ее подвиг — в каждом из нас. Как и — пренебрежение к неизбежному. В каждом, а значит, и в тебе, в нем, во мне.

Однако существуют более размытые, огульные, широкозахватные (не от «я» — от «все» виноваты) определения, оценивающие пороки людских масс, народоскоплений. Скажем, влияние «первородного греха», имя которому гордыня, чьи производные — эгоизм, тщеславие, равнодушие, безбожие — колючей проволокой опутали нашу житейскую сущность, и вырваться из нее до прихода старости отпущено далеко не каждому. Ведь многие из нас не просто живут-поживают, а как бы постоянно хвастают чем-либо: внешностью, здоровьем, образованием, зарплатой, престижными приобретениями, перспективами, как молитву твердя при этом формулу желаний — «не хуже, чем у людей», а ведь это только присказка, на самом-то деле нам постоянно нужно, чтобы лучше, всенепременно *лучше*, нежели у других. Безумная, страшно нерасчетливая (при всей своей внешней заданности) гонка за призрачным успехом. А гениальные старики меж тем приходили к мысли — не шуми, не гони, а вот именно «смирись, гордый человек», не противься, не «возникай», как теперь говорят, а сядь-ка на пенек и подумай, как в мире с самим собой жить, как очиститься от нажитой скверны?

Вот и сам я со своими писаниями разве только очистительную цель преследую? Разве не помышляю (подсознательно) о славе, ну хотя бы — об известности? Разве от положенных деньжат откажусь? Хотя бы в пользу одиноких стариков? Не откажусь... По крайней мере — не от всех (у самого, мол, семья). Но вот милость: и очищаюсь, размышляя, и строю себя нового (достраиваю), не без этого — видит Бог! Потому что — в старость захожу не как в райские кущи, но и не как в болото. Примерно как в деревенский лес — после шумного города. Который, в свою очередь, не проклинаю уходя, но — благословляю. Ибо хоть и далек еще от совершенства, но — уже помягчела структура солей, отложившихся в сердце. И, скажем, спроси меня теперь на Страшном суде: «Поэзия или Родина — выбирай!» — отвечу не сразу. Но отвечу. Правда, в этот миг в мою голову уже не придет догадка, что такой вопрос — провокация, и я успею подумать: «Счастлив тот, для кого эти понятия неразделимы», но отвечать-то все-таки придется. Не юля. И выберу я Поэзию. Не потому, что к старости выветрилась во мне любовь к Родине, к людям, а потому, что Поэзия — понятие внеземное, вселенское, из которого нельзя уйти, как из города, страны, планеты; Поэзия — понятие божественного ранга, заключающее в себе и энергию Любви, в том числе — любви к Родине, людям; вмещающее в себе объемы Земли, Галактики... Не отсюда ли одно из не часто употребляемых определений Поэзии: «Поэзия — есть Бог в святых мечтаниях Земли»?

Замечали: летние яблоки в вашем саду — белый налив, крапковка, хоть и слаще поздних, зато — менее ароматны, нежели штрифель, анисовка, особенно чудесен аромат антоновки, самых поздних, предзимних сортов...

«Нет ничего прекрасней бытия»,— сказал Николай Заболоцкий. Как представитель XX, весьма расчетливого века он мог бы выразиться трезвее, реалистичнее, например: «Нет ничего помимо бытия», но произнес то, что произнес. Такова воля мысли поэта или подсказка его интуиции. Нет ничего прекрасней бытия. И действительно, по себе сужу, с годами начинаешь пристальнее всматриваться в жизнь, все чаще как бы просыпаешься от слепоты-суеты, фиксируя любое малейшее проявление жизни живой, и сие благословенное действо начинает радовать тебя как бы само по себе, то есть — бескорыстно. Беспричинно. Иной раз изловишь себя на восторге от того, что просто вышел на улицу и видишь этот спелый августовский день, дорогу, деревья по ее краям, ветер, копошащийся в листве, коровью лепешку, бронзовеющего красавца жука-навозника, встречное лицо человека, птичий промельк в небесах, воду, таящуюся на дне колодца, озабоченную ничью собаку, готового к отлету аиста на вершине водонапорной башни. Видишь мир и благодаришь судьбу за возможность быть в этом мире живым участником свершающихся таинств.

И все ж таки... «нет ничего прекрасней бытия». Прислушаемся к музыке мысли. Поэт не говорит нам, что помимо земного бытия ничего на свете нет и быть не может, он лишь уверяет, что нет ничего прекрасней нашего бытия, и как бы оставляет надежды на нечто... Но даже если и есть что-то кроме, то оно, это неведомое «кроме» или «свыше», не может сравниться с нашим, земным, превосходным, прекрасным. Вот какая святая уверенность. И причина возникновения этой уверенности — любовь.

И потому, как следствие восхищения бытием,— никакой внешней последовательности в изображении пережитого, по крайней мере — мною, в этой книге: любой штрих, любая встречная малость — есть милость неповторимая.

Эффект лабиринта! — вот подлинное наслаждение от восприятия чего-либо. Разве не так? Даже в любви к женщине, даже — в постижении музыки... Магия все тех же резких поворотов, за которыми — новь, в худшем случае — неизвестность. И последовательность, подспудная, интуитивная.

* * *

Теперь — о литературных наставниках. О самых первых, а значит, и самых дорогих, незабвенных. Помимо отца родного, о ком я уже говорил и кто, как ни странно, сделался для меня «литературно-полезным» гораздо позже, когда понадобились сведения не столько о ритмах и рифмах, сколько о смыслах, так вот, помимо отца — это прежде всего поэт Глеб Сергеевич Семенов и прозаик, сказочник, литературный мечтатель Давид Яковлевич Дар.

Теперь, по прошествии не просто лет, но львиной доли судьбы, в назидание молодым поэтам скажу откровенно, бесстрашно: самым вредным, губительным желанием для начинающего поэта является желание как можно скорее опубликовать свои стихи, жажда напечататься. Для вызревающего дарования нет ничего более разрушительного, чем желание... славы. Желать себе должно совершенства. И не просто желать, а постоянно его в себе возводя (как себя — в окружающем мире). По кирпичику, по ступеньке, молча и, по возможности, подальше от редакций и всяческих окололитературных соблазнов и соблазнителей. На наших глазах выросла целая плеяда поэтов, чьи имена, чья скандальная репутация, а значит, и участь — жалки. Скандал может обеспечить известностью, даже славой, но он же способен внести в поэтический организм инфекцию суетливости в погоне уже не за славой, а за поддержанием ее свечения; стихотворец становится своеобразным литературным алкоголиком, для которого глоток паблисити дороже всех таинств поэтиче-

ского действа. И наоборот, мы знаем иное количество писательских имен, чей труд в поэзии был для них священным, всепоглощающим, для кого поэзия не идол, а сама вера, на чей алтарь поставили они, как сумели, свет своих сердец, изъязвленных не столько тщеславием, сколько невозможностью очистить свою поэзию, свое мировоззрение до идеальной степени.

О конкретных писательских именах — чуть позже. Внутренне подобрев, поуняв характер... А пока что — о себе, грешном, о том, каким нравственным уродом, с какой потаенной двуликостью, выпестованной двойной моралью тогдашней идеологии, предстал я пред светлые, но отчетливо страдающие очи Глеба Семенова, всю свою жизнь имевшего склонность помогать начинающим литераторам разбираться в самих себе и в окружающей их обстановке. Глаза его кричали, терзаясь сомнениями, но... кто расслышит глаза? Язык его не мог выговориться, ибо, как и все прочие языки страны, был скован страхом еще не остывшей, хотя и бесспорно издыхающей эпохи. Сквозь измученный город, приходящий в себя от войны, политических «дел», постановлений о журналах, успения вождя, шел заторможенный, как бы пребывающий в шоке 1954 год.

С одной стороны (или с одной головы двуликого Януса), хотелось мне тогда выразить в стихах себя — свои отчаянье, боль, гнев, накопленные за двадцать три года жизни, с другой — попытаться тиснуть, пропечатать стишки (любой пробы!) во что бы то ни стало. «Увидеть свет!» — так это называется, не без проникшего в эту фразу сарказма, ибо что может увидеть слепой котенок? Помышляющий о кормящем сосце? Ибо идешь ты тогда на поводу у власть предержащих, диктующих условия проникновения твоего слова в печать, в *их* печать. Другой печати не было. Помимо самиздатовской и «потусторонней». Нельзя забывать, и прежде всего человеку, собравшемуся в поэты, что в его распоряжении не только пресловутая свобода слова, но и нетленная, неотторжимая от его совести свобода мысли. Утратить свободу слова — ничего не стоит, утратить свободомыслие — конец всему.

Заняться «потусторонней» литературной деятельностью мне даже в голову тогда не приходило: во-первых, страх, во-вторых, патриотический замес в сознании был слишком густ. Вновь обретенная после войны-разлуки Родина, любовь к ней, почерпнутая и впитанная из классической литературы, как из крови народа, скитания по истерзанной родимой земле, где каждая живая душа взывала о сострадании, чаще всего — безмолвно взывала, все это не позволило даже думать «в другую сторону», даже мысленно отвернуться от пережитого.

Иное дело — самиздат. Он произрастал как бы сам по себе. Не требовалось особых усилий (в том числе насилий над собой) для его функционирования. Стихи, которые не шли в печать, а поначалу таких было абсолютное большинство, разлетались, как светящийся пепел от костра. Эти стихи, несеянные, как бы сами собой прорастали в жилищах горожан, имевших отношение к поэтическому слову.

Недаром в середине пятидесятых кое-что из моих стихов, а также поэма «Мертвая деревня», фигурировали на судебном процессе, когда за антисоветскую деятельность и за связь с иностранцами судили ленинградского писателя Кирилла Косцинского (псевдоним Кирилла Владимировича Успенского), бывшего фронтовика, полковника Советской Армии, спасшего в войну от каких-то неприятностей недавнего австрийского канцлера Бруно Крайского. Косцинский написал интересную книгу «Труд войны», изданную в издательстве «Советский писатель». Был он осужден на пять лет мордовских лагерей за то, что сопровождал по городу Ленинграду приехавшего из Штатов, тогда еще сравнительно молодого и не столь известного музыканта — дирижера и композитора Леонарда Бернстайна. Кирилл Владимирович был рекомендован американцу в негласные гиды, так как владел в совершенстве английским — привилегия бывшего фронтового разведчика,— и жестоко поплатился за проявленное гостеприимство.

Как же попали мои стихи в «дело» Косцинского? У меня рукописей не изымали. Обошлось тогда без ареста и обыска. Просто некоторые вирши ходили по рукам. Привилегия самиздата. Дома у Кирилла Косцинского с удовольствием собирались поэты, особенно — непризнанные, неиздававшиеся и, главным образом, молодые. С удовольствием еще и потому, что там кормили. И — поили. Блаженствуя и несколько расплываясь, рифмовали фамилию хозяина с главным собором Петербурга: «Косцинский — Исаакий», шутка поэта Михаила Еремина, предполагавшая некую завуалированную, «внутреннюю» рифму в нелепом словосочетании. И вообще, в этом очаровательном доме, заставленном книгами и завешанном современной живописью, в этой старинной замысловатой геометрии, бескрайней коммуналке с двумя входами и туалетами, в комнатах Косцинского и его жены, загроможденных ветхой мебелью, можно было встретить кого угодно, даже молодого писателя Валентина Пикуля со своим первым огромным романом «Океанский патруль» под мышкой, но чаще всего встретить там можно было радость общения, вкусную выпивку, ласкающие самолюбие оценки твоих поэтических опытов.

Вот ведь, не причисляя Косцинского к своим литературным наставникам, все ж таки не мог обойтись без воспоминаний об этом странном, ни на кого, естественно, не похожем человеке, вечно куда-то торопившемся, подвижном, с лицом рельефным до крайности — большой нос, впадины глаз, худоба лица такая, будто все лишнее из него выбрано стамеской, работавшем в мордовском лагере прозектором, то есть обмывавшем случайных покойников, и кончившем свою жизнь от пятого инфаркта, на чужбине, при австрийской пенсии, назначенной ему за оказание помощи гражданам этой страны во время великой битвы народов.

А к Глебу Семенову впервые пришел я не на чай-кофий и даже не на литературные посиделки, но — как к лицу официальному, работавшему кем-то в молодежной газете «Смена», куда я принес в чемодане стихи, предназначенные «для печати». Литконсультант газеты Георгий Бальдыш, порывшись в чемодане, посоветовал мне учиться у классиков, почему-то у Пушкина с Маяковским. К тому времени я знал, что Владимир Маяковский сам нередко сочинял стихи для официальной печати. По одной из версий, именно это обстоятельство и послужило главной причиной его гибели. Но... классики классиками, а Георгий Бальдыш, не пустивший меня с ходу в печать (за что я ему посмертно благодарен), познакомил метра Глеба Сергеевича Семенова с двумя-тремя моими стишками, что и решило мою дальнейшую судьбу.

Моя неотесанность в изящной словесности была безмерно велика: приобщить меня к своему поэтическому кружку Глеб Сергеевич не пожелал, но все же — не отпихнул напрочь, присоветовав обратиться в Дом культуры профтехобразования, к ремесленникам, где кружком «Голос юности» руководил не менее своеобразный человек — Давид Яковлевич Дар.

Это в какой-то мере неформальное общественное образование, объединяющее юных и не столь юных поэтов и прозаиков, в основном выходцев из рабочей среды, а также студентов техникумов и учащихся ПТУ (тогда — РУ), существует в Ленинграде до сих пор, то есть почти сорок лет, и является чуть ли не долгожителем среди подобных кружков.

Руководил «Голосом юности» человек маленького роста, напоминавший сказочного тролля, а по теперешним книжным и мультяшным кумирам — и Карлсона, который, правда, жил не где-то на крыше, а в шикарной многокомнатной квартире на Марсовом поле. Хозяйкой квартиры была писательница Вера Федоровна Панова, тогдашняя жена Дара. До сих пор не знаю, чего в этом человеке имелось больше — наружного или внутреннего, то есть что в нем было ярче — внешность или интеллектуальное наполнение? Пожалуй, и то, и другое являлось для многих неожиданным (для многих, впервые соприкасавшихся с умом и манерами Дара). То есть неожиданен был он при ближайшем рассмотрении, а где-нибудь в толпе, в уличной стремнине разглядеть его миниатюрную фигурку не всегда удавалось, особенно случайному, неподготовленному зрителю. Зато уж кто пригляделся к нему, тот понял: в тролле сем и форма, и содержание — недюжинны.

Нос картошкой, губчатый, да и все лицо как бы из вулканической пемзы. Большая лохматая голова, огромный рот, во рту — гигантская трубка, увесистая и постоянно чадящая ароматным трубочным табаком. Дыхание хриплое, астматическое. Движения порывистые, как бы сопротивляющиеся болезни сердца и легких. Речь рассыпчата, невнятна, как бы с природным акцентом, но не с акцентом иностранца, а с оттенками пришельца откуда-нибудь из леса или с гор, пустыни, словом — из мира одиночества.

Оригинален до крайней степени. Кабинет его на Марсовом поле не похож на писательский. Комната малюсенькая, узкая, о которых говорят: «скважина». Почти всю площадь кабинета занимает необъятная тахта под засаленным ковровым покрывалом. На этой тахте он, как футбольный мяч на поле, подвижен, увертлив. Имеет под рукой чайные принадлежности, а также графинчик, сладости, дешевую колбасу — это все угощения для кружковцев, для себя — капитанский табак. О ваших стихах говорит, откинув голову назад, выняв трубку изо рта и чуть ли не плача — то ли от восторга, то ли от разочарования, то ли — от едкого табачного дыма.

Дар обожествляет в стихах деталь, предмет — конкретность видения. И — краткость изложения. Он заставляет фокусировать словесное зрение на «кирпичиках бытия», на отдельных представителях предметного мира. Он публично проклял, предал анафеме все наши литературные рассуждения о любви, патриотизме, справедливости, о мире и войне, не важно — о чем рассуждения, важно, что рассуждения, словоблудие, пресловутая риторика, веками поносимая умозрительность, растекаемость по древу, с которой подчас не могли справиться даже самые-самые, зоркие сердцем и разумом гиганты поэзии.

В моей тогдашней тетрадке стали появляться стихи-предметы, стихи-запчасти, стихи-существа, сами названия которых говорили за себя: «Зеркало», «Телефонная будка», «Почтовый ящик», «Комар», «Муха», «Ерш», «Ослик на Невском»... Для иллюстрации приведу это стихотворение 1954 года полностью как эталон даровской, кружковской стихо-эстетики и стихо-педагогики.

Рыжий ослик, родом из цирка,
прямо на Невском, в центре движения
тащит фургон, в фургоне — дырка:
«касса», билеты на представления.
Ослик тот до смешного скромен,
даже школьникам он послушен.

Город-грохот так огромен!
В центре — ослик, кульками уши.
Скромный ослик, немного грустный.
Служит ослик, как я,— искусству.

Лирика здесь как бы насажена на гвоздь басенной основы с непременной тогдашней моей концовкой, в которой — «соль» или, как требовал Дар — концовка, подсвечивающая картину — снизу вверх. Главное — чтобы резко, контрастно, выпукло, экспрессивно. И — кратко.

Чтобы словом, как кулаком,— по морде! — тоже его пожелание. Дар не был столь интеллигентен, как, скажем, Глеб Сергеевич Семенов, и здесь я говорю о чисто внешней стороне его личности, то есть ставлю оценку за поведение и прилежание, а не за глубину и выбор его познаний. Здесь Дар ближе к тому же Косцинскому, «обнародившемуся» за годы военных скитаний, опростившемуся до начальных ступенек цинизма, когда можно и... матерком вполголоса, особенно в стихах, и на запретную тему плотской любви поколебать лирическую струну, и что-нибудь социальное в виде глухого протеста, и в меру аполитичное, а то и скандальное провозгласить ненароком. Можно и нужно — все для той же яркости, броскости, крутости стиха,— чтобы не просто запоминалось — втемяшивалось, впечатывалось в читательско-воспринимательную память.

Что мешало Дару завладеть нашими сердцами полностью? По крайней мере, моим сердцем? Ведь Дар не был скучным, постным, традиционным; мужик, как говорится, что надо, особенно для нас, тогдашних архаровцев, внутренне раскаленных, а внешне сморщенных от «текущей» литературы, как от навязанного, каждодневного разжеванного лимона, от антипоэзии, которой нас пичкали официальные лирики того времени. Дар читал вслух ходившую в списках Цветаеву, цитировал Гумилева, Ходасевича («Камень» О. Мандельштама из остатков семейной библиотеки я принес на занятие лито и подарил ему), он обращал наши взоры к здравствующей, но полуопальной Ахматовой, знакомил с Зощенко, драматургом Володиным, с «Лукоморьем» Леонида Мартынова, часами читал в упоении смешливо-аляповатые опыты обериутов, «Столбцы» Заболоцкого... Весело было, ярко с Даром! Почему же тогда потянуло на сторону? К каким-то другим берегам и ощущениям, скажем, к «горнякам», которых объединил тогда Глеб Семенов и куда, помимо меня, пришли такие сторонние Горному институту начинающие поэты, как студент педагогического — Александр Кушнер?

У Дара в кружке я как бы питался одной оболочкой, кожурой, под коей не то чтобы ничего не оказалось — ничто не поманило в даль жизненную. Я мог бы сейчас выразиться определенно, то есть грубо, скажем: Дар не верил в Бога. А кто верил? Из нас? Визуально Бог не просматривался не только в нашем атеистическом обществе, но и повсеместно. К тому же — официально — как бы отменен вовсе. (Бога нет, а борьба с Ним ведется, перпетуум-мобиле какой-то неосуществимый, хотя и осуществляемый постоянно.) Стало быть, Дар даже символически не верил в возможность существования высших начал? Ведь можно не верить, не ходить в церковь, не класть поклоны, однако — жить в сторону Бога, Его заветов, в направлении законов христианской морали, потому как законы сии не противны морали коммунистической: не убий, не укра́ди, почитай и т. д. Тогда — кто же он, Дар? Примитивный безбожник? Вряд ли, ибо — не глуп.

Дар — жертва обстоятельств, продукт эпохи. В какой-то мере все мы — Павлики Морозовы и кавалеры «Золотой Звезды». Жить вне морали — легче, сподручнее. Жить блюдя, в отличие от блудя, жить, соблюдая принципы морали,— это великий труд; как сказали бы нынешние антиморалисты — «себе дороже». Жить вне труда духа, вне подвига — легче, даже так называемому интеллигенту. И все ж таки жить без элементарных убеждений невозможно — даже примитивному отбывальщику земного времени. Убеждением в безбожии чаще всего служит заурядный нигилизм, отрицание социальных, гражданственных, традиционных и прочих официальных ценностей. Таких людей, обходящихся в жизни без масштабной цели, без трепета сердечной мысли, без молитвы, хотя бы обращенной к солнцу, и называю «живущими без Ангела-хранителя».

Оглядываясь теперь на благие намерения наших отцов и дедов, вдруг обнаруживаешь, сколько же вреда нашему строю, нашим упованиям, да и всему облику нации нанесла так называемая мораль бескомпромиссной борьбы, сокрушения (читай — разрушения), «вечного боя!», постоянного напряжения мускулов, то бишь — бесовская мораль, в отличие от созидающей, милосердной, сострадальческой. Мораль «упоения в бою» опостылела народам, так как несла удовлетворение исключительно самим кровопускателям, а людям, обществу — ничего, кроме духовного краха и экономического распада не подарила. Ничего не только возвышающего или воскрешающего, но хотя бы — врачующего, хотя бы анестезирующего, умеряющего боль.

Даже в творчестве, даже в таинстве поэтического восприятия мира люди без Ангела вынуждены обходиться без кардинальной опоры, без хозяина духа, полагаясь на одни только нравственные эффекты, жесты, фейерверки; культ внешности, сло́ва как цели, мелодии вне глубины музыки, сюжета для слежения действа глазами, то есть обожествление оболочки, удовлетворение восприятием как симптомом, сигналом, переживая, как вздрагивая, лишь на начальной стадии проникновения в искусство, философию, исповедь. И от этой беды не спасает ни чтение классиков, ни потребление гениальной музыки, ни даже эмиграция на Запад.

Скажем, поэт Иосиф Бродский, признанный авторитет, лауреат Нобелевской премии за стихотворное сочинительство, наличие дарования у которого не подлежит сомнению, до недавнего времени оставался для меня тем же человеком без Ангела, ибо — продукт эпохи, личностный фундамент коего скреплен теми же компонентами, что и наш грешный. Думается, недаром в такой густой и роскошной ткани его сочинений нет-нет да и высунется выраженьице типа «верзать» (то есть — гадить) или вообще матерщинка — бесовский отрыг, похабщинка лютая проглянет. Потому как — без Ангела, как без зрения сердца. Без связи с высшим началом — только форма, слепок, опока, то бишь бесконечное производство впечатлений. Не говорю уж о всех прочих наших и не наших хватателях славы, хищников от пера, в том числе и о себе — раннем, жившем не просто без Ангела — в обнимку с дьяволом.

Давид Яковлевич Дар уехал в Израиль. Переменил климат, но на пользу это ему не пошло. Как-то, еще до его смерти, кто-то из кружковцев «Голоса юности» показал мне фотографию Дара — оттуда. Страшная фотография. Впечатляющая. Писатель изображен за письменным столом, по бокам от него стоят синие кислородные баллоны, такие же, как наши, отечественные. Нехватка воздуха. Уехать в жаркие страны при его-то жуткой астме беспощадного курильщика, при его-то бескорыстном служении юной поэзии остаться на отшибе земли, родившей его, остаться наедине с неразговорчивыми баллонами. Как мечтал он дожить до нынешних, милосердных для нашей литературы времен. Наверное, не меньше, чем Федор Абрамов, с которым дружил и частенько консолидировался на «застойных» писательских собраниях, внося в атмосферу этих собраний некий бодряще-веселящий газ, не дающий задремать или отчаяться.

В «Голосе юности» Д. Я. Дар очаровывал своих лирических ребятишек орнаментом, инструментовкой стиха, остротой поэтической фразы, отточенной метафорой, легко вонзающейся в утомленный повседневностью мозг читателя стихов и застревающей там надолго. В лито Горного института у Глеба Семенова акцент творческих усилий падал на идею, на пробуждение вольной мысли, на противостояние, а то и противоборство официальной, погрязшей в славословии унылых догм литературной политике, на участие в духовном обновлении общества в тумане нравственной оттепели тех времен.

Грянули венгерские события. В пятьдесят шестом некоторые из нас участвовали в осенней демонстрации, ежегодной и почти обязательной. Однако на этот раз среди монотонных портретов и лозунгов мелькали самодельные транспаранты с надписями: «Долой клику Булганина и Хрущева!» Подобные же мысли выкрикивались прямо из студенческой колонны, в том числе и на Дворцовой площади. Правда, недолго выкрикивались. У выхода с площади на бывшую Миллионную (Халтурина) улицу самых забывчивых и крикливых похватали и запихнули в черные воронки. От университетского лито был схвачен, а затем и судим поэт Михаил Красильников, от Горного института — студент по прозвищу Китаец. Помню, как перед самой демонстрацией многие из нас, разодетые почему-то «под Русь», в косоворотках, подпоясанных шнурками, в смазных сапогах,— демонстративно пили у общественной бочки хлебный квас, крошили в него хлеб и лук и хлебали, одни — с насмешкой над так называемым «квасным патриотизмом», другие — не сознавая насмешки. Во всяком случае, как нам тогда казалось, в действиях наших присутствовал его величество Протест. Тогда же, под знаком все того же протеста, было написано много кричащих и ворчащих стихов. Покрытых глазурью иронии — откровенно гражданственных. Наиболее отчетливые и острые написала поэтесса из Горного Лидия Гладкая. Вот некоторые запомнившиеся строчки из стихотворения, посвященного венгерским событиям:

Там красная кровь заливает асфальт.
Там русское «стой!», как немецкое «хальт!»,
«Каховку» поют на чужом языке,
к наш умирает на нашем штыке.

Заканчивалось это стихотворение печальной констатацией незыблемости произвола, к которому тянули страну приверженцы и соавторы недавнего сталинизма.

«Аврора» устало скрипит на причале,
мертвящие зыби ее укачали.

Достаточно сказать, что один из двух стихотворных сборников, составленных из сочинений литобъединенцев Горного института и отпечатанных в период оттепели на ротапринте в количестве 300 экземпляров каждый, был затем по прямому указанию Фрола

Козлова, тогдашнего «первого» в Ленинграде, предан аутодафе и публично (хотя и тайно от «широкой общественности») сожжен во дворе Горного института.

Вообще, состояние протеста было нам свойственно в ту пору, и все мы проявляли его как могли — иногда наивно, иногда задорно, но всегда в определенной мере артистично.

В даровском «Голосе юности» вместе со мной занимался тогда и замечательный ленинградский поэт Виктор Соснора, человек, очарованный музыкой слов, колдун ритма и рифмы, магистр и маг метафоры куда больший и рьяный, нежели москвич Андрей Вознесенский. Поэтический слух был у нас с Виктором разный, можно сказать — полярный; я смахивал тогда, и внешне в том числе, на Есенина, Соснора — на Уитмена, Маяковского и Блока вместе взятых.

У каждого из нас имелось тогда по роскошной шевелюре: у Сосноры — цвета ночи или воронова крыла, у меня — элементарная светло-русая, цвета пакли или прелой соломы, но густая и такая же, как и у Виктора, объемная. Мы тогда уже вовсю поклонялись Бахусу, причем поклонение получалось нескучным, экстравагантным, в меру нагловатым, словом, таким же, как физиономия стихотворения, о котором позаботился наш руководитель — Дар. И вот, предчувствуя заморозки оттепели, а заодно и крах венгерских событий, сидя на лавочке в «Сашкином саду» возле Адмиралтейства, решаем мы расстаться с величественными шевелюрами, принести их в жертву во имя свободы человечества — ни больше ни меньше. Идем в ближайшую парикмахерскую и стрижемся «под нуль». У Сосноры при этом обнаруживается на голове, в области темечка, ямка, как бы жерло уснувшего вулкана, у меня — две макушки и оттопыренные весьма уши — как бы символ некой неопределенности или двойственности, вроде той, общеизвестной — от несляния добра со злом.

Даровский «Голос юности», выращивая поэтические индивидуальности, порой из милейших задумчивых пареньков создавал озабоченных собственной неповторимостью монстров, причем многие из них надолго, а некоторые навсегда забывали, кто они есть на самом деле, для чего призваны в жизнь, и с увлечением начинали заниматься несвойственным их душевному складу ремеслом, то есть не тем, чем надо.

И здесь как нечто характерное в памяти всплывает судьба одного из кружковцев — Славки Гозиаса, с которым я познакомился в «козявке», то есть в садике, расположенном за спиной клуба завода имени Козицкого. Там под маркой игроков в домино и шахматы местные пацаны и паханы играли в свои грешные игры, в основном в картишки — в «буру» или «сéку», «очко» или «третями» («бято-есть»), а кто пограмотней — в «терс» или «рамс». Именно в этом садике проиграл я однажды новенькое пальто, которое мне, уже взрослому оглоеду, справила мать, приехавшая из Новороссийска навестить самостоятельно живущего в Питере сыночка.

Славка Гозиас обладал театральным, смазливо-броским лицом, высоким ростом, ужасно нравился женщинам, особенно зрелым, опытным, короче говоря, имел для занятий любовью все, что надо, и не имел четырех пальцев на одной из рук, не помню уже, на какой именно — правой или левой. В свои девятнадцать или двадцать был он официально признанным инвалидом труда, получал от завода, на котором лишился пальцев, солидную пенсию. Пальцы потерял он под прессом или штампом, а может, и под паровым молотом, потерял в одно мгновение, от них ничего не осталось. А пенсия, что-то рубликов шестьсот по старым деньгам, растягивалась для него с тех пор как бы на всю оставшуюся жизнь. Спрашивается, кто из нормальных советских людей откажется от подобного материального блага добровольно? Только тот, кто побывал в членах литобъединения «Голос юности». У кого внезапно прорезалась «яркая индивидуальность» по части писания стихов, за которые он в дальнейшем... не получит ни единого рубля гонорара, по крайней мере — в советских дензнаках.

Жил Гозиас в одном из старинных домов на Десятой линии Васильевского острова, причем — в отдельной квартире, правда, крошечной и даже не однокомнатной, а с каким-то привеском в два квадратных метра. Однако в аппендиксе этом наличествовали самостоятельное окно и диван, и даже карликовый стол, где писались стихи. Двери меж комнатами заменяла дырявая занавеска, сквозь которую просачивался смачный пьяный мат Славкиного непросыхающего отчима, бывшего маримана, ходившего в неснимаемой тельняшке и беспрерывно материвщегося. Мать у Гозиаса, Анна Григорьевна, была тоже... неродная. Вернее — мать-тетка, мать-родственница, являвшаяся подлинной Славкиной родительнице сестрой. Вот и жил Славка при родителях, но как бы и без оных одновременно. На пьяного отчима самостоятельно мог рявкнуть, заткнуть ему «курятник», а от «старушки», как величал он тетку-мать, потребовать дополнительную тарелку щей и гуляша для своего кореша, то есть — для меня, ибо оплачивал эти обеды своей кровно заработанной пенсией.

В начале нашего с ним знакомства стихов Славка не писал. Во всяком случае — легально. Не до того ему было на заводе и в садике-«козявке», тем более — дома, под родительским матерком. Однако некое окошко в его груди для восприятия лирических откровений — имелось. Отдушинка, величиной с тюремный глазок. Вот в нее-то, в эту отдушинку, и начал я заливать, а затем нагнетать кое-какие стишки свои грубого помола, а также посторонние — классической пробы. Уж я старался вовсю: и сочинял, и декламировал. К тому же посещал престижное литературное объединение, а несколько моих стишат предполагалось кем-то в скором времени опубликовать. Кажется, в коллективном сборнике молодых ленинградских поэтов «Первая встреча».

Спрашивается, почему я столь подробно о Гозиасе? Потому что — поучительно. В назидание будущим мальчикам и девочкам, реже — пенсионерам, хватающимся от нечего делать за перо и начинающим рифмовать километрами, а затем еще долго, иные — всю бессознательную жизнь, возмущающимся, что сочинения их не печатают, не дают им хода. А то, что их писанина, мягко говоря, не выдерживает критики, только подогревает азарт и апломб. Если сравнивать грубо, но доходчиво, то подобное сочинительство, на мой взгляд, сродни употреблению спиртных напитков, которое может стать болезнью, манией, писчим алкоголизмом, причем — мрачным. Это не означает, что все истинные поэты — трезвенники, но их даровитый порок излучает улыбку удачи. Подлинное, врожденное поэтическое дарование, отшлифованное затем трудом мысли и чувства, поначалу, пожалуй, мало чем отличается от грамотных словоизлияний бездарных умельцев. Тут-то и таится опасность впасть в безудержное словоизвержение на бумагу. Найди ученые вирус писательского таланта, и сколько сразу отпало бы забот и бед, сколько дополнительной пользы принесли бы граждане своему отечеству. А дело определения истинности среди стихотворцев и прозаиков свелось бы к элементарному лабораторному анализу: сдал каплю крови, и тут же, в лучшем случае — на другой день, получай результат. И занимайся отныне своим делом. Со спокойной совестью и сбалансированной психикой. Некоторые сравнивают настоящих поэтов с мнимыми на примере сравнения садового яблока с лесным дичком. Это сопоставление абсурдно. К дикой яблоне можно привить благородный подвой и через пару лет ожидать съедобных результатов. Бездарному стихотворцу что ни прививай, результат один: кисло, челюсть на сторону воротит, если вкусить.

В те годы и Славка, и я грешили стихами на равных. Поди разберись, кому эта хворь органична, а кому — злокачественна? И все ж таки каюсь: в случае с Гозиасом я невольно смутил его душу своей писаниной, когда разбрасывал пьяненькие стишата направо и налево, подогревая соблазн возжиганием вокруг своей головы нимба. Наглядевшись на этот мираж, Славка засел за стихи. И — весьма надолго.

Спрашивается, а сам-то я разве имею право на подобные рассуждения? Не рано ли — до сошествия в могилу — взялся рядить? Да и вообще — не судите, да не судимы будете. Разве не так? Так. Но в случае с Гозиасом я обвиняю себя, а не его. Уж он-то ни в чем, действительно ни в чем не виноват, разве — в том, что прикармливал меня в трудные месяцы жизни. Привечал. Прокаженного. За что и поплатился.

Ведь вот же другой мой приятель из той поры, Виктор Бузинов, с которым учились в одной школе на Васильевском и с которым также нередко питались из одного котла и пили из одного стакана, стихи писать поостерегся. А ведь у него и отец был сочинителем, правда, малоизвестным, однако книжки выпускал, и мама у Бузы грамотная — партийный работник, и книг у Виктора в комнате побольше, чем у Гозиаса, имелось, а вот поди ж ты, не соблазнился, не клюнул на чарующую удочку. Писал затем публицистику, работал на радио, да и сейчас там обретается, причем — в каких-то радионачальниках. Устоял. Не раскис. Наоборот — нашел себя. Из двух зол выбрал одно: карьеру журналиста. И честно ходит на службу. Каждый день. Тянет лямку. Порой даже — с любовью, то есть — с увлечением. Живет по-прежнему в любимом Ленинграде. Интересный, известный в городе человек. То есть — оригинальный. Самостоятельный. А Гозиас... Тот уже далеко. Где-то на чужбине. И, по слухам, разводит декоративных рыбок на продажу Уехал, а в стране, то есть дома, наступили иные времена: можно теперь и в России разводить рыбок на продажу. И даже — не обязательно декоративных. Можно открыть кооператив и разводить... Хоть угрей. Выходит, и здесь, в смысле рыбного дела, промахнулся Славка.

И все-таки могут спросить: почему прицепился я именно к Гозиасу? Уж не оттого ли, что мужик уехал куда-то там в Париж или Вену и теперь за него заступиться некому? Не оттого ли, что, по слухам (опять-таки «по слухам»), Гозиас выпустил там некие мемуары, в которых якобы нелестно отозвался о Горбовском как о «пьянице и антисемите со школьной скамьи»? Вряд ли из-за этого только... На «пьяницу» обижаться смешно, тем более — мне, саморазоблачившемуся в этом грехе. Обижаться на «антисемита» — грустно, потому что провокационная суть подобного заочного клеймения ненаказуема, а несостоятельность и лживость обвинения — недоказуема.

И все же — почему прицепился? А потому что Гозиас оттуда... Не «оттуда» — из-за кордона, а оттуда — из нашей юности. Из не просто незабываемого — из самого дорогого. Неиссякающего и невыцветающего, как безоблачное небо. Из той солнечной поры, когда мы действительно любим жизнь бескорыстно, очищенно, верней — незапятнанно — ни мыслями о смерти, ни прочими разочарованиями. Жаль терять свидетелей невозвратного праздника. Вот — почему. Хочется объяснить себе человека, удаляющегося от тебя не только материально, как, скажем, последний вагон поезда, помеченный красными огоньками, но и сердечно. Тем более, что с Гозиасом я никогда не ссорился. Не было желания.

Рифмовать Славка поднаторел изрядно, вошел полноправным членом в лито «Голос юности», рассуждал там и горячился, как все, однако с печатанием стихов — не получилось. И тогда он с невероятной серьезностью (и поспешностью) переключился на живопись. Начал «красить» — как сам он выразился на живописно-богемном сленге при встрече со мной лет через несколько после нашего с ним сидения в василеостровском «аппендиксе». Занимаясь живописью, подражал абстракционистам, примитивистам-сказочникам, однако ни Джексона Поллака, ни Пиросмани Нико — не перещеголял. Потому что опять не за свое дело взялся. Не восхитился, а возжелал. Несбыточного. Продолжая жить на поводу у собственной гордыни. Вплоть до финала. То есть — до отъезда, когда и от Васильевского острова пришлось отказаться, и от пенсии, и еще от многого.

Последняя наша встреча с Гозиасом произошла в районном ОВИРе, расположенном в здании отделения милиции на 17-й линии, куда по молодости неоднократно попадали мы, расплачиваясь за неукротимость иллюзий и веселый нрав. Теперь Славка сидел в коридоре заведения на лавочке и ожидал звонка над дверью в кабинет, где выправлялись для него документы на выезд. Седоголовый, все такой же импозантный, статный, внешне — не сломленный. На лице — прощальная решимость (разрешение получено!). Мы узнали друг друга мгновенно. К тому же — эти пальцы... А ведь не виделись много лет. И почему-то не кинулись на шею друг другу. Отвыкли. Сейчас я отчетливо знаю, почему не кинулся я. И скажу об этом предельно честно. Мне, похоже, было стыдно перед Славкой за то, что я печатаю стихи, выпускаю книжки, числюсь в членах Союза. Не знаю, отчего, но мне было как-то неловко перед этим отъезжающим на чужбину человеком. Словно это я его выпроваживаю, изгоняю, а не сам он добровольно, сознательно лишается гнезда, прочно любимого нами Васина острова, на продуваемой балтийскими ветрами земле которого выросли, жили и вот теперь встретились и сидим в милиции, чтобы затем расстаться навсегда друг с другом, а Славке — еще и с этим благим Островом нашей весны, нашей зари жизни.

В литературном объединении «Голос юности» возникали порой ребятишки, отмеченные настоящими писательскими способностями. Вся беда в том, что эти способности не закреплялись за их владельцами намертво, а значит, и не совершенствовались затем на протяжении всей их житейской практики. У нас в литературных кружках занимаются исключительно *выявлением* талантов, отливом золотой рыбки, констатацией наличия, а там — живи как хочешь, а надобно *закреплять* изображение тех способностей, иначе они, как незафиксированные фотоснимки, буквально на глазах начинают терять очертания, покуда не исчезнут полностью. Собственно, то же самое происходит и в общеобразовательной школе: идет плановое скармливание знаний (а точнее — сведений) и не свершается никакой работы с каждой отдельно нарождающейся для жизни личностью, выявляются (далеко не всегда) способности ученика, ставится условный значок, помечающий эти способности, звенит звонок об окончании школы, и дети, теряя на ветру жизни приобретенное в школе, уходят существовать недоразвитыми, неподлинными, в чьих душах не произошло соитие величайших мировых истин и личных устремлений к этим истинам.

Помимо вышеупомянутого Виктора Сосноры, с которым в «Голосе юности» объявились мы одновременно (кстати, и в Союз писателей затем через десять лет принимали нас в один и тот же день), так вот, помимо Сосноры человеком, обладавшим писательскими данными, причем — выпуклыми, отчетливыми, был в даровском кружке прозаик Юрий Шигашов, в дальнейшем за пятьдесят лет жизненного пути опубликовавший всего один рассказ, но в течение последних тридцати лет писавший постоянно, как каторжный, и соорудивший в конце концов обросший легендами полумифический роман-монолог под названием «Остров».

Над постелью Шигашова Ангелом-хранителем, а то и демоном-искусителем, но правильнее сказать — негаснущей укоризной, возвис литографированный Достоевский, духовный вождь Шигашова. Если оглянуться окрест и мысленно увидеть, что над постелью одних висит самоубийца Хемингуэй, над диваном других — убийца Сталин, а над раскладушкой третьих — убиенный рок-музыкант Джон Леннон, то выбор Шигашова как бы нейтрален и в то же время объемлющ, примиряющ и тех, и других. И третьих.

Шигашов — один из самых любимых мной соучастников штурма писательского ремесла, этого призрачного бастиона, за стенами которого ничего, кроме разочарования, утраченных надежд, ранней неврастении, приобретенного синдрома беззащитности и, в лучшем случае, мании величия. Образ и облик этого писателя-призрака, вся его многотрудная судьба трогают меня еще и тем, что вот — не печатается, а живет все-таки... как-то, каким-то образом. А еще и пишет, к тому же — в стол. Не скурвился, как некоторые, не продался. Может, и кощунственно звучит, но порой я отчетливо завидую Шигашову, у которого и роман-судьба написан, и совесть вроде бы чиста, тогда как ты, голубчик, весь в моральных долгах, как нищий — во вшах.

Не могу не вспомнить добрым словом еще одного, явственно одаренного начинающего

прозаика (что особенно ценно, так как начинающих поэтов, как звезд на небе,— не счесть), посещавшего «Голос юности», чья участь трагична. Так как человек этот, будучи юным, невинным, принял мученическую смерть.

Звали его Алешей Александровым. Писал он правдивые, отчетливые рассказы, чьи сюжеты были им почерпнуты из своего короткого, длиной в семнадцать лет, пережитого. Его лицо, лицо прозрачного еще паренька, девичьи-милого и одновременно серьезного от предчувствия миссии, возложенной на него судьбой, жившего в многолюдной семье, занимавшей подвальное помещение под одним из бывших доходных домов на бывшей Дворянской (Куйбышева) улице, и сейчас стоит у меня перед глазами, хотя после гибели Алексея прошло уже более тридцати лет. В то время, едва успев окончить ремеслуху, работал он на одном из ленинградских заводов, был кормильцем в многодетной (и одновременно — малодетной — от большого количества малолеток) семье, помогал одинокой матери воспитывать братьев и сестер. На заводе Алешу послали однажды в подвал-камеру, где хранились газосварочные баллоны, починить выключатель. В подвале стоял полумрак. Чинить выключатель наощупь Алеша еще не научился. И тогда он — некурящий и непьющий — сунул руку в карман и обнаружил... спички. Спички, которые никогда до этого при себе не носил. Алеша чиркнул спичкой по коробку, и тут же полыхнул взрыв. Парнишка занялся огнем, будто облитый бензином.

На крик прибежал мастер. Он принял мгновенное решение: прочно задраил стальную дверь в хранилище. Вместе с горящим там Алексеем. Чтобы перекрыть доступ воздуха, лишить огонь питания. Действовал мастер в противопожарных целях, спасал от огня цех, битком набитый горючими материалами. А то, что в камере могли взорваться баллоны — проигнорировал. А то, что в камере...

Мастеру было слышно, как Алеша бился изнутри о дверь и кричал. В подвале имелось зарешеченное окно. Щуплый паренек, мальчонка еще совсем, Алешка страшным усилием раздвинул толстые прутья и, все еще продолжая гореть, продрался сквозь тюремное окошко на улицу, то есть на заводской двор.

Ожог получил он самой крайней степени. Более восьмидесяти процентов площади телесной оболочки погибло. Умер Алеша в больнице. При полном сознании. И в страшных муках. Лицо ангела превратилось в маску монстра. Тело неимоверно разбухло.

Своей жуткой смертью Алеша Александров, помнится, подействовал на всех нас настолько отрезвляюще, унес с собой в могилу такую внушительную долю наших поэтических и чисто житейских иллюзий, что многие из нас не просто содрогнулись внутренне, но и мгновенно повзрослели.

Оплакивая участь Алексея, можно было бы словчить и представить в свое и его, Алешино, посмертное утешение, скажем, следующее обстоятельство: дальнейшая-де писательская судьба этого человека, скорей всего, могла не задаться (сколько примеров!), что стал бы он обивать издательские пороги, унижаться, мучить себя и своих близких понапрасну, или — сослаться на рок, а то и на неблагоприятное расположение звезд... И так далее, и тому подобная, лукавая, никого не утешающая муть, ибо жить — пусть нищим, пусть калекой, пьяницей беспробудным, врагом народа, обманутым мужем, доходягой, обреченным на медленное умирание, да кем угодно, лишь бы все-таки жить под солнцем или звездами, жить — час, день, лето, даже гореть в жизни факелом, но... гореть долго, даже бесконечно — это уже что-то в сравнении с могилой.

Спрашивается, за чьи тяжкие грехи (своих-то кот наплакал!) принял муки этот рано посерьезневший юнец? Чью вину, боль и скорбь разделил на своем кресте? Тема невинной жертвы всегда волновала умы, а также сердца человечества. Даже такие гиганты духа, как Достоевский, не могли порой найти оправдания пролитию невинной слезинки. А что же тогда нам остается делать? Особенно, когда смерть выхватывает нашего ближнего? «За что?!» — кричим мы в небо. Или — в подушку. И не можем примириться, и ежели взываем при этом к Богу, то — проклинаем Его, грозим Ему кулаками. Тогда как именно на этих невинных жертвах, «слезинках», держится неусыпность всечеловеческой совести. Нельзя оправдать свершающего жестокость. Жертва жестокости оправдана и вознаграждена — слезами и памятью людей, любовью Мира. Благоговением перед ее непреходящей чистотой и величием. Не за наши ли общечеловеческие грехи принял страдания этот мальчик, не нашу ли общелюдскую скорбь, боль, вину разделил, взяв на себя ношу смертную? Вечный покой его душе.

Рассказывая читателю о кружковцах «Голоса юности», я не хочу, да и не могу кого-то из них таким образом обессмертить, как не могу и воскресить.

Рассказывая о кружковцах, я как бы намеренно приоткрываю для несведущих глаз завесу, предлагая на их обозрение некие частности и подробности таинства превращения людей в писателей (оборотней), метаморфозу перерождения отдельных нормальных представителей населения нашей страны — в людей, одержимых литературным творчеством, а попутно и непомерным тщеславием, сумятицей в мыслях, неосуществимыми проектами, реже — каторжным трудом, граничащим с подвижничеством. Так что цель у меня самая практическая.

Читателю «Записок» необходимо знать, что литературное наше кружковство или

поиски себя в творчестве — это (моя, наша) мини-религия, не миссия, не задача, не установка и директива, а моление о помощи, пощаде, спасении, моя «политика сердца», не игра в буриме, не составление «перевертней» и акростихов, а то, чем жили мы в поисках истины, а значит, и самое драгоценное в жизни. Отказаться от пережитого, изъять эту «религию» из опыта всей моей судьбы — невозможно. «Трудно менять богов»,— сказано гением. И здесь, в подтверждение сказанного, в голову могут прийти всевозможные аналогии из обтекающего нас времени и событий, конструирующих это время.

Взять хотя бы объяснения тормозам и заслонам процессу теперешней перестройки. Почему не все как один кинулись от одного борта корабля к другому? Почему лишь самые бойкие, то есть просвещенные, подготовленные размышлениями и отчаянием, ринулись в гласность, в дискуссии, в ошеломляющую новь? Почему — не большинство отшатнулось от прошлого? Не из подсознательной ли боязни, что посудина от единодушных перемещений с борта на борт может перевернуться? Почему некоторые не только не побежали в сторону перемен, не только не пошли и даже не поползли в этом направлении, но — на примере прославившейся Нины Андреевой — и вовсе как бы устремились в другую крайность, то есть — вспять?

И тут необходимо посочувствовать, а не топтать. Необходимо предположить, что гражданке Андреевой не сам лично товарищ Сталин дорог и необходим, а что ей болезненно трудно расстаться не столько с принципами, сколько с кровной атмосферой того времени, с тем бульоном, где она выросла, где возникли ее родители, с той закваской, которую впитала она всем существом. В конечном-то итоге ей не Сталина жаль, а себя. И так всем, ностальгирующим по эпохе соколов и повального энтузиазма, жившим в унисон сталинской «музыке масс», жаль себя. Запоздалая любовь к своему «эго». Потому что в эпоху массовости этой любви не то чтобы не додано — не подразумевалось ее вовсе. Жаль себя. Ибо всё, чем и ради чего ты жил, в одночасье объявляется ересью, и неважно, что и впрямь — ересь, важно, что я — соавтор, сосоздатель этой ереси, которой не просто питались, которую исповедовали твои соотечественники. Прав, тысячу раз прав Ф. М. Достоевский — «трудно менять богов». Безбожникам всегда легче. Труд веры — тяжкий труд. Особенно, если он еще и — рабский. Подневольный. Навязанный. Но и в том, и в другом случае труд этот — выстраданный. И когда вдруг объявляется, что грош-де ему цена,— вот тут и взвоешь ненароком. И ничего странного. И чем искренней взвоешь, тем быстрее опомнишься.

Назову еще несколько кружковцев-даровцев. И прежде всего — Олега Охапкина. На моих глазах весь его печальный, даже скорбный поэтический путь — от белоголового румянощекого подростка в «ремесленном кургузом пиджачке» до уставшего, изможденного человека под пятьдесят, писавшего свои стихи всегда интересно, но всегда, на мой взгляд, несколько вымученно, в отрыве от сердца, по указке, и здесь парадокс — по указке не каких-то официальных, главенствующих над умами страны сил, а как раз наоборот — под нажимом сил протестующих, конфликтных, диссидентских. Охапкин — единственный из поэтов «Голоса юности», кто впоследствии напечатал свои стихи в сборнике ленинградского андеграунда «Круг», но это свершилось уже с приходом «великодушного марта» 1985 года.

И все ж таки, зная жизненную закваску этого стихотворца, заглянув ему еще тогда, на заре нашего кружковства, в мальчишеские глаза, полные добрых намерений и доверчивости к миру, смею утверждать: Охапкина сбили с пути. Замутили ему душу. Лишили ясности видения мира (отсюда — отсутствие ясности в поэтической строке, одного из главнейших условий отечественной поэтики). Сперва Дар постарался взъерошить мысли молодого человека, взъерепенить его душу, исказить монотонное восприятие мира, внести экспрессивную судорогу в узнавание предметов и образов повседневности и такими, уже под другим углом — выплескивать на бумагу в стихах или иных жанрах. Затем потрудились авангардисты, к которым Олег примкнул вследствие даровской взбудораженности. Мы — то есть Соснора, я, Леша Емельянов, позже Наталья Галкина, Леша Любегин — сочиняли и помаленьку печатались; Охапкин и его окружение только писали, а если и печатались, то где-нибудь за рубежом, вдали от читателя, потому что на Западе русского читателя нет, а есть отдельные читающие люди. Потерять или не найти своего читателя это вторая, отнюдь не маленькая беда — после беды первой: потери своего лица, своей органики, истинности, подлинности. И здесь — лучше уж тривиальность, простоватость, неотесанность, но — своя, узнаваемая, неискаженная хитрыми умами и обстоятельствами, нежели — чужая оригинальность, псевдонеповторимость, авангардистская подделка с чужого плеча.

Одно могу сказать определенно: стихи и стиль Охапкина всегда были духовны или, по крайней мере, обряжены в ее, духовности, пресветлые ризы. Когда его левацкие побратимы писали разнузданно, порой о какой-нибудь полухулиганской чепухе, лишь бы позаковыристей, понепечатней, в стихах Охапкина постоянно присутствовал некий, почти державинский, торжественно-выспренний витамин серьезности, причем серьезности многоохватной, божественного слога и слова.

Однако же когда Охапкину представилась возможность печатать свои стихи в официальной «Неве» или «Звезде» — он кротко на этот шаг согласился. Он и все остальные воители-протестанты, казалось, навеки замкнутого «Круга». Тяга к своему читателю возобладала. Ибо для поэта сие — как задержанный в груди вдох — можно задохнуться. По крайней мере — потерять сознание.

Подобное, но уже гораздо позже, едва не произошло с весьма одаренным деревенским тверским пареньком Лешей Любегиным. Он тоже успел застать в действии и на себе прочувствовать сокрушительное учение Д. Я. Дара. Лешину неокрепшую поэтику тоже поначалу потянуло в сферы изыска, во псевдоинтеллектуальные заоблачные выси. Но в случае с Любегиным верх взяла неиссушенная в городских мытарствах природа недавнего деревенского жителя, непорушенная доброта сердца и права существа, благодарного за одно только присутствие «на театре жизни».

Кстати, помимо нас с Соснорой и ныне покойным Алексеем Емельяновым (который почему-то, видимо, опять не без исказительной миссии Дара, урезал свою фамилию и в дальнейшем публиковал прозу — и чудесную повесть "Чур, мой дым!» в том числе — под псевдонимом Ельянов, то есть — под фамилией-инвалидом), так вот, помимо нас троих в Союз писателей были приняты, стали как бы официально профессионалами — Наталья Галкина и Алексей Любегин, гораздо позже — А. Степанов, принятый через тридцать лет после кружковства.

Процессу писательского оперения Любегина помог Дмитрий Терентьевич Хренков, тогдашний главный редактор Лениздата, присутствовавший на одном из публичных выступлений «Голоса юности» и обративший внимание на стихи Любегина — а стихи эти действительно выделялись, и не заметить их было нельзя. Хренков там же, в зале Дворца профтехобразования, предложил Любегину заключить с издательством договор, что случалось в те поры нечасто, верней — никогда не случалось. Чаще происходили сии сделки тайно, по знакомству или рекомендации. Так вот и была издана затем книжка А. Любегина «Мои стихи», к которой Хренков попросил меня написать небольшое предисловие.

А теперь хотелось бы повспоминать о некоторых фигурах, писавших стихи в литературном объединении Горного института, из коих один только Андрей Битов писал потаенно, а может, и вовсе не писал, принося на кружок вирши брата Олега, и, не выдержав в дальнейшем стихослагательской конкуренции, перешел на повествовательный слог, посредством которого и прославился.

Так вот — об отдельных именах литературного кружка Глеба Сергеевича Семенова и вообще — о кружке, о «горняках», как звали нас тогда среди пишущей братии, хотя далеко не все, вроде учителя словесности Александра Кушнера и меня, грешного недоучки, имели тогда профессиональное отношение к Горному институту.

Влияние на мою, конкретную судьбу этого кружка, а чуть позже и самого института — неоспоримо, неизгладимо, незабвенно. И весьма благотворно.

Прежде всего, кружок свел под одну крышу немало способных людей, не одного-двух, а сразу десяток, если не больше. А это уже само по себе чудо. Во-вторых, руководитель кружка сам писал хорошие стихи, причем пребывал не на каком-то недосягаемом поэтическом уровне, а, выражаясь горняцким языком,— в одном со всеми горизонте. Литературно-этические поиски, которыми занимался тогда наш учитель, совмещались с тогдашними поисками его учеников. Учитель уже отрекся от своих прежних (ранних) опытов, изданных во мраке оптимистического реализма, и сам сделался учеником, чтобы постичь свет надежд, пролившийся на страну после не менее великодушного марта пятьдесят третьего года. Горняцкое лито при Семенове было одним из самых радикальных, «правдоподобных», точнее — правдоискательских в городе, одно из самых свободомыслящих и свободомыслимых. А то, что в нем занимались именно *поисками* элементов истины, видно хотя бы из названий некоторых стихотворных книжек «горняков»: «Поиски» — так назывался первый сборник Владимира Британишского, «Поиски тепла» — Глеба Горбовского...

Ранее, в кружке Дара, я и впрямь поднаторел в отделке стиха, то есть — с наружной стороны проблемы. Среди «семеновцев» это обстоятельство было, конечно же, отмечено. Однако в Горном, как я уже говорил, занимались другим делом, а именно: поисками в поэзии себя, личной неповторимости, а также поисками в себе — величия Мира. А что? Искать так искать. В Горном, выражаясь специфически, «обогатилась» словесная начинка моих лирических опытов.

В дальнейшем, благодаря связям с геологами и геофизиками, начал я бывать в экспедициях, то есть уже не только фантазировать, сочинять, но и попросту жить в полевой обстановке, бытовать по законам рюкзачно-скитальческого клана романтиков тайги, гор и равнин, ибо тайна поэзии не менее глубока и необъяснима, нежели тайна всей человеческой жизни, и проникнуть в первую из них можно лишь неустанно постигая вторую. При условии, если — повезет. И еще при множестве различных условий.

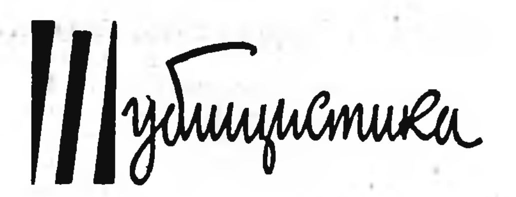
С помощью друзей-горняков удалось мне посетить Ферганскую долину в Средней Азии, Долину гейзеров на Камчатке, Верхоянский хребет в Якутии, нефтепромыслы

Северного Сахалина, Тикси и Амдерму, Лену и Амур, а также подножие вулкана Тятя на Курильских островах... Словом, поездил. Но главное: в кружке Горного института повстречался я с бесподобными людьми и их мыслями, с идеями братства (кружковского и всемирного), удалось сблизиться с сердцами, бредившими свободой, преображением страны, молившимися ее священному лику, проступающему из-под толщи духовного ледника, который все-таки сдвинулся и, пусть медленно, однако неотвратимо начал обнажать правду земли, на которой все мы родились и где не могли не любить — даже сквозь ледовитую толщу отчуждения.

Глеб Семенов и Борис Слуцкий (московский покровитель наших тогдашних устремлений), Владимир Британишский и Леонид Агеев, Олег Тарутин и Алик Городницкий, Лидия Гладкая и Елена Кумпан, Андрей Битов и Александр Кушнер, Евгений Кучинский и Михаил Глозман, Саша Гдалин и Гена Трофимов, Генрих и Саша Штейнберги... Не всех уже помню. Пути разошлись. А такие поэты, из «семеновцев», как, скажем, Лев Куклин и Нина Островская, кружок Семенова при мне не посещали. Не все из кружковцев выбились в писатели, но, в чем я уверен абсолютно, все остались хорошими людьми, мечтателями, способными восторгаться дождем или снегом, травой или камнем. Не делягами, но — очарованными странниками остались, потому что однажды, на заре своей прозрачной юности, люди эти пили горькое вино братства из чаши, которую кто-то из них смастерил тогда из единственного яблока, и пили это священное вино на гранитных ступенях, ведущих к Неве возле сфинксов, что напротив Академии художеств, а закусывали сердцевиной из того же библейского плода, и еще потому устояли на поприще людском, что молодость их была романтична, помыслы — бескорыстны, надежды, хоть и несбыточны,— прекрасны.

О некоторых из них постараюсь поведать подробнее. Потому что каждое из этих имен — отдельная глава моей жизни.

Продолжение следует



Публицистика

М. Молоствов

КУДА — «ВПЕРЕД»?

Диалектика и демократия

Михаил Михайлович Молоствов родился в 1934 году в Ленинграде, в актерской семье. Уже через год его родителям пришлось отправиться в ссылку в Саратов: из Ленинграда выметалось все «подозрительное» и «непролетарское», а Молоствовы — один из древнейших дворянских родов России.

В 1957 году Михаил Молоствов с отличием окончил философский факультет ЛГУ и уехал преподавать в Сибирь, где через год был арестован и в составе группы из четырех таких же «умников» приговорен по ст. 58 («антисоветская агитация и пропаганда») к 5 годам лагерей. Впрочем, этот приговор был отменен «за мягкостью», а следующий — 10 лет — «за суровостью». Поколебавшись, наша Фемида отмерила молодому философу 7 лет, которые и пришлось отсидеть «до звонка».

Освободившись, Молоствов вынужден был скитаться по российской глубинке — Омская, Псковская, Калининская области,— работал сельским учителем и почтальоном. Но подлинной его судьбой была философия — статьи Молоствова широко ходили в самиздате, печатались за рубежом...

В 1990 году судьба Михаила Молоствова круто переменилась: ленинградцы избрали его своим представителем в высшем органе власти России. Судьба переменилась — философия осталась прежней.

По своим убеждениям Молоствов — марксист. «И буду им,— пишет,— до тех пор, пока не потеряю чувство юмора». Но читатель легко убедится, что марксизм Молоствова совсем иного толка, нежели тот, что правил в нашей стране последние семь десятилетий. И разница эта своими корнями, мне кажется, уходит в то «Кредо», которое Молоствов четче всего выразил не в философских своих сочинениях, но в стихах:

Поскольку Частный Интерес
Поставить все готов на карту,
Многопартийность Бонапарту
Единственный противовес.
Когда Технический Прогресс
В Спасители себе пророчим,
Не Кибернетика ли Кормчим —
Единственный противовес?
Когда ты сам попал под Пресс,
В «объятья дружеские» то есть,
Давленью дьявольскому Совесть —
Единственный противовес!

В этом, на мой взгляд, и состоит весь секрет того, что философские статьи Молоствова, ходившие в самиздате еще в шестидесятые-семидесятые, и в наше бурное время не утратили ни актуальности, ни интереса.

С одной из них мы и знакомим вас сегодня.

В. Кавторин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Говорят: век атома. Говорят: век космоса.

Антропос! — говорил еще Человек в футляре.

Мы живем на перекрестке. Путь «из варяг в греки», а перпендикулярно ему — Невская перспектива, незаметно переходящая в Сибирский тракт, на нем же «ветер с востока довлеет над ветром с запада».

Философствовать на таком сквозняке — опасно: «Как бы чего не вышло?» У меня скромная задача — уточнить перевод двух греческих слов на варяжско-татарский: диалектики и демократии. От точности перевода в данном случае, по-моему, зависит многое, в частности, и то, удастся ли нам из атомов, как кирпичиков, сложить мироздание, которое

было бы на самом деле космосом, а не хаосом? Станет ли антропогенный пейзаж цветущим садом или пустыней?

Обращаюсь к словарю Даля. Диалектика — это «умословие, логика на деле, в прении, наука правильного рассуждения; по злоупотреблению, искусство убедительного пустословия» («Толковый словарь...», т. 1, с. 439).

Увы, великорусский язык Даля — мертвый язык, как и древнегреческий. Ну а в вечно живом варяжско-татарском канцелярите чем является диалектика — наукой правильного рассуждения или искусством пустословия?

«Философский словарь» под редакцией Юдина и Розенталя: «Диалектика...— наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления» (с. 98). Иначе говоря, это — наука обо всем. Ясно, что слово «наука» здесь употреблено не к месту. «Плюнь в глаза тому, кто скажет, что можно объять необъятное»,— советовал еще Козьма Прутков. Мы ограничимся признанием диалектики искусством — в этом и только в этом смысле употребляется это слово в официальных документах на нашем продуваемом перекрестке.

А демократия? «...Народовластие, мироуправство, народодержавие»,— подыскивал Даль словесный эквивалент понятию, взращенному в мягком климате средиземноморской цивилизации. Даль сознавал противоположность демократии таким доморощенным терминам, как «самодержавие, единодержавие, боярщина» (т. 1, с. 427).

У нас в 20-е годы употребляли выражение «самодержавие народа», сейчас говорят: «общенародное государство».

Быть может, моим согражданам будет интересно узнать, как осмысливались слова «диалектика» и «демократия» в ином культурно-историческом контексте, а именно, у себя на родине.

За мной, читатель,— туда, где два с половиной тысячелетия назад, как лягушки на берегу пруда, обитали древние пластические греки, на побережье Эгейского моря!

1. ПОЛИС — КОЛЫБЕЛЬ ДЕМОКРАТИИ И ДИАЛЕКТИКИ

Там и тогда родилось противопоставление политики и идиотизма. Если ты в курсе всего, что происходит в городе и мире, ты — политик. Если, напротив, ничего не хочешь знать и счастлив в своей Аркадии, ты — идиот. Такова этимология. Идея о суетности политического мышления и о блаженной мудрости идиотизма появится на белый свет позже и в не столь благословенном краю.

Грек, гражданин полиса, был мастеровым, мореплавателем, торговцем, художником и философом. Его гений оплодотворил европейскую культуру, выделив как высшую ценность индивидуальную свободу. Но разве не была эта свобода — свобода для немногих — куплена ценой рабства для большинства? Свободу нельзя купить ценой рабства.

Когда рабский труд вытеснит свободный труд, когда граждане полиса из производителей превратятся в потребителей, умрет и гражданская свобода. Умрет в Греции, умрет и в Риме. Торжество рабовладельчества в экономике обернется политической деградацией античного мира: демократии и республики уступят место цезаризму и диктатуре люмпен-пролетариата, вопящего: «Panem et circenses!»

Но демократия как политическая система маленьких городов-государств возникла до того, как применение рабского труда дало свои печальные плоды. Экономическим базисом полисной демократии было товарное производство. Недаром агора в Афинах служила рынком с утра и парламентом после обеда. Если бы там и тогда в борьбе за власть победили не предприимчивые и корыстолюбивые политиканы, а благородные идиоты, у которых, кстати, было не меньше рабов, Древняя Греция, возможно, вписалась бы в общую схему развития, характерную для восточных стран — от Египта до Китая. Сначала первобытный коммунизм, потом восточная деспотия, нечто среднее между рабовладением и крепостничеством с сохранением «аграрной коммуны» внизу и власти «знатных» в верхах... и так из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, пока проклятый колониализм буржуазных наций не нарушит извне безмятежный покой этого традиционного общества.

К счастью, Элладе была уготована иная судьба. Грек, гражданин полиса, располагал не только негативной свободой (от ярма рабства, от пут круговой поруки), но и позитивной свободой, то есть правом участия в делах государства-города. И это участие выражалось прежде всего в публичном слове, в искусстве говорить, утверждая, опровергая, убеждая и доказывая.

Слово у греков — это Логос. Его назначение не скрывать, а раскрывать смысл, поднимая частное мнение того или иного гражданина до общезначимого политического мышления. От Тезиса через Антитезис к Синтезу.

Как деньги, этот всеобщий товар, выделяются на рынке среди прочих товаров, облегчая их обмен, так в бурной речевой стихии Эллады кристаллизуется логика противоречий, диалектика. Между диалектикой как способом мышления и демократией как образцом

жизни существует нерасторжимая генетическая связь, а общей «почвой», породившей их, была торговая площадь.

Тут и крестьяне с плодами своей земли, и ремесленник с изделиями своих рук. «Третий в их союзе» — купец, отважный мореплаватель, меняла и маклер. Обмениваясь товарами, они обмениваются идеями. Предрассудки, коренящиеся в пережитках родового строя, сталкиваются с доводами рассудка, идиллический идиотизм и устойчивая нравственность с политическим прагматизмом. И когда опивки, ячмень и вино превращаются в мотыги, треножники, амфоры и статуэтки богов, когда деньги в любой момент могут стать и тем и этим, творец и созерцатель подобных метаморфоз, автор рекламных экспромтов, сочинитель и передатчик базарных слухов становится мыслителем.

Не об этом ли говорят известные фрагменты Гераклита?

«То, изменившись, есть это, а это, изменившись, есть то». «На огонь обменивается все, и огонь — на все, как на золото товары и на товары — золото». «Солнце не перейдет своей меры, иначе его настигли бы эринии, помощницы правды». «Всем людям свойственно познавать себя и мыслить».

Печать какого способа производства и какого образа жизни несут на себе афоризмы Гераклита? Очевидна печать рынка, товарного способа производства.

Тем не менее в нашей философской литературе как аксиома принято положение о рабовладельческом характере диалектики греков.

В 1-м томе «Капитала» можно прочесть: «Как мелкое крестьянское хозяйство, так и независимое ремесленное производство... образуют экономическую основу классического общества в наиболее цветущую пору его существования, после того как первоначальная восточная общая собственность уже разложилась, а рабство еще не успело овладеть производством в сколько-нибудь значительной степени» (т. 23, с. 346).

В духе Маркса объясняет феномен греческой классики М. Лифшиц: «Греки были первым народом, которому частная собственность и освобождение личности от уз кровного родства,— пишет он,— были известны не как исключение, но как правило... Развитие промышленности и торговли... революционизировало сознание... и создало почву для расцвета искусства» (К. Маркс. «Искусство и общественный идеал». М., 1972, с. 272).

Для расцвета искусства, науки и философии!

Диалектический способ мышления — следствие демократического образа жизни, а демократический образ жизни, в свою очередь,— следствие временного (увы, кратковременного!) преобладания в экономике товарно-денежных отношений между независимыми производителями.

Но почему все же у нас принято в рабстве, а не в свободе видеть причину взлета эллинской культуры? Да потому, что авторы книг о Древней Греции сами живут в обстановке, где лучше оказаться апологетом рабства (принудительного труда), чем прослыть «защитником вольности и права» да еще идеологом единоличников и кустарей-одиночек!

Говоря о генетическом родстве демократии и диалектики, я, конечно, не упускаю из вида тот факт, что творцами диалектики могли быть и бывали сторонники аристократической партии. Тот же Гераклит, например, или Платон, в «Диалогах» которого систематизирована логика противоречий, а в политических взглядах сквозит мечта о деспотическом кастовом строе.

Полисная демократия — это известно всем — родилась в борьбе между демосом (мелкими частными собственниками) и эвпатридами («лучшими людьми», партией, хранившей традиции родового строя, его нравы и предрассудки). Но не всем еще понятно, что эта демократия функционировала как демократия в той мере, в какой продолжалась внутри нее партийная борьба, пока наряду с правящим большинством сохранялось оппозиционное меньшинство, пока гражданин на самом деле выбирал между различными, иногда противоположными предложениями. Не только Сцилла деспотизма, но и Харибда тирании угрожала хрупкой структуре полиса. Суть демократии заключалась в лавировании, в изменениях курса, в возможности критиковать кормчих и добиваться их смены.

Между демократическим правительством и аристократической оппозицией в таких условиях возникло своеобразное разделение труда: имущие власть действовали, оппозиционеры теоретизировали. Причем действия иногда приносили вред демократической системе, а теоретические изыскания объективно шли на пользу. Во всяком случае, как бы Гераклит ни враждовал с демократическим большинством его родного Эфеса, *логика противоречий* в его голове была отражением политической системы, не исключающей, а предполагающей альтернативные решения.

Платон мог предпочитать «просвещенный деспотизм» афинским порядкам, но он не мог бы, живи он не в Афинах, а при дворе самого просвещенного из деспотов, представить себе ситуацию, свидетелем и протоколистом которой ему довелось быть: *сын повивальной бабки на площади помогал в спорах рождаться истине.*

Платон нам мил (со всеми его аристократическими предрассудками), но истина милее.

Сократ смертен, но логика противоречий, которую пытались устранить в его лице поборники тирании, считавшие себя защитниками демократии, пережила своих гонителей.

Молодой Маркс назовет Сократа демиургом философии (мастером, ремесленником!). Сократ не проповедовал, а вопрошал, не наставлял, как думать и жить, а «совращал» с наезженной колеи «провокационными вопросами». Сократовская ирония, по Марксу,— «диалектическая ловушка, при посредстве которой обыденный здравый смысл оказывается вынужденным выйти из всяческого своего окостенения и дойти... до имманентной ему самому истины... Эта ирония есть не что иное, как форма, свойственная философии в ее субъективном отношении к обыденному сознанию» («Из ранних произведений», с. 198).

Отношение философии к обыденному сознанию может, конечно, принять форму духовного аристократизма, «пафоса дистанции» (Ницше), благодаря чему устанавливается непреодолимая граница между «царством чистой мысли» и рассудком любого-каждого.

Но Сократ именно здесь был безусловным демократом. Если уже Гераклит утверждал, что «мышление свойственно каждому» и вместе с тем возможность просвещения, то Сократ только то и делал, что рассеивал тьму блеском иронии, не одаривал сверху царственными истинами, а пробуждал вопросами самостоятельное мышление оппонентов.

Можно подсчитать, какой процент учеников Сократа примыкал к аристократической, а какой к демократической партии, можно привести его высказывания (в «Диалогах» Платона их достаточно) против тех или иных институтов демократии; можно, напротив, ссылаться на социальное происхождение и положение Сократа, на то, наконец, что даже в предельной ситуации, несмотря на просьбы учеников, желавших устроить ему побег, он не считал возможным нарушить законы полиса... Так или иначе, рационалист-просветитель и диссидент Сократ был живым носителем демократических принципов, в то время как партия Анита и К°, преследовавшая свободомыслие, сама подрывала основы той политической системы, которую была намерена защищать.

Диалектика без демократии — схоластика, «искусство убедительного пустословия». Демократия без диалектики — это «самодержание народа», «общенародное государство» — что угодно, только не демократия.

Смерть Сократа — конец расцвета эллинской диалектики, собирать и систематизировать ее плоды выпало на долю мыслителям, жившим в принципиально иную эпоху.

По мере того, как труд рабов вытеснял демиургов из производственной сферы, превращая их в люмпен-пролетариат, живущий подачками от государства, деградировала политическая структура эллинских городов-государств. Платон еще мечтал о деспотизме. Аристотель уже был придворным педагогом у македонских монархов, подчинивших Грецию.

Аристотель... Маркс в «Капитале» назовет его «великим исследователем», который впервые анализировал «форму стоимости наряду со столь многими формами мышления, общественными и естественными формами» (т. 23, с. 68). «Гений Аристотеля обнаруживается именно в том, что в выражении стоимости товаров он открывает отношение равенства. Лишь исторические границы общества, в котором он жил, помешали ему раскрыть, в чем же состоит... это отношение равенства» (там же, с. 70).

Теперь посмотрим, как представлял себе Аристотель оптимальный вариант государственного устройства:

«Наилучшее государственное общение — то общение, которое достигается через посредство среднего элемента; и те государства имеют наилучший строй, где он пользуется большим значением сравнительно с обоими крайними элементами или, по крайней мере, сильнее каждого из них, в отдельности взятого...» Итак, очевидно, «средняя форма государственного строя есть форма идеальная, ибо только она не ведет к партийной борьбе; там, где средний элемент многочисленен, всего реже партийные распри и раздоры. И крупные государства по той же самой причине — именно потому, что в них многочисленен средний элемент,— менее страдают от партийной борьбы; в небольших же государствах население легче разбивается на две партии, так что между ними не остается места для среднего элемента» («Политика», М., 1911, с. 180—181).

Оптимальная политическая структура мыслится Аристотелем как статичная, а не динамичная система. Равновесие, исключение противоречий, благодаря среднему элементу, а не механизм партийной борьбы,— его идеал.

Полисная демократия была раздавлена империализмом, диалектика — метафизикой. Там, где прежде звучала полифония, где многообразие точек зрения считалось нормой, на пьедестал почета был возведен Полифем, одноглазый циклоп-людоед с «единственно правильной точкой зрения на вещи».

Печален конец Древнего Мира! Если бы история на нем прекратила течение свое, она бы заслуживала названия «повести без начала и конца, рассказанной каким-то идиотом».

Но за мной, читатель! Как ни устойчив и ни долговечен идиотизм, выдаваемый за идеальную форму политического устройства, настанет и его смертный час. Если Древняя Греция — колыбель демократии и диалектики, то буржуазная цивилизация Европы — их школа. Приготовительные классы средних веков, экзамены революций и аттестат зрелости — в будущем.

2. МЕЩАНСТВО — БЮРГЕРСТВО — БУРЖУАЗИЯ

Там и тогда — полис. Здесь и теперь — бург. За крепостной стеной, как на острове среди океана натурального идиотизма, непоседливый, горластый, продувной элемент образовывал то, что мы называем мещанством. Мещанин, в точном смысле этого слова,— недоразвившийся бюргер, так же, как бюргер — недоразвившийся буржуа. И промышленный пролетарий, выступивший в середине XIX века против промышленных буржуа — капиталистов,— опять-таки мещанский сын, наследник духовных традиций мещанско-бюргерско-буржуазной цивилизации.

Когда патетически противопоставляют мещанство гражданственности, забывают, что противопоставляют гусеницу бабочке. Когда восхищаются рыцарством и презирают мещанство вообще, воспаряют высоко в абстрактном романтизме, который, однако, здесь на земле оборачивается разнуздыванием далеко не благородных страстей. Вспомним гоголевского «лыцаря» Тараса Бульбу и рядом с ним Янкеля, «местечкового жида». Культ воинственной дородности и презрение к худосочному торгашу, стоит им просочиться из книг в жизнь, дают благословение если не погромам с их кровью и грязью, то «идейному» антисемитизму.

«Идейный» антисемитизм ненавидит еврейство так же, как Горький мещанство. Оба исходят из такого неверифицируемого понятия, как «дух». Дух торгашества! Но если мещанство — воплощение этого злого духа, то почему местечковое еврейство — не зло?

Антимещанский стереотип приближает нас к национал-«социалистическим» мифам. В прошлом веке достаточно махнуть рукой: «Социализм дураков!» Сегодня мы знаем, насколько опасна эта заразная глупость.

Постараемся рассмотреть мещанство исторически — без «благородных» предрассудков и политического высокомерия. (Так называемая гражданственность, противопоставляемая мещанству, порой не что иное, как бюрократическое презрение к заботам и нуждам обычного человека.)

Благодаря М. Бахтину, по крайней мере одна привлекательная сторона в образе жизни средневекового мещанства явлена нам — карнавал. При желании можно разглядеть в нем, как в зеркале, и серьезные стороны социального бытия: иерархию ценностей, связанную с церковной и светской властью, разветвленную цеховую организацию, а главное — первые попытки городского самоуправления.

«Одним из обязательных моментов народно-праздничного веселья,— пишет Бахтин,— было переодевание, то есть обновление одежд и своего социального образа. Ритуал и образы праздника стремились разыграть как бы само время, умерщвляющее и рождающее одновременно, переплавляющее старое в новое, не дающее ничему увековечиться. Время играет и смеется. Это — играющий мальчик Гераклита, которому принадлежит высшая власть над вселенной» («Творчество Ф. Рабле», М., 1965, с. 92).

Обратите внимание: играющий мальчик Гераклита! Не сгинули, стало быть, семена, посеянные впрок!

Изображенное Бахтиным карнавальное мироощущение — зародыш диалектико-демократического мировоззрения. Как игра предшествует труду, площадные шутки над власть имущими — венчание и развенчание их — предсказывали и репетировали грядущие революции.

Патриархальный крестьянин, занятый своим натуральным хозяйством, мог быть прекрасным человеком, но мысль о народе как целом не приходила ему в голову. Он лишь представлял себе страну (землю) единым царством (хозяйством) с коронованным патриархом во главе. Мужицкая вера в царя — это еще не мысль о национальном единстве.

Без рыночной площади и без индустриально-меркантильного расчета, притягивающего в город тех, кто прежде был разобщен родными просторами, без торговых связей не родилась бы мысль о народе как целом.

Именно в голове мещанина родилась эта мысль, в голове мещанина, который превращался в бюргера и буржуа. И чем дальше, тем больше политических черт обнаруживалось в этой объединяющей мысли (буржуа воспринимал себя как citoyen), пока в один прекрасный день грозный клич «Да здравствует нация!» не повел граждан Парижа на штурм Бастилии.

И как будто для того, чтобы придать закругляющую завершенность весело начатому и серьезно проведенному делу, камнями разрушенной средневековой тюрьмы (циклопическое сооружение!) вымостили площадь и написали: «Здесь танцуют!»

Карнавал родил Карманьолу.

В то время, как короли олицетворяли официально-скучное единство страны сверху, движение городских масс в лучших традициях карнавала вызывало к жизни единство нации снизу — единство в многообразии.

Передаваемое из уст в уста mot Б. Франклина «Ça ira» [1] обернулось площадной песенкой «Qui vivra, verra...». «Мы бедны,— говорила песенка,— но мы рабочие люди,

[1] Дело пойдет (*фр.*). (*Ред.*)

у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться — знание освободит нас; будем трудиться — труд обогатит нас,— это дело пойдет,— поживем, доживем...

Труд без знания бесплоден, наше счастье невозможно без счастья других. Просветимся — и обогатимся; будем счастливы — и будем братья и сестры,— это дело пойдет,— поживем, доживем...

Будем учиться и трудиться, будем петь и любить, будет рай на земле... это дело пойдет...» и т. д. Я привел перевод, сделанный узником Российской Бастилии Н. Г. Чернышевским («Что делать?». Л., 1970, с. 6).

Площадная песенка — программа. В ней и буржуазный культ труда и просветительство, плебейская мечта о братстве и вера в прогресс, в то, что со временем «будет рай на земле».

«Вертикальная шкала ценностей» (воспользуемся терминологией М. Бахтина) — от абсолютного верха до абсолютного низа — уступает здесь место горизонтальной шкале с «темным прошлым» позади и «светлым будущим» впереди.

Превращение тюрьмы в танцплощадку — безусловное и бесспорное достижение человечества. Здесь европейское мещанство поднялось до гражданственности («Декларация прав человека и гражданина»), гусеница стала бабочкой. Базисом этой метаморфозы было развивающееся товарно-денежное хозяйство, а ее имманентной политической структурой — коммуна как орган городского самоуправления.

«Коммуна» — это слово вызывает вихрь предрассудков и недоразумений. Под одним именем сегодня выступают антиподы: цвет европейской цивилизации и перезрелый плод азиатской общественно-экономической формации.

Но еще К. Каутский обратил внимание на принципиальное отличие бюргерской общины (коммуны) от крестьянской: «Между тем как германская крестьянская марка в своих отношениях к государственной власти была чрезвычайно близка к восточной сельской общине, в городах, в которых преобладали ремесленники, мы находим совершенно другой дух, мы находим здесь ту республиканскую черту, которая с этих пор не исчезала в мещанстве. Появился зародыш национальной жизни, потому что городам далеко не было безразлично, как сильные мира ведут дело управления страной. Они уже пытались оказать влияние на ход управления — шаг, до которого крестьянской общине, как до звезды небесной, далеко» («Национальность нашего времени». К. К-ий. «Северный вестник» за 1888 г.).

Крестьянская община состояла из лиц, напоминающих Платона Каратаева: покладистых и «округлых». Отсутствие инициативы «изнутри», естественно, дополнялось «извне» активностью ее эксплуататоров: помещиков, ростовщиков, государственных чиновников. Объединение общин (этих замкнутых в себе миров) в единое целое возможно было лишь сверху — силой государственного аппарата. Так механически известные «острова» объединяются в известный «архипелаг».

Напротив, городская коммуна станет зародышем объединения нации «снизу», недаром в Британии, этой экономически передовой стране, где мещанско-бюргерско-буржуазное развитие протекало в классически ясных формах, парламентом в собственном смысле этого слова стала палата общин — house of Commons.

Поразительно: в то время как постоянно делаются попытки отождествить городское самоуправление на Западе с «управляемой демократией» на Востоке, этим сообществом привязанных к земле и опутанных круговой порукой, не ведающих о своей неволе невольников, этимологическое и социально-политическое родство парижских коммун и английского парламентаризма как будто не бросается в глаза! В то же время нельзя до конца понять взаимосвязь демократии как образа жизни и диалектики как способа мышления в наш век, не учитывая британско-американского опыта парламентаризма.

Обычно считается, что во Франции революции доводились до конца, с неумолимой последовательностью. А в Англии, напротив, борющиеся классы искали и находили взаимовыгодный компромисс, останавливая начатое движение на полдороге. Доля истины в этом есть: и королева, и палата лордов, и масса всякого рода раритетов из прошлого хранятся англичанами как необычайно ценные музейные экспонаты. Но, с другой стороны, нигде, кроме Великобритании и ее заокеанского продолжения — США, буржуазное развитие не достигало в экономике и политике таких завершенных форм.

По эту сторону Па-де-Кале, во Франции, история делалась с, казалось бы, большей энергией и меньшей осмотрительностью. Зато и попадали французы, пылкие галлы, из огня да в полымя...

Великая французская революция произошла после американской Войны за независимость, диктатуры лорда-протектора О. Кромвеля, «славной революции» 1688 года. На чужом опыте трудно учиться — нам это хорошо известно. Известно нам и желание «догнать и перегнать». «Вперед, сыны отчизны»,— звала «Марсельеза» в полном соответствии с «горизонтальной шкалой ценностей». Но сыны отчизны шли не только вперед, но — употребим выражение Горького — «вперед и выше». Один из них поднялся над всеми, стал Отцом Отечества.

У входа в музей на Бородинском поле стоят трофейные французские пушки. Присмотритесь к их стволам. Увидите литые латинские литеры: «Liberté, egalité, fraternité», а сверху, как бы перечеркивая, чеканкой выбито: «NI». Его императорское величество, а под ним — высочества, сиятельства, и это после того, как «аристократов на фонарь», после работы гильотины.

В чем причина внезапного испарения республиканского духа во Франции? Когда раздумываешь над этим, кажется, что влагаешь персты в собственные язвы...

Вот книга А. Олара «Политическая история Великой Французской революции» (Петроград, 1918 год, Издательство Совета рабочих, крестьянских депутатов, издание (обратите внимание!) третье).

Вот книги наших соотечественников. П. Кропоткин... Е. Тарле, подаривший нам свою наполеониаду после чудесного возвращения с Соловков... Книга отца, посмертно реабилитированного, и статьи сына в «Новом мире» и «Континенте»... «Евангелие от Робеспьера», ставшее библиографической редкостью после эмиграции Гладилина и содержащее мартиролог героев и жертв революции. Etc., etc.

У Олара сказано, что в 1789 году ни одна из представленных в Национальном собрании группировок не формулировала еще республиканских лозунгов, потом уже в Конвенте будут спорить, кто был первым республиканцем среди французских политических деятелей. Предположим, что так.

В конце концов, слово «республика» — латинизм наряду с другими. И оно — Олар покажет это,— став обиходным, легко обернется псевдонимом. Сенат, например, 18 апреля 1804 года «ради спасения республики» объявит Первого Консула Императором.

Напротив, штурмуя Бастилию и подталкивая Национальное собрание на решительные действия против венценосного главы государства, плебейские массы Парижа действовали республикански, хотя и не называли еще себя республиканцами.

Фанатикам республики в 93 году казалось, что их «единая и неделимая» полностью и навсегда порвала с дореволюционной «вертикальной» шкалой ценностей. Но, борясь с внутренними и внешними врагами, правительство республики пользовалось централизованным аппаратом исполнительной власти, полученным в наследство от отвергнутой монархии, причем аппарат этот день ото дня расширялся, разветвлялся и усиливался: иерархия чиновников, армия, полиция.

Буржуазная «горизонталь» и добуржуазная «вертикаль» образовали во Франции устойчивую систему координат. В ней и благодаря ей Наполеон Бонапарт шагнул «вперед и выше». В ней и благодаря ей вычерчивается кривая от помоста для гильотины к ампиру Вандомской колонны.

В учебниках для детей не только школьного возраста принято противопоставлять «контрреволюционную диктатуру» Наполеона «революционной диктатуре» якобинцев. На самом же деле и та, и другая, решая разрушительные задачи революции (ликвидируя феодализм либо внутри, либо за пределами Франции), были различными ступенями, стадиями одного процесса, процесса подчинения буржуазного общества добуржуазному государству. Наполеон появился как deus ex machina, но машина эта была сделана для него якобинцами.

На преемственную связь между гильотиной и Вандомской колонной указывал не только анархист Кропоткин, о ней идет речь и в «Святом семействе» Маркса и Энгельса.

Наполеон, писали они, «был завершителем терроризма... И в области внутренней политики он боролся против буржуазного общества как против противника государства, олицетворенного в нем, в Наполеоне, все еще в качестве абсолютной самоцели» (т. 2, с. 137—138).

Ну, то, что Маркс и Энгельс неодобрительно относились к «культу личности» Бонапарта, никого не удивит. Удивит кое-кого неодобрительное отношение к борьбе против буржуазного общества, к борьбе, которую Бонапарт продолжал вслед за Робеспьером.

«После падения Робеспьера,— читаем в „Святом семействе“,— впервые начинается прозаическое осуществление политического просвещения... Революция освободила буржуазное общество от феодальных оков и официально признала его, как ни старался терроризм принести это общество в жертву антично-политическому строю жизни... Буржуазия находит своего действительного представителя в буржуазии. Буржуазия начинает, таким образом, свое господство. Права перестают существовать только в теории» (т. 2, с. 136—137).

Итак, оптимальный вариант политической надстройки на данном буржуазно-социально-экономическом базисе, по мнению Маркса и Энгельса,— не диктатура фригийского колпака или треугольной шляпы, а буржуазный парламентаризм.

Но дело в том, что эта (английская) политическая структура, функционировавшая во Франции между термидором и 18 брюмера, оказалась тогда недолговечной и хрупкой. Дело в том, что движение от конвента к директории и от директории к консульству и империи представляло собой поэтапное ослабление институтов представительной демократии перед лицом все возрастающей мощи централизованного аппарата исполнительной власти. Почему?

Отвечая на этот вопрос, можно сослаться на враждебное окружение и действия роялистской контрреволюции внутри страны, что вынуждало республиканцев усиливать военно-полицейский аппарат. Можно и должно указать на политическую индифферентность крестьян, получивших свою парцеллу. Все так. Но перечень причин политической деградации победившей революции будет не полон, если не указать еще на два, казалось бы, не столь важных обстоятельства.

Во-первых, разгром Парижской коммуны, школы плебейского республиканства. Во-вторых, перманентное уничтожение каждой правящей партией тех, кто по тем или иным причинам оказался в оппозиции к правительству.

Вот вслед за роялистами на эшафот поднимаются «первые республиканцы» — жирондисты. Вот «бешеные», а за ними Шометт и Эбер ликвидируются как «левый уклон», а Дантон и Демулен как «правый». Одни гибнут за религиозность, другие за атеизм. Гильотина работает неустанно, и вот уже теряет голову и сам Неподкупный. Термидорианский переворот, провозгласивший конец террора, не остановил, однако, практику уголовного преследования политических противников квк «врагов народа». О термидорианцах хорошо сказал Е. Тарле: «Всегдашняя готовность к тому, чтобы убить или быть убитым, отличает всю эту группу» («Жерминаль и прериаль», М., 1957, с. 47).

В конце концов демократические партии потеряли столько голов, что можно считать приятной исторической случайностью, что во главе Франции «ради спасения республики» оказался прославленный генерал Бонапарт, а не шеф полиции Фуше. К другим нациям и в другие времена фортуна будет менее благосклонна.

Как я стараюсь показать, ликвидация оппозиции внутри демократических институтов, кажущаяся их укреплением, на деле означает их самоликвидацию. Не борьба партий в Конвенте была опасна для республики, а применение в этой борьбе такого оружия, как аппарат исполнительной власти, который, будучи пущен в ход, прекращал споры и дискуссии так называемыми «оргвыводами»: возведением одних на пьедестал, низведением других — хорошо, если в темницу. И вот Полифем в «сером походном сюртуке» заглушает политическую полифонию.

По эту сторону Па-де-Кале возникает то, что К. Поппер назовет «закрытым обществом». Но сделаем «шаг великана» и перенесемся из «закрытого общества» в «открытое».

3. РАЗВИТОЕ ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. «ОТКРЫТОЕ» И «ЗАКРЫТОЕ» ОБЩЕСТВА

Задолго до того, как появилась на свет книга «Открытое общество и его враги», автор «Капитала» ясно и недвусмысленно показал преимущество английского парламентаризма перед политической системой, скрывающей социально-экономические противоречия под «шапкой-невидимкой» милитаризма, бюрократизма, тайной полиции и явной цензуры.

Разумеется, путь Британии и США не был усеян розами.

Американский фермер (вчерашний диггер, перекрещенный водой Атлантики в пионеры) был тертый калач. Мещанско-бюргерский опыт своих британских предков он применил на безграничных пространствах и, поднимая целину, врубаясь в леса, разводя скот, не впал в идиотизм, если принять во внимание политические структуры, которые сложились благодаря ему к концу 18-го века в Северной Америке, и политических деятелей масштаба Б. Франклина или Т. Джефферсона.

«Если ты любишь жизнь,— поучал Франклин соотечественников,— не трать время зря, потому что жизнь состоит из времени... Если время — самая драгоценная вещь, то растрата времени... самое большое мотовство. Поэтому паши землю глубоко, пока спит лежебока, и у тебя будет достаточно зерна для продажи и для себя» («Американские просветители», М., 1968, т. 1, с. 89—90).

Автор «Капитала» назовет Франклина одним из первых экономистов, разглядевших природу стоимости. «Так как торговля вообще есть не что иное, как обмен одного труда на другой труд,— цитирует Маркс великого американца,— то стоимость всех вещей наиболее правильно оценивать трудом» (т. 23, с. 60).

Напомню: Аристотель не находил общей меры, позволяющей приравнивать один товар к другому, потому что производительный труд для него был синонимом рабства, а раба он не считал за человека. Напротив, для Франклина человек — это «toolmaking animal», т. е. животное, делающее орудия, а потом уж политическое животное, как думал Аристотель. Франклин жил в обществе, где будущее принадлежало свободным товаропроизводителям. Эти ремесленники и фермеры знали, каких усилий стоит та или иная вещь, ценили свое и чужое время, как деньги.

Человек Франклина, производящий «для продажи и для себя», разумеется, не мог и не хотел, чтобы общие дела в его стране решались без его участия. Он нуждался в законах и институтах, выражающих его волю и защищающих его интересы.

Друг Франклина, Т. Джефферсон, объявит целью национального правительства «обеспечение прав человека». «Если же данная форма правительства,— писал он,— становится гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить ее» («Ам. просв.», т. 2, с. 27).

Вот уже больше двухсот лет, как диалектико-демократическое учение об изменчивости социальных, экономических и политических форм во времени декларировано и приобрело юридическую силу.

Подобно тому, как Москву у нас называли большой деревней, США можно назвать большим городом, Железным Миргородом — соотнесем этот есенинский образ с Янкелем и Бульбой, местечковым Рыцарем товарно-денежного хозяйства и его запорожским Санчо Панса.

Если угодно, можно назвать Америку и городом Желтого Дьявола (антипод земли, которую «в рабском виде Царь небесный исходил, благословляя»), но тут антикапитализм принимает уже мифическую форму и соскальзывает в сторону национал-«социализма». Поэтому скажу просто, без расцвечивающих эпитетов: город, бург, *мегаполис* на базе развитого товарного производства.

Развитое товарное производство — это что?

В античную эпоху товарное производство развилось до купли-продажи живых носителей рабочей силы. Дальше — тупик.

Повсеместное распространение товарно-денежных отношений к 19-му веку тоже дало два тупиковых отклонения: рабство в южных штатах и торговля «живыми душами» в России.

В отличие от купли-продажи живых носителей рабочей силы, капитализм — это товарное производство, развитое до превращении в товар самой рабочей силы. Причем продавцом ее является свободный лично, но лишенный средств производства непосредственный производитель. Капитализм — это общество вольнонаемного труда. Дух изобретательства, убиваемый при рабовладельческом способе производства, дает при капитализме доказательство своей жизненной силы.

Когда саквояжники-янки побили джентльменов с юга, это была победа вольнонаемного труда, распахнувшая дверь техническому прогрессу. Между прочим, именно с конца 60-х годов Т. А. Эдисон начинает получать один патент за другим, и его изобретения немедленно внедряются, давая новые импульсы развития индустриального производства и научной мысли.

Но ликвидации принудительного труда и торжество вольнонаемного в США имели не только технически-прикладной смысл.

От имени Международного Товарищества Рабочих к президенту США А. Линкольну обратился с приветственным письмом К. Маркс: «Милостивый государь!.. Мы шлем поздравление американскому народу в связи с Вашим переизбранием огромным большинством... С самого начала титанической схватки в Америке рабочие Европы инстинктивно почувствовали, что судьба их класса связана со звездным флагом... Рабочие Европы твердо верят, что подобно тому, как американская Война за независимость положила начало эре господства буржуазии, так американская война против рабства положит начало эре господства рабочего класса. Предвестие грядущей эпохи они усматривают в том, что на Авраама Линкольна, честного сына рабочего класса, пал жребий провести страну сквозь беспримерные битвы за освобождение порабощенной расы» (т. 16, с. 17—19).

Официальные представители «марксизма» не любят вспоминать это письмо. Они предпочли бы, чтобы рабочий класс Европы связал свою судьбу не со звездным флагом, а со знаменами, прикрывающими экзотический симбиоз товарно-денежной экономики и «восточной общей собственности», наемного и принудительного труда, что и представляется им «марксистской» моделью современного индустриального общества.

С другой стороны, присяжные антимарксисты зачислят это высказывание Маркса в ряд пророчеств, которые не сбылись и не сбудутся никогда. «Господство буржуазии», «господство рабочего класса» — к чему все это?

Дай Бог, чтобы существовали, как прежде, западная демократия и рыночная экономика. От добра добра не ищут!

Но дело в том, что демократия может существовать лишь как динамичная система. Без «обновления одежд и своего социального образа» демократия перестанет быть сама собой. Когда большинство народонаселения данной страны составляли мелкие товаропроизводители, их представители составляли правящее большинство в парламенте — это и было демократией. Когда же — в силу законов, присущих товарному производству,— все увеличивающееся число граждан становилось наемными работниками физического и умственного труда, а им противостоял все суживающийся круг лиц, называющих себя работодателями, разве не естественно было задаться вопросом: чьи представители будут преобладать в парламенте? Если политическая власть будет принадлежать меньшинству собственников средств производства вопреки воле большинства, мы получим аристократическую форму правления (элитарную, авторитарную — какую угодно, только не демократическую в подлинном смысле этого слова). Если же демократии сохранится, то она,

конечно, обновит свой социальный образ: господство буржуазии уступит место господству рабочего класса.

Отвлеченные рассуждения, скажете вы? В таком случае прямо сопоставим «пророчество» Маркса с современной действительностью в Западной Европе.

Чартистское движение в Англии, как известно, вылилось в создание лейбористской партии, которая в наш век и в качестве правящей, и в качестве оппозиционной определяла и определяет политический курс Британии. То же самое можно сказать о рабочих партиях других стран — от Австрии до Швеции. Наступила «эпоха господства рабочего класса». Причем звездный флаг гарантирует — что открыто признавал еврокоммунист Э. Берлингуэр — существование обновленного образа европейской демократии.

Итак, развитое товарное производство как базис и парламентская демократия как надстройка образуют в настоящее время социальную систему, которую с полным правом называют открытым обществом, открытым двояко: во-первых, оно не придавлено сверху бюрократическим, военно-полицейским аппаратом, во-вторых, оно не лишено перспективы дальнейших социальных преобразований.

Конечно, наш 20-й век — смутное время. Сейчас, как никогда, «это, изменившись, есть то, а то, изменившись, есть это». Сосуществование и конкуренция социальных структур различной степени открытости или закрытости ведет к удивительным метаморфозам. И все же можно и должно в каждом конкретном случае отличать общество, располагающее независимыми средствами массовой информации, гражданскими свободами и избираемыми представительными учреждениями, от обществ, скрытых за железным или бамбуковым занавесом.

Причем придется признать, что старая мысль Маркса, оспариваемая многими, в том числе и официальными представителями «марксизма», о решающей роли «экономического фактора» подтверждается почти повсеместно. Именно для экономически развитых стран характерны устойчивые демократические порядки.

Символ закрытого общества — Полифем на монолитном пьедестале с «единственно правильной точкой зрения» и перстом, указующим: «Вперед!» Куда «вперед»? — спрашивается. Разумеется, к благу всего человечества, правда, через мировое торжество «единственно правильной точки зрения», то есть ценой экспроприации собственных глаз, собственного мнения у рядовых граждан.

Есть Полифемы «марксизма», есть Полифемы «Христа ради», Полифемы «во имя Аллаха», Полифемы «чучхе» — несть им числа. Одноглазые сверхчеловеки не склонны прислушиваться к благим пожеланиям, а ослепленные ими толпы идут за ними, как за поводырями. Зрячему человечеству нельзя закрывать глаза на необходимость борьбы за мировое сообщество открытых глаз.

Сознательно самоуправляющееся общество или общество, управляемое аппаратом насилия, стоящим над обществом,— такова главная дилемма наших дней. Тут каждый обязан сделать выбор, тут нельзя увиливать, ссылаясь на многообразие точек зрения.

За мной, читатель, если тебе не улыбается перспектива состоять почетным членом общества слепых! Посмотрим, как преломлялся опыт социально-политического развития по эту и по ту сторону Па-де-Кале в головах крупнейших мыслителей Европы — Гегеля и Маркса.

4. ЕГОР ФЕДОРОВИЧ ГЕГЕЛЬ И КАРЛ ГЕНРИХ МАРКС

Общепризнано: политические действия французов в 1789—1814 годах нашли свое философское выражение в диалектической системе «Аристотеля нового времени» — Г. В. Ф. Гегеля.

Самого Аристотеля Бог наказал Александром Македонским. Есть мнение, что гегельянство — педагогика современных «Цезарей и Чингизханов» (Ортега-и-Гассет). Это несправедливо. Школу Гегеля — плохо ли, хорошо — прошли Гейне и Фейербах, Бакунин и Прудон, Белинский и Герцен. Автор «Капитала» называл себя учеником Гегеля. Так почему же «алгебра революции» кажется порой «арифметикой деспотизма»?

Политические взгляды немецкого Аристотеля эволюционировали от почти анархизма — через бонапартизм (преклонение перед «Кодексом» Наполеона и военным гением, разбившим феодальные армии Европы) — к признанию конституционной монархии оптимальной формой для «прогресса в сознании свободы».

Вот как молодой Гегель относился к абсолютизму на земле и на небесах: «Я покажу, что не существует идеи государства, ибо государство есть нечто механическое... Идею составляет только то, что имеет своим предметом свободу. Следовательно, мы должны выйти за пределы государства! Ибо любое государство не может не рассматривать людей как механические шестеренки, а этого как раз делать нельзя, следовательно, оно должно исчезнуть... Наконец дело дойдет до идей морального мира, божества, бессмертия... Свободу нельзя искать в Боге и бессмертии за пределами самих себя» («Работы разных лет», М., 1970, т. 1, с. 212).

Анархизм Гегеля, как и его почти атеизм,— результат юношеского и очень субъективного идеализма... Возраст, накопленные знания и сила логики должны были насытить историзмом концепцию Гегеля и освободить его идеализм от субъективизма молодости, благородного и абстрактного.

Автор «Феноменологии духа» уже по-иному смотрел и на свободу, и на государство, и на религию. Социальные структуры и системы идей, сложившиеся в процессе истории, представляются ему теперь не столько пределом индивидуальной свободы, сколько способом ее реализации.

Можно сказать, что траектории гегелевской мысли определена той же системой координат, что и социально-политическое развитие в континентальной Европе: «горизонталью» буржуазного прогресса и «вертикалью» государственных форм.

Как это блестяще показал Г. Лукач в книге «Der junge Hegel» (Berlin, 1952), знакомство с английской политэкономией питало его диалектику. Другое дело, что Гегель сумел втиснуть ее в рамки идеалистической системы, то есть сделать то, что не удалось Наполеону по отношению к Англии. Блокада диалектики абсолютным идеализмом оказалась прочнее континентальной блокады.

Усматривая связь между произвольными границами гегелевской диалектики и «арифметикой деспотизма», я все же считаю главным в идейном наследстве Гегеля не эти границы, а то богатство содержания, которое заключено в них и которое Герцен с правом назвал «алгеброй революции».

По мнению «Штутгартского философского словаря», из западных философов именно Гегель оказал наибольшее воздействие на читающую Россию. Россия отплатила Западу, как отмечает тот же словарь, Достоевским.

Да, Гегель посмертно стал Егором Федоровичем. («Не поеду в Россию,— шутил Т. Манн,— там меня будут величать Фомой Ивановичем».)

Фамильярное усвоение нами гегельянства, начиная с «неистового Виссариона» и не менее неистового Хомякова, конечно, не обошлось без крайностей. Впрочем, и сам Гегель был виноват в том, как его воспринимали в Германии и у нас «левые» и «правые» гегелинги.

«Что действительно, то разумно; что разумно, то действительно». Этот нарочито двусмысленный (противоречивый) тезис учителя заставил учеников столкнуться лбами. В подтексте этого гегелевского постулата — идея единства теории и практики, убеждение, что и действительность, и разум — взаимосвязанные и обусловливающие друг друга процессы, но как определить в конкретной ситуации — «здесь и теперь»,— кто прав: адепты разума (проповедники новых идей) или апологеты исторически сложившихся институтов, то есть действительности?

Диалектика — это способ мышления, и сама по себе она не содержит готовых ответов на поставленные вопросы. Ответы отыскиваются с ее помощью либо в «царстве мысли», если вы идеалист, либо в совокупности фактов.

Посмотрим, как представлял себе диалектический способ мышления сам Гегель.

«Это в основе своей не что иное,— говорил Гегель о диалектическом способе мышления,— как урегулированный и методически разработанный дух противоречия, который присущ каждому человеку,— дар, обнаруживающий всю свою важность в различении истины от лжи».

Гете возразил: «Жаль только, что такого рода изысканными приемами часто злоупотребляют и применяют их для того, чтобы истинное представить ложным, а ложное истинным... Поэтому я стою за изучение природы... ибо здесь мы имеем дело с бесконечно и вечно истинным... Я вполне уверен, что многие больные диалектикой в изучении природы найдут благодетельное исцеление» («Разговоры с Гете в последние годы его жизни», М.-Л., 1934, с. 750—752).

Замечательный обмен репликами! Наглядный пример того, что не может быть монополии на истину, даже если перед нами сам «месье Готт» (Бог), как называл Гете Наполеон, и сам Егор Федорович, роль которого в данном случае напоминает роль Мефистофеля в «Прологе на небесах».

Для Гете «дух противоречия», да еще «присущий каждому», слишком отдает 1789 годом. Диалектика, с его точки зрения,— болезнь.

В словах Гегеля звучат три связанных друг с другом мотива. Во-первых, вслед за Гераклитом и Сократом немецкий диалектик высказывает здесь убеждение, что «мышление свойственно всем». Во-вторых, «дух противоречия» рассматривается им — опять-таки вслед за античными мыслителями — не как помеха, а как стимул и способ искания истины. В-третьих,— здесь Гегель наиболее оригинален — он предлагает системный подход к исследованию форм мышления на пути от противоречия к истине.

«Что есть истина?»

Понтии Пилаты всех времен и народов не верят в истину вообще.

Автор «Феноменологии духа» писал, пользуясь образом, близким мироощущению автора «Метаморфозы растений»: «Почка исчезает, когда распускается цветок, и можно сказать, что она опровергается цветком; точно так же при появлении плода цветок призна-

ется ложным наличным бытием растения, а в качестве его истины вместо цветка выступает плод». Так совершается, по Гегелю, «прогрессирующее развитие истины» (Соч., т. 4, с. 2).

Самосознание, снимающее противоречие между сознанием и его предметом, таким образом,— истина сознания. Общественное самосознание, проявляющее себя в нормах нравственности, снимающих противоречия между индивидуальными самосознаниями,— истина самосознания и т. д., и т. д. Когда же труд истории завершится созданием прусско-прочной конституционной монархии, гарантирующей «свободу мысли», наш разум получает возможность обрести «ценностей незыблемую скáлу над жвлкими ошибками веков». Цвет искусства, плод религии, семя мысли, из которого ему, Гегелю, выпала честь вырастить Древо Познания, Большую логику. В ней же и есть вся истина, полное совпадение субъективного и объективного, логики сознания и структуры вселенной.

Системный подход позволил Гегелю воздвигнуть систему, увенчанную абсолютным знанием. Но это высшее торжество разума было одновременно и могильным крестом над духом противоречия. Диалектика стала догматикой.

Система диалектических противоречий, созданная Гегелем, замкнута абсолютной идеей — в этом ее порок, но содержащееся в ней учение о «прогрессирующем развитии истины» — величайшее достижение.

Кому не известен афоризм: «Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна»? Его так часто повторяли, вырвав из гегелевского диалектического контекста, что он превратился в банальное утверждение в духе релятивизма: что истинно здесь, неистинно там; чего нельзя пощупать, о том не следует и говорить. Гуманизм, например, абстрактен, а тюрьма конкретна, следовательно, гуманизм — ложь, а тюрьма — истина.

Истина, как утверждал еще Аристотель,— это соответствие того, что мы говорим, тому, о чем идет речь. «Не потому ты бел, что мы называем тебя белым, а потому что ты бел, мы, высказывающие это, правы». Определенность времени и места, возможность экспериментальной проверки сказанного (верифицируемость) — все это, конечно, необходимые условия истинности наших знаний, необходимые, хотя далеко не достаточные. Чем сложней предмет, подлежащий исследованию, тем сложнее и ходы мысли, нацеленные на него.

Гегель называл абстрактными такие суждения о предмете, которые выхватывают одно попавшееся под руку свойство (ту же белизну), отвлекаясь от остальных, не менее важных, а быть может, и более важных характеристик предмета.

Абстрактно мыслят, по Гегелю, базарные торговки, когда они ругают друг друга, умело отвлекаясь от положительных качеств и выискивая непривлекательные свойства у оппонентов. Философская мысль должна всесторонне исследовать предмет. Всесторонне, значит, и с противоположных сторон. «Философия,— говорил Гегель,— стремится к конкретному».

«Абстрактной истины нет» — это значит, что истину нельзя замкнуть внутри какой-либо схемы, формулы, концепции или системы идей. «Истина всегда конкретна» — это значит, что «прогрессирующее развитие истины» осуществляется как бесконечный «процесс синтеза» схем, формул, концепций и систем, каждая из которых неизбежно абстрактна, то есть содержит не всю истину, а, будучи абсолютизирована, прямо лжет, но в то же время является не только «относительной истиной», но и «моментом» абсолютной, конкретной. Conkretus по-латыни — густой, твердый.

Стремление к конкретному, характерное для диалектической философии, превращает ее из «потока сознания» (из пустого в порожнее), из «дурной бесконечности» заблуждений, побивающих друг друга, в процесс сгущения истины.

Современная наука фактически по-гегелевски смотрит на развитие знания. Достаточно сослаться на принцип дополнительности, гносеологическое значение которого не только для физики, но и для биологии и психологии настоятельно подчеркивал, например, Нильс Бор.

А способ, благодаря которому меняется научная картина мира: новая теория включает в себя предыдущую как крайний случай,— разве он не является диалектическим движением от абстрактного к конкретному — к «единству противоположных определений»?

Современникам Гегеля диалектика казалась онтологией непознанного, структурой вселенной, явленной в откровении до того, как открытия специальных наук подтвердят ее фактами. Для нас диалектика — теория познания, возникшая не из «чистой мысли», а как результат обобщения данных самого долговременного эксперимента, который когда-либо совершало человечество, эксперимента над собой в процессе истории.

Обычно противопоставляют житейский опыт научным экспериментам. Но поле нашей деятельности — макромир — не изолировано от закономерностей, открываемых в мега- и микромирах. И до того, как мы вторглись в недра атомного ядра или воспарили в космос, мы жили в вероятностном, динамичном — «безумном, безумном, безумном мире». Попытка исторически осмыслить движения народных масс во время социально-политических катаклизмов или движение товарных масс на рынке, изучение предшествующих

этапов развития естествознании и теоретического мышлении — вот основание, позволившее мыслителю начала 19-го века протянуть руку естествоиспытателям 20-го.

«Ни А. Эйнштейн, ни Н. Бор не штудировали Гегеля»,— скажут мне. Но общеизвестно: Достоевский дал автору теории относительности больше, чем Гаусс. Что же касается Ф. М. Достоевского, то разве он не был запрограммирован гегелиянцами — Бакуниным и Белинским, с одной стороны, апостолами славянофильства — с другой? Это только пример непростой филиации идей. По самым различным каналам динамичная логика противоречий проникала в сознание современных ученых, предрасполагая их к созданию современной картины мира.

Беда Егора Федоровича — идеалистическая замкнутость его системы.

Медвежью услугу материалисту Марксу пытались и пытаются оказать те «марксисты», которые превращают диалектику «Капитала» в абсолютную истину на гегелевский манер. Но сам Маркс, слава Богу, не был «марксистом». Ученик Гегеля освободил диалектику из плена абсолютизма и сделал это благодаря тому, что осуществил юношескую мечту своего учителя — «вышел за пределы государства».

Траектория идейной эволюции Маркса совпадает с траекторией его жизни: из Пруссии через Париж и Брюссель в Лондон. У себя на родине он боролся с цензурой, бюрократией и полицейскими порядками. Из-за цензуры, писал он в «Рейнской газете», «правительство слышит только свой собственный голос, и тем не менее оно поддерживает в себе самообман, будто слышит голос народа, и требует также и от народа, чтобы он поддерживал этот самообман. Народ же, со своей стороны, либо впадает отчасти в политическое суеверие, отчасти в политическое неверие, либо, совершенно отвернувшись от государственной жизни, превращается в толпу людей, живущих только частной жизнью» (т. 1, с. 69). Над этой толпой возвышается бюрократия, которая, по словам Маркса, считает самое себя конечной целью государства... «Бюрократия есть круг, из которого никто не может выскочить. Ее иерархия есть иерархия знания. Верхи полагаются на низшие круги во всем, что касается частностей, низшие же круги доверяют верхам во всем, что касается всеобщего, и, таким образом, они взаимно вводят друг друга в заблуждение... Всеобщий дух бюрократии есть тайна... Открытый дух... представляется поэтому бюрократии предательством» (т. 1, с. 271—272).

«Для борьбы с инакомыслием бюрократическое правительство нуждается в законе, карающем за образ мыслей... А как проводится в жизнь подобный закон? С помощью средства еще более возмутительного, чем сам закон: при помощи шпионов» (там же, с. 15).

Борьба молодого Маркса с цензурой и полицейско-бюрократическим государством обусловлена была не только темпераментом полемиста, но и прежде всего философскими взглядами. Если он уже в своей докторской диссертации предпочел Эпикура Демокриту, свободу индивидуума жестко детерминированной системе, то понятно, что он не мог мириться с искусственными ограничениями свободы. Мысль Маркса, его слово и поступки (у цельных натур они неделимы) должны были вывести молодого философа за границы родного государства, а затем и за пределы «закрытого общества» вообще.

Зрелый Маркс отдавал себе отчет, что общественные противоречия, отображенные им в «Капитале», могли быть изучены и обнародованы лишь в Британии, стране, наиболее экономически развитой и политически свободной от скрывающего противоречия гнета бюрократического, военно-полицейского аппарата, стоящего над обществом.

Убеждение, что частная собственность — абсолютное зло, а марксизм — радикальное средство по ее искоренению,— основа основ официальной идеологии.

Я уже писал: с точки зрения Маркса, частная собственность мелких товаропроизводителей, сменившая первоначальную восточную общую собственность, была историческим благом, давшим классические образцы европейской культуры. Частная собственность крестьянина и ремесленника в средневековой Европе — исходный пункт буржуазного прогресса, ниспровергшего феодализм. Чудовищным автор «Капитала» считал как раз то, что великоны и трапезниковы, наши поэты и наши профессора, считают абсолютным благом: экспроприацию земли у сельского населения, кровавое законодательство против экспроприированных, сосредоточение собственности на средства производства в одних руках и нещадную эксплуатацию тех, кого лишили всего, кроме возможности продавать свою рабочую силу. Конечно, пролетариат можно назвать Его Величеством рабочим классом, а первоначальное накопление переименовать в «строительство светлого будущего», но при чем тут Маркс?

Для любого человека с сердцем, для Маркса в том числе, чудовищно отчуждение собственности от труда. Еще чудовищней концентрация и централизация средств общественного производства при параллельной пролетаризации общества. Если же централизованным капиталом завладеет стоящий над обществом государственный аппарат, аппарат насилия, мы будем иметь чудовище воистину циклопических размеров!

Критикуя жестокость буржуазного прогресса, Маркс все же не отрицал его достижений.

«Я смотрю на развитие экономической общественной формации как на естественно-исторический процесс»,— писал он в предисловии к «Капиталу» (т. 23, с. 10). Взгляд на историю как на процесс свойственен был и Гегелю.

Но Маркс учел упрек, сделанный Гете. Меняющееся от века к веку отношение «человек — человек» было поставлено им в зависимость от отношения «человек — природа». «Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой,— говорится в 5-й главе 1-го тома «Капитала»,— процесс, в котором человек своей деятельностью опосредует, регулирует обмен веществ между собой и природой» (т. 23, с. 188).

Открытие Марксом естественной подоплеки исторического процесса затемняется из-за недоразумений, связанных со словом «труд».

«У буржуа,— пишет Маркс,— есть очень серьезное основание приписывать труду сверхъестественную творческую силу...» (т. 19, с. 13). Выдается за прописную истину, будто «труд есть источник всякого богатства». «Труд не есть источник всякого богатства. Природа в такой же мере источник потребительных стоимостей (а из них-то ведь и состоит вещественное богатство!), как и труд, который сам лишь проявление одной из сил природы, человеческой рабочей силы» (там же).

Труд минус природа — это «дух» из сочинений Гегеля.

Трудовая теория стоимости открыла равенство людей, занятых различными видами труда в условиях рыночного хозяйства.

Христианство провозгласило равенство людей перед Богом.

Буржуазное право — раавенство всех перед законом.

Трудовая теория стоимости (как отражение реальности рынка) вынуждала отвлекаться и от природной специфики товара, и от природных качеств рабочей силы, производящей его. В обществе, связанном воедино рыночным хозяйством, равенство ваксы и шелка, а следовательно, и равенство их изготовителей могло иметь только одно основание — времи, общественно необходимое для изготовления и того, и другого.

Иначе говоря, рассматривая товар лишь как сгусток общественно необходимого времени, политическая экономия отрывала отношение «человек — человек» от отношения «человек — природа».

Критика политической экономии в «Капитале» Маркса начинается с установления диалектической двойственности товаро-меновой стоимости, с одной стороны, и потребительной стоимости, с другой.

Физики не смущаются оттого, что электрон в одной системе «ведет себя» как частица, а в другой как волна. Им известен принцип дополнительности. Ученик Гегеля Маркс знал, что такое «единство противоположностей». Если бы автор «Капитала» мыслил недиалектически, он не смог бы показать, каким образом из эквивалентного обмена рождается неравенство, почему трудовая теория стоимости превращается в теорию прибавочной стоимости.

«...именно из естественной обусловленности труда,— скажет он,— вытекает, что человек, не обладающий никакой другой собственностью, кроме своей рабочей силы, во всяком общественном и культурном состоянии вынужден быть рабом других людей, завладевших материальными условиями труда» (т. 19, с. 13).

Труд рабочего и труд менеджера в конце концов соизмеримы. Между ними различия в квалификации, интенсивности, продолжительности рабочего дня. Оба, в конце концов,— и рабочий, и менеджер — смертные люди, и бесценное для каждого из них ВРЕМЯ служит и мерой труда, и мерой вознаграждения.

Капиталист принципиально отличается от наемных работников как физического, так и умственного труда. Он бессмертный среди смертных, он вечен, как природа, как материальные условия труда, монополизированные им. Никто не вправе, кроме него самого, устанавливать меру его вознаграждения.

Конечно, не только поэт, но любой творческий работник, осознающий свой талант — свою рабочую силу — как природный дар, а не только растрату мгновений, вправе сказать о себе: «Я вечности заложник у времени в плену». Но «крытый черепицей старинный чердак» или дача в Переделкино, как и гонорары, как и суммы из литфонда, а очень часто отсутствие и того, и другого, и третьего, доказывают обратное в обществе, где все покупается и продается. Талант как «бесценное национальное достояние» остается красивым выражением, а агентам национализированных средств производства предоставляется право решать: «кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим».

Маркс видел границы, в которых действует закон стоимости. Земля, с одной стороны, талант автора «Потерянного рая» — с другой, как бы высоко или низко их ни оценивали, не имеют стоимости. Да и будущее общество рисовалось ему не как торжество «равной оплаты равного труда», а как царство свободы, где общественное богатство будет измеряться уже не общественно необходимым временем.

Главное же в «Капитале» — показ того, как стихия рынка, осуществлявшая закон стоимости «через его неосуществление», через игру цен, расслоила общество на имущих и не имущих собственность, на капиталистов и пролетариев.

Гражданам слаборазвитых стран, мечтающим о жизненном уровне любой из западных

стран и о буржуазной демократии, может показаться, будто капитализм с его противоречиями не более как выдумка «юго-восточной» официальной пропаганды.

Возьмем любую промышленно-развитую страну, ту же Великобританию. При наименьшем рабочем дне и при наибольшей производительности труда (производстве наибольшего количества продукции в единицу времени), при повременной, а не сдельной оплате труда там, казалось бы, торжествует победу трудовая теория стоимости. Но, как в насмешку, страна в целом и ее рабочий класс в первую очередь оказываются в рабской зависимости от Каддафи и К°, традиционных шейхов и «революционных» нуворишей, владеющих таким материальным условием труда, как нефть.

Мировая экономика в наши дни — это капитализм со всеми его плюсами и минусами.

Если Гегель констатировал «абстрактное противоречие» базарных торговок и воспарил философски в царство чистой мысли, политически — в «сферу государственных интересов», то Маркс открыл противоречие развитого товарного производства, чтобы пробудить общественное сознание у массы продавцов собственной рабочей силы.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Придите ко Мне, страждущие и обремененные, и Аз успокою вы».

В разное время по разным причинам выявлялись то общность, то различие этих двух призывов.

«Не Иисус, не Маркс»,— заявлено было в наше время.

Конечно, и Маркс — не Спаситель. Но лозунг, данный им Международному Товариществу Рабочих, и не обещал спасения со стороны. Не звал он и к успокоению. Но как учение Доброго Пастыря было использовано поводырями слепых человеческих толп совсем не в интересах страждущих и обремененных, так и марксизмом постарались прикрыть общественное развитие. На Востоке Маркса превратили в пророка, а на Западе в пугало.

Диалектическую логику этого великого мыслителя приходится очищать от недоразумений и предрассудков. Если бы меня попросили одним словом охарактеризовать существо марксистского взгляда на способы решения социальных проблем, я бы сказал, не боясь прибегнуть к парадоксу: марксизм — это индивидуализм.

Общеизвестен социальный идеал Маркса: «Ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» (т. 4, с. 447).

Как выражение Уоллеса «борьба за существование» срослось с теорией происхождения видов путем естественного отбора, так выражение «классовая борьба», введенное историками реставрации, ассоциировалось с марксизмом.

Класс, конечно, можно представить себе в виде Суперйндивида, наделенного доброй или злой волей и состоящего, как из клеток, из живых людей, утративших свою индивидуальность. Но для автора «Капитала» класс — понятие статистическое. Общность социального положения, места в производственном процессе, одинаковое отношение к собственности обусловливают вероятность той или иной индивидуальной позиции. Каждый отдельный индивид в меру собственных сил и собственного разумения, руководствуясь самыми различными мотивами, эгоистическими или альтруистическими, участвует в драме истории, автором и актером которой он является — наряду с другими. Масса индивидуальных воль, перекрещиваясь, образует составляющую, и, естественно, результат того или иного общественного движения не может не отличаться от индивидуальных целей, которые преследовали его участники.

Там, где Гегелю хотелось видеть «хитрость объективного духа», направлявшего игру индивидуальных воль в предначертанное им русло, Маркс видел статистическую закономерность. Именно как статистическая закономерность проявляет себя всякий раз зависимость отношения «человек — человек» от отношения «человек — природа». Старой формуле материализма «бытие определяет сознание» тем самым придается вероятностный характер.

Так, например, фабрикант Энгельс, вслед за фабрикантом Оуэном, мог не только проникнуться сочувствием к положению рабочего класса, но и встать на его сторону в борьбе за экономические и политические права. Напротив, тот или иной потомственный пролетарий волен был оказаться по другую сторону баррикад.

Как никто другой, Маркс понимал значение сотрудничества классов в развитии общественного производства. Классовая борьба рассматривалась им как то, что изменяет не только политические формы, но и способы организации труда, обмена и распределения продуктов.

Безусловно отрицательное отношение Маркса к унаследованной от феодально-сословного государства бюрократической, военно-полицейской машине сочеталось у него с неприятием той псевдореволюционной формы организации пролетариата («партия нового типа»), прообразом которой тогда могла служить структура «альянса международной социал-демократии», а в наши дни «демократический централизм» сталинских и маоистских движений.

Маркс полагался на самосознание и самодеятельность рабочего класса, а также — не удивляйтесь, пожалуйста! — на благоразумие буржуазии.

Чартизм в Великобритании был для него началом — мирным в условиях открытого общества — переворота, который завершится трансформацией вольнонаемного труда в социализм. «Достигнув известной степени, он (этот переворот) должен будет перекинуться на континент. Он примет здесь более жестокие или более гуманные формы в зависимости от уровня развития самого рабочего класса. Таким образом, помимо каких-либо мотивов более высокого порядка, насущнейший интерес господствующих ныне классов предписывает убрать все те стесняющие развитие рабочего класса препятствия, которые поддаются законодательному регулированию. Всякая нация может и должна учиться у других. Общество, если оно даже напало на след естественного закона своего развития... не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить муки родов» (т. 23, с. 10).

Призыв Маркса к объединению пролетариев всех стран в Международную Организацию Рабочих был, таким образом, не военным приказом, не демагогическим призывом в «партию нового типа», организованную по старому милитаристскому образцу, а подлинно демократическим лозунгом, зовущим работников физического и умственного труда освободить себя от политического и экономического деспотизма.

5. ПАРИЖСКАЯ КОММУНА — 1871-Й. ЛОГИКА ДЕМОКРАТИИ

Гегель, Маркс, диалектика, демократия — это все 19-й век, а мы доживаем 20-й, умудренные его горьким опытом.

«Идеалы 19-го века рухнули? — спрашивал себя один из наиболее чутких наших современников Р. Музиль.— Скорее так: человек рухнул под их тяжестью».

Крушение гуманистических идеалов обычной человечности воспел О. Шпенглер, предрекший не только закат западных стран, но и восход восточных. Шпенглер видел лишь одну перспективу для современной цивилизации — техника вместо лирики, необходимость вместо свободы, цезаризм вместо парламентаризма.

Разве Эллада не кончила Македонской монархией?

Разве Рим не стал империей?

Разве Бисмарк не создал единую Германию «железом и кровью»?

Гром немецкой артиллерии в начавшейся первой мировой войне воспринимался автором «Заката Европы» как аккомпанемент его мыслям, лишенным сентиментальности.

Нам, живущим во второй половине столетия, пророчества Шпенглера уже не кажутся безусловными. И тем не менее в них содержится злая правда. Вот в чем она.

Рок, тяготевший над демократическими структурами Греции и Рима, вынудивший их деградировать от «детской болезни» тиранства к «склерозу и маразму» культа императоров, был обусловлен в конечном счете тем, что и полис, и республика, расцветая как политические системы, теряли опору в экономике, лишались корней, питавших и поддерживавших их.

Кто созидал и полис и республику? Ремесленники, крестьяне, торговцы. Частная собственность, основанная на личном труде, освободила их от кровно-родственных уз, от благоговения перед родовой знатью, подняла их сознание от идиллического идиотизма до политического мышления. Но потребителями уже созданной демократической системы оказалась масса праздного пролетариата, живущего за чужой счет, за счет рабского труда.

Мещанско-бюргерско-буржуазная цивилизация повторила бы — вплоть до бесславного конца — роковую инволюцию своей античной предшественницы, если бы растущий рабочий класс согласился на двойную роль: безгласного раба на производстве и праздного пролетария в свободное от работы время, если бы непосредственные производители материальных и духовных благ позволили себя обмануть, обломать, подчинить сверхсоциальным (по сути, антисоциальным) силам, влияние которых возрастало со временем: в экономике — силе капитала, вырвавшегося из-под индивидуального и общественного контроля, в политике — аппарату исполнительной власти, который чем дальше, тем больше освобождался от пут, налагаемых на него институтами представительной демократии.

Возобладай эта тенденция, и пророчество Шпенглера осуществится. Мощь Большого Бизнеса, помноженная на мощь Большого Государства, даст такое цезарианство, которого свет не видал.

Отрадно знать, что еще тогда, когда эта тенденция только зарождалась, когда цезарианец Луи Бонапарт и прусский бонапартист Отто Бисмарк предпринимали первую попытку втянуть европейскую цивилизацию в капкан империализма, рабочий класс Парижа ответил им революцией 18 марта.

Политическая структура провозглашенной тогда Коммуны и ее социально-экономическая ориентация должны быть внимательно рассмотрены нами, если нам дорог не только вчерашний день, но и будущее западной демократии.

Э. Лиссагарэ, коммунар, начинает свою книгу «История Коммуны 1871 года» со следующих слов: «„История Коммуны была извращена",— сказал Мишле о французской революции. История Коммуны 1871 года написана извратителями» (СПб, 1906).

Газета «Монд» в канун столетия Коммуны повторила слова Лиссагарэ: «Образ Коммуны возникает лишь иногда, внезапно озаряя ослепительной вспышкой время праздника, время мечты, которая, едва успев воплотиться в жизнь, была убита. Затем республика привилегированных исказила смысл Коммуны или отодвинула ее в забытые потемки истории. Действительно, когда мы были детьми, нам рассказывали о Жанне д'Арк, о Бонапарте, но весна 1871 года чаще замалчивалась».

У нас 18 марта попало в число непраздкуемых праздников, давая возможность какому-нибудь идеологу средней руки перечислить очередной раз все ошибки Коммуны и наши собственные достижения.

Когда читаешь, как оценивался и оценивается первый в истории опыт рабочего самоуправления, сталкиваешься с множеством взаимоисключающих суждений. Но эти противоречия — лишь отголосок внутренних противоречий, без которых революция 18 марта перестала бы быть сама собой.

— Парижскую коммуну погубили противоречия.

— Парижская коммуна одолела бы Версаль, если бы она была монолитом (М. Машкин. «Новая История», М., 1976, с. 21. «История Франции» в трех томах, М., 1973, с. 438—440).

Будь Парижская коммуна монолитом, она не была бы сама собой, но и в последнем случае, как второе издание якобинской диктатуры, она должна бы была кануть камнем в крестьянском болоте или послужить пьедесталом для повторения 18 брюмера.

Не об этом мечтали федераты, штурмовавшие небо.

Два символических акта характеризуют намерение Коммуны-71: сожжение гильотины и разрушение Вандомской колонны. Тем самым ею были принципиально отклонены обе исторические формы терроризма: и методы «перманентной революции» Робеспьера — Сен-Жюста, и «перманентный милитаризм» Наполеона. Сожжение гильотины и разрушение Вандомской колонны произведены были, кстати, тогда, когда обстоятельства, казалось бы, могли оправдать «чрезвычайные меры». Но Парижская коммуна оказалась выше оглядки на обстоятельства.

Рассмотрим противоречия вокруг нее.

О. Бисмарк, оказавший помощь Тьеру в удушении Коммуны, судил о ней, однако, более беспристрастно, чем глава Версальского правительства. Он видел в ней не вертеп разбойников, а попытку установить в Париже что-то вроде прусского горсовета (магистрата), то есть подобие традиционного бюргерского самоуправления в рамках централизованной государственной власти.

М. Бакунин писал: «Я — сторонник Парижской Коммуны в особенности потому, что она была смелым, ясно выраженным отрицанием государства» (Избр. соч., т. 4, с. 252).

Ф. Энгельс, употреблявший, как и Маркс, термин «диктатура пролетариата» для обозначения политической власти рабочего класса, писал: «Хотите ли знать, как эта диктатура выглядит? Посмотрите на Парижскую Коммуну» (т. 22, с. 201).

Так чем же была все-таки Коммуна — магистратом, анархией или диктатурой?

Послушаем непосредственных свидетелей.

Жюль Валлес с его романом-репортажем «Инсургент», Артур Арну с «Народной историей Парижской Коммуны», уже цитированный нами Э. Лиссагарэ — не свидетели, а участники.

Иное дело Э. Гонкур. Пролистаем его дневники. «18 марта... на Монмартре идут бои... кажется, восставшие торжествуют победу... Национальных гвардейцев становится все больше, и повсюду высятся баррикады, а наверху торчат шальные мальчишки». «19 марта... Для этой черни Свобода, Равенство, Братство может означать только... гибель высших классов... Отвращение охватывает при виде их глупых и мерзких лиц: эти торжествующие и пьяные физиономии словно излучают беспутство».

Какие претензии у писателя к федератам по существу? Никаких. Просто нервная реакция камерного и утонченного эстета на веселящуюся толпу. Если бы Э. Гонкур присутствовал не при победе федератов, а попал бы случайно в водоворот одного из обычных карнавалов, он испытывал бы аналогичные чувства: патриций среди плебеев, джентльмен в дурном обществе! Площадные шутки оскорбляют его вкус, фамильярность ранит, а «атмосфера необузданной карнавальной свободы» (Бахтин) кажется ему беспутством.

Э. Гонкуру довелось наблюдать вскоре, как «высшие классы» отплатили «черни» за ее праздник... «Пятница, 26 мая... Я шел вдоль линии железной дороги... как вдруг увидел толпу мужчин и женщин, окруженных солдатами... Мужчины построены по восемь человек в ряд и привязаны друг к другу веревкой, стягивающей запястье... В числе женщин есть одна удивительная красавица, своей суровой красотой напоминающая юную Парку. Это брюнетка с густыми вьющимися волосами, с глазами стального цвета, щеки ее горят от невыплаканных слез. Она стоит в вызывающей позе, готовая броситься на врага... Полковник, отъехав на фланг колонны, выкрикивает... по-моему, нарочито грубо, чтобы

нагнать страху: „Всякому, кто отвяжет руку от руки соседа,— смерть на месте". И это жуткое „смерть на месте" четыре или пять раз повторяется в коротком спиче...» Свидетелю пока жутко лишь от слов.

«28 мая... Зажатая между всадниками, движется толпа людей во главе с каким-то чернобородым мужчиной — лоб у него перевязан носовым платком. Я замечаю в этой группе и другого раненого, соседи поддерживают его под руки, видимо, он не в силах идти. Люди эти необычайно бледны, взгляд их затуманен — он так и стоит у меня перед глазами... Конвой гонит этих людей почти бегом до казарм Лобо, и за ними с непонятной поспешностью, гремя, захлопывается дверь... Почти в ту же минуту грянули выстрелы, многократно усиленные эхом стен и ворот... Похожий на кучку пьяных, из ворот выходит карательный отряд, на штыках у некоторых кровь».

Вот так — вакханалией убийств — реагировали имущие («высшие классы») на мартовский праздник неимущих («черни»)!

Когда среди пленных федератов воображение Э. Гонкура поразила «удивительная красавица», он, человек сторонний, едва ли хотел олицетворить в ней разбитую, но непокоренную Коммуну. И все же она напоминала ему «своей суровой красотой» юную Парку. Уж не сама ли это Марианна, керосинщица, правнучка санкюлотов, плясавших на камнях Бастилии? Или, быть может, не она, гражданка Парижа, а старцы, увековеченные Домье из версальского собрания «деревенщины», представляли будущее RF? Да, тогда победили они, но не они, а она, юная Парка, держала в своих руках связующую нить европейской цивилизации. Что — продолжение или разрыв — сулил ее взгляд?

Э. Гонкур помог нам представить Коммуну. Но, чтобы ее понять, придется пойти дальше образного и нерасчлененного представления. Плод политической самодеятельности масс, революция 18 марта не сводима к однозначному олицетворению...

«Вот, по отчету генерала Аппера, приблизительное распределение по профессиям коммунаров: 52 ювелира, 124 картонщика, 210 шляпников, 382 плотника, 1065 комми, 1491 сапожник, 200 портных, 172 позолотчика, 632 мебельщика, 17 598 торговых служащих, 98 комиссионеров, 227 жестянщиков, 224 литейщика, 182 гравера, 179 часовщиков, 819 типографов, 159 печатников, 106 учителей, 2901 поденщик, 2293 каменщика, 1659 столяров, 193 позументщика, 863 маляра, 106 переплетчиков, 283 резчика, 2664 слесарей и механиков, 681 портной, 347 кожевников, 157 модельщиков, 766 тесовщиков камней» (Э. Лиссагарэ. «История Коммуны...», с. 437-438). «Всего было убито, сослано на каторгу или бежало в изгнание более 100 тысяч человек» (Н. Молчанов. «Герои Коммуны», М., 1971, с. 295).

Кто несет ответственность за эти небывалые прежде массовые репрессии — ясно. Карлик-чудовище Тьер и его сподручные гордились содеянным.

Но кто и как мог возглавить живых федератов, организовать, повести?

«Государственно мыслящие люди» не верят в возможность никем не направляемой демократии. Самоуправление, с их точки зрения,— всегда инсценировка, и они ищут за кулисами событий Главного Режиссера.

Р. Ландер, журналист, интервьюировавший К. Маркса, прямо высказался, например, в том смысле, что федераты получали инструкции из Лондона. Сто лет спустя наши учебники повторяют ту же версию: вожди мирового пролетариата осуществляли-де непосредственное руководство Коммуной. Забывают при этом, что члены французской секции Интернационала составляли меньшинство и в самой Коммуне, и в Центральном Комитете Национальной гвардии; кроме того, они были, как правило, анархистами, то есть не теми, кто действует по инструкциям.

Сам Маркс считал смешным взгляд на революцию 18 марта как на результат «заговора Интернационала». «В таком случае,— говорил он Р. Ландеру,— это был также и заговор франкмасонов. Их индивидуальное участие в деятельности Коммуны было далеко не малым... Но попытайтесь найти другое объяснение. Восстание в Париже было совершено рабочими Парижа» (т. 17, с. 634).

Правящим большинством в Коммуне были бланкисты и якобинцы, но и они не могли навязать свои программные предрассудки парижским рабочим. Сожжение гильотины, например, как и отклонение диктаторских поползновений некоторых наиболее рьяных приверженцев Робеспьера и Бланки, доказывает это.

Парижская коммуна была многопартийным учреждением. И именно как многопартийное учреждение она выражала волю не только того или иного лица, той или иной группировки, секты, партии, а рабочего класса Парижа в целом.

В «Воззвании Генерального совета Международного Товарищества Рабочих» на этот счет сказано следующее: «Прямой противоположностью империи была Коммуна... Коммуна образовалась из выбранных всеобщим избирательным правом по различным округам Парижа городских гласных... Полиция, до сих пор бывшая орудием центрального правительства, была немедленно лишена своих политических функций и превращена в ответственный орган Коммуны, сменяемый в любое время. То же самое — чиновники всех остальных отраслей управления. Начиная с членов Коммуны сверху донизу, общественная служба должна была исполняться за заработную плату рабочего...

Если бы коммунальный строй установился в Париже и второстепенных центрах, старое централизованное правительство уступило бы место самоуправлению производителей и в провинции... Немногие, но очень важные функции, которые остались бы тогда за центральным правительством... должны были быть переданы коммунальным, то есть строго ответственным чиновникам. Единство нации подлежало не уничтожению, а, напротив, организации посредством коммунального устройства...

Коммуна по самому существу своему была, безусловно, враждебна замене всеобщего избирательного права иерархической инвеститурой...

Разнообразие истолкований, которые вызывала Коммуна, и разнообразие интересов, нашедших в ней свое выражение, доказывают, что она была в высшей степени гибкой политической формой... Ее настоящей тайной было вот что: она была открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда — правительством рабочего класса» (т. 17, с. 342—346).

«Разнообразие истолкований», «разнообразие интересов». Теперь бы сказали: плюрализм.

Коммунальный строй, установленный в Париже мартовской революцией, конечно, продолжал традицию городского самоуправления, но не на прусско-благопристойно-бюргерский манер, а в специфически парижском духе.

Остальная Франция отставала от Парижа на несколько веков, да к тому же была деморализована бонапартизмом и повержена пруссаками.

Прав был Артур Арну, назвавший Париж «мыслящей головой на трупе» («Народная история Парижской Коммуны», СПб, 1906, с. 80).

Победить она не могла, но мысля, мыслила диалектически.

Пользуясь терминологией Гегеля и Маркса, можно сказать: существом Коммуны было противоречие, и именно это противоречие вело ее вперед, придавая ей динамичную, «в высшей степени гибкую форму».

Судите сами. Не считая франкмасонов и других еще более мелких групп, политическую физиономию революционного правительства, созданного после 18 марта, определил диалог двух партий: бланкистско-якобинского большинства и меньшинства, состоящего из членов французской секции Интернационала.

Конечно, диалог между партиями в Коммуне не всегда был конструктивен. И «большевики» Коммуны, и ее «меньшевики» допускали явные политические промахи. И те и другие порой подозревали в оппоненте противника. Был даже момент, когда спор между якобинско-бланкистским большинством и меньшинством во главе с Э. Варленом принял форму взаимных обвинений.

— Авантюристы, диктаторы! — кричали «меньшевики» «большевикам».

— Трусы и соглашатели,— отвечали сторонники большинства меньшинству.

Прокурор Риго заготовил даже ордера на арест сторонников меньшинства как «врагов народа». Этот «большевик» владел логикой Робеспьера, но у него не было в распоряжении централизованного, действующего автоматически по приказу сверху аппарата исполнительной власти. Ордера остались в кармане как свидетельство отставания мышлении от бытия.

А диалог — при всех издержках,— корректируя обоюдные промахи участвующих сторон, вынуждал искать и находить решения, приемлемые с различных, порой противоположных точек зрения.

Кратковременна была весна 1871 года. Но даже в этот короткий срок Коммуна смогла преподать потомкам урок политической мудрости, а корень ее — в биполярности структуры власти. Правительство Его Величества рабочего класса, оппозиция Его Величества рабочего класса.

По ту сторону Па-де-Кале биполярность структуры власти никого бы не удивила. Тори и виги сосуществовали там, казалось бы, от начала времен. Но то, что в Великобритании можно было бы объяснить классовым компромиссом (тогда соглашением между землевладельцами и капиталистами, теперь сговором рабочей аристократии с буржуа-консерваторами), в Париже 71-го года было необъяснимо.

Парижская коммуна доказала, что и в случае социально-однородного, образованного одним классом, а именно пролетариатом, подлинно демократического парламента, биполярность как основа его жизнедеятельности сохраняется от начала и до конца.

История демократии позволяет нам, следовательно, выявить ее логику. Стоит ли удивляться, что это не метафизическая логика одноглазого сверхчеловека, а диалектика, полифония, а не Полифем?

В наш век с его негативным опытом можно считать установленным: демократия торжествует там и тогда, где и когда не просто допускается многопартийность, но и происходит чередование ролей во времени: вчерашние «имущие власть» уходят в «теневой кабинет», а получающие власть вчерашние оппозиционеры твердо знают, что продолжительность их пребывания в правительстве зависит от избирателей, от их интересов и настроений, а следовательно, от своевременного учета и колебаний общественного мнения и неизбежной критики со стороны оппозиции.

Без гражданских свобод нет демократии, без демократии нет социализма. Без гражданского самосознания, без широкого и подвижного политического мышления невозможно ни то, ни другое, ни третье.

Я писал эти заметки, желая в меру моих сил противостоять той волне отвращения к диалектическому способу мысли, которую вызывает у людей доброй воли «искусство убедительного пустословия», выдаваемое за духовное наследие Гегеля и Маркса.

Свойство всех людей познавать себя и мыслить проявляется в наших условиях лишь как инакомыслие. Но и инакомыслие сегодняшнего дня может деградировать к государственному «мышлению» минувших эпох, отступить в православие и правоверность, если порвет с традициями инакомыслия, откажется от тех ценностей, ради которых и с помощью которых пульсировало сердце европейских революционеров и «возмущенный разум» звал их в бой.

У одного современного фантаста я прочел рассказ о планете, цивилизация которой довела среду обитания до невозможности дальнейшего существования в ней. Что делать? Ученые изобрели «машину времени» и переместили себя и своих сограждан на миллионы лет назад — в девственные леса. Пожили «там» и опять истребили все условия для жизни. Опять скачок в прошлое и т. д., пока не обнаружилось, что «позади» уже нет ничего, кроме первобытного необитаемого океана. Будущее же было уничтожено ими с самого начала. Иран сегодня ищет спасения в возвращении в 7-й век.

До моего слуха доносится спор, куда лучше податься нам — в «петербургский» или в «московский» период российской государственности?

Я не Иван непомнящий родства. Мне тоже дороги исторические реликвии. Но я хотел бы видеть «лоскутья сих знамен победных», шапку Мономаха и прочие атрибуты государственности на их месте — в музее, рядом с механической прялкой и каменным топором.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Во времена *застоя* у нас наряду с другими юбилеями отмечалось и 100-летие Парижской коммуны. Я был тогда сельским учителем, с болью наблюдал за деградацией сельского хозяйства, читал Г. Успенского. И судьбой, и ходом мыслей я походил на Тяпушкина, персонажа из рассказа «Выпрямила». Как и Тяпушкин, я полагал, что права человека *несомненны*. Как и Тяпушкина, меня угнетала не столько неустроенность быта, сколько равнодушие моих современников и сограждан к *общим* — «проклятым» — *вопросам*.

Прошло почти двадцать лет. Менялась жизнь, изменялись взгляды. Не хочется, правда, приходящую с возрастом дальнозоркость выдавать за мудрость. Перечитывая написанное тогда, я не стыжусь идейных истоков и не переоцениваю собственную идейную самостоятельность. Имеются различные философские школы. Историк даже по лексике и стилистике легко определит, к какой из них принадлежит имярек: неопозитивизм, персонализм, экзистенциализм и т. д. Печать марксизма на моем челе неизгладима, как морщины.

Во всяком случае, именно Карл Маркс помог мне в младые лета понять то, что сегодня поняли все разом — с разрешения начальства.

Демократия и рынок! Необходимость и того, и другого, связь между тем и этим могли быть открыты давным-давно, и даже в деревенской глуши. «Под колхозным солнцем и дугу выпрямит». Смешно и грустно слушать тех, кому якобы Чернышевский испортил литературный вкус, а марксизм велел наблюдать «классовые контрасты» во время заграничных командировок.

Разные пути ведут к истине. И каждому свойственно заблуждаться. Не надо только свою ответственность за произошедшее и происходящее перекладывать на других: на автора «Экономическо-философских рукописей», на интеллигенцию, боровшуюся с самодержавием, на рабочее движение Запада и на козни франкмасонов.

Россия и великий город на Неве переживают нелегкие времена. И, как некогда Франция, мы ищем спасения от разноголосицы в определенности Указующего Перста. «Вперед!!!» Куда — «вперед»?

Если даже парламент России будет раздавлен копытами державного коня, законы о свободе совести и о крестьянском хозяйстве останутся документами, свидетельствующими: и у нас *в спорах рождалась истина*. Сумеем ли мы ее сохранить? Передадим как наследство детям и внукам?

М. Молоствов,
член Комитета по правам человека
Верховного Совета Российской Федерации

Вадим Белоцерковский

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ!

Правомочна ли наследственная собственность
на средства производства?

Немного неловко мне браться за эту работу после товарищей Маркса и Энгельса. Но что поделаешь, если созданная не без их идейного соучастия система «реального социализма» напрочь отбила у всех желание всерьез изучать марксизм. И о том, чтобы сейчас снова лезть в марксистское многотомье — посмотреть, что там говорится о частной собственности на средства производства,— и речи быть не может! Поэтому уж пусть простят меня классики, если я в чем-то повторю их, на них не ссылаясь.

Уже после того, как обдумал предмет этой статьи, я заглянул в еженедельник «Московские новости» (2.4.89), в редакционную статью «Свои деньги», и со злорадством увидел, что и редакция еженедельника совершенно невинна в вопросах теории собственности на средства производства, и это придало мне смелости сесть за предлагаемую статью.

Речь в «Московских новостях» идет о том, что редакция перешла на хозрасчет и поставила перед Минфином вопрос: «Если трудовой коллектив строит и покупает оборудование на собственные деньги, почему он должен еще вносить „плату за фонды"?» То есть почему это оборудование должно считаться государственной собственностью, а не собственностью коллектива редакции?

От Минфина пришел следующий ответ: «Стоимость основных производственных фондов, за которые устанавливаются платежи в бюджет, в законе не подразделяется по источникам их приобретения». Значит, и Минфин, и законодатель марксистского государства тоже не задумываются над природой и сутью собственности на средства производства и рассуждают, на мой взгляд, как завзятые капиталисты, государственные капиталисты. (Ну и тут уж я осмелел окончательно!)

Интересен и комментарий редакции МН: «Платежи за уже оплаченное коллективом СВОИМИ деньгами оборудование становятся ***в условиях самофинансирования*** противоестественными и к тому же тормозят стремление вкладывать деньги в развитие производства» (выделено мною! — ***В. Б.***).

Вот как, почувствовав заработанные деньги своими, мы сразу начали и острые теоретические вопросы задавать! А ведь такие вопросы мы могли бы и раньше ставить, когда работали простыми наемными служащими безо всякого хозрасчета, и подобные вопросы вправе ставить и наемные работники у капиталистов, и арендаторы у социалистического государства. Ведь везде, всегда и всюду деньги на поддержание и обновление средств производства зарабатывают те, кто работает на этих средствах. Значит... Отсюда очень многое что значит! В том числе и то, что в Советском Союзе законодатели и экономисты не осознают неправомочности наследственной собственности на средства производства, обслуживаемые наемными работниками.

Белоцерковский Вадим (р. в 1928 г.) — литератор. Участник движения в защиту прав человека в СССР. Работал преподавателем в школах рабочей молодежи, потом — журналистом в центральной прессе. В 1962—1964 гг. опубликовал повесть «В почтовом вагоне» (в журнале «Москва» и в изд-ве «Советский писатель»). В 1968 г. была запрещена публикация сборника рассказов «Кто я?», подготовленного к печати в изд-ве «Советский писатель». С того времени и до выезда из СССР (в 72 г.) не имел работы. Сейчас живет в ФРГ, в Мюнхене. Работает радиожурналистом на радио «Свобода». На Западе опубликованы книги: «СССР — Демократические альтернативы», «Свобода, власть и собственность», «Самоуправление» (предисловие Иржи Пеликана, Мюнхен, 1985), «Россия перед выбором. Самоуправление или тоталитаризм». Публикуется в СССР: в журналах «Новое время», «Знамя» и в газетах «Московские новости», «Собеседник», «Комсомольская правда», «Неделя» и др.

Обращаясь в наш журнал, В. Белоцерковский пишет: «Эту статью я решил направить вам после того, как прочел в вашем журнале (№№ 3, 4, 1990 г.) работу Тендрякова „Метаморфозы собственности". Моя статья развивает и продолжает эту тему».

* * *

Генезис взглядов на право собственности представляется следующим. При рабовладельчестве и феодализме права собственности распространялись и на людей, работавших на частных средствах производства. Рабы и крепостные сами были фактически средствами производства наряду с тягловыми животными. Потом за десяток-другой веков люди поняли, что это не совсем правомочное и справедливое положение, и после серии кровопролитий и революций все постепенно признали и согласились, что право собственности на людей распространяться не может. Хотя нетрудно себе представить, какое, к примеру, возмущение испытывали рабовладельцы южных штатов Северной Америки, последние в мире рабовладельцы, когда их рабов у них отнимали, экспроприировали, «национализировали». Ведь они же «вкладывали» в них свои деньги, покупали их за свои кровные!

Но естественным осталось, что уж неодушевленные-то средства производства, купленные частным лицом (или лицами), остаются его полной и наследственной собственностью, включая и те средства, которые частное лицо вновь приобретает на доходы, полученные от эксплуатации первоначальных средств производства с помощью наемной рабочей силы.

И вот здесь подумаем. Человек (или группа «человеков») покупает средства производства на каким-то образом приобретенные ранее деньги или полученные в наследство. Затем нанимает работников. Платит им определенную зарплату, а Марксову прибавочную стоимость берет себе. Законно это, правомочно? Вполне... до того момента, грубо говоря, пока хозяин не вернет себе стоимость средств производства и проценты прибыли (за риск, за хлопоты).

Ну, а далее? А далее пора воскликнуть: «Да здравствует частная собственность!» Наш хозяин средств производства (будь то частное лицо или государство) нанял работников, с их помощью вернул через несколько лет свои деньги и прибыль на них, на вложенный капитал. Иначе говоря, работники выплатили ему с лихвой стоимость средств производства. На каком же основании они должны и дальше отдавать нашему хозяину прибавочную стоимость, вырабатывать ему прибыль? На каком основании они должны лишаться *своей доли частной собственности* на выработанную *ими* продукцию (услуги), на заработанные от ее продажи деньги и на средства производства, которые они уже оплатили? Почему это частная собственность одного должна лишать частной собственности других? Ведь мы же считаем нормальным, правомочным, чтобы свобода одного лица не ограничивала свободу другого. А на собственность на средства производства почему не распространяется нами подобный же принцип? Не по той ли же бездумной привычности, по которой наши предки считали нормальной и собственность на людей?

Но что же это получается: купил мебель, дом — и это вечная твоя собственность, а купил завод — и должен его через какое-то время лишиться, передать в собственность работникам, тобой нанятым?! Да, должен. Не нанимай работников! А если нанял и после того, как они тебе выплатили стоимость твоего завода с прибылью, продолжаешь их держать на одной зарплате без участия в прибылях (и в управлении), то фактически ты этих людей закрепощаешь, опять они становятся скрытно крепостными, на тебя работающими. Или, иначе, ты начинаешь их обворовывать, их частную собственность на выработанную *ими* продукцию себе присваивать. Жан-Жак Руссо сказал: «Частная собственность — это кража!» И вот уже частная собственность, наследственная, на средства производства (эксплуатируемые с помощью наемного труда) действительно кража! Очевидно, труд свободного человека не может быть собственностью другого человека, общества или государства. Частная собственность должна быть неприкосновенна во всех случаях и для всех членов общества. Очевидно, в этом смысле надо понимать и замечательные слова дорогого моему сердцу Папы Иоанна Павла Второго: «Самим актом своего труда человек становится господином на своем рабочем месте, хозяином трудового процесса, хозяином продуктов своего труда и их распределения» (из энциклики «Занимаясь трудом...», 1982 г.).

Грозные слова, не правда ли? У марксистов есть принцип: «Кто не работает, тот не ест!» Жестокий и в правовом отношении несостоятельный принцип. Его должен заменить принцип: «Кто не работает, тот не владеет!» И этот принцип может лечь в основу новой формы собственности на средства производства — *групповой трудовой* формы, соответствующей эпохе социалистического самоуправления, эпохе самоуправляющихся трудовых коллективов.

Такая форма собственности уже возникает сейчас на Западе. Как правило, на предприятиях и учреждениях, выкупаемых трудовыми коллективами у прежних хозяев, которые по каким-либо причинам намеревались их закрывать. Эти коллективы не применяют наемного труда, за исключением сугубо временных работников, не продают вовне акций, в управлении и прибылях участвуют только те, кто работает, и до тех пор, пока работает. Доля участия в прибылях зависит только от трудового вклада и квалификации или вообще устанавливается равной для всех (в этом случае разнится лишь зарплата). Уходящий с работы человек получает сумму денег, равную его вкладам на приобретение и ремонт оборудования и помещений (минус амортизационный процент), и таким образом продает

коллективу свою долю средств производства. Советские читатели могут познакомиться с примерами таких предприятий в статье доктора экономических наук В. Рутгайзера «Работник и хозяин» («Известия», 21.3.89).

Трудовая групповая собственность возникает на Западе не из каких-либо идеологических соображений. Освободившись от эксплуатации, став хозяевами выкупленных предприятий, люди сознательно пресекают все возможности восстановления наследственной частной собственности на средства производства. Не хотят свою прибыль никому отдавать на сторону и опять пребывать в страхе, не решат ли новые хозяева закрыть или сократить предприятие. (Случаев банкротств среди групповых предприятий значительно меньше, чем среди капиталистических!)

В обществе самоуправления расширенное воспроизводство должно будет вести государство[1], и у него трудовые коллективы смогут выкупать (в рассрочку) новые предприятия. То есть новые построенные государством предприятия будут оставаться его собственностью до тех пор, пока не окупятся. Причем только по себестоимости. Социалистическое государство не имеет здесь прав на прибыль, так как будет брать налог с новых предприятий и их работников.

* * *

Итак, мы пришли к выводу о противоправности наследственной собственности на средства производства, обслуживаемой наемными работниками, вне зависимости от того, кто является собственником: государство, или частник, или группа частников (акционеров). Так что «Московские новости» не должны платить в госбюджет не только за приобретенное коллективом имущество, *но с определенного времени и за все остальное.* Все имущество редакции с момента, когда оно окупится, может стать полной собственностью коллектива. Но Минфин, стоя на позициях госкапитализма, совершенно «справедливо» считает своей государственной собственностью любое имущество, приобретенное с помощью государственных средств производства и нанятых государством работников. Если же те хотят поиграть в хозрасчет, то это их воля, это очень хорошо — беречь хозяйскую (государственную) копейку, но к вопросу о собственности это-де не имеет никакого отношения. За приумноженные доходы и имущество работникам теперь кое-что перепадает, и этого с них достаточно.

Но оставим общество государственного социализма и подумаем об обществе будущего, обществе социалистического самоуправления (с преимущественно групповой трудовой собственностью на средства производства). Я до сих пор считал, что в таком обществе за государством должны будут оставаться те отрасли производства, которые не производят качественно различимых товаров (например, электричество), что делает невозможной конкуренцию между их производителями. В то же время здесь необходима централизация управления. Это энергетика, связь, железнодорожный транспорт, возможно, горнорудная промышленность, добыча нефти и газа. Однако необходима корректировка: в случае, если госпромышленность, госпредприятие будет приносить прибыль, то начиная с того времени, как предприятие окупится, работники должны иметь право участия в прибылях на правах хозяев. Другое дело — участие в управлении, оно должно быть ограничено необходимостью централизованного руководства и планирования в данных отраслях.

Далее мы должны признать противоправными акции и паевое участие в производстве. Человек, купивший акцию (или внесший пай), купил тем самым долю средств производства и вправе получать свои дивиденды лишь до тех пор, пока их общая сумма не составит цену акции (или пая) плюс законная прибыль. А дальше уже начинаются «нетрудовые доходы» — кража чужой частной собственности.

Отметим попутно. В СССР сейчас пропагандируются и законом допускаются акции и паевые вклады, и утверждается, что это не противоречит устоям социализма. Горбачев часто любит говорить о том, что, дескать, иные люди пытаются «подбросить» партии и советскому народу чуждые идеи и ценности капиталистического общества. Но мы, значит, на это не пойдем, не допустим.

И в то же время Горбачев собственной рукой одобряет введение акций, паев. Похоже, что под чуждыми, антисоциалистическими идеями здесь понимается лишь то, что может угрожать монопольной власти партии, точнее, партаппарата. Ему сейчас угрожает более всего экономический кризис, и вот «подбрасываются» в экономику акции и паи. Авторы этой инициативы, видимо, испытывают тайное суеверное преклонение перед капитализмом и всеми его атрибутами и надеются с их помощью ликвидировать кризис. Но они, очевидно, не понимают, что акции могут иметь смысл и эффективность лишь в условиях полного капитализма. Кроме того, акции нужны капиталистическим предприятиям главным образом для расширенного воспроизводства, требующего больших средств. Когда хотят строить производственные мощности — выпускают акции, когда хотят присоединить чужое предприятие — скупают акции этого предприятия. И групповые предприятия

[1] Государственное расширенное воспроизводство группового сектора — гарантия от его капиталистического перерождения. Подробнее я пишу об этом в книге «Самоуправление» (Мюнхен, 1985).

на Западе легко обходятся без акций (без их продажи или скупки) по той причине, что они не ведут расширенного воспроизводства, не вступают в *агрессивную* конкуренцию (конкуренцию в накоплении капиталов). Они вкладывают средства лишь в интенсивное развитие производства и предпочитают действовать по социалистическому циклу: «Товар — Деньги — Товар». То есть целью трудовой деятельности работников этих предприятий является не накопление капитала, а улучшение собственного благополучия и условий труда; не накопление, а потребление. В известном смысле общество социалистического самоуправления будет истинно обществом потребления. В капиталистическом же обществе и сегодня преобладает накопительство. При госсоциализме господствует накопление государственного капитала.

В обществе самоуправления групповые предприятия также не будут заниматься расширенным воспроизводством (им будет заниматься государство) и, следовательно, не будут нуждаться в акциях.

* * *

В заключение поговорим о путях установления строя трудового самоуправления в связи с вопросом о собственности на средства производства. Раньше я писал, что сторонники этого строя в переходный период должны допускать неограниченное развитие частнокапиталистического сектора, допускать свободное соревнование между этим сектором и самоуправляющимся, групповым. Если частный сектор будет так преуспевать, что, и удерживая прибавочную стоимость с наемных работников, сможет платить им больше, чем будут зарабатывать совладельцы групповых предприятий, то трудовые ресурсы начнут перетекать на частные предприятия, и они начнут вытеснять групповые. Люди предпочтут быть богатыми пролетариями, нежели бедными хозяевами. И я подчеркивал, что только в условиях государственного расширенного воспроизводства группового сектора (когда государство будет строить или финансировать строительство новых предприятий и потом продавать их новым трудовым коллективам) возможно соревнование социалистического самоуправления и капитализма. У людей будет выбор, куда идти работать. Я выражал при этом убеждение, что победит сектор самоуправления, исходя из арифметики и западной практики, где групповые предприятия по всем показателям намного опережают сопоставимые с ними капиталистические предприятия.

Но теперь возникает вопрос: а можно ли вообще допускать существование частнокапиталистического сектора, коль скоро мы пришли к выводу о противоправности бессрочной частной собственности на средства производства, обслуживаемые наемными работниками?

Думаю, что, увы, нужно допускать, учитывая советскую историю. Люди в СССР слишком предубеждены против государственного запретительства, и обстановка свободы и свободного соревнования необходима для успеха любых реформ. Где можно обойтись без запретительства, там и надо без него обходиться. То есть придется «поступиться принципами» и допустить непоследовательность. В частном секторе, в отличие от государственного, средства производства не будут переходить в руки наемных работников, сколько бы они ни работали с ними, будут оставаться бессрочной, наследственной собственностью первоначального владельца. Другое дело, если от него начнут уходить работники (будут переходить совладельцами на создаваемые с помощью государства групповые предприятия). Тогда частнику придется закрывать свое дело.

Вопрос: а если соревнование все-таки начнет складываться в пользу частного сектора, тогда как? Никак! Смириться придется. Да и демократическая правовая система не допустит вмешательства в соревнование секторов.

Если начнет побеждать частный сектор, значит, Россия еще не созрела, не готова к социалистическому самоуправлению. Такое маловероятно, но не исключено. А возможна и такая ситуация, что самоуправление победит в развитых регионах и проиграет в менее развитых и более склонных к частному хозяйствованию. С таким положением также придется примириться.

Совершенно иная ситуация в развитых капиталистических странах. Там групповые предприятия и учреждения уже доказывают свое превосходство над капиталистическими, и если к власти там придет партия трудового самоуправления, то она сможет смело начать передавать частные средства производства в групповое владение трудовым коллективам. В каких-то случаях делать это через национализацию частных предприятий, в каких-то — скупать акции предприятий и продавать их затем (в рассрочку) трудовым коллективам (продавать, если предприятия новые, или передавать бесплатно, если старые, окупленные). Возможны и другие способы. Разумеется, необходимо в каждом случае выяснять и волю коллектива: желает ли он, готов ли стать владельцем предприятия или учреждения [1].

От положения с собственностью на промышленные средства производства значительно

[1] В групповой трудовой собственности на Западе (кроме заводов) уже имеются магазины, больницы, школы, прикладные научно-технические институты, периодические издания и т. д.

отличается положение с землей как средством производства. В отличие от промышленных средств производства, земля не создается руками людей и поэтому всегда остается их общим достоянием. Но именно вследствие этого каждый человек должен иметь право владеть определенной частью земли, которую он либо получил по наследству, либо способен купить. В соответствии с этим при выходе из трудового коллектива (будь то колхоз, совхоз или новый кооператив) крестьянин имеет право либо получить свою долю земли, либо взять за нее деньги (при желании). Ни о какой аренде земли у государства здесь не может быть и речи. Это величайший позор — предлагать крестьянам в аренду их *собственную* землю.

В 1917 году Советское правительство, как известно, предоставило землю крестьянам в вечное пользование, потом с этой землей (и всем, что было на ней) согнало их в колхозы, а теперь милостиво предлагает брать ее в аренду! (Другое дело, если в аренду хочет взять землю горожанин.)

В целом же для строя социалистического самоуправления наилучшей представляется мне форма *двойного владения* землей. Титульным владельцем в этом случае от имени общества может выступать государство. Оно будет иметь право взимания земельной ренты и право на взимание штрафа или изъятия земли по суду в случае, если ее вторичный владелец, гражданин или группа граждан, будет наносить земле ущерб. У государства должно быть и право на принудительный выкуп земельных наделов (по средней рыночной цене) при необходимости для общих нужд.

У вторичного владельца будут оставаться все остальные права собственника, включая право на куплю и продажу земли, передачу ее по наследству или сдачу в аренду. Невозделываемые земли — леса, акватории и прилежащие к ним участки, заповедники и недра — должны по этой модели находиться в полной собственности государства. Капиталистических хозяйств (с наемным трудом) в этом случае не будет образовываться по той причине, что трудовые ресурсы будут опять же стягиваться на групповые предприятия города и деревни, создаваемые с помощью государства.

Между прочим, юридически подобное двойное владение существует в Великобритании, где титульным владельцем всей земли является корона.

* * *

В целом в обществе социалистического самоуправления можно предвидеть стабильное существование трех форм собственности на средства производства: групповой трудовой, индивидуальной (семейной) трудовой и государственной. В условиях государственного расширенного воспроизводства группового сектора все остальные формы собственности — капиталистическая и кооперативная — трансформируются либо в групповую трудовую форму, либо в индивидуально-семейную. Из-за отсутствия рынка труда, из-за стягивания свободных трудовых ресурсов на создаваемые государством новые групповые предприятия.

* * *

В заключение позволю себе воспользоваться случаем и отметить, что строй социалистического самоуправления кроме того, что он больше отвечает основополагающим потребностям человеческой природы — стремлению к добротворчеству, к самоутверждению и единению с людьми, создает впервые в истории человечества условия для их гармонии,— он способен предоставить и наилучшие условия для решения общечеловеческих гуманитарных, демографических и экологических проблем. Дело в том, что строй этот свободен и от капиталистической агрессивной конкуренции, превращающей человека и природу в средство накопления капитала, и от еще более разрушительного спонтанного накопления государственного капитала при госсоциализме. И в то же время он способен предоставить в распоряжение государства значительно больше средств, финансовых и всех других, чем то имеет место при капитализме или госсоциализме, так как государство будет владеть совокупным капиталом для расширенного воспроизводства, в отличие от государства капиталистического, а в отличие от социалистического — будет свободно от необходимости поддерживать нерентабельные предприятия и восполнять перманентные потери централизованной и затратной экономики.

Строй социалистического самоуправления представляется синтезом между капитализмом и государственным социализмом и представляет собой конкретную форму желанной конвергенции двух этих укладов.

Альберт Эйнштейн

ПОЧЕМУ ОНИ НЕНАВИДЯТ ЕВРЕЕВ [1]

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Нам настойчиво вдалбливалв десятками лет, что выдающиеся ученые, специалисты в различных областях наук якобы беспомощны, когда обращаются к проблемам, выходящим за пределы вх профессиовальной деятельность, особенво если они высказываются по философским, сопиальным и политическим проблемам. Достаточво вспомвить, что еще недавно говорили об А. Д. Сахарове. Однако, ознакомившись с высказываниями великих ученых, а не с безграмотиой и лживой критикой этих высказываввё, мы можем оцевить глубину мысли и откровеввй в связи с проблемами, волвующими человечество. А. Эйвштейн — величайший физик современности — становится теперь известным нашей читающей публвке и как один из выдающихся гуманистов нашего времеви.

Л. А. Халфин

Я начну рассказ со старой притчи, слегка изменив ее,— с притчи, которая поможет глубже понять истоки политического антисемитизма.

Мальчик-пастух сказал лошади: «Ты — самое благородное животное из всех, что ступают по земле. Ты заслуживаешь жизни в беззаботной радости, и твое счастье было бы безоблачным, если бы не проклятый олень. С юности он тренируется в быстром беге, чтобы ноги его были быстрее твоих. Его быстрый бег позволяет ему обогнать тебя на пути к водопою. Он и его стадо успевают выпить всю воду в источнике, и ты со своим жеребенком страдаешь от жажды. Будь со мной. Моя мудрость и покровительство избавят тебя от этого унизительного положения». Ослепленная завистью и ненавистью к оленю, лошадь согласилась. Она позволила пастуху надеть на себя уздечку. Она потеряла свободу и стала рабой пастуха.

Лошадь в этой притче — народ, пастух — класс или клика, группа, стремящаяся к абсолютной власти над народом; олень же олицетворяет евреев.

Возможно, вы скажете: «Совершенно неправдоподобная история! Не бывает таких глупых созданий, как эта лошадь в вашей сказке». Но давайте вдумаемся глубже. Лошадь мучается от жажды и страдает от унижения, когда видит, что олень ее опережает. Вы, которые не знали такой боли и страданий, вряд ли сможете понять, какая слепая ненависть толкнула лошадь к безрассудному и поспешному шагу. Лошадь, однако, легко стала жертвой соблазна только потому, что к этой непоправимой ошибке ее привели предыдущие несчастья. Ибо справедлива истина, что легко давать советы другим, но трудно поступать справедливо и мудро самому. Я говорю вам с полной ответственностью: все мы часто играем трагичную роль лошади и находимся в постоянной опасности снова уступить искушению.

Ситуация, описанная в притче, повторяется вновь и вновь и в жизни у отдельных людей, и в жизни целых наций. Кратко это можно назвать процессом, при котором неприязнь и ненависть каких-то людей или групп устремляется на других индивидов или группы, неспособные к эффективной обороне. Но почему роль оленя так часто выпадает на долю евреев? Почему евреи так часто вызывают ненависть масс? В основном потому, что прослойка евреев есть почти во всех нациях, и повсюду она настолько тонка, что евреи не могут сами себя защитить во время вспышек насилия.

Приведу для доказательства несколько примеров из недалекого прошлого. К концу XIX века люди в России были раздражены тиранией своего правительства. Глупые ошибки во внешней политике еще больше усугубили раздражение, доведя его до крайней точки. В этой экстремальной ситуации русское правительство предотвращает смуту, направляя ненависть и раздражение масс на евреев. Такую же тактику русское правительство повторило и после того, как оно утопило в крови русскую революцию 1905 года. Не исключено, что этот маневр помог сохранить ненавистный всем режим почти до конца мировой войны.

После того как Германия проиграла мировую войну, развязанную ее правящим классом, сразу же были сделаны попытки обвинить евреев, во-первых, в инспирировании войны, а во-вторых, в поражении, которое потерпела страна. Эти усилия увенчались успехом. Зародившаяся ненависть к евреям не только поощрялась правящими классами, но и дала возможность небольшой группе, наглой и неразборчивой в средствах, держать немецкий народ в полном подчинении.

Преступления, в которых обвинялись евреи на протяжении всей истории,— преступления, которые должны были оправдать зверства, совершаемые против евреев,— быстро меняли друг друга. Евреев обвиняли в отравлении колодцев, в убиении младенцев для ритуальных целей, им лживо приписывались постоянные попытки добиться экономического господства и эксплуатации всего человечества. Были написаны псевдонаучные книги с целью заклеймить их как низшую и опасную расу. Распространялось мнение, что они провоцируют войны и революции в своих эгоистических целях. Их называли одновременно и опасными новаторами, и врагами подлинного прогресса. Их обвиняли в том, что внедряются в жизнь нации под видом желания ассимилироваться, а на самом деле они фальсифицируют национальные культуры. В то же время они обвинялись в том, что из-за своего непреклонного упрямства они не могут адаптироваться к какому-либо обществу. Несмотря на полную нелепость этих обвинений, лживость которых была ясна самим подстрекателям всегда, они снова и сноаа выдвигали их, натравливая на евреев. Во времена волнений и смут массы проявляли свою ненависть открыто и жестоко, в спокойные же времена эти чувства проявлялись украдкой.

До сих пор я говорил только об угнетении и притеснении евреев, а не об антисемитизме как психологическом и социальном явлении, существующем в те времена и в тех обстоятельствах, когда никакие специальные акции против еареев не предпринимаются. В этом смысле можно говорить о скрытом антисемитизме.

Что же является его основой? Я думаю, что в определенном смысле его можно считать нормальным явлением в жизни людей.

Члены определенной группы, существующей внутри нации, более тесно связаны друг с другом, чем с остальной частью населения. Несмотри на то, что любая нация не свободна от перемешивания, существование этой группы вполне различимо. С моей точки зрения, единообразие популяции нежелательно, даже если бы оно было достижимо. Общность убеждений и целей, схожие интересы в любом обществе рождают какие-то группы, выступающие в определенных ситуациях как единое целое. Конечно, между этими группами неизбежны трения — такое же неприятие и соперничество, как между отдельными людьми, индивидуумами.

Необходимость подобных группировок легче всего обнаружить в политической сфере, при формировании политических партий. Без партий политические интересы граждан любого государства чаще всего угасают. В этом случае просто нет свободного обмена мнениями. Отдельные люди изолированы и тем самым лишены возможности отстаивать свои убеждения. Политические убеждении чаще всего зреют и растут только под влиянием взаимного стимулирования и критики индивидуумов со сходными характерами и интересами. Политика, с этой точки зрения, не отличается от остальных областей нашей культурной жизни. Это доказывает, например, то, что во времена интенсивного развития религии активно возникали различные секты — их интенсивное соперничество оказывало влияние на всю религиозную жизнь. Хорошо известно, с другой стороны, что централизация ведет к бесплодию в науке и искусстве, поскольку она контролирует и даже подавляет любые соперничающие мнении и исследовательские направления.

ТАК КТО ЖЕ ТАКИЕ ЕВРЕИ?

Образование групп оказывает стимулирующее воздействие на все области человеческих отношений, но, быть может, более всего это ощущается в борьбе убеждений и интересов, выражаемых различными группами. Евреи тоже образуют группу со своим определенным характером, и антисемитизм есть не что иное, как антагонизм, возникший между неевреями и евреями как группой. Это социальная реакция. Но для политических злоупотреблений, которые из нее извлекаются, невозможно даже подобрать подходящего определения.

Каковы же характеристики евреев как группы? И, прежде всего, кто же он таков — еврей? Быстрого ответа на этот вопрос не существует. Точнее всего будет ответ: еврей — это человек еврейской веры. Однако поверхностный характер этого ответа легко доказать

[1] Из Colliers Magazine, Нью-Йорк, октябрь 1938.

Халфин Леонид Александроввч — ведущий научный сотруднвк Ленинградского отделения Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР. Доктор физико-математических наук. Живет в Левинграде.

с помощью простого примера. Давайте зададим вопрос: «Что такое улитка?» Ответ, аналогичный тому, который был приведен выше, гласил бы: «Улитка — это животное, обитающее в раковине улитки». Так же, как и предыдущий, этот ответ некорректен или, точнее говоря, неисчерпывающ. Для улитки раковина нужна, но она является продуктом жизнедеятельности улитки. Аналогично и еврейская вера есть всего лишь одно из творений еврейской общины. Более того, известно, что улитка, потеряв свою раковину, не перестанет быть улиткой. И еврей, потерявший свою религию (в формальном смысле этого слова), тоже находится в аналогичном положении — он остается евреем.

Трудности такого типа возникают в тех случаях, когда кто-либо пытается выразить характерные особенности определенной группы. Узы, которые связывали евреев тысячелетия тому назад и продолжают связывать теперь, это помимо прочего — демократические мечты о социальной справедливости, связанные с идеалами взаимной пользы и терпимости по отношению ко всем людям. Даже наиболее древние писания евреев пронизаны этими социальными идеалами, которые, в свою очередь, значительно повлияли на христианство и мусульманство и оказали благотворное воздействие на социальные структуры значительной части человечества. Можно упомянуть здесь введение еженедельного дня отдыха, что было огромным благодеянием для всего человечества. Такие личности, как Моисей, Спиноза и Карл Маркс, несмотря на все различия между ними, посвятили свою жизнь осуществлению идеалов социальной справедливости, и именно традиция предков привела их на этот тернистый путь. Уникальные достижения евреев в области филантропии имеют тот же источник.

Вторая характерная черта еврейской традиции — высокое уважение к любой форме интеллектуальных устремлений и духовных усилий. Я убежден, что именно огромное уважение к интеллектуальным поискам обусловило тот вклад, который евреи внесли в развитие знания, в самом широком смысле этого слова. Учитывая же относительно небольшое число и значительные внешние помехи, постоянно возникавшие на их пути, величина их вклада не может не вызывать восхищения у всех непредубежденных людей. Я убежден, что все это обусловлено не каким-то их особым предназначением, а тем, что евреи с уважением относятся ко всем интеллектуальным достижениям, и это создает атмосферу, особенно благоприятную для развития всевозможных талантов. В то же время сильное критическое начало препятствует слепому преклонению перед любым авторитетом.

Я ограничился здесь только этими двумя характерными чертами, потому что они кажутся мне основными. Эти обычаи и идеалы евреев находят отражение как в малом, так и в большом. Они передаются от родителей к детям, они окрашивают беседы и споры друзей; они наполняют религиозные книги, и это они придают жизни еврейской общины ее характерный облик. Именно в этих идеалах я вижу своеобразие и сущность еврейской культуры. То, что эти идеалы неполно реализуются в повседневной жизни общины, вполне естественно. Однако, если кто-то хочет четко сформулировать основные черты характера группы, то исходить надо всегда из ее идеалов.

КУДА ВЕДЕТ УГНЕТЕНИЕ

Выше я представил иудаизм как общность традиции. С другой стороны, как друзья, так и враги часто утверждают, что евреи представляют собой определенную расу, так что их характерное поведение есть результат врожденных качеств, передающихся по наследству от одного поколения к другому. Эта точка зрения, казалось бы, подтверждается тем фактом, что евреи тысячелетиями женятся внутри своей группы. Такой обычай мог бы, конечно, сохранить чистоту расы — если бы она существовала с самого начала, однако он не может привести к однородности — если с самого начала ее не было. Евреи, вне всякого сомнения, являют собой неоднородную, смешанную расу, такую же, как и все остальные группы нашей цивилизации. Непредубежденные антропологи согласны с этой точкой зрения, противоположное же утверждение принадлежит к области политической пропаганды и в этом аспекте и должно оцениваться. Быть может, больше, чем собственной традиции, еврейская группа должна быть благодарна тому угнетению и унижению, с которым она вечно сталкивалась на своем пути. В этом, без сомнения, кроется одна из причин ее существования на протяжении многих тысяч лет.

Еврейское сообщество, охарактеризованное выше, охватывает ныне около 16 миллионов человек — менее одного процента человечества или около половины сегодняшнего населения Польши. Его значение как политического фактора несущественно. Евреи рассеяны почти во всем мире и не организованы как единая группа, а это означает, что они неспособны совершать согласованные акции.

Если кто-нибудь захочет сформулировать свое представление о евреях на основании утверждений их врагов, он может прийти к выводу, что они составляют всемирную силу. На первый взгляд, это утверждение — явный абсурд, и тем не менее, с моей точки зрения, в нем есть определенный смысл. Евреи как «группа», может быть, бессильны, но сумма достижений членов группы значительна во всех областях, несмотря на то, что результаты достигнуты вопреки помехам. Воодушевление, которое царит в группе, мобилизует силы, дремлющие в индивидуумах, пробуждает в них готовность к самопожертвованию.

Вполне естественна ненависть к евреям со стороны тех, кто имеет основания бояться широкого развития образования. Больше всего на свете они боятся интеллектуально независимых людей. Я вижу в этом существенную причину диких зверств, чинимых над евреями в сегодняшней Германии. Для нацистов евреи — не просто объект, на который можно направить ненависть людей: они видят в евреях неассимилирующийся элемент, который нельзя склонить к некритическому приятию догм, и именно поэтому — до тех пор, пока евреи существуют, они угрожают их власти, так как настаивают на широком просвещении масс.

Доказательством справедливости этой мысли может служить та пышная церемония сожжения книг, которую устроили нацисты сразу же после захвата власти. Этот акт, бессмысленный с политической точки зрения, может быть понят как спонтанный эмоциональный взрыв. Именно поэтому он разоблачает нацизм сильнее, чем многие другие акции, имеющие большее значение или практические последствия.

В политике и социальных науках растет оправданное сомнение в слишком далеко идущих обобщениях. Когда мысль попадает под гнет такого обобщения, часто начинается неверная интерпретация последовательности причин и возникает эффект, неадекватный сложности явления. С другой стороны, отказ от обобщений означает и невозможность понять явление в целом. По этой причине, я думаю, можно и нужно идти на обобщения до тех пор, пока отдаешь себе отчет в их неопределенности. Это и объясняет, почему я, с самыми скромными намерениями, решил изложить в общем виде свою концепцию антисемитизма.

В политической жизни я вижу две противоположные тенденции, которые находятся в постоянной борьбе друг с другом. Первая — оптимистическая тенденция — проистекает из веры, что свободное развитие производительных сил, а также индивидуумов и групп ведет к удовлетворительному состоянию общества. Эта тенденция основана на признании необходимости центральной власти, поставленной над группами и индивидуумами, но ограниченной только организационной и регулирующей функциями. Вторая — пессимистическая тенденция — исходит из предположения, что свободное взаимодействие индивидуумов и групп ведет к разрушению общества; ее сторонники видят основу жизни общества исключительно в сильной власти, в слепом повиновении и принуждении. Безусловно, это направление пессимистично только для части человечества; для тех, кто является или желает быть носителем этой силы и власти, оно вполне оптимистично. Сторонники этого второго направления враждебны свободным группам и просвещению в духе свободомыслия. Именно приверженцы этого направления, кроме всего прочего, являются носителями политического антисемитизма.

Здесь, в Америке, все способствует развитию первой, оптимистической тенденции. Тем не менее вторая группа тоже сильна. Она появляется на сцене повсюду, однако чаще всего ее представители стремятся скрыть свою подлинную сущность. Их цель — политическое и духовное господство меньшинства над народом и контроль, хотя бы окольным путем, над промышленным производством. Их сторонники всегда готовы использовать оружие антисемитизма так же, как и ненависть к другим сообществам. Они готовятся применить это оружие, как только наступит подходящий момент. До сих пор эта тенденция не достигала цели, потому что противоречила здравым политическим взглядам и интересам людей.

И так это будет в будущем, если мы будем следовать правилу: остерегайтесь льстецов, особенно если они проповедуют ненависть.



Е. Эткинд

«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

О патриотизме А. К. Толстого

На честь вы поруху научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете.

Алексей Толстой. «Змей Тугарин». 1867

Верх над конечным возьмет бесконечное...
«Против течения». 1867

Алексей Константинович Толстой был почти сверстником Фета: на три года старше. Оба они — поэты прозаической эпохи, когда писать стихами, а главное, мыслить поэтическими образами значило преодолевать огромное сопротивление и окружающих собратьев-писателей, и читательских пристрастий. То, что в двадцатые-тридцатые годы понималось сразу, теперь, начиная с сороковых, вызывало недоумение. Характерно отношение Льва Толстого к Шекспиру: монологи «Короля Лира» казались ему нагромождением нелепиц, бредом сумасшедшего старика — так прозаик воспринимает поэзию; он же видел в Бодлере, Верлене, Малларме мошенников, дурачивших доверчивых читателей. Над Фетом — издевались, ни на кого не сочинялось столько пародий; даже Достоевский, даже Салтыков-Щедрин посмеивались над тем, что им казалось нелепицами. Оно и понятно: Фет дерзко шел наперекор господствовавшим вкусам; его иррациональный лиризм нарушал все законы прозаической логики. Он был прав, когда писал Я. Полонскому и К. Р.: «Кто развернет мои стихи, увидит человека с помутившимися глазами, с безумными словами и пеной на устах, бегущего по камням и терновникам в изорванном одеянии». Так видел себя Фет глазами читателей-прозаиков своего времени.

У Алексея Толстого есть похожие строки, написанные за тридцать лет до того:

Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг;
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке,
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке,—
Знай — это я!

Стихотворение называется «К моему портрету» (1856); А. Толстой написал это не от себя, а от сочиненного им (совместно с друзьями) комического автора Козьмы Пруткова, который пародирует романтических поэтов, прикидывающихся безумцами. Фет мог заявить, после приведенных выше строк: «Всякий имеет право отвернуться от несчастного сумасшедшего, но ни один добросовестный не заподозрит манерничанья и притворства». Сам А. Толстой был бесконечно далек от всякого поэтического безумия, но Фета ценил очень высоко: «Останется *навсегда*!» — восклицал он. И в другом письме, спустя несколько лет: «Что Вы последнее время так мало пишете?.. так как Вы поэт лирический par excellence, то все, что Вас окружает, хотя бы и проза, и свинство, может Вам служить отрицательным вызовом для поэзии. Неужели бестиальный взгляд на Вас русских фельетонов может у Вас отбить охоту?..»

Эткинд Ефим Григорьевич (р. в 1919 г.) — доктор филологических наук, литературовед, переводчик. Автор книг «Бертольд Брехт» (1971), «Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина» (1973) и др. В 1974 г. вынужден был эмигрировать. На Западе издал книги «Записки незаговорщика», «Материя стиха», «Форма как содержание» и др. Живет в Париже.

Наиболее полная и самая восторженная оценка Фета дана Толстым после чтения его сборника «Стихотворения» (1863): «...Я наконец познакомился с его книгой — там есть стихотворения, где пахнет душистым горошком, клевером, где запах переходит в цвет перламутра, а лунный свет или свет утренней зари переливаются в звук. Фет — единственный в своем роде, не имеющий равного себе ни в одной литературе, и он намного выше своего времени, не умеющего его оценить. Что за г⟨овно⟩ это время!»

Этот отзыв — один из самых проницательных — удивителен для современника и не-единомышленника.

Фет, однако, не платил Толстому взаимностью: творчества его он не понимал и не любил. Рассуждая в письме к Софье Энгельгардт (14 октября 1862) о том, что в нынешней беспокойной обстановке не может быть настоящих поэтов, что «только в тишине безмятежности может звучать свободное искусство», а «теперь все всколыхано», Фет продолжает: «Но истый современный герой — все-таки Алексей Толстой. Если бы его вещи были только плохи — не стоило бы говорить об этом, но он, как сам заявляет, претендует на чистое искусство, а затем дает вещи буквально худшие, чем гулянье в Марьиной роще и вся лакейская литература. „Дон Жуан“ хуже поэм Ростопчиной, т. е. последняя степень не скажу бездарности, не скажу ограниченности, невежества, но что хуже всего — дурного тону... Его миросозерцание достойно вольноотпущенного лакея-самоучки».

Прошли годы, шесть лет спустя Фет и Толстой встретились в Орле, потом Фет гостил у Толстого в Красном Роге и позднее, в книге своих воспоминаний, он написал: «...считаю себя счастливым, что встретился в жизни с таким нравственно здоровым, широко образованным, рыцарски благородным и женственно нежным человеком, каким был покойный граф Алексей Константинович».

Соотношение этих пассажей поучительно; ведь оба фетовские суждения несомненно искренни. И к ним обоим следует подходить с осторожностью и беспристрастием историка.

А. Толстому приходилось почти так же трудно, как Фету, он тоже нередко был жертвой «бестиальных» фельетонистов, но к окружающему миру был эстетически гораздо более приспособлен, нежели Фет, хотя свое поэтическое credo и выразил в стихотворении, демонстративно озаглавленном: «Против течения» (1867). Оно содержит призыв, обращенный «прозаиками» и материалистами шестидесятых годов к поэтам:

Други, вы слышите ль крик оглушительный:
«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли
Вымыслы ваши в наш век положительный?
Много ли вас остается, мечтатели?
Сдайтеся натиску нового времени!
Мир отрезвился, прошли увлечения —
Где ж устоять вам, отжившему племени,
Против течения?»

На это обращение А. Толстой от имени «певцов и художников» — отвечает решительным утверждением: «Верх над конечным возьмет бесконечное...» Когда-то, говорится в том же стихотворении, книжники твердили, что Иисус распят и что «нету проку в осмеянном, // Всем ненавистном, безумном учении», а византийские иконоборцы хвалились, будто бы они «мир обновили ...силой мышле́ния. // Что ж побежденному спорить художеству // Против течения?» Между тем, победили «художества» и «безумное учение», а не разумные обновители. Вера в то, что в искусстве *бесконечное одолеет конечное*, объединяет обоих поэтов «прозаической эпохи» — Фета и Алексея Толстого (Тютчев старше их обоих — он как поэт сформировался в пушкинское время).

Стихотворение «Против течения» — программное (недаром Толстой собирался открыть им второй сборник своих стихов). Алексею Толстому важно прежде всего отстоять силу искусства, независимость поэзии, для которой бесконечное выше конечного, человеческое выше социального, вечное выше исторического. В этом — зерно мировоззрения Толстого, основа его позднего романтизма; в этом и смысл антиисторической позиции этого, казалось бы, писателя-историка. Борьба против господствующей в его время прозы — центральная идея Толстого.

Литературное наследие А. Толстого невелико: вместе с детскими дневниками и письмами — четыре тома. Однако оно разнообразно: лирические и сатирические стихотворения, баллады, пять романтических поэм и повестей в стихах, пять стихотворных пьес, исторический роман, несколько повестей в прозе. Судьба этих произведений различна. Самое, пожалуй, известное из них, дожившее до наших дней,— роман из эпохи Ивана Грозного «Князь Серебряный». Он признан одним из лучших русских исторических романов — впрочем, в русской литературе XIX века этот жанр не получил большого развития, и после пушкинских опытов («Арап Петра Великого») книга А. Толстого выглядит облегченным повествованием для юношества; она и стала в наши дни излюбленным чтением для интеллигентных подростков. Лирические стихотворения, сильно уступа-

ющие стихам таких современников Толстого, как Тютчев и Фет,— они несут на себе печать поэтического безвременья и упадка вкуса,— удостоились большой популярности благодаря многочисленным композиторам, которые положили их на музыку, создав широко распространившиеся салонные романсы; среди этих композиторов — П. Чайковский (13 романсов), Н. Римский-Корсаков (13), А. Танеев, С. Рахманинов (8), А. Рубинштейн (12), Ц. Кюи (18), М. Мусоргский (5). «Алексей Толстой,— признавался П. Чайковский,— неисчерпаемый источник для текстов под музыку; это один из самых симпатичных мне поэтов».

Устойчивее и гораздо надежнее успех сатирических и юмористических стихотворений А. Толстого — таких, как «Вонзил кинжал убийца нечестивый...» (1860?), «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868), «Сон Попова» (1873),— они еще при жизни автора ходили в бесчисленных списках и превратились в интеллигентский фольклор. О «Сне Попова» Алексей Толстой признавался: «...я потерял счет всем спискам, которые с него сняты». Даже в наше время, более столетия спустя, эти стихотворения остались популярными — их обессмертили блестящее и легкое остроумие, сатирическая яркость, не померкшая ни от времени, ни от смены политических режимов, замечательная стихотворная техника. Сатира Алексея Толстого оказалась необычайно актуальной много десятилетий спустя, когда тысячам арестованных приходилось давать фантастические показания и придумывать списки сообщников. То, о чем Толстой написал с игривым озорством, оказалось совсем невесело.

Блеск толстовских сатир — следствие его удивительного комического таланта; однако он порожден и политической позицией Алексея Толстого. Толстой никогда не отрицал своей приверженности к монархизму. «Но,— писал он в одном из писем,— что общего у монархии с личностями, носящими корону?» К тому же Толстой с равным отвращением говорил о любой тирании: как о Робеспьере и Сен-Жюсте, так и об Иване Грозном. Он не раз заявлял, что в художественном произведении ему ненавистна любая тенденция — «Не моя вина (говорится в том же письме), если из того, что я писал ради любви к искусству, явствует, что деспотизм никуда не годится. Тем хуже для деспотизма! Это всегда будет явствовать из всякого художественного произведения, даже из симфонии Бетховена».

Несколько лет спустя, в 1874 году, посылая свою автобиографию итальянскому журналисту А. Губернатису, Толстой так резюмировал свое положение в литературе: «...могу сказать не без удовольствия, что представляю собою пугало для наших демократов-социалистов и в то же время являюсь любимцем народа, покровителями которого они себя считают. Любопытен, кроме всего прочего, тот факт, что в то время, как журналы клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня революционером». Сам он считал, что наиболее полно выразил свои «социально-политические взгляды» в стихотворении «Поток-богатырь» (1871). В этой сатирической балладе рассказывается о витязе Киевской Руси, который уснул на 500 лет, а проснувшись в эпоху Ивана Грозного, увидел, как

Едет царь на коне, в зипуне из парчи,
А кругом с топорами идут палачи —
Его милость сбираются тешить:
Там кого-то рубить или вешать.

Ему объясняют, что это «земной едет бог». Поток изумлен: «Нам Писанием велено строго // Признавать лишь небесного бога!» Он засыпает снова и пробуждается еще через 300 лет — в современном автору девятнадцатом веке. Поток попадает на суд и видит «патриота», который утверждает, что

«Править Русью призвáн только черный народ!
То по старой системе всяк равен,
А по нашей лишь он полноправен!»

Поток поневоле заключает, что русский народ только и мечтает, что о властном хозяине:

«Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они
Обожали московского хана,
А сегодня велят мужика обожать.
Мне сдается, такая потребность лежать
То пред тем, то пред этим на брюхе
На вчерашнем основана духе!»

Последняя строка существенна для понимания не только этой баллады, но и вообще позиции Алексея Толстого; «вчерашний дух» — это привычка к рабству, образовавшаяся на Руси в годы татаро-монгольского ига.

В «Потоке-богатыре» обнаруживаются два деспотизма: монархический (Иван Грозный) и демократический («мужик») — один стóит другого. Издатель «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич заступился за нигилистов, обличаемых в балладе,— он полагал, что они представляют собою ничтожное явление; Толстой с ожесточением возражал: «Отрицание религии, семейства, государства, собственности, искусства, ...— это чума» и это, с точки зрения Толстого, ничуть не лучше, чем изображаемое в «Потоке» «раболепство перед царем в московский период». В конце того же письма Толстой недоумевает: «...почему я волён нападать на всякую ложь, на всякое злоупотребление, но нигилизма, коммунизма, материализма и tutti quanti трогать не волён? А что я через это буду в высшей степени непопулярен, что меня будут звать ретроградом — да какое мне до этого дело?..» Алексей Толстой неоднократно говорил о том, что он — «между двух огней», что он обвиняем царскими министрами «в идеях революционных, а газетными холуями — в идеях ретроградных. Две крайности сходятся, чтобы предать меня осуждению. А я-то — сама невинность!..»

Взгляды А. Толстого на политику теснейше связаны с его исторической концепцией. Она сложилась в полемике со славянофилами, которая становилась все более резкой. Толстой сохранял неизменно дружественные, взаимно уважительные отношения с братьями Иваном и Константином Аксаковыми и с Хомяковым — однако это не мешало ему быть непримиримым во взглядах на прошлое и будущее страны.

В истории Руси Толстой различал два периода: киевский и московский. Киевский — домонгольский, когда русские люди были свободны не только внешне, но и внутренне; когда им были свойственны честь, достоинство, великодушие, смирение перед Богом и отвращение к холуйству. После трех столетий татаро-монгольского ига нация переродилась; возобладали рабские инстинкты — появился комплекс пороков, порожденных долгой несвободой: низкопоклонство перед власть имущими, корыстолюбие, жестокость, коварство, равнодушие, а то и презрение к ближнему. Толстой не уставал осуждать Москву царей — все, с нею связанное, вызывало у него ярость: «Не могу сказать Вам, до чего доходит моя симпатия к нашему нормальному периоду и моя ненависть к московскому». Ненависть: Толстой только так и называл чувство, испытываемое им к Руси обоих Иванов, третьего и четвертого. Драматургу Николаю Чаеву он обещает: «...приеду дней на десять в Москву, город, который столько же люблю, сколько ненавижу ее историческое значение...» Далее в том же письме — подробнее: «Мною овладевает злость и ярость, когда я сравниваю городскую и княжескую Россию с московской, новгородские и киевские нравы с московскими; и я не понимаю, как может Аксаков смотреть на испорченную, отатарившуюся Москву как на представителя Древней Руси? Даже Андрея Боголюбского я терпеть не могу, потому что он предшественник Иоанна III». Здесь выпад по адресу Ивана Аксакова — а ведь сначала славянофилы восторженно Алексея Толстого приветствовали; им показалось, что их полку прибыло: «Ваши стихи такие самородные, в них такое отсутствие всякого подражания и такая сила и правда, что если бы вы не подписали их, мы бы приняли их за старинные народные»,— сказали А. Толстому, прочитав его стихотворения «Спесь» и «Колокол», Алексей Хомяков и Константин Аксаков в 1856 году. Толстому в то время льстили их похвалы. Полтора десятилетия спустя он, не отрекаясь от личной к ним симпатии, напишет: «Мой добрый приятель и глубокоуважаемый друг, Аксаков, должно быть, не подозревает, что Русь, которую он хотел бы воскресить, не имеет ничего общего с настоящей Русью. Кучерская одежда, в которой щеголяли его брат, Константин Аксаков, и Хомяков, так же мало изображает настоящую русскую Русь, как и их допетровские теории; и Петр I, несмотря на его палку, был более *русский*, чем они, потому что он был ближе к дотатарскому периоду». Таково отношение А. Толстого к славянофильству и его основателям: они неспособны понять, что «московский период нас *отатарил*».

Наиболее радикально А. Толстой высказывает свою точку зрения на Россию и русскую историю в полемическом письме 1869 года Болеславу Маркевичу, посвященном проблеме других национальностей: здесь Толстой, не обинуясь и хотя с оттенком юмора, но без всяких шуток, заявляет: «Если бы перед моим рождением Господь Бог сказал мне: „Граф, выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться!“ — я бы ответил ему: „Ваше Величество, везде, где вам будет угодно, но только не в России!“ У меня хватает смелости признаться в этом. *Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению.* И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с *талантами*, данными нам Богом!»

Свою цель, как и вообще цель всей русской литературы, Алексей Толстой видел в искоренении монгольского духа — сочетания холопства и жестокости. О своем долге гражданина и художника он говорил не раз. Наилучший путь для достижения этой цели — сближение с Европой. «И откуда это взяли, что мы антиподы Европы? Над нами пробежало облако, облако монгольское, но это было всего лишь облако, и пусть черт умчит его как можно скорее... Мне кажется, я больше *русский*, чем все возможные Аксаковы и Гильфердинги, когда прихожу к выводу, что русские — *европейцы*, а не монголы». В другом письме читаем столь же оптимистическое утверждение: «Московский период нас *отатарил*, но из этого не следует, что мы *татары*; это не что иное, как проходящий morbus ignobile (позорная болезнь) нашей истории» (IV, 322). Значит, Россию надо *растатарить* — при помощи связи с Европой, к которой она принадлежит. Вот еще несколько строк из главного теоретического сочинения А. Толстого, из его «Проекта постановки на сцену трагедии „Царь Федор Иоаннович“» (1868): «Странная боязнь

быть европейцами! Странное искание русской народности в сходстве с туранцами и русской оригинальности в клеймах татарского ига! Славянское племя принадлежит к семье индоевропейской. Татарщина у нас есть элемент наносный, случайный, привившийся к нам насильственно. Нечего им гордиться и им щеголять! И нечего *становиться спиной к Европе*, как предлагают некоторые псевдоруссы. Такая позиция доказывала бы только необразованность и отсутствие исторического смысла».

Один из центральных доводов А. Толстого в пользу поворота к Европе — выработанный историей и культурой Запада принцип индивидуальности. Укоренившийся на Руси общинный дух Толстой считал вредным для национального развития: «...я не презираю славян, напротив, я сочувствую им, но лишь постольку, поскольку они стремятся к свободе или независимости... Но я становлюсь их отъявленным врагом, когда они воюют с европеизмом и свою проклятую общину противопоставляют принципу индивидуальности, единственному принципу, при котором может развиваться цивилизация вообще и искусство в частности... Я западник с головы до пят, и подлинное славянство — тоже западное, а не восточное. Нет у него никаких оснований быть восточным».

Всякое возвышение Востока над Западом вызывает у Толстого приступ идиосинкразии. Ему неприятно самоуспокоение и самолюбование, выражающееся в известной формуле, которую он иронически цитирует: «Я горжусь простором русской земли и широтою русской натуры, которая не может и не хочет ничем стесняться. Всякое ограничение противно русской природе ...Гуляй, душа! Раззудись, плечо!..» Но Толстой идет еще дальше, он не боится сказать: «От славянства Хомякова меня мутит, когда он ставит нас выше Запада по причине нашего *православия*».

Интересно, что всеми этими мыслями Толстой делится с Болеславом Маркевичем, другом Каткова, шовинистом, то есть сторонником прямо противоположных идей, с которым его, однако, связывала многолетняя дружба. Лишь один раз дело чуть не дошло до разрыва — когда А. Толстой, выступая в Одессе в Английском клубе (14 марта 1869), сделал важнейшее, принципиальное заявление. Он повторил, что каждый должен стараться «по мере сил искоренять остатки поразившего нас некогда монгольского духа, под какой бы личиной они у нас еще ни скрывались. На всех нас,— продолжал Толстой,— лежит обязанность по мере сил изглаживать следы этого чуждого элемента, привитого нам насильственно, и способствовать нашей родине вернуться в ее первобытное, европейское русло, в русло права и законности, из которого несчастные исторические события вытеснили ее на время». Толстой закончил свою речь здравицей «за благоденствие всей русской земли, за все Русское государство, во всем его объеме, от края до края, и за всех подданных государя императора, к какой бы национальности они ни принадлежали». Казалось бы, что в этой речи могло раздражать противников Толстого? Они, однако, взорвались. Тот же Б. Маркевич, прочитав ее в газете «Одесский вестник» от 18 марта, написал Толстому: «Заключительная фраза Вашей одесской речи является прискорбной ошибкой...» — он полагал, что все инородцы должны подчиниться русификация, что, например, следует запретить полякам говорить в публичных местах по-польски. Н. Ф. Щербина, по словам Маркевича, заявил: «Разных национальностей в могущественном государстве допустить нельзя!» И уже от себя Маркевич корил А. Толстого: «А Вы провозглашаете тосты за процветание ... национальностей! Остается предположить, что Вы желаете для своего отечества судьбы Австрии». Толстой реагировал гневно, утверждая, что «нельзя допустить разных государств, но не от вас зависит, допустить или не допустить *национальностей*! Армяне, подвластные России, будут армянами, татары татарами, немцы немцами, поляки поляками!..» Толстой ссылается на ошибочную политику англичан, подавлявших ирландскую национальность,— они, в конце концов, поняли необходимость автономии для Ирландии: «...Численность тут ничего не меняет. Напротив, чем она меньше, тем менее простительно для вас прибегать к насилию и попирать ногами законы общества». Все эти мысли Толстого актуальны — тем более, что он ссылается на пример эстонцев и латышей. Тогда же А. Толстой сочинил «Песню о Каткове, о Черкасском...», в которой изложил суть спора (она долго ходила в списках):

Друзья, ура единство!
Сплоти святую Русь!
Различий, как бесчинства,
Народных я боюсь...

Есть у нас грузины, армяне и вотяки:

Недавно и ташкентцы
Живут у нас в плену.
Признаться ль: есть и немцы,
Но это entre nous.

Жаль, что у нас нет арапов, им бы князь Черкасский, сторонник русификации, мазал лица белой краской, а в то же время:

С усердьем, столь же смелым
И с помощью воды
Самарин тер бы мелом
Их черные зады...

В своем поэтическом творчестве А. Толстой последовательно воплощал принципы европеизации, провозглашенные им в политике. Существенная часть его стихотворений — баллады, которые продолжают сюжетную и строфическую традицию Шиллера, подхваченную в России Жуковским и Пушкиным. Баллады распадаются, в основном, на две группы: первая, ранняя, посвящена московской Руси, эпохе Ивана Грозного; вторая, поздняя,— норманнской эпохе, Руси домонгольской.

«Московские баллады» выражают взгляд Толстого на зараженность послетатарской Руси «монгольским духом». В балладе о Шибанове рассказывается о бегстве князя Курбского от «царского гнева», от Ивана Грозного.

Иван Грозный — чудовище, но и князь Курбский не намного лучше: своего спасителя и верного помощника он послал на смерть. Василий Шибанов — преданный союзник, но ему свойственно характерное для татарщины раболепство: под пыткой он «славит свого господина», а перед смертью этот героический раб произносит немыслимые, казалось бы, слова:

«За грозного, Боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь...»

Безусловный герой — князь Михайло Репнин, который во время царского пира бросает Грозному вызов:

Тут встал и поднял кубок Репнин, правдивый князь:
«Опричнина да сгинет!» — он рек, перекрестясь.

И он погибает, пронзенный царским жезлом. Репнину ведомо чувство чести, которое Толстой высоко ценил и о котором писал в своем «Проекте», имея в виду одного из своих любимых героев, полководца Ивана Петровича Шуйского: «...в московский период нашей истории, особенно в царение Ивана Грозного, чувство это [чести], в смысле охранения собственного достоинства, значительно пострадало или уродливо исказилось [...] Но в смысле долга, признаваемого человеком над самим собой и обрекающего его, в случае нарушения, собственному презрению, чувство чести, слава Богу, у нас уцелело [...] Чему приписать поступок князя Репнина, умершего, чтобы не плясать перед царем? [...] Связь с Византией и татарское владычество не дали нам возвесть идею чести в систему, как то совершалось на Западе, но святость слова осталась для нас столь же обязательною, как она была для древних греков и римлян».

Вторая группа баллад, «норманнская», написана в конце 60-х годов; это «Песня о Гаральде и Ярославне», «Три побоища», «Песня о походе Владимира на Корсунь» (все три — 1869). А. Толстой с любовью, даже восхищением рассказывает о событиях и нравах того периода, который называл норманно-русским. Эта группа баллад носила, в сущности, полемический характер — все они были направлены против славянофилов, идеализировавших послетатарскую Русь. Редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу А. Толстой писал, посылая ему для журнала вторую из этого цикла: «Цель моя была передать только колорит той эпохи, а, главное, заявить нашу общность в то время с остальной Европой, назло московским русопетам, избравшим самый подлый из наших периодов, период московский, представителем русского духа и русского элемента.

И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!

Вот что меня возмущает и против чего я ратую!»

Стихотворную цитату необходимо пояснить: она взята А. Толстым из его баллады «Змей Тугарин» (1867?). Рассказывается о пире у князя Владимира; выступает неведомый певец, он предрекает Руси страшное будущее — наступит время, когда «честь, государи, заменит вам кнут, // А вече — каганская воля» (монгольское иго); потом придет другое время, когда «поднимется русский народ», но из его среды появится единодержавный властитель:

И землю единый из вас соберет,
Но сам же над ней станет ханом.

(Собиратель земли — Иоанн III, а затем Грозный)

Но тот продолжает, осклабивши пасть:
«Обычай вы наш переймете,
На честь вы поруку научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!»

Вот что предсказывает Руси татарский змей Тугарин — «Обычай вы наш переймете». И продолжает:

«И с честной поссоритесь вы стариной,
И, предкам великим на сором,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: «Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к обдорам!»

К обдорам — то есть на Восток. Это и будет «отатариванием» Руси. Князь Владимир не верит зловещему пророчеству Змея, он поднимает кубок и провозглашает:

«Я пью за варягов, за дедов лихих,
Кем русская слава подъята,
Кем славен наш Киев, кем грек приутих,
За синее море, которое их,
Шумя, принесло от заката!»

Тосту князя Владимира не суждено сбыться: Русь надолго подпадет под власть татарщины. Толстой неизменно восхвалял скандинавов, принесших на Русь европейские нравы и сохранявших исконно русские порядки. Продолжая свое рассуждение, он писал Б. Маркевичу: «Скандинавы не устанавливали, а нашли уже установившееся *вече*. Заслуга их в том, что они его сохранили, в то время как гнусная

Москва его уничтожила — вечный позор Москве! Не было нужды уничтожать свободу, чтобы победить татар, не стоило уничтожать деспотизм *меньший*, чтобы заменить его *бо́льшим. Собирание русской земли*! Собирать — это хорошо, но спрашивается — что́ собирать? Клочок земли — это лучше, чем куча дерьма».

Драматургическая трилогия, главное поэтическое сочинение Алексея Толстого, посвящена этому, столь ненавистному ему московскому периоду Руси. Среди действующих лиц есть несколько персонажей, освещенных любовью автора и вызывающих нашу симпатию. В их числе — уже названный выше Иван Шуйский, рыцарь чести, «человек гордый и сильный»; Ирина, сестра Годунова и супруга Федора, в которой автор отмечает «редкое сочетание ума, твердости и кроткой женственности»; царь Федор Иоаннович, которому свойственны «христианское смирение», «великодушие», которое «не имеет пределов», но и слабость,— «он не постоянно держится своего призвания быть человеком, а пытается иногда избрать роль царя, которая не указана ему природой». Эти немногие герои А. Толстого отличаются от всех прочих тем, что они сохранили верность национальным и религиозным традициям; они как бы выведены автором за пределы социальных связей. Большинство же бояр и их прислужников — носители татарщины: бесчестные, озлобленные корыстолюбцы, лишенные убеждений, почитающие только силу и власть, запуганные сперва Иваном Грозным, потом царем Борисом, способные из страха на любое злодейство. Самой многострадальной фигурой оказывается главный герой всей трилогии, Борис Годунов,— тот самый, о котором в пушкинской трагедии один из противников говорит: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, // Зять палача и сам в душе палач...» У Алексея Толстого Борис — политический деятель большого масштаба, стремящийся к высоким целям. Сам он говорит о своих намерениях:

...Иван Васильич Грозный
Русь от орды татарской свободил
И государству сильному начало
Поставил вновь.
Но в двести лет нас его
Татарское от прочих христиан
Отрезало. Разорванную цепь
Я с Западом связать намерен снова...
...С державами Европы
Земля должна по-прежнему стать рядом,
А в будущем их, с помощию Божьей,
Опередить.

Эти намерения вполне соответствуют идеалам А. Толстого. Сын Годунова Федор говорит датскому королевичу Христиану об отце, обобщая суть его государственной идеи:

Лишь об одной земле его забота:
Татарщину у нас он вывесть хочет,
В родное хочет нас вернуть русло́.
Подумаешь: и сами ведь породой
Мы хвастаться не можем; от татар ведь
Начало мы ведем.
Христиан.
Но двести лет
Вы русские. Татарской крови мало
Осталось в вас.
Федор.
Ни капли не осталось!
И вряд ли бы нашелся на Руси,
Кто б ненавидел более татар,
Чем мы с отцом.

Во имя этой идеи Борис пошел на убийство ребенка, царевича Димитрия. В разговоре с сестрой, вдовствующей царицей Ириной, ставшей инокиней, он так его объясняет:

...перед собой
Одной Руси всегда величье видя,
Я шел вперед и не страшился все
Преграды опрокинуть. Пред одной
В сомнении остановился я...
Но мысль о царстве одержала верх
Над колебанием моим...

Как разрешить этот трагический конфликт? Толстой и не предлагает выхода: если бы таковой существовал, конфликт не был бы трагическим. В своем «Проекте...» Толстой говорит о Годунове с большой объективностью и в то же время с серьезным сочувствием: «...непреклонность Годунова является теперь в строгой форме государственной необходимости. Как ни жестоки его меры, зритель должен видеть, что они внушены ему не одним честолюбием, но и более благородной целью, благом всей земли, и если не простить ему приговора Димитрия, то понять, что Димитрий есть действительно препятствие к достижению этой цели». Толстой не раз говорил о сочувствии Годунову. С нравственной стороны устранение царевича Димитрия оправдать нельзя, но заговор Нагих против царя Федора «сообщает его преступлению характер государственной необходимости»,— писал он в 1865 году, а почти четыре года спустя признавался: «Царь Борис не только посещает меня, но сидит со мной неотлучно и благосклонно повертывается на все стороны, чтобы я мог разглядеть его. Увидев его так близко, я его, признаться, полюбил». Удивительное признание! Не менее удивительны и неоднократные ссылки на «историческую необходимость» угличского события.

Борис Годунов был для Толстого выдающимся государственным деятелем — единственным, кто хотел и мог одолеть татарщину, покончить с позорной ролью Москвы, повернуть Россию лицом к Европе — иначе говоря, осуществить то, что столетие спустя сделал Петр Великий, который «был более *русский*, чем они (славянофилы), потому что он был ближе к дотатарскому периоду». Годунову не дали выполнить его историческую миссию: вся трилогия — история сперва его возвышения, которым он обязан своему уму и дарованиям, а затем — его падения, которое оказалось следствием политических интриг и разветвленного заговора бояр, стремившихся отбросить Россию назад и оторвать ее от Европы. Именно в этой историософской концепции — отличие замысла А. Толстого от трагедии Пушкина, в центре которой — неотвратимость возмездия за преступление, то есть проблема нравственная. Трилогия А. Толстого исследует причины гибели государственного деятеля, который, если бы его концепция одержала верх над современной ему татарщиной, вывел бы страну на европейский путь развития, где она стала бы рядом с великими державами и даже могла бы «в будущем, их, с помощию Божьей, // Опередить».

В последней драме А. Толстой хотел показать любимую им дотатарскую Русь XIII века: страну гордых и вольнолюбивых людей, способных на самоотверженный подвиг, движимых доблестью и честью. Здесь тоже есть трусы и корыстолюбцы, однако не они — двигатели сюжета. Наталья, возлюбленная новгородского воеводы Андрея Чермного, похищает у него ключ от подземного хода — во имя спасения брата, лазутчика из неприятельского стана, новгородцы обвиняют в предательстве воеводу, и тогда старый посадник Глеб берет вину на себя: он готов пожертвовать своей жизнью, а главное, честью, во имя спасения города — ведь отстоять Великий Новгород от осаждающих его суздальцев может только воевода Чермный. Драма осталась неоконченной, замысел Толстого повис в воздухе — он не справился с пьесой о древнем Новгороде, может быть, потому, что она, в отличие от трилогии, опиравшейся на историю, была чистым умозрением. Жене он писал из Дрездена: «Я приобрел провизию здоровья на целый год, найдя сюжет для *драмы — человеческой*. Человек, чтобы спасти город, берет на себя кажущуюся подлость. Но нужно вдвинуть это в рамку, и Новгород — была бы самая лучшая». Еще до того он просил Каролину Павлову помочь ему найти «сюжет человеческий, но не этнографический, чтобы дело происходило черт его знает где и черт знает когда». Очевидно, на такой абстрактной основе ничего создать нельзя: даже опытный драматург Алексей Толстой не совладал с такой задачей.

Как в лирической и балладной поэзии, А. Толстой остался западником и в драматургии. Он терпеть не мог Расина и не был поклонником Шекспира — к последнему относился скорее скептически: «Герои Расина позируют, а герои Шекспира кривляются»,— говорил он еще в 1858 году. Все же его трагедии, написанные пятистопным ямбом, иногда перебиваемым прозаическими народными сценами, ориентированы именно на Шекспира и, отчасти, на Шиллера («Валленштейн»). Опровергая призывы славянофилов к национально-русской драматической форме, он твердил: «Отвергать [...] в русском драматическом искусстве европейскую технику — все равно, что отвергать в русской живописи европейскую перспективу». Толстой дал редкий образец авторского анализа собственного произведения, разобрав композицию своей трагедии «Царь Федор Иоаннович»: «Если представить себе всю трагедию в форме треугольника, то основанием его будет состязание двух партий, а вершиною весь душевный микрокосм Федора, с которым события борьбы связаны как линии, идущие от основания треугольника к его вершине или наоборот. Из этого естественно выходит, что одна сторона трагедии выдержана более в духе романской школы, а другая более в духе германской». Комментируя собственный анализ, Толстой указывал: «Особенность романской школы состоит в преимущественной отделке *интриги*, тогда как германская занимается анализом и развитием *характеров*». Общий же его вывод был: «Прошу прощения у поборников *русских начал искусства*, но, кроме этих двух направлений, я не знаю другого, равно как в противоположность часто упоминаемой *европейской драмы*, не знаю драмы ни *азиятской*, ни африканской».

Идеи Толстого о структуре драмы отличались определенностью и последовательностью. Он придавал большое значение архитектуре произведения: «...я преклоняюсь перед колоритом, я его ищу, я его уважаю, но колорит *без линии* не может быть допущен: *линия* — главное дело во всех искусствах».

Однако его архитектурная идея охватывала больше, нежели одну пьесу,— она распространялась на всю трилогию. Неоднократно он сравнивал построение своей трилогии с принципом сооружения греческого здания (например, Колизея); нижний ряд колонн — дорический ордер; средний — ионический, верхний — коринфский: «Из трех моих трагедий „Царь Борис“ — самая пышная по орнаментовке, „Царь Иван“ — самая сдержанная».

Таким образом, источниками, на которые ориентируется А. Толстой, поэт и драматург, оказываются: немецкие баллады (Шиллер, Уланд), немецкая и французская лирика (Гете, Гейне, Шенье), романская (Расин, Корнель) и германская (Шекспир, Шиллер) драма, античная (греческая) архитектура. Отвечая на упреки (И. С. Тургенева) во встречающихся иногда небрежностях рифм, Толстой выдвигает убедительную теорию, опирающуюся на

противоположность двух школ итальянской живописи: «*Приблизительность* рифмы *в известных пределах*, совсем не пугающая меня, может, по-моему, сравниться с смелыми мазками венецианской школы, которая самой своей неточностью, или, вернее, небрежностью, добивается эффекта, какого никогда не достичь Карло Дольчи, а чтобы не называть имя этого гнусного мошенника, она достигает эффектов, на которые не должен надеяться и Рафаэль при всей чистоте своего рисунка. Я не устану повторять, что я защищаю не себя, а всю школу».

К названным источникам можно, следовательно, прибавить еще итальянскую живопись. Впрочем, итальянская строфика тоже сыграла немалую роль в творчестве А. Толстого: сатирическое стихотворение «Сон Попова» и автобиографическая поэма «Портрет» написаны октавами, поэма «Дракон» Дантовыми терцинами.

* * *

А. Толстой, один из самых русских писателей России, всю творческую жизнь посвятивший разрешению болезненных вопросов ее истории и ее современности, относился к своей родине в высшей степени критически. Суровую строгость взгляда он считал неотъемлемым свойством патриотизма. Он, столько раз писавший о своей любви к российскому пейзажу и русскому языку, считал себя вправе заявить: «...я не принадлежу ни к какой стране и вместе с тем принадлежу всем странам зараз. Моя плоть — русская, славянская, но душа моя — только человеческая».

Ю. В. Ковалев

«РУССКИЙ ШЕКСПИР»

Нельзя сказать, чтобы исследования вклада, внесенного иностранными, иноязычными культурами в культуру отечественную, пользовались у нас большой популярностью. В особенности после проработок 1949 года, на которых представители «сравнительного литературоведения» обвиняли в антипатриотизме, низкопоклонстве перед Западом и многих других идеологических грехах. А между тем ни одна культура, ни одна литература, ни один язык, сколь ревностно блюстители их чистоты ни противились бы внешним воздействиям, не живет обособленной жизнью. Напротив, процесс языковых и литературных взаимодействий, взаимопроникновений, взаимообогащений, начавшись задолго до того, как международные конференции и симпозиумы стали повседневностью, совершается непрерывно, и постижение его столь же важно, как и изучение развития культуры отечественной.

Среди великих поэтов мира, которые, пользуясь словами Тургенева, сделались «нашим достоянием», вошли «в нашу плоть и кровь», одно из главных мест несомненно принадлежит Шекспиру. В этом нетрудно убедиться, хотя бы открыв книгу Н. С. Ашукина и М. Г. Ашукиной «Крылатые слова» — сборник образных выражений и цитат, вошедших в русскую литературную речь. По числу «крылатых слов», широко использовавшихся и используемых русскими писателями, публицистами, ораторами, не говоря уже о частной переписке, Шекспир оставляет далеко позади всех других зарубежных авторов, так или иначе обогативших нашу культуру и язык, и уступает лишь таким гениям русского слова, как Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Крылов, Некрасов, Салтыков-Щедрин.

Книга Ю. Д. Левина «Шекспир и русская литература XIX века» (Л., «Наука», 1988) рассматривает наиважнейший период в истории восприятия английского драматурга русской литературой, выделяя наиболее существенные явления этого процесса. Наблюдения и выводы исследователя тем интереснее, что приходятся на ту эпоху в русской литературе, которая сама дала миру крупнейших писателей — Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова,— в свою очередь оказавших огромное воздействие почти на все национальные литературы Запада и Востока в последующем столетии.

Увлечение в России Шекспиром, которое в середине XIX века приобрело даже характер «культа», имело свои причины и следствия и, как показывает автор, было весьма неоднородным.

В начале столетия, отмеченного наполеоновскими войнами, русские писатели, связанные с движением декабристов, и в первую очередь Пушкин, обратились к Шекспиру, тогда еще мало известному широкому читательскому кругу, как к опоре в их борьбе за самобытную национальную литературу. Пушкин строил свою историческую трагедию «Борис Годунов» «...по системе отца нашего Шекспира», и примеру Пушкина следовали другие современные ему драматурги. Таков был первый этап освоения Шекспира в России. В последующие годы шекспировская драматургия служила русскому обществу уже для иных целей. По проницательному и меткому определению П. В. Анненкова, «Шекспир дал возможность целому поколению чувствовать себя мыслящим существом, способным понимать исторические задачи и важнейшие условия человеческой жизни...» Показательно, что начиная с 1840 годов в произведениях Герцена, Гончарова, Тургенева, Ап. Григорьева, Достоевского и других писателей этой поры шекспировские образы, перенесенные в современность, в русскую действительность, выявляли трагизм и безысходность существования в этой действительности. Особое значение приобрел на этом — втором — этапе освоения Шекспира образ Гамлета. Появившийся в 1837 году в печати и на сцене перевод трагедии о датском принце, выполненный Н. А. Полевым,— перевод весьма вольный, но эмоциональный и сценичный,— сразу овладел умами читателей и зрителей. Полевой деформировал образ Гамлета, усилив его духовную растерянность, смятение перед силами зла, скорбь об унижении человека. Но именно этот образ, приближенный к драматической судьбе людей 40-х годов, прозябавших в душной атмосфере николаевского царствования, нашел у них живой отклик. Уже год спустя после сценического воплощения шекспировской трагедии в Малом театре Белинский восклицал: «Гамлет!.. это жизнь человеческая, это человек, это вы, это я, это каждый из нас более или менее, в высоком или смешном, но всегда в жалком и грустном смысле». «Гамлет» в переводе Полевого, по словам Ап. Григорьева, «...разошелся чуть ли не на пословицы», а исполнение этой роли Мочаловым и Каратыгиным — первым в Москве, вторым в Петербурге — стало вершиной их актерских карьер. (Невольно напрашивается параллель с нынешними пятидесятыми, когда несколько театров — в Москве, Ленинграде, Риге, Даугавпилсе и других городах — почти одновременно обратились к постановке «Гамлета»!)

Всестороннее исследование «русского гамлетизма», возникшего в 1840-е годы на скрещении литературы и общественной мысли, а затем постепенно менявшегося и в конце века представленного нередко уже пародийно, представляет интереснейшие страницы в монографии Ю. Д. Левина, который прослеживает историю «русских Гамлетов» от тургеневского «Гамлет Щигровского уезда» до Иванова в одноименной пьесе Чехова.

Две другие темы, которые привлекают особое внимание,— это преломление шекспировских образов в произведениях Достоевского и «бунт» Толстого против Шекспира. В первом случае следует отметить, что приведенные Ю. Д. Левиным параллели и толкования не только обогащают наше понимание образов самого Достоевского, но и дают объяснение феноменальному успеху его прозы на Западе, прежде всего в англоязычных странах.

Что же касается Толстого — то есть его критического очерка «О Шекспире и о драме» (1906), в свое время поразившего все культурное человечество своим, казалось бы, немыслимым утверждением: «...Шекспир не может быть признаваем не только великим, гениальным, но даже самым посредственным сочинителем»,— то заслуга автора книги, на мой взгляд, в том, что он впервые, в результате тщательных изысканий, установил: толстовское отрицание Шекспира отнюдь не было громом среди ясного неба. Оно вытекало из подспудно зревших в русской реалистической литературе тенденций, из всей ее эстетической системы, находившейся в противоречии с системой Шекспира.

В русской литературе начиная с 60-х годов утвердился реализм нового типа. Он стремился показать обусловленность характера человека и его поведения социальной средой, личность изображалась в гуще обыденной жизни, психологические мотивировки тех или иных человеческих деяний были рационалистически обоснованы. С этих позиций романтическая образность, метафоричность языка шекспировских героев вызывали неприятие, казались искусственными. В книге Ю. Д. Левина это различие двух эстетик демонстрируется на единственном примере — сопоставлении монолога Макбета, убившего короля Дункана («Макбет зарезал сон!..»), и бессвязной речи также совершившего убийство Никиты из «Власти тьмы» Л. Н. Толстого. У Шекспира — «поэтическое выражение ужаса», у Толстого — выявление психологического состояния человека, определенного его социальным кругом и культурным уровнем — «властью тьмы».

Весьма плодотворной представляется также мысль автора о том, что критический очерк Толстого сыграл в итоге положительную роль, разрушив культовое отношение к английскому драматургу и расчистив почву для осмысления его поэтической системы, что в свою очередь имело огромное значение для работы над поэтическими переводами Шекспира.

Путь писателя в любую иноязычную литературу лежит через перевод. Переводчик — посредник отнюдь не нейтральный. От его таланта, эстетических, мировоззренческих, наконец, переводческих принципов зависит в большей степени, каким войдет писатель в иноязычную литературу. Поэто-

---

Ковалев Юрий Витальевич (р. в 1922 г.) — доктор филологических наук, специалист по англоязычным литературам. Автор книг «Герман Мелвилл и американский романтизм» (1972), «Эдгар Аллан По: Новеллист и поэт» (1984) и др. Живет в Ленинграде.

му особый интерес представляет выделенная в отдельную часть история русских переводов Шекспира в XIX веке. Ю. Д. Левину удалось дать цельную картину этой формы восприятия Шекспира, охарактеризовать историческое развитие принципов перевода — от переделок начала века в стиле классицизма к «наивно-романтическому „буквализму“» переводов на рубеже 1820—1830 годов, к романтическому переводу-самовыражению Н. А. Полевого и далее к переводам 1840—1860 годов, учитывавшим различие языковых стилистических систем и стремившимся к наибольшей адекватности.

Книги, подобные той, о которой идет здесь речь, создаются годами. Тут мало накопить, освоить, исследовать горы материала — в данном случае почти всю необъятную русскую литературу XIX века. Необходим комплексный подход к предмету исследования, необходимо рассматривать явление одновременно в нескольких планах — историческом, литературном, эстетическом. Ученик и последователь академиков М. П. Алексеева и В. М. Жирмунского, памяти которых посвящена монография, Ю. Д. Левин не просто прослеживает судьбу Шекспира в русской литературе XIX века, но и освещает многое в деятельности и творчестве русских писателей и критиков в связи с их отношением к Шекспиру — так сказать, сквозь призму Шекспира. В итоге восприятие английского драматурга тем или иным русским писателем связывается и с его историческим окружением (например, Пушкин и декабристы, Тургенев и литераторы 1840 годов и т. д.), и с конкретными творческими задачами, которые стояли перед ними самими. Все это не только раскрывает перед нами пути и характер действенности шекспировского творчества в России XIX века, но и обогащает наши представления об исторических судьбах русской литературы.

Монография «Шекспир и русская литература XIX века» — еще одно доказательство плодотворности метода, разработанного ленинградской филологической школой, которая, несмотря на все чинимые ей долгие годы препоны, продолжала и продолжает давать результаты самой высокой пробы. (Попутно замечу, что вслед за своими учителями Ю. Д. Левин был в 1988 году удостоен английским Оксфордским университетом почетной степени доктора литературы.) И еще. Эта книга — серьезнейшее научное исследование — служит доказательством того, что истинный ученый пишет просто, кратко и точно, не злоупотребляя иностранными терминами и цитатами, умея отобрать из почти безбрежного материала лишь необходимое. А потому книга «Шекспир и русская литература XIX века» при всей ее сугубой научности и учености доступна самому широкому кругу читателей — всем, кто интересуется историей культуры родной страны, не говоря уже о тех, кто является специалистами по вопросам литературы, театра и перевода.

С. Н. Носов

УСТАЛОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ

В книге «Литература в поисках реальности», которую можно назвать гениальным философским черновиком отечественного XX века, Лидия Гинзбург писала: «В девятнадцатом веке поколения обгоняли поколения с удивительной быстротой (особенно в России)... Ритм культуры совпадал с ритмом социально-политических изменений. В XX веке между ними разрыв. События движутся столь стремительно, что человек со своими стихами, романами, вообще психическим строем и мышлением не попадает в темп... Самолет движется, превышая умопостигаемую скорость, а пассажир повис в пространстве». Хорошо зрима у Гинзбург ностальгия по гармоническому бытию, духовному и социальному, к которой был много ближе, с ее точки зрения, прошлый век,— ностальгия по соответствию таланта и признания, возраста и общественного положения, богатства и избранности среди людей. И ощущение печальное. Ибо в наш век, в нынешней и недавней России, скажем, литературное признание приходит в основном к тем, у кого талант — «липовый». Те же, кому доведется наконец достичь заслуженно высокого общественного положения, получают его поздно — старость, душевная и физическая, стоит у дверей, и не принести уже престарелому обладателю высокого кресла пользы ни себе, ни людям. Или человек не успевает за жизнью, или жизнь не успевает ему помочь...

Увы, во многом это «протокольно» верно. Спорить можно, собственно, только с тем, так же ли хорошо вписывается человек в окружающую жизнь, как зимой цвет заячьей шкурки вписывается в снежный пейзаж. Если у писателя изначально столько же таланта, сколько и признания, и эти признание и талант растут как милые близнецы, не расставаясь и не ссорясь, то творческий путь такого автора будет ровен, как степь, и уныл, как степь, где огромные ладони неба и ровной земли под ним настолько соответствуют друг другу, что, кажется, готовы сомкнуться и смыкаются где-то на горизонте. При гладкой жизни нет условий для конфликта, с которого начинается творчество (первые конфликты — жизни и смерти, человека и природы — породили и первые достижения человеческого гения или, будем скромнее, интеллекта). Творчество возникает из «трения» человека о мир, в котором он живет.

Может быть, однако, в культуре XX века дистанция между желаемым и действительным, потребностями и возможностями была столь огромна, что искомого «трения» и не происходило: пафос самоутверждения, горение эмоций невозможны, если желание состоит, например, в том, чтобы безбедно жить на Карибских островах и купаться в голубом океане, а ты «прикреплен к земле» где-нибудь в славном городе Урюпинске. В сознании наших современников накопилась за долгие годы томления под бременем неосуществимых стремлений (больших и малых) и не реализуемых ни при каких реально мыслимых условиях надежд (идеальных и вполне плотских) огромная вековая усталость. Как пресс давит эта усталость на человека, образуя в душе его, выглаженной тяжестью навалившихся забот, печальные и безыдеальные пустоши — «просторы бессилия», на которых, подвластные веяниям времени, треплются чувства, как трава в беззащитном поле под холодным октябрьским ветром.

Жить мы сможем и не столь уж далеком будущем совсем иначе, чем жили,— шумно, буржуазно, жадно,— но усталость как всепобеждающее душевное состояние уже унаследована молодым поколением, жаждущим прежде всего расслабиться, отвлечься и забыться.

Наследована духовная усталость и молодой литературой.

Не стоит думать, однако, что в России XIX век, в котором желаемое не так безнадежно отставало от действительного, как в последующие времена, был веком неутомимости и что только на гребне этой неутомимости, на вершинах интеллектуального и эмоционального горения рождались шедевры искусства, созидалась тогдашняя русская культура. Разочарование — близкая подруга усталости. А оно появилось в русской культуре рано и утвердилось в ней прочно — с Онегина в литературе, с «Философических писем» Чаадаева во взгляде на прошлое и настоящее родины. Духовно глубоко уставшими людьми выглядят поздний Герцен, Тургенев, Леонтьев и, конечно, Розанов. Быстрая душевная утомляемость, переходящая в растерзанность души (как итог повышенной, сангвинической восприимчивости к жизни) есть типически русское свойство: от восторгов «Стихов о Прекрасной Даме» Блока так краток был путь к тоске его «страшного мира»...

И все же, живя в стране усталости, можно было — это доказывает история нашей культуры — создавать немало замечательного. Всякий энтузиазм — односторонен, с легкостью переходит в нечто маниакальное, подобное, скажем, «сумасшествию» отчаянного филателиста, не признающего в жизни ничего, кроме драгоценных марок. Разочарование и усталость — это широта взгляда на мир, это нередко та самая свобода от участия в банальном шествии здоровых и бодрых желаний, которая прекрасно рифмуется с развитой индивидуальностью и творчеством. Устать смолоду иногда замечательно — это выглядит романтично, красиво и может не позволить ординарности и пошлости съесть человека (пример — хотя бы феномен Лермонтова, с юности утомленного и разочарованного). И именно смолоду уставшей оказалась по воле истории и подсказке логики эволюции культуры наша новая литература, рожденная за рубежом 1985 года.

В последние годы страну, и обе столицы в особенности, затопило море книг и журналов, выпускаемых новыми издательствами или отпочкованиями старых, о которых еще недавно ничего не было известно. Это — «взбаламученное море», где очень непросто разглядеть неровное дно. Но есть среди издательских новообразований и такие, чьи лица можно по нескольким характерным признакам разглядеть и контурно обрисовать сразу. К ним относится и ленинградское издательство «Васильевский остров», сформированное на базе Ленинградского отделения молодежной книжной редакции «Стиль» и постепенно набирающее издательскую скорость. Пока на его счету не столь уж объемистый багаж изданий (если «отсечь» переводную литературу, неизбежные детективы и переиздания из анналов «серебряного века», осуществленные для денег), но все эти издания очень характерны для литературы «последней волны».

Первое, что обращает на себя внимание из оригинальной литературной продукции «Васильевского острова»,— альманах «Петрополь». Воплощающий содружество различных литературных поколений, этот альманах — неординарное, яркое явление. В первом номере «Петрополя» — в прозе Виктора Сосноры, Валерия Попова — за-

Носов Сергей Николаевич (р. в 1956 г.) — кандидат исторических наук. Автор работ о славянофилах, В. В. Розанове, В. С. Соловьеве, книги «Аполлон Григорьев» (1990). Печатается в журналах «Русская литература», «Звезда». Живет в Ленинграде.

метны веяния потока сознания, царствует вольница впечатлений и чувств, которые мы бы назвали «подкожными», не демонстрируемыми в монологах, произносимых па людях, и вообще не выходящими на свет в четких формулировках. Это жизнь отчаяния, идущая «при закрытых дверях».

В «Вольных мыслях» Валерия Попова заметен и налет абсурдистики. Строится вещь на щеголеватом столкновении глуповато и вольно плещущихся эмоций. Характерен, например, следующий псевдодиалог:

«— И стал он... ну — цвета твоих джинс!

— Нет уж — лучше твоих!

— Я там немножко накузьмил — извини.

— Но водка же — прозрачная и стаканы — прозрачные! Никто и не увидит, что мы пьем!

— Когда будешь?

— ...Видимо, к вечеру.

— Значит — видимо или невидимо, но к вечеру будешь?»

Здесь каждый из говорящих — сам по себе. Да и произносимые фразы — сами по себе. Беспорядочно скачущие ассоциации, неожиданно впрыгивающие в текст соображения, бездумно обнимающиеся в кратких каламбурах слова испытывают эйфорию веселой свободы. Счастливая анархия — таково «черное знамя» «Вольных мыслей» Попова, от которого очень веет современностью и заразительным смехом.

Все еще жив на фоне политически, социально и духовно непричесанного нашего времени, пытающегося спросонья вскочить на подножку поезда капитализма, и старый рыцарственный романтизм. Им, несколько помрачневшим от иесконченной тяжбы с пошлостью, но узнаваемым, как мечты вольнолюбивой юности, дышат новеллы Виктора Сосноры «Зимний сад» и «Личность книги», вне сомнения, украшающие «Петрополь». Соснора верен интеллигентскому (вспомним воинствующую антибуржуазность Герцена) презрению к «сытости», богатству: «Пачки денег, как признак тоски, тысяч 50... Я хочу быть сыном бедных, чтоб жить тяжелее, а то легко как-то». Сквозит у Сосноры и традиционная, с демоническим налетом, грусть: «Век бы не видеть никого. Не тужи, это будет вскорости, когда отойдешь на несколько шагов от тела, от свежесрубленного гроба. Тянут железные ковши пьяные экскаваторы. Ковши в железных рукавицах. День кипит. Ноги у женщин в голубых штанах. Жаль, нет винтовки, в окне широкий обзор мишеней».

Усталость — это томление по свободе, большой и малой (в зависимости от вида и масштаба утомления). Уставший от сидения сиднем мечтает размять ноги, уставший нести чемодан — его бросить, дойти до цели с счастливо пустыми руками. А уставший духовно мечтает не иметь в уме обязывающих к чему-то истин, освободиться от наседающих стремлений, осуществление которых оборачивается изнурительной работой, приносящей одни несчастья. Попыткой создать хотя бы воздушный замок свободы живы и новеллы Сосноры, и «Вольные мысли» Попова. Этим они и своевременны — как лекарство «павшему духом».

Иначе отнесся к свободе, которая, оставшись одна, имеет склонность загримироваться в анархию, другой интересный автор «Петрополя», поэт Владимир Микушевич. В прозаизированном стихотворении «Из „Проблесков“» он заявляет: «Тирания в действительности — анархия для одного, анархия в идеале — тирания каждого». Далее Микушевич, однако (что, кстати, характерно), начинает заявлять банальности: «История — это роды, культура — это урожай. Дух — сеятель, душа — жница». Мысль Микушевича в том же философическом «Из „Проблесков“», что «современный человек предпочитает информацию истине», не только скорбна, но и точна. Но возвращение истины на пьедестал почета — советы искать ее во что бы то ни стало, уговоры не быть циничным,— оборачивается риторикой, благонамеренными наставлениями, от коих мутно веет тоской «казенного дома»: «Дон Кихот — поэтический образ антихриста, пытающегося устроить мир без Христа, то есть вопреки Христу».

Идеал Владимира Микушевича — возвращение по тропе истории к «хладному» прошлому, которому он посвящает хорошие стихи («Царское село», «Гатчина», «Павловск» — и сами заглавия звучат экскурсионно). Понятно, почему такая поэзия уместна в «Петрополе», символизируя в нем мощные корни, на которые будет, по замыслу, опираться литературное будущее. Но корни — не крылья, на них не взлетишь на сияющие вершины. Крылья «Петрополя» — это прекрасные стихи Елены Кацюбы, неординарная поэзия Андрея Кожухова. Или — если на крылья, еще не золотящиеся в лучах славы, не полагаться — ранняя ленинградская лирика Иосифа Бродского, с которой «Петрополь» начинается, стихи Дмитрия Бобышева.

В «Петрополе» почти нет «хором» говорящих (или поющих) авторов, чьи тексты были бы безоговорочно заодно друг с другом. Лики творчества авторов альманаха — разные. Различны и достоинства поэзии, прозы и эссеистики, попавшей в альманах. Но провальный текст только один — претенциозное сочинение Константина Кедрова «Допотопное», названное поэмой и являющее собой вулканоподобное извержение заклинаний «ТЬМА ТЮРЬМА ТАНТАЛ ТИТАН ТИАМАТ ТИФОН ТЕВТОН ТЕМЕН ТОН НЕФТЬ ТОРФ Ф — Ф — Ф — Ф — Ф — Ф — Ф...», перемежаемое причитаниями типа: «корова ковровая // воровка коварная // бисмелла // камбала // кибелла кабалла // кабала...» (все без знаков препинания, и многое — должно быть, самое важное — крупными буквами).

Питерское нонконформистское литературное прошлое — более чем достойный партнер литературного сегодня нашего города. И посему приятно и логично, что новейший (вышедший в свет осенью 1990 года) сборник прозы «Семь верст до небес», изданный «Васильевским островом», открывается рассказами из книги Сергея Довлатова «Чемодан» — конечно, украшающими его и символически предваряющими эпопею литературных исканий, разворачивающуюся на дальнейших страницах сборника. С приятно-грустной и как бы невзначай ироничной интонацией довлатовской прозы читателю по мере приближения к сердцевине сборника приходится все же расстаться. На горизонте появляются рассказы и повести, где царит раздраженное ехидство или, наоборот, упоенно кричащая что-то возвышенная патетика. В их неспокойном, изменчивом, как настроения человека с разболтанными нервами, отношении к жизни есть неустранимое сходство.

С патетикой противостояния тоталитаризму связана идейная суть повести Татьяны Бутовской, написанной в манере, давно ставшей литературной привычкой (ее многие авторы уже стесняются). В центре повествования положительный герой, честный и незаурядный человек, ищущий правду и посему обличающий порочное общество, в котором ему приходится жить, а вокруг этого героя — вязкая тина компромиссов, выныривающие из-за угла жизненные невзгоды. Сюжет и конфликт узнаваемы с закрытыми глазами — хотя бы по школьным трактовкам «Горя от ума».

Большевики создали общество, в сравнении с которым фамусовская Москва показалась бы раем. Ясно, и противостоять ему следует по меньшей мере так, как это делал Чацкий. Литературная невозможность этого, однако, почти фатальна: повторения уже сказанного — как заключенных на бесславно гремящей цепи — ведут и способнейших авторов к измельчанию.

Нет смысла в литературе писать «как раньше», хотя жить «как раньше» (до 1917 года) смысл есть (другое дело, что нет особой возможности). Все это, кстати, понимают многие авторы сборника «Семь верст до небес», и, в частности, Евгений Звягин, выступивший в нем с повестью «Небесные бомжи». Писать небанально — конечно, только минимум. Но сдать и этот минимум на литературную оригинальность непросто. Тем более, если посвятить произведение литературному и окололитературному быту в его «всамделишной» реальности, как это происходит в повести «Небесные бомжи». Исход из банальности тогда — новая форма преодоления изображаемой литературной обывательщины. А Звягин пишет о литераторских делах вкусно: ему приятна сама причастность к чему-то «непроизводственному», лучшему, чем пасмурное «вытачивание деталей» в грохоте цеха. Переданы в повести, в сущности, лишь положительные «вкусовые ощущения» от непосредственного участия в литературной жизни. Это уже банально до небанальности...

Как состояние, содержащее в себе яд острых разногласий между желаемым и действительным — к примеру, хочется уже спать, а еще надо работать и работать (в типичном, по нашей счастливой жизни, случае),— усталость есть форма глухого биологического недовольства. Не случайно былой человек светлого будущего изображался неиссякаемо бодрым и жизнерадостным, всегда готовым растить детей или воевать, трудиться или обороняться, не ведая, что такое усталость. По замыслу отечественных конструкторов земного рая человек светлого будущего должен так полно осознать необходимость, чтобы уже не осознавать, что она — лишь необходимость, а не вожделенная возможность. Сливаясь с огромным, как наша страна, великим «надо», этот человек в намеченном идеале был осужден превратиться в подобие вечного двигателя (да и был уже, как мы помним, «неутомимым тружеником»), опровергая закон сохранения энергии личным примером. Развал же тоталитарного сознания выражается в первую очередь в ускользании из тюрьмы репрессированных эмоций. Большинство же из этих отправленных «в Сибирь по этапу» эмоций — с приставкой «не»: не любить, не верить, не желать, не терпеть, не мочь... Последнее — не мочь, не могу, не можем — завязано в один узел с усталостью и в сговоре, конечно, с антилюбовью, антиверой, антижеланием, антитерпением.

В литературе «духовная амнистия», сопровождающая и завершающая развал тоталитарного сознания, выражается отчетливо и не слишком сложно — в приоритете скепсиса над патетикой, иронии над серьезностью, в «немоготе», постигающей возвышенно-идеальное, и, наконец, во влечении к несовершенному, к некрасоте и антипрекрасному.

Об антикрасоте, о невольном срастании с некрасивым, далеким от прекрасного, как пустыня от воды, окружающим миром рассказ Владимира Бацалева «Козявочка» — едва ли не лучшая вещь сборника «Семь верст до небес». Бацалев — и в этом секрет необычности рассказа — тонкой словесной вязью живописует «лепестки» душевного мира женщины, чья непосредственность граничит с невозможным, с безумием, как кажется окружающим, которым традиция жить за занавеской приличий привязана как возможность спасти достоинство и иллюзии. Открытость героини рассказа миру оборачивается для нее трагедией — жизнь груба

и охотно глотает тех, кто готов ей отдаться: героиня рассказа становится и посредственной художницей, и неопрятной хозяйкой, и неинтересной мужу женой. Но неуловимая грация не исчезает в этой несчастной женщине, исключительна ее незащищенность, незащищенность, которая, оказывается, тоже дар, дар искренности.

Второй рассказ Бацалева в сборнике — проще, но и в нем временами сквозит та усталая ироничность (небеспорочная где-то на глубинах), с какой, вероятно, римляне времен упадка оглядывали очередных варваров. Иллюстративны в этом смысле хотя бы такие строки: «...бороться со стеснительностью Вера не в силах, больше того, она взвизгивает при виде зеркального отражения в ванной. Хочется, чтобы за ней пришел принц и забрал ее „в страну, где нет напрягов", как выражается Леля, но если бы тот действительно вдруг открыл дверь, Вера залезла бы под стол».

Неинтересна ныне проза с обилием диалогов, долженствующих, казалось бы, оживлять ее. Диалог в ней напоминает противоборство «бодающих» друг друга фигур на шахматной доске. Некогда модный (со времен его открытия Бахтиным у Достоевского) диалогизм уже сыграл свою роль — в литературе XIX века он помогал освоиться с мыслью о множестве соперничающих, как «голоса» у Достоевского, равнозначных правд. В конце нашего политически душного XX века он означает лишь завуалированную проповедь плюрализма мнений. Сущностная роль диалога упала, особенности, оттенки индивидуального сознания и мировосприятия остаются за кадром — вслух говорится, естественно, то, что прилично и уместно сказать, то «дневное», что мы в основном и так знаем. А литература ищет незнакомые, пока неясные сферы жизни — и должна их искать.

Те молодые писатели, герои которых не столько погружены в себя и доверены автору, сколько разговаривают друг с другом, выражая эмоции и желания свои напрямик, во всей обнаженной откровенности прямой речи, обречены двигаться по не обещающей ничего необыденного, реалинованной по типу «вопрос — ответ» плоскости. Им трудно прикоснуться к затаенному, подспудному, тому, что на поверхности жизни не является. Типична в этом смысле вышедшая из недр изучаемого нами литературного молодежного центра под названием «Стиль» (выразимся на сей раз так, чуть игривее) книга Евгения Коротких «Черный театр лилипутов». Книга эта о провинции, о жизни ее местного искусства, о дрязгах вокруг этого искусства, о ресторанном времяпрепровождении, находящемся тоже где-то рядом с искусством,— и в тоне издевки, конечно, с лихими фантастическими вывертами сюжета. Размашисто написанная, книга Коротких оставляет впечатление чего-то ломающегося, выспреннего, а по сути своей как будто сколоченного из досок, прямых и шершавых «досок диалогов». Книга утопает в нескончаемых «она кричала», «я спросил», «раздались голоса», за чем всегда, естественно, следует двоеточие, открывающее походящую на лобовую атаку прямую речь, которая — подчеркнем — не только ныне, но и как таковая (драматургию мы опустим — там рвется на «плоть» сцены, игру актеров) есть форма художественного обеднения: и живописец выражает свое настроение не прямо, через изображаемый пейзаж, и писатель передает свои мысли и чувства не прямо, через переживания героев, используя «подставные фигуры» художественных образов, их посредническую роль.

Давно уже замечено, что современная проза пресыщена вымыслом, итоги которого воспринимаются как «пустые слова», оторвавшиеся от реальности наподобие пуговицы от старого пиджака. Вновь пришить эти пуговицы гнилыми нитками натурализма на положенное место — не выход. И новая литература, оставаясь ирреальной, стремится заставить читателя поверить себе и такой, заболевая мечтой о фантастическом вторжении в действительную жизнь и в угаре сей мечты становясь еще фантастичнее.

Рассказы Леонида Межибовского, завершающие сборник «Семь верст до небес»,— идеальная иллюстрация к характеристике данной литературы, болезненно осознающей неэффективность большинства известных и возможных, уже отслуживших свое литературных приемов. Эти рассказы написаны на хорошем литературном уровне и интересны своей типичностью. Особо характерен и этим любопытен рассказ «Эрика Крюгер», обыгрывающий недорогой литературный сюжет, согласно которому некий молодой человек, чтобы получить роскошное наследство, должен выполнить условие, поставленное его богатой двоюродной бабушкой, «по части ума которой существовали известные сомнения»,— во что бы то ни стало жениться. Желая не упустить наследство, молодой человек и женится — на первой встречной. Обретя же вожделенное богатство, он намеревается физически ликвидировать живущую где-то неподалеку от него супругу (женщину, с которой он толком и не познакомился), чтобы владеть богатством безраздельно. Соль рассказа в том, что данная детективная история, как выясняется, лишь читается в романе едущей в поезде дамой, удивительно похожей на супругу нашего литературного героя-злодея. Дама настолько похожа на несчастную жертву детективного романа, что названный злодей — и тут уже начинается фантастика — принимает ее за искомую супругу. А бедная дама тем временем узнает из романа о готовящемся злодеянии и решает его предупредить. Сообщим сразу, что даму-то молодой человек и убивает. Искусство, таким образом, «въезжает» кровавыми деяниями в настоящую жизнь и перемешивается с реальностью — литературные герои сходят со страниц книг в физическое бытие, как по трапу...

Возможно такое буквальное воссоединение литературы и жизни, такая их гремучая смесь только в кошмарном сне. Конечно, не только читатели могут подражать в жизни литературным героям, но и автор романа может заразиться типом сознания и поведенческими особенностями выдуманных им персонажей. Но это — совсем не то, что читать детектив и видеть его героев разгуливающими за окнами, обращаться к ним с вопросами, а потом снова читать о них же страшную историю, написанную в каком-то будущем времени, которое еще не наступило. Было мнение, что, например, Достоевский, написав «Бесов», тем самым и выпустил их в жизнь (проскользнуло оно, в частности, в одном из интервью Андрея Битова «Литературной учебе»), но, если серьезно, то это — литературные игры с целью соблазнить (пусть на первых порах и напугав) читателя магией литературы. И какие же усилия, какая сложная механика повествования нужны, чтобы заставить поверить утомленного художественным вымыслом, холодного, как само равнодушие, читателя в подлинность литературных чудес!

Легче, вольготнее живется литературе, эксплуатирующей читательское безверие, скепсис усталой эпохи. Эта литература как будто цинично предлагает: «Давайте не верить вместе». И обманывает читателя, которому смертельно надоели литературные фокусы, поскольку все же остается литературой — кстати, нередко и очень хорошей.

Успешно самоутверждающийся литературный «жанр безверия» прекрасно освоен одним из авторов сборника прозы «Аритмия», изданного в Ленинграде даже и без обозначения готовившего его издательства и примыкающего к ленинградской литературе «новой волны»,— Николаем Исаевым. Исаев иронизирует практически над всем, что «попадает под руку»,— низкой действительностью и высокой словесностью, платонической любовью и жгучей похотью, добром и злом. Чтобы представить, как выглядит абсурдистская по духу повесть Исаева «Фарфоровые головы», помещенная в «Аритмии», приведем выразительный пассаж — текст брачного объявления, которое намеревается подать несколько диссидентствующий «камышовый кот Жюльен» в газету провинциального российского городка Артебякина: «Молодой кот в зрелом возрасте (без пороков) желал бы познакомиться с целью брака с милой, музыкальной, веселой, очаровательной кандидатурой, с уживчивым характером. Имеются значительные сбережения и связи...» Едва ли не единственное позитивное утверждение в повести «Фарфоровые головы» следующее: «В России ночью проще. И тише. Основные события происходят, как правило, днем». Апологетом «ночного», мрачно-иронического сознания, вышучивающего ту «презренную явь», с которой дружен день, Исаев и выступает.

Не столь безоговорочно отдана во власть всепоглощающей иронии и смеха полуфантастическая повесть Александра Танкова «Бобровск» — неординарное произведение, в котором сквозь гротескные вывихи смысла, как камерная музыка сквозь глухие стены, звучит тонкая и больная нота — лирическая. Если Исаев уводит в «пустыню смеха», в которой до далекого горизонта монотонно бегут перед глазами ехидные смешки и улыбки, кружащие в конце концов голову самого литературного путешественника, то Танков без обиняков чередует смешные и трагические, реалистические и фантастические зарисовки жизни. Так человек, погруженный в воспоминания, поочередно подносит к глазам пестрые по настроению фотографии давних времен и — то улыбается, то грустит, а в конце концов рад, что много жил и есть что вспомнить. Тема повести — тоскливая провинция, колдовской в своей затягивающей безысходности город Бобровск, «гиблое место», сквозь которое не пройти безнаказанно и в котором даже любовь и нежность некоей хорошенькой и ни в чем не повинной Леночки означают для героя духовную гибель. Обывательщина, превращающее душу в жалкий «пепел» прозябание — вот призрак, преследующий ее героя то как навязчивая галлюцинация, то как реальность самой судьбы в облачении из ткани обстоятельств, приковывающих человека к прозе и будням существования. Конечно, было это уже у Чехова, в старой русской прозе в целом, но Танков сказал о боли и мути, глухоте провинции по-своему — не то что добрее, но так, как будто провинция эта живет в душе, а не где-то вовне, среди унылых полей, за столько-то километров от столицы, в которой все иначе...

В целом в сборнике «Аритмия» ощутимо гнущее его к земле, как комья налипшего снега неокрепшее дерево, давление безысходного реализма (особо показательны в этом отношении два рассказа Захара Оскотского — «Вечер с пивом» и «Данилин и Гуричев»). Если давний классический реализм выступал уважаемым обществом судьей, находившим в драме жизни виновных, то реализм нынешний в основном заставляет читателя взглянуть в зеркало, полагая, что взгляд на собственное отражение — достижение. Но современный человек устал глядеть в зеркало, хотя иногда и заглядывает в него украдкой в смутной надежде увидеть в нем не себя самого, а кого-то другого, неожиданного и радо-

стного, как вода в пустыне. Надежды остаются тщетными, уставший человек зеркал не любит — их приходится закрывать разноцветными тряпками, как в доме покойника. Даже литература «кривых зеркал», создающая театр уродливых, смешных или зловещих теней,— уместнее: в ее мире современник хоть улыбнется или расплачется, а разглядывая себя самого в зеркале «без изъянов» и видя изображение, знакомое, как собственный голос, как руки или особенности пищеварения, он вынужденно промолчит и постарается поскорее уйти. И действительно, что можно сказать, прочитав рассказ Оскотского «Вечер с пивом» (написанный очень правдоподобно)? Когда-то в молодости герой рассказа любил женщину, но был у нее ребенок, а он хотел свободы и успеха по службе, а женщина хотела замуж, хотела любить того, кто на ней женится, а не просто так (просто так не любила). И герой на ней не женился — женился его приятель. И вот, через годы, эта женщина и бывший приятель грязно разводятся (квартирные проблемы, дележ площади), хотят втянуть в это дело продвинувшегося по службе, но постаревшего героя, а ему — противно. Здесь все именно так, как бывает на самом деле. Женщина с ребенком права в том, что хочет замуж, и честна в том, что будет исправно любить того, кто на ней женится. Молодой человек, мечтающий о славной карьере и в нее влюбленный, прав в том (ему хватило взрослости), что не женился на женщине, обещающей чувства после штампа о браке (по принципу «деньги вперед»). Потом все постарели и стали неприятны друг другу, злы, поскольку жизнь была нелегка, не одарила чудесами. Ну и что? А то, что если писатель только бессознательно срисовывает «узоры жизни», то этого мало — у нас есть здравый смысл, выкладки социологов, наблюдения за тем, как складывается жизнь друзей и знакомых, и многое другое, что позволяет нам видеть жизнь такой, как она есть, если мы этого хотим. Все устали от «старушки истины» — даже те, кто ее по долгу службы ищет. Поставщицей иллюзий быть литературе тоже не к лицу (хотя и приходилось), но что-то за гранью очевидного она обязана знать, уметь изображать и стремиться понять. Тогда человек увидит в ней свет и полюбит ее по-настоящему, а не так, как одинокая женщина того, кто решится на ней жениться.

Нельзя сказать, однако, что традиционная литература не имеет шансов на выживание. Эта литература сохраняет энергию в двух видах — как деревенская проза и как обличительная проза. Сильно выглядит, например, роман Павла Крусанова «Где венку не лечь», изданный книжной редакцией «Стиль» и написанный, широко гоноря, в духе «Хождений по мукам» (за вычетом конъюнктурности, А. Н. Толстому свойственной). Примерно то же самое можно сказать о книге Николая Иовлева «Я ничего не боюсь» (изданной там же), живописующей «грязные внутренности» так называемой комсомольской жизни.

Почему без прививки модернизма можно обойтись, если речь идет о «нутряной» России, и почему не обязательны идейно-стилистические новации, если речь идет о литературе чисто обличительной,— вполне понятно. Деревенская жизнь по реалиям своим «азбучна», хотя в простоте ее много и добра, а обличение требует называть вещи своими именами, говорить и писать прямо и просто. Традиционная проза сохраняется как сама наша (вполне, кстати, национальная) простота, которой еще есть место в усложняющейся жизни.

Усталость в духовном смысле — самораспад узлов воли и чувств, бывших приводными ремнями активности, бодрости. Духовно усталому человеку трудно сосредоточиться, ему с трудом дается деятельность, и его сознание, можно сказать, объявляет о самороспуске: мысли и чувства становятся вольноотпущенными, плывут в беспорядке, в котором есть своя поэтическая прелесть. Это как на ладони видно по современному русскому верлибру, чье нынешнее самоутверждение — знак времени.

Освобождение поэзии от рифмы и ритма, ритмический разброд строк и вразнобой звучащие слова, проносящиеся в верлибре внешне нестройной, а иногда как будто и нетрезвой толпой чувства и мысли поэта,— символы потери интереса к гармонии, к единообразию и стройности. Это ярко демонстрирует сборник «Время Икс» (М., 1989) — массивный, прекрасно полиграфически выполненный том, собравший под своей обложкой поэтов, для которых, по выражению его составителя Карена Джангирова, главным оказалась «бесконечная усталость слуха от одних и тех же стереотипных ритмов», а также «сопротивление многократно повторяющимся ритмам». Слова и строки могут «выскакивать» в верлибре и наперебой друг другу, они — не единомышленники, не собратья, не родственники. Парадокс, противоречие, случайность полезны стандартному верлибру, хотя они — давние враги классических представлений о поэтической красоте.

Для верлибра, каким мы его видим в сборнике «Время Икс», характерно господство мгновенного и случайного над продуманным и закономерным, тем, что принято было именовать применительно к рифмованной поэзии выстраданным, выношенным в душе поэта. Верлибр — скептичен, печально ироничен, если не сворачивает (что тоже бывает) к откровенному альянсу с прозой. Поэт-верлибрист легко может ответить на вопросы времени (как принято думать и декларировать, всегда мучительные), скажем, так: «Чего я жду от завтрашнего дня? Газет». Причем этот краткий вопрос и насмешливый ответ составляют целое министихотворение. И подобных по духу в подборке стихов Владимира Бурича — интереснейшего из авторов сборника «Время Икс» — много. А о теме старости и смерти, веками не покидающей литературу, Владимиром Буричем сказано еще насмешливее:

На бульваре
закрыв лицо от страха газетой
сидят
в ожидании смертв
пенсионеры.

Здесь уже за иронией и философическая горечь, стихийный гамлетизм с его вечной темой тщетности бытия. Но насмешливость все-таки устойчивее в верлибре, что и понятно: ведь смех — игра на противоречиях, вызванных разладом гармонии с логикой.

Редко встретишь в сборнике «Время Икс» чистую лирику, но если лирическая интонация удается в верлибре, она запоминается как вырвавшаяся вдруг откровенность. Таковы, например, строки стихов Карена Джангирова:

После любви
ты бываешь похожа
на бабочку после дождя.

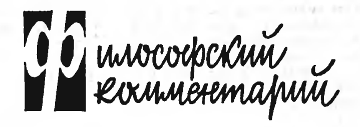
В нынешнем море новой прозы, читательский интерес к которой много больше, чем к скромному острову новой поэзии, пожалуй, и нет таких других стилистически и духовно неординарных явлений, как сборник «Время Икс».

У молодой прозы (хотя все ее действующие лица скорее считаются, чем являются молодыми) все же нет достаточно ясного чувства пути, есть таланты, но нет главенствующего метода, какой в лице верлибра или «инъекций» свободного стиха (с сопутствующими идейно-эмоциональными новшествами) есть у поэзии. Проза нередко то путается в экспериментах, то — что еще чаще — тянется к привычному, гарантирующему занимательность или хотя бы умеренный читательский интерес, сюжетосложению. Это хорошо видно по сборнику «Встречный ход» (1989), одному из первенцев книжной редакции «Стиль». В нем выдержан литературный уровень, достаточный для читабельности, но — и только. За одним, правда, исключением. Явно выделяется в сборнике повесть Валерии Нарбиковой «План первого лица и второго». Вещь эта, посвященная амурным проблемам, написана раскрепощенно, тонкой, прихотливой словесной вязью, за которой просматривается мечтательно пульсирующая переливами настроений чувственность. В сердце повести — томные, как бы переплавленные в нечто полуфантастическое эротические грезы. Возникает, правда, и традиционный любовный треугольник, но — родственный наваждению, ирреальный, как жадный эротический сон. В финале, однако, один из участников тройственного союза оказывается едва ли не съеден (элемент зыбкого сомнения в этом оставлен) двумя расхристанно счастливыми любовниками. И тогда сон, с которым изначально граничит в повести реальность, оказывается кровожадным. Черный по сути, этот сон не так и поэтичен, как, кажется, верит в это автор.

Может быть, мы живем во времени избыточных впечатлений, ошеломляющих событий и общественных происшествий, но главная реалия нашего времени — неизвестность. Неизвестность, попав в зеркало литературы, могла бы в принципе внести в нее приятный романтический колорит — вспомним былую романтику прыжка в неведомое. Но утомленное сознание жаждет покоя, ему нужна духовная пристань, нужны запасы энергии, чтобы выжить, не развалиться, как карточный домик. Накоплены ли такие запасы энергии, которые вдохновят нас сегодня, в прежней честной литературе? Если добираться до дна души этой прежней литературы, то она доносит до нас в основном тоску и боль. Ту самую, простую, как стон умирающего, человеческую боль, которой дышит, например, проза Федора Чиркова — одного из авторов сборника «Перекресток» (Л., 1990). Он отдая авторам, по разным причинам (в основном, вполне понятно, политическим) не попавшим в орбиту печатной литературы брежневских времен. У Чирскова боль становится траурной музыкой, под которую прозаик только подбирает подходящие слова: «...окружающий мир приобрел привычное ощущение серой однозначности. Все стало таким плоским и скучным, что захотелось либо умереть, либо по-настоящему взбунтоваться».

Эти строки, характеризующие душевное состояние героя рассказа Чирскова «Сама судьба», как бы суммируют то, что завещано недавним прошлым. Настоящему — общественно-политическому и литературному — естественно, приходится выбрать бунт: умереть мы всегда успеем. Но власть национальной усталости, которую, как губка, впитывает литература, велика и подталкивает к расслаблению, забытью, сну.

Молодая литература на символическом перепутье и перекрестке. В ней есть авторы, не признающие жизнь такой, какой они ее видят и знают, насмехающиеся над бытием (Николай Исаев), есть и целиком погруженные в грезы, прежде всего эротические, самые сладостные (Валерия Нарбикова). А что возобладает? На наш взгляд, рационализм, писательский и читательский, призывающий ничем чрезмерно не увлекаться, бунтовать и грезить не в ущерб жизненной практике. Мы явно уже присутствуем при рождении рациональной, упитанной литературы, трудном рождении, потому что происходит оно на фоне невкусной, тощей жизни, о которой писать-то нечего.



Борис Парамонов

ЧЕРНАЯ ДОВЕДЬ

Пастернак против романтизма

В пастернаковедении существует вопрос, ставящий в тупик едва ли не всех пишущих о поэте; точнее сказать, как раз всех касающихся этого вопроса. Это вопрос об отношении Пастернака к романтизму. Резкое отрицание и дискредитацию этого метода в искусстве Пастернак поставил в центр своей эстетики, коли можно вообще говорить об артикулированной системе его эстетических взглядов. Романтизму Пастернак противопоставляет реализм — обнаруживая таковой у художников, менее всего, по общепринятым критериям, склонных к этому методу творчества,— у Шопена, у Верлена, да и у себя самого. Романтиком же у Пастернака оказывается, скажем, Маяковский — и на этом основании проводится мысль о необходимости в поэзии — в собственной его, Пастернака, поэзии — отталкиваться, удаляться от такого типа творчества и даже от самого этого типа поэтической личности. В «Охранной грамоте» Пастернак пишет:

«Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика „Поверх барьеров".

Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировоззрение. Это было понимание жизни как жизни поэта... Это представление владело Блоком лишь в теченье некоторого периода... Усилили его Маяковский и Есенин.

...вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основанье, немыслим без непоэтов, которые бы его оттеняли... эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишающийся половины своего содержанья.

Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени».

Интересно, однако, что впервые негативно окрашенное упоминание о романтизме появляется в «Охранной грамоте» отнюдь не в связи с Маяковским, а в том ее месте, где рассказывается о разрыве со Скрябиным. Здесь говорится — по поводу античности,— что она не знала романтизма, и затем: «Воспитанная на никем потом не повторенной требовательности, на сверхчеловечестве дел и задач, она совершенно не знала сверхчеловечества как личного аффекта». Возникает ясная ассоциация с Ницше, усиленная и договоренная много лет спустя в автобиографии «Люди и положения», где прямо говорится о ницшеанстве того же Скрябина (хотя и вне каких-либо оценок). И второе: говоря в «Охранной грамоте» о Маяковском и о преодолении его влияния как влияния преимущественно романтического, Пастернак связывает с этим романтизмом гипертрофию поэтической личности, раздувание ее в того же сверхчеловека и пишет в связи с этим об опасных *социальных* тенденциях, исходящих из такого типа мировоззрения, из такой концепции поэтической личности: «Я расставался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно мягка у символистов, героизма не предполагала и кровью еще не пахла». Вряд ли здесь имеется в виду только «кровь поэта» — скорее и, может быть, преимущественно кровь его соотечественников и современников, вовлеченных в динамику развертывания «романтической» культуры, в осуществление сверхчеловеческих замыслов всякого рода «строителей чудотворных», художников исторического действия, одним из которых у молодого Пастернака, как отметили исследователи, предстает достаточно склонный к пролитию чужой крови Сен-Жюст (в «Драматических отрывках» 1917 г.). Таким образом, «зрелищное понимание биографии», культ гениальной личности, «героизм», сверхчеловечество достаточно четко выстраиваются у Пастернака в некий зловещий ряд, знаменателем которого выступает романтизм.

Мишель Окутюрье в сделавшей эпоху работе установил связь темы Венеции в «Охранной грамоте» с темой социалистического государства, «единственным подлинным гражданином» которого выступает в книге Маяковский. Общее здесь — все тот же «поэт», взятый как гипертрофированно увеличенная личность, как всем известный тип ренессансного гения, «титана». Именно ренессансный титанизм увязывается с реальностями социалистической Москвы: здесь важнейшая перекличка с Венецией, этим историческим вместилищем художественных гениев. Типом ренессансного титана в русской — советской — культуре выступает у Пастернака Манковский, гений, не сумевший при жизни укротить в себе Савонаролу, если пользоваться определениями той же «Охранной грамоты»,— укротивший его разве что собственной смертью.

Что такое вообще ренессансный гений в индивидуальном его выражении, ренессансный титан? Это тот самый сверхчеловек, словесная абстракция которого появилась у Ницше, вдохновлявшегося, среди прочих героев Ренессанса, Чезаре Борджа. «Художество жизни» — позднее на языке символизма названное теургией — не менее характерно для Ренессанса, чем художество как таковое, гениальное искусство. Тиран Римини Сигизмундо Малатеста — того же склада личность, что и Микеланджело. Бенвенуто Челлини — злодей, убийца. Такого рода понимание ренессансной проблематики не новость уже и в советской литературе, и здесь можно упомянуть не только А. Ф. Лосева (которого трудно, конечно, назвать «советским» мыслителем), но и недавно появившиеся работы Л. М. Баткина. В книге последнего «Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности» есть глава под названием «Чезаре Борджа: чудовище универсальности», а другая глава называется «От Пико делла Мирандолы к Макьявелли». Исследователю видится здесь одна линия: «князь» Макьявелли — одновременно идеальный тип политика и парадигма любой деятельной гениальности. Лосев называет это обратной стороной ренессансного титанизма. Следует говорить о тождестве гения и злодейства в ренессансной культуре. Особенность Ренессанса, говорит Лосев, не в том, что он возродил античность, но в том, что он придал античному натуралистическому мировоззрению напряженно личностную форму: инспирация, идущая от христианства. Ренессанс — синтез античности и христианства, создающий субъективистскую интерпретацию древнего космизма. Здесь человек и художник предстает уже не как мастер мимезиса, а в качестве сотворца Бога. В близкую Пастернаку эпоху символистской культуры такой теургией, богодействованием вдохновлялся как раз Скрябин. Здесь же находится Бердяев, критиковавший культуру за то, что она создает символы, а не реально преображает бытие. Мы слышим здесь ренессансный мотив. Но в самом же Ренессансе эта титаническая претензия потерпела крах: бессильный дать реальный синтез бытия, человек создает его механическую модель — и ею оперирует по своему усмотрению. Механические импликации присутствовали уже в художестве Леонардо да Винчи. Лосев называет этот процесс модифицированным Возрождением — а в эту формулу можно заключить всю современную культуру, «цивилизацию». Цивилизация и есть модификация культуры в плане ее механизации и прагматической утилизации. Но именно в цивилизации теургический мотив делается все громче: это позитивистская «борьба с природой», понимание культуры как «второй природы»,— сотворенной самим человеком. Как говорит Бердяев, в цивилизации происходит подмена воли к культуре волей к жизни — понимаемой как это «теургическое» творчество. Индустриальная цивилизация — выразительнейший момент этого процесса; а здесь мы уже попадаем из Венеции в Москву — Москву тридцатых годов, Москву Маяковского и Сталина, этого модифицированного ренессансного титана. Смерть Маяковского, смерть поэта становится в этом контексте выходящим за индивидуальные пределы событием, потому что она завершает процесс превращения пера в штык, культуры в цивилизацию и художественной деятельности в технологическую экспансию.

Но она же приобретает значение некой искупительной жертвы, принесенной на алтарь цивилизации, этого модифицированного Ренессанса. Амбивалентность в восприятии Пастернаком этой смерти, зафиксированную в книге Л. Флейшмана, нужно понимать в указанном ключе: эта добровольная, самим поэтом принесенная жертва выступает не только как трагедия, но и как некий триумф теургической воли человечества на его пути к окончательному преображению бытия. Так сказать, Маяковский умер, но дело его живет. И Пастернаку не ясно, следует ли тут горевать или восторгаться, нужно ли проклинать «государство» (один из сквозных образов «Охранной грамоты») или же слагать гимны к вящей его славе — коли в его основание положены такие жертвы. Здесь находит одно из объяснений тот парадоксальный факт, что именно Пастернак стал основателем сталинской гимнологии в советской литературе. В известном стихотворении «Мне по душе строптивый норов...» художник и вождь объединены, а не противопоставлены.

Вот как заканчивалось это стихотворение в первом варианте, опубликованном в новогоднем номере «Известий» 1936 года:

А в те же дни на расстоянье,
За древней каменяой стеной,
Живет не человек — деянье,
Поступок ростом в шар земной.

Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел:
Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.

За этим баснословным делом
Уклад вещей остался цел.
Он не вавился небесным телом,
Не всказился, не встлел.

В собранье сказок и реликвий,
Кремлем плывущих над Москвой,
Столетья так к нему привыкли,
Как к бою башни часовой.

Но он остался человеком,
И если, зайцу вперерез,
Пальнет зимой по лесосекам,
Ему, как всем, ответит лес.

И этим гением поступка
Так поглощен другой поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.

Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.

Позднее усеченное, это стихотворение стало называться просто «Художник»; но по этому следу, по этой, так сказать, кости нетрудно воссоздать целостный сюжет — скелет некоего «чудовища одаренности» (слова Пастернака же, сказанные по другому поводу), того же ренессансного титана. И ведь то же самое по существу сказано о другом вожде революции в «Высокой болезни»: «Я думал, думал без конца // Об авторстве его и праве // Дерзать от первого лица». «Первое лицо», то есть «я», означает здесь все ту же титанически усиленную личность — то, чего не может позволить себе поэт, если он не хочет стать «чудовищем». Однако эта тема соблазняла Пастернака.

Но ведь всю эту проблематику, связанную с ренессансом, очень легко представить и в другой — именно *романтической* — модификации. Романтизм является законнейшим наследником Ренессанса, поскольку в нем, в романтизме (скажем так: в одной, но наиболее распространенной его трактовке), на первый план выдвигается как раз та тема гениальной поэтической личности, которая сразу же насторожила Пастернака. Прототип таких «глядящихся в зеркало поэтов» — Байрон. Как в расхожем понимании, так и в определенном культурном повороте Байрон — это и есть романтизм. Романтизму можно при желании — и при указанном его понимании — переадресовать все вышесказанное о ренессансном титанизме. И это делал не только Пастернак. Вот что пишет о романтизме в своей «Истории западной философии» Бертран Рассел:

«Романтическое движение как целое характеризуется подменой утилитарных стандартов эстетикой... Мораль романтиков имела в первую очередь эстетические мотивы... тип человека, поддерживаемый романтизмом, особенно в его байроновском варианте,— это склонный к насилию и антисоциальный, анархический бунтарь или побеждающий деспот... анархический бунтарь... чувствует себя не наедине с Богом, а самим Богом. Истина и долг, которые представляют собой наше подчинении материи и нашим ближним, не существуют больше для человека, который стал Богом... Бунт индивидуалистических инстинктов против социальных уз является ключом к пониманию философии, политики и чувств — не только того, что обычно называется движением романтизма, но и его последователей вплоть до наших дней».

В этих словах нетрудно увидеть нечаянную перифразу сказанного в «Охранной грамоте» Пастернаком об оттолкнувшем его уже в молодости типе поэтического миросозерцания, окрашенного в тона романтизма,— типе Маяковского. И ведь речь шла у Пастернака не просто о необходимости своего, непересекающегося с Маяковским, пути в поэзии, из осознания каковой необходимости родилась, по его словам, неромантическая поэтика «Поверх барьеров». Поэтика в данном случае выступила как мировоззрение, с его — Пастернака — отталкиванием от романтических и ренессансных моделей, от «сверхчеловечества». Отсюда важнейшая черта пастернаковского лирического строя: исчезновение в нем поэтического «я».

Было бы явной натяжкой говорить об «ошибке» Пастернака, о неправильном понимании им романтизма: философски образованный человек, каким был Пастернак, не может не знать, что проблема романтизма ни в коем случае не сводится к теме романтического гения, к теме экзальтированного и форсированного «я». Тема романтизма, если угодно, вообще другая, чуть ли не прямо противоположная: это тема «природы», выхода за пределы «я», но не в сторону «теургической» гениальности, имитирующей и симулирующей творчество Бога, не к узурпации Божественных прерогатив, а к целостности бытия, к вхождению в объективный строй мироздания. Употребляя терминологию Гегеля (романтическое происхождение которого бесспорно), можно сказать, что героем романтической поэзии будет не субъект, а субстанция. «Я» отнюдь не исчезает в так (и правильно) понятом романтизме, но обретает свойства и функцию некоего медиума, голосом которого говорит сверхличный порядок бытия. Но это и есть Пастернак, и в доказательство сказанного можно привести десятки высказываний как самого поэта, так и лучших его интерпретаторов, от Цветаевой и до Синявского. Только малограмотные рапповские литературные комиссары могли говорить о «субъективном идеализме» Пастернака, исходя из внешнего факта учебы его в Марбурге у неокантианца Когена. Удивительно, что это повторяет Ф. А. Степун в на редкость путаной статье о Пастернаке, опубликованной еще при жизни поэта в эмигрантском «Новом журнале». Степун тоже усматривает у Пастернака влияние кантианства с его основной методологической посылкой о построяющем познаваемый мир гносеологическом субъекте; Марбург смутил и профессионального философа. Правда, в конце концов Пастернак у Степуна оказывается пантеистом, и это во всяком случае вернее, чем тянуть его в кантианский идеализм. Противоположная последнему натурфилософия Шеллинга — куда более идущая к Пастернаку связь с немецкой философией. Степун употребляет термин «романтический идеализм», говоря о генезисе Пастернака,— тогда как романтизм в стиле Шеллинга — это вообще не идеализм, это «философия тождества», не противополагающая духовно активный субъект внеположному «не я», но включающая различные градации («потенции») духовности в объективный строй природы. В этом смысле романтизм есть всеобщее одушевление и одухотворение бытия. Все это предельно ясно у шеллингианца Тютчева.

Когда молодой Пастернак в «Нескольких положениях» говорит о живом, действительном мире как единственном удавшемся замысле воображения, о том, что он служит поэту примером, натурой и моделью,— он по существу повторяет Шеллинга, чуть ли не прямо цитирует его, во всяком случае воспроизводит основную мысль шеллингианской эстетики, говорящую о произведении искусства как о миниатюре бытия, построенного в единстве сознания и бессознательного. И гений у Шеллинга — не ренессансный титан, а *наивный художник*, в терминах Шиллера, говорившего о наивном и сентиментальном в поэзии. По этим критериям судя, гением, а то и романтиком следует назвать не Скрябина, а Льва Толстого. Пастернак так и делает: отвергает Скрябина и остается верен Толстому. Пастернак, как и Толстой, «славянофил», то есть романтик. При желании нетрудно доказать происхождение «Доктора Живаго» от «Войны и мира». Марбург и Коген важны в жизни Пастернака, но еще важнее то, что поэзия у него началась в осознанном разрыве с Когеном, как раньше со Скрябиным. Об этом в «Охранной грамоте» написано с не оставляющей сомнений точностью.

Участники пастернаковского коллоквиума в Cerisy-La-Salle говорили и об этом: о «субстанциальности», «объективности» пастернаковской поэзии как о признаке ее глубинного романтизма, противоположного той его концепции, которой по неясным причинам придерживался сам поэт. Так, Ги де Маллак главнейшим признаком пастернаковского романтизма назвал представление о первичности языка и примате содержания над формой. Язык у иенских романтиков, как известно, это наиболее адекватная манифестация бытийной стихии, «природы», жизни — и в то же время «поэзия в первой потенции». Говоря о понимании романтизма у Пастернака, В. Эрлих привел как конгениальное ему высказывание Т. С. Элиота, сказавшего, что поэма должна быть важнее поэта. Это уже не «почти», а «просто» Пастернак: «Я вместо жизни виршеписца // Повел бы жизнь своих поэм». А вот слова романтика Новалиса: «В важном ли, не важном, но мы живем в огромном романе... жизнь — книга», то есть качеством эстетичности обладает в первую очередь сама жизнь, а не ее «эстетические» преображения. Еще Новалис: «Поэзия на деле есть абсолютно реальное... чем больше поэзии, тем ближе к действительности». Так же Пастернак говорил просто «проза» для определения поэзии. Он предпочитал называть это реализмом, но это самый настоящий — «иенский» — романтизм.

Сознание абсолютной противопоставленности поэтического мира Пастернака «героическому» мифу афористично выражено в названии одной из работ Ги де Маллака: «Живаго против Прометея». Но в то же время это формула пастернаковского романтизма, для которого неприемлем любой героизм как «сверхчеловечество». И в этом Пастернак подлинно романтичен — хотя бы в смысле романтической иронии, в которой целостность

бытия отвергает, ставит на место любые конечные формы, каковы бы ни были претензии таковых. Отсюда идет понимание Пастернаком метафоры как «скорописи духа», охватывающего эту бытийную целостность,— то, что Н. Вильмонт назвал «панметафоризмом» Пастернака. Соответствующую формулу мы находим и у немецких романтиков (в резюме Н. Я. Берковского): «Собственно, все тропы, и более всего метафора, суть метаморфозы, расставания с отдельными вещами и выход в течение единой жизни».

И как в поэзии он готов видеть прозу, так и в сверхчеловеке хочет увидеть — человека. Таков Христос у позднего Пастернака, в «Докторе Живаго». Пастернак любит говорить о реалистическом, заземленном на бытовые образы языке евангельских притч. «Розановское» отнюдь не чуждо Пастернаку, но он никогда не стал бы по-розановски говорить о Христе — враге мира. И в картине революции, когда философствуют цветы и митингуют здания, Живаго видится что-то евангельское.

Такой хочет видеть революцию сам Пастернак. Это природа, заговорившая евангельским языком, в православной традиции — «обожение бытия». Это и есть у Пастернака подлинная теургия, в которой преодолен субъект «богодействования», романтический гений, напряженно личностное ренессансное начало. Возрождение становится воскрешением. Об этом написана «Сестра моя жизнь. Лето 1917 года», где вторая фраза — не дата написания и не подзаголовок, а продолжение названия, отсылка к содержанию написанного. Много раз приводились слова из рецензии Брюсова, сказавшего (как стало ясно со слов самого Пастернака, писавшего об этом в письме к будущему рецензенту его книги), что в ней нет отдельных стихотворений о революции, но вся она пропитана духом современности.

Все это общеизвестно — так же, как и то, что революция персонифицируется у Пастернака в женском образе. Вот что пишет, например, Л. Флейшман о «Спекторском»: «Мы видели, что появление Марии Ильиной совпадает с резким переломом в структуре романа. „Эротические" мотивы сменяются „историко-революционными", и, параллельно с последними, в роман входит „писательская" проблематика. Это находит соответствие в том внешне необъяснимом факте, что „Повесть" 1929 г., трактующая об отношениях Спекторского к трем женщинам (сестра, Арильд, проститутка), самим Пастернаком мыслится как повесть о *революции*. Повесть об отношении к женщине для Пастернака есть повесть о „революции"... Обратно — повествование о „революции" в стиховом романе... есть просто описание „бунтующей" *девочки в чулане*».

Момент бунта здесь крайне важен: революция не просто цветение «женского», бытийного начала (в противоположность активности начала «мужского», того самого романтического героизма), как можно, скажем, подумать, читая «Сестру мою жизнь», но восстание, бунт угнетенной, униженной женственности. Так Стрельников объясняет Живаго Лару. В этом смысле стихия бунта отнюдь не чужда Пастернаку. И бунт, героизм, *революция* оправданы у Пастернака, когда они обретают эту женскую ипостась.

Понять эту женскую идентификацию революции — значит разобраться в причинах отталкивания Пастернака от «героического» — в каком-то смысле «мужского» — варианта романтизма, варианта Маяковского. Есть работа А. Жолковского («О гении и злодействе, о бабе и всероссийском масштабе. Прогулки по Маяковскому»), раскрывающая тему женщины в поэзии Маяковского как тему мизогинии. В этом нет ничего удивительного, и, конечно же, в случае Маяковского нельзя говорить ни о какой индивидуальной патологии. Это — последствие революционного, активистского отношения к действительности, последействие (как сказал бы Ницше) того же ренессансного титанизма. Женщина ставится в ряд природных стихий, отношение к которым мыслится здесь только в форме подавления, «борьбы с природой». Мизогиническая тема у Маяковского — свидетельство подлинности его поэтического — революционного и романтического стиля. И совершенно противоположно этому отношение к теме у Пастернака, для которого революция — это бунт самой стихии, метонимией которой выступает женщина; но этот бунт одновременно — исполнение стихии, реализация ее назначения, именно здесь, а не во внеположном действии активного мужского начала, осуществляется сама революция, являющая реализацию некоей природной нормы, «обожение бытия». Эту тему Пастернака можно выразить словами Блока, сказавшего, что потаенный мотив всех революций — возвращение к природе. Это руссоизм, то есть то же «славянофильство».

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

В современных терминах, Пастернак — «зеленый».

Мы должны, однако, помнить, что Пастернак принял не только «лето семнадцатого года», но и его осень. Говорить о лояльности Пастернака к большевизму не приходится, потому что тут было нечто большее и значительнейшее. Я бы сказал, что было видение самого большевизма в женском образе. Тут и делается понятной тема женского бунта у Пастернака, тема революции как восстания поруганной женственности.

Здесь нужно привести одно место из «Охранной грамоты»:

«...весной девятьсот первого года в Зоологическом саду показывали отряд дагомейских амазонок... первое ощущенье женщины связалось у меня с ощущеньем обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан... раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что слишком рано увидал на них форму невольниц».

Итак, тема женщины, образ женщины связываются у Пастернака с темой и образом неволи, *насилия*. Место, в которое помещена женщина,— зоологический сад, место укрощения зверей, вызывающего (ницшеанский) образ *плетки*: образ, который будет вытесняться отрицанием романтической позы поэта-сверхчеловека. Естественно, что ситуация насилия вызывает также представление о крови; но здесь же возникает обратное представление о естественной связи женского начала с кровью. И тут нам не может не вспомниться соответствующая глава из «Детства Люверс». Возникновение женщины в девочке, любовницы в женщине и матери в ней — всё это положения, в которых естественен и закономерен образ крови. Отношение к женщине у Пастернака приобретает амбивалентную окраску, когда насилие и кровь воспринимаются условием самого женского существования и в то же время — мотивировкой бунта. Несомненно, в этом пастернаковском «комплексе» мы встречаемся — уж коли говорить в психоаналитических терминах — с вытесненным садизмом, прорывающимся в неожиданном у этого поэта сочувствии к кровавой революции. Здесь — и только здесь — следует искать объяснение поразившего Л. Флейшмана факта: чуть ли не отождествления а «Спекторском» Марии Ильиной — с Лениным. (Л. Флейшман: «Эта кощунственная „идентификация" Цветаевой с лидером революции родственна операции отождествления в „Повести" 1929 г. революции с „женским" началом. Более того — это отвечает принципиальной уверенности Пастернака в совпадении полюсов в условиях революционной стихии».)

И Ленин, и Сталин,
И эти стихи...

В том-то и дело, что не только выдуманную Марию Ильину идентифицирует Пастернак с Лениным, но и самого себя — со Сталиным. Это упоминавшееся стихотворение «Мне по душе строптивый норов...» в полном его варианте. Интересно, что идентификация идет как некое «примирение противоречий», «единство противоположностей», дающее в сумме образ целостного бытия. Примиряются «предельно крайние» два начала, причем сам поэт берется как «женская» ипостась искомой целостности, в пассивной роли уже дважды (в теоретической статье и в другом стихотворении) упоминавшейся «губки»: «И этим гением поступка // Так поглощен другой поэт,// Что тяжелеет, словно губка,// Любою из его примет». Сталин — активное, «мужское» начало, «фонтан», если вспомнить статью «Несколько положений», а «другой поэт» выступает как «женщина», он «тяжелеет», беременеет от «гения поступка». Истинен — для Пастернака — образ революции только в этом единстве: революция как беременность и — необходимо кровавые — роды.

Это идеальный, точнее сказать — чаемый исход революции, долженствующей привести к некоему мистическому зачатью и к рождению, единство мужского и женского, красного и белого: кровь на снегу в «Докторе Живаго», сильно педалированная в сцене разгона демонстрации, или в том же романе — образ рябины в сахаре, которая оказывается в другом месте шариками свернувшейся крови Антипова на снегу. Как видим, примеры опровергают друг друга, и это свидетельствует об амбивалентном отношении Пастернака к революции, то мнящейся прекрасной женщиной, то оборачивающейся картиной смерти.

Подчас даже революция разворачивается у Пастернака не как восстание женщины, а как окончательное ее укрощение, в пределе — насильственная смерть. Этот мифический первообраз всплыл в приписке Пастернака к коллективному письму писателей к Сталину с выражением сочувствия по поводу смерти его жены. М. Коряков, введший в оборот этот документ («Новый журнал», № 55, 1958), совершенно прав, усмотрев здесь причину сохранения жизни Пастернаку: Сталин его мистически испугался. Нужно, однако, воспроизвести здесь эту приписку:

«Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые. Утром прочел известие. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел. БОРИС ПАСТЕРНАК».

Природу этого страха можно понять опять же в свете вышесказанного: Пастернак, связывавший с женщиной революцию, но амбивалентно трактовавший ее и как бунт против насилия, и как само насилие, увидел в Сталине — «убийце революции» — простонапросто убийцу своей жены. «Увидел» — конечно, не то слово: он, в собственной тайной глубине носивший подобные образы, об этом бессознательно догадался, а Сталин бессознательно же догадался об этой догадке Пастернака.

В этой кремлевской сцене Пастернак, как страсть и свидетель, седел в углу.

Аналитическое усилие приводит нас к пониманию, что такие и подобные положения не столько отвращали Пастернака от революции, сколько привлекали к ней. Отказ, разрыв и вытеснение всех этих садо-мазохистических образов происходили на поверхности литературной жизни, на мелях групповой полемики, примером которой и выступает нежелание Пастернака считаться романтическим поэтом. Это не столько преодоление внутреннего конфликта, сколько простое указание на него. В глубине как раз в эти годы (начало тридцатых, к которому относится смерть Н. Аллилуевой) шло «второе рождение» как попытка нового приятия революции и ее сиюминутной практики. Пастернак не был бы собой, если б этот процесс не связался у него с новым эротическим сдвигом («сдвиг» я тут призываю понимать в смысле пастернаковской формулы об искусстве как записи бытия, смещенного чувством). Понятно, что имеется в виду роман поэта с его будущей второй женой З. Н. Ереминой-Нейгауз. Но и в воспоминаниях Ю. Кроткова, трактующих этот сюжет, и в ныне опубликованных мемуарах самой З. Н. Пастернак мы наталкиваемся опять же на эту тему: поруганной девственности, оскорбленной, взыскующей мщения невинности. Эта тема мощно прозвучала в финале стихотворения «Весеннею порою льда...», завершающего книгу «Второе рождение»,— и она же легла в основу линии Лары — Комаровского в «Докторе Живаго».

Нужно помнить, однако, что биографическое обогащение этой темы не было глубинной причиной ее появления у Пастернака. Ранее (до «Второго рождения») написанный кусок в «Спекторском», который поэт считал неким внутренним тематическим завершением романа и сам очень высоко оценивал,— строфы 19—29 восьмой главы, где появляется «девочка в чулане», трактованная исследователями как несомненный символ революции,— они, эти строфы, разрабатывают все те же образы: насилие, бунт, кровь, превращающаяся в зарю и в революционное знамя. «Девочка в чулане», становящаяся революцией, идет, несомненно, от Достоевского, из той главы «Бесов», которая была выброшена из текста романа. Этой девочке, зацензурованной Катковым, сильно повезло, однако, в последующей русской литературе: она воскресла как набоковская Лолита и наполнила собой все творчество Пастернака. Выходящая за рамки приличия ненависть Набокова к «Доктору Живаго» объясняется тем, что автор «Лолиты» увидел у Пастернака узурпацию своей заветной темы. Узурпацией его можно назвать, конечно, только с точки зрения самого Набокова: в действительности «Доктор Живаго» и мощнее «Лолиты» настолько же, насколько «Война и мир» мощнее «Поисков утраченного времени»: комплекс превращен в эпос.

И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака.

Интересно проследить дальнейший маршрут, «воздушные пути» и трансформации этого сгустка пастернаковских образов: новое его преображение — «женщина в черкеске»:

И ты б узнал в наезднице беглянку,
Что бросилась из твоего окна.

Выстраивая эту цепочку, мы не открываем еще ничего нового: подобная работа уже делалась, например, Синявским в предисловии к однотомнику 1965 г. Но, кажется, наездницу Ольгу Бухтееву (она же — «измученная всадница матраца» из не вошедших в основной текст вариантов «Спекторского») еще не связывали с теми дагомейскими амазонками, которые поразили одиннадцатилетнего Пастернака в Московском зоологическом саду. Так конец анализа возвращает в начало, демонстрируя тем самым некоторую весьма убедительную органичность прослеженных связей.

Придя к пониманию этих связей и стоящих за ними реальных переживаний поэта, можно уже расшифровать многие пастернаковские темноты, например, такую (из стихотворения, обязывающе названного «Определение творчества»):

И какую-то черную доведь,
И — с тоскою какою-то бешеной —
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.

К слову «доведь» сам Пастернак дает сноску: «шашка, проведенная в край поля, в дамы». Это разъяснение поначалу только запутывает: почему Пастернак превращает шашки — в шахматы? Но если вспомнить сказанное о становящемся, динамическом, растущем и меняющемся образе девочки — женщины — всадницы у Пастернака, то все делается понятным.

Становится понятным и место стихотворения «Ларисе Рейснер» в творчестве Пастернака. Кстати, есть немецкая работа, упоминаемая Л. Флейшманом, прослеживающая изумляющие параллели «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского (с ее образом женщины-комиссара) с «Доктором Живаго».

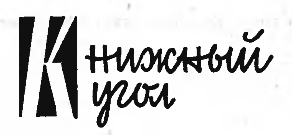
В установленном контексте можно предложить также объяснение одного довольно непонятного эпизода из эпилога «Доктора Живаго»: страшного рассказа Тани-бельевщицы, оказавшейся дочерью доктора, настолько непонятного своей кажущейся ненужностью рассказа, что один философ-структуралист назвал его идиотским. Но этот рассказ очень легко увязывается с описанным нами пастернаковским комплексом страдающей девочки — и становится в конечном счете разрешением этого комплекса: обреченная на жертву девочка оказывается подмененной мальчиком с сухими ножками. Вспомним, что Пастернак был хром — увязавшись за деревенскими девушками, скакавшими на конях в ночное, он сломал ногу.

Всякий анализ разлагает, тем более это относится к психоанализу, занимающемуся тем самым сведением высокого к низкому, которое так раздражает нас у русских нигилистов, разрушавших эстетику. Сохраняя выделенные в анализе темы, нужно выйти к их синтезу, к целостному Пастернаку, бывшему прежде всего гениальным художником. Нужно от Фрейда перейти к Юнгу. В терминах Юнга, процесс становления пастернаковских тем, всего его творчества и жизни можно понять как удавшийся до конца процесс *индивидуации*. Индивидуация — это обретение так называемой самости. Оба термина обманчиво относят к тому, против чего как раз и боролся Пастернак, с его неприятием романтической позы, утрированного индивидуализма «сверхчеловеческой» эстетики. Но в действительности индивидуация и самость означают синтез содержаний сверхиндивидуального бытия в индивидуализированной форме. Самость обретает человек, объявший в своей душевной глубине весь мир. Индивидуализированный лик мира в этом случае называется гением.

В автобиографии «Люди и положения» Пастернак вспоминает, как ему в раннем детстве хотелось быть девочкой. К счастью, мы имеем здесь дело именно с Юнгом: описанная поэтом душевная установка свидетельствует об осознанном присутствии в нем так называемой anima — той обычно пребывающей в бессознательной стороны души, которая обращена к иррациональным безднам бытия и связана с чисто эмоциональным переживанием жизни. Анима — это женская часть мужского бессознательного. Полнота бытия требует этого муже-женского синтеза. Сибирские шаманы рисовали на своих ритуальных одеждах женские груди. А кем и был молодой Пастернак, как не шаманом?

По Юнгу, символом, архетипом самости является Иисус Христос: Бог распятый знаменует единство добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти. Богочеловек «Доктора Живаго» — это юнгианский Христос. Собственно, в этом символе мы вправе видеть и самого Бориса Пастернака, в творчестве которого слились в едином мощном построении кровь и снег, красные и белые, девочки и мальчики («Девочки и мальчики» — первоначальное название романа, ставшего потом «Доктором Живаго»), а поэт приглашал тирана поговорить о жизни и смерти.

Есть острое наблюдение Александра Гладкова, увидевшего Пастернака в фойе театра, окруженного иностранными фоторепортерами. Эта картина, говорит Гладков, как бы перечеркивала всю жизнь Пастернака, не любившего и не хотевшего жить на людях, «в зеркальном блеске выставочной витрины». Здесь как будто торжествовало то «зрелищное понимание биографии», которое поэт отверг для себя еще на первых своих путях. Об этом же — в стихах самого Пастернака: «я вышел на подмостки». Но здесь не было измены себе, была «индивидуация», исполнение предназначенной миссии, «заповеданного долга». Эти подмостки были Крестом.



Раздел ведет Ив. Толстой

«ГЛАГОЛ»

Альманах — свидетельство расцвета литературы. Накопившиеся к концу 1970-х гг. литературные силы третьей волны нашей эмиграции нашли свое выражение в выпуске таких альманахов, как «Аполлон-77», «Russica-81», «Часть речи», «Альманах-80 Клуба русских писателей» и др. К ним относится и *Г*, малоформатный альманах издательства «Ардис» (Анн Арбор, штат Мичиган). Издатели — Карл и Эллендеа Проффер. Осуществлено 3 выпуска: 1977, 1978, 1981.

Г состоял из разделов: «Проза», «Поэзия», «Переводы», «Архив». В 1-м помещены проза Саши Соколова «Текст» (фрагмент к роману «Между собакой и волком») и повесть В. Аксенова «Стальная птица»; во 2-м — глава «Пастух Махаз» из романа Ф. Искандера «Сандро из Чегема»; рассказ «Фигурончик» Александра Шефа, глава «Дежурный» из «Пушкинского Дома» А. Битова; 3-й выпуск включал повесть Н. Катерли «Треугольник Барсукова» и рассказ В. Аксенова «Право на остров».

Стихи Алексея Цветкова и Бориса Чичибабина составили поэтический раздел 1-го *Г*, подборки Бахыта Кенжеева, Дмитрия Савицкого, Юрия Кублановского и Елены Шварц — *Г*, № 3.

В 1-м *Г* Иван Елагин перевел стихи американских поэтов Стивена Винсента Бенэ, Марианны Мур, Вильма Карлоса Вильямса, Уоллеса Стивенса, Робинсона Джефферса и Роберта Фроста. Здесь же в переводе Иосифа Бродского помещено эссе Дж. Орвелла «Убивая слона» и рассказ Кэтрин Энн Портер «Цвет иудина дерева», перевод Вл. Козловского. Он же перевел рассказ Джона Апдайка «Музыкальная школа» для 2-го № *Г*. Два рассказа Грейс Пэйли «Воспитатели подержанных мальчиков» и «Сюжет из детства» напечатаны в 3-м *Г* в переводе Нины Моховой. В этом же № — вступление к роману В. Набокова «Бледный огонь» в переводе Алексея Цветкова и под ред. В. Е. Набоковой.

Вообще, альманах *Г* можно считать в большой степени набоковским: в № 2 целый раздел назван его именем, и здесь даны две статьи Дж. Апдайка — о романах «Подвиг» и «Ада», а также основная библиография книг писателя.

Весьма ценен в *Г* раздел «Архив» (правда, к сожалению, не всегда щедрый на комментарии): письмо Б. Пастернака Юрию Юркуну (1922) («...только творческое малодушие может заставить людей нашего возраста и возраста наших старших друзей согласиться с той схематической классификацией, которую создала критика») и Р. В. Иванова-Разумника Андрею Белому (1927) — о смерти Федора Сологуба; оба в № 1. «Из записной книжки» В. Ф. Ходасевича и его же «План разговора с Луначарским», письмо Н. Н. Евреинова к Н. И. Бутковской, два письма П. С. Попову от Михаила Булгакова, глава из неопубликованной книги «Тургенев» Льва Шестова (все это — *Г*, № 2). «Архив» 3-го № включал: переводы из старофранцузского эпоса, выполненные Осипом Мандельштамом и отклоненные (именем Н. Н. Гливенко) в Госиздате в 1924 г.; статью М. Цветаевой о Пастернаке — «Поэты с историей и поэты без истории»; статью Мих. Осоргина 1940 г. о самоубийстве Андрея Соболя; отрывки из дневника Галины Бениславской о Сергее Есенине; пять воронежских писем О. Мандельштама в редакцию «Звезды» и Николаю Тихонову (1936—37), а также «Актовую запись о рождении» Исаака Бабеля, устанавливающую его подлинное отчество — Маньевич.

Во 2-м № *Г* напечатан отрывок из воспоминаний Л. Е. Белозерской о М. Булгакове.

Альманах предоставлял некоторые фотографии и справки об авторах.

Ив. Т.

В. Ф. ХОДАСЕВИЧ В ПЕЧАТИ

Поэт, критик, мемуарист, литературовед и переводчик Владислав Фелицианович Ходасевич (1886—1939) издал при жизни 12 книг: 5 сборников стихов («Молодость», М., 1908, «Счастливый домик», М., 1914, «Путем зерна», М., 1920, «Тяжелая лира», М.— Пг., 1922, «Собрание стихов», Париж, 1927), четыре историко-литературные книги («Статьи о русской поэзии», Пб., 1922, «Поэтическое хозяйство Пушкина», Л., 1924, «Державин», Париж, 1931, «О Пушкине», Берлин, 1937), сборник воспоминаний («Некрополь», Брюссель, 1939), книгу переводов («Из еврейских поэтов», Пб., 1921) и сказку («Загадки», Пб., 1922).

Кроме того, В. Ф. Ходасевич в 1910—1923 гг. издал 14 книг переводов польской и французской прозы (С. Красинский, Ст. Пшибышевский, К. Тетмайер, Г. Сенкевич, М. Гавалевич и П. Стахович, В. Реймонт, К. Макушинский, Г. де Мопассан, П. Мериме, К. Тилье).

За 35 лет литературной работы Ходасевич написал около 500 критических статей о современной прозе, поэзии и «литературном быте». Часть из них составила его первую посмертную книгу: «Литературные статьи и воспоминания», под ред. и с предисл. Н. Берберовой, Нью-Йорк, 1954, переизданную там же в 1982 г. под названием «Избранная проза». В 1961 г. Н. Берберова собрала стихи Ходасевича и, снабдив примечаниями, выпустила их в Мюнхене («Собрание стихов»).

Было также осуществлено переиздание «Державина» (Мюнхен, 1975, с важной сопроводительной статьей Дж. Мальмстада) и «Собрания стихов»-1927 (Нью-Йорк, 1978) — что несколько возродило интерес к наследию Ходасевича. В том же, 1978 г. в «Ардисе» под редакцией Эрики Шейхолеслами вышла кн. З. Гиппиус «Письма к Берберовой и Ходасевичу», а в 1983 г.— «Письма В. Ф. Ходасевича Б. А. Садовскому» (под ред. И. Андреевой).

Это были не первые эпистолярные подборки, связанные с творчеством поэта. Уже в 1925 г. в «Современных записках» появились «Письма М. О. Гершензона», а там же в 1934-м — «Три письма Андрея Белого». В 1939 г., незадолго до смерти, Ходасевич готовил письма М. Горького к нему для очередного номера «Современных записок», но война и скорое закрытие журнала сорвали эти планы редакции; письма М. Горького с комментариями Ходасевича появились только в 1952 г. в нью-йоркском «Новом журнале». За последние годы напечатаны письма Ходасевича к Б. Диатропову, Ю. Верховскому, М. Карповичу, Г. Малицкому, Г. Струве, М. Фроману и Л. Яффе.

Но самые важные комментированные публикации писем появились позже: «Из переписки В. Ф. Ходасевича (1925—1938)» — всего лишь пять писем (Вяч. Иванову, М. В. Вишняку, З. Н. Гиппиус и В. В. Набокову), но они прокомментированы Дж. Мальмстадом с исключительной тщательностью и щедростью («Минувшее», исторический альманах, № 3. Париж, 1987). Другой важнейшей публикацией стала подборка из 4 писем Ходасевича к Нине Берберовой («Минувшее», № 5. Париж, 1988), подготовленная Дэвидом Бетеа и сопровожденная не только его комментариями, но и ценной вступительной статьей о месте эпистолярия в творческом наследии поэта.

Урожайным на Ходасевича годом стал 1983-й. Пристонский университет выпустил диссертацию Дэвида Бетеа «Ходасевич. Его жизнь и творчество» — первая и до сих пор единственная о нем монография. В Париже в издательстве «La Press Libre» под редакцией Юрия Колкера и с его большим послесловием выпущено «Собрание стихов» в двух томах (1982—1983). Оно ценно как значительной полнотой, так и пространным комментарием, а также впервые собранными воедино стихотворными переводами поэта. Замечания Н. Берберовой по первому тому приведены во втором. Собрание оказалось не свободным от ряда существенных ошибок.

Но главным событием того года оказалось издание 1-го тома Собрания сочинений В. Ф. Ходасевича, предпринятое в издательстве «Ардис» Джоном Мальмстадом и Робертом Хьюзом. 1-й том содержал все обнаруженные составителями оригинальные стихотворения и варианты к ним, а также обильный реальный, текстологический и историко-литературный комментарий.

С 1988 г. начались серьезные публикации Ходасевича в Советском Союзе — прежде всего избранная проза: «Державин» (М., 1988), изд. подготовлено А. Л. Зориным и включает работы Ходасевича, посвященные «допушкинскому периоду» («Павел I», «План книги о Павле I», статья к столетию со дня смерти Державина и «Жизнь Василия Травникова»), а также ценные приложения.

Вторым по времени (но не по значению) стал том Ходасевича в Большой серии Библиотеки поэта («Стихотворения», 1989), вступит. ст. Н. А. Богомолова, сост., подгот. текста и примечания Н. А. Богомолова и Д. Б. Волчека. Издание уступает парижскому двухтомнику по количеству переводов, но превосходит все предыдущие издания числом оригинальных стихотворений, извлеченных из государственных и частных архивов. Важнейшей научной стороной издания стало уточнение многих датировок и выправление ряда ошибок в прочтении рукописных текстов.

Осенью 1990 г. вышел в свет 2-й т. ардисовского Собр. соч. Он включает статьи 1905—1926 гг., в том числе из совершенно забытой ныне периодики, а также новообнаруженные стихи. И хотя составители поместили не все им известные статьи, американское издание обещает оказаться одним из лучших филологических начинаний новейшего времени.

В планах советских составителей и комментаторов намечены следующие важные подборки: 1) двухтомник Ходасевича в Худлите (сост. С. Г. Бочаров), включающий стихи, прозу, мемуары, статьи и — что особенно ценно — письма; 2) двухтомник мемуарной прозы в «Современнике» (сост. М. С. Долинский и И. М. Шайтанов) с обещанными вариантами и разночтениями; 3) однотомник в «Сов. писателе» (сост. В. Г. Перельмутер), где запланированы 200 иллюстраций, воспроизводящих иконографию поэта, его современников, автографы и книжные обложки.

Ив. Т.

СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

КНИЖНЫЙ УГОЛ

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов не возвращаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Сообщаем, что всеми вопросами доставки журнала занимаются местные отделения «Союзпечати». Редакция не имеет свободных экземпляров журнала для рассылки читателям.